

Ирина Стекол

Уйти нельзя остаться





Ирина Стекол

Уйти нельзя остаться

Москва



О·Г·И

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
С79

Оформление и макет
Андрея Рыбакова

Стекол И.

С79 Уйти нельзя остаться / Ирина Стекол. — М: ОГИ, 2010. — 496 с.

ISBN 978-5-94282-611-6

В книге писательницы и журналистки, живущей в Германии, собраны рассказы и эссе, публиковавшиеся в российских «толстых» литературных журналах и немецкой русскоязычной периодике. Серьёзные и смешные истории, написанные увлекательно и живо, не оставят равнодушными даже самых искущённых читателей.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-94282-611-6

© И. Стекол, 2010
© Б. Хазанов, 2010
© ОГИ, 2010

Содержание

Борис Хазанов. Вместо напутствия 9

Часть первая. Рассказы

Через полгода во Франкфурте	13
Здесь и там	29
Рассказ для Анны	39
Женщина и собака в предлагаемых обстоятельствах	60

Часть вторая. Разноцветные картинки

Я бы ещё пожила... Еврейский ребёнок в условиях естественного обитания	75
Неча на зеркало пенять, коли рожа крива	79
День скорби	85
«Не нужно нам возмездия иного...»	91
Во саду ли, в огороде	98
«Кто чего боится...»	105
Ты почему не ешь?	112
Друг мой, третье моё плечо	119
Ничего особенного	126
«И никакого розового детства...»	133
Не обманись	139
Утраченные иллюзии	146
В здоровом теле?..	153
Сорок пять каналов	160
Наука расставанья	168
Товар — деньги — товар	175
Не живите в одиночку	181
«В начале жизни школу помню я...»	188
«А без денег жизнь плохая...»	194

«По вечерам над ресторанами...»	202
С волками жить — по-волчьи выть	209
«А вы — не псих?..»	213
Не смешно?	219
Игры, в которые играют взрослые	226
Невезение	232
Дураком помрёшь?..	239
В тот самый день	246
Хотя бы миллион!	253
«Работа есть работа, работа есть всегда...»	260
«Ах, лето красное...»	267
Роскошь на все времена	271
Найди себя	275
Неправильный мёд, или Как я потеряла Новый год	281
Бросим курить?	286
Брачное объявление: «Ищу учителя немецкого языка...»	294
Мой дом — моя крепость	299
Душа вещей	306
Воспитание чувств	312
Уметь болеть	319
Пусть всё будет как всегда!	325

Часть третья. Месяц за месяцем вокруг

ЯНВАРЬ

«Имя громкое Козьмы!» КОЗЬМА ПРУТКОВ	335
«Неужели я настоящий?..» ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ	338
Под голубой обложкой. «НОВЫЙ МИР»	340
«Когда я отпою и отыграю...» ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ	342

ФЕВРАЛЬ

Негромкий голос правды. ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ	346
«Слушайте революцию!» АЛЕКСАНДР БЛОК	349
«Маленькая щедрая жизнь». АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН	352
«Текст — это человек». ЮРИЙ ЛОТМАН	353

МАРТ

Певец Атлантиды. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ	357
«Я, Панова Вера Фёдоровна, умерла 20 июня 1967 года...» ВЕРА ПАНОВА	358
«Будь счастливи!» АННА ФРАНК	360
Всего лишь любовь. АНТОН МАКАРЕНКО	361
Промежуточная жизнь. ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ	363
«Человек — это звучит...»? МАКСИМ ГОРЬКИЙ	365
В то время, в том месте... ЮРИЙ ТРИФОНОВ	368

АПРЕЛЬ

«Таинственный карла». НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ	370
Поэт-муза. БЕЛЛА АХМАДУЛИНА	373
Жить на такой планете — только терять время. ИЛЬЯ ИЛЬФ	375
Брат-алхимик. ВЕНИАМИН КАВЕРИН	377
Первый безумец России. ПЁТР ЧААДАЕВ	378

МАЙ

Собственного почерка письмо. БОРИС СЛУЦКИЙ	381
Поющая душа. БУЛАТ ОКУДЖАВА	383
Побег от смерти. ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ	385
Судьба Мастера. МИХАИЛ БУЛГАКОВ	387
Юбилей Януса. ГРИГОРИЙ ЧХАРТИШВИЛИ — БОРИС АКУНИН	390
Рукописи не горят. ВАСИЛИЙ ГРОССМАН	392
«Мой человеческий язык». ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ	394
«Я пропал, как зверь в загоне». БОРИС ПАСТЕРНАК	395

ИЮНЬ

Уютный мир Донцовой. ДАРЬЯ ДОНЦОВА	398
«Душечка» Анна. АННА ДОСТОЕВСКАЯ	401
Добро, побеждай! ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС	403
Неистовый Виссарион. ВИССАРИОН БЕЛИНСКИЙ	406
Остаться в памяти. ВИКТОР НЕКРАСОВ	410
«Разоблачённая морока». МАРИНА ЦВЕТАЕВА	411
Кюхля сам по себе. ВИЛЬГЕЛЬМ КЮХЕЛЬБЕКЕР	414
Эпоха Ремарка. ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК	416
Браво, Быков! ДМИТРИЙ БЫКОВ	418

ИЮЛЬ

- «Тихая жизнь» Варлама Шаламова. **ВАРЛАМ ШАЛАМОВ** 422
Любопытной Варваре... **ИСААК БАБЕЛЬ** 425
«Дети — это главное». **ЯНУШ КОРЧАК** 428
«На пороге как бы двойного бытия». **ФЁДОР ТЮТЧЕВ** 431

АВГУСТ

- Побеждённый победитель. **МИХАИЛ ЗОЩЕНКО** 435
«Все во мне, и я во всех». **МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН** 438
«Что это было? — Чья победа?» **СОФЬЯ ПАРНОК** 440
Последнему романтику. **АЛЕКСАНДР ГРИН** 443
Хоть горшком назови... **АЛЕКСАНДР КУПРИН** 446

СЕНТЯБРЬ

- Куда ведёт дорога? **АЛЕКСАНДРА БРУШТЕЙН** 450
Любительница жизни. **НИНА БЕРБЕРОВА** 453
Герой на все времена. **НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ** 456

ОКТАБРЬ

- «Всё впереди!» **ГЕОРГИЙ ЭФРОН** 460
«Одинокий полёт». **ИВАН БУНИН** 463
«Остаток большого огня». **НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ** 466
«Я говорю всё, всё, всё...». **МАРИЯ БАШКИРЦЕВА** 469

НОЯБРЬ

- Быть женой. **СОФЬЯ АНДРЕЕВНА ТОЛСТАЯ** 473
«Вы, слова залётные, куда?...» **АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ** 476
«Я работал, я писал стихи». **ИОСИФ БРОДСКИЙ** 480

ДЕКАБРЬ

- «Голос одинокой музыки». **ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ** 482
«...Каково быть поэтом...» **ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН** 485
«Такая живая, такая красивая». **МАТЬ МАРИЯ** 488
«Живая совесть». **ВЛАДИМИР КОРОЛЕНКО** 491

Вместо напутствия

В редакции провинциальной газеты «Канзас Стар», где печатался молодой Хемингуэй, висели «Правила для авторов»; правило № 1 гласило: «Вычёркивай первую фразу»; дальше говорилось о том, что надо писать сжато, избегать общих мест, не растекаться по древу.

Существуют две точки зрения на работу писателя в газете. Одни считают, что работа в газете — прекрасная школа. Газета учит писателя не только относиться с подозрением к первой фразе, чаще всего лишней, но безжалостно вымарывать всё избыточное, не относящееся к делу. Зачёркивание едва ли не важнее, чем писание. Текст должен пружинить. Газета требует дисциплины и энергии.

Другие пожимают плечами. Журналистика, говорят они, это умение скользить по верхам. Газета рассчитана на массовое потребление, здесь неуместны сложность, глубина, изысканность. Это пища для бедных. Нам подавай бургер, хот-дог, пиццу третьего сорта. Чем шаблонней, тем лучше. Газета хочет охватить «всё», а это значит, что на её полосах остаётся всё меньше места, информация становится всё более схематичной. Текст вырождается в крикливый заголовок. Словом, худшей школы для писателя не придумаешь.

И однако, писатель не гнушается газетой, а газета не отворачивается от писателя.

Книга, которую вы держите в руках, принадлежит перу писательницы и журналистки. Нарративная проза здесь соседствует с газетной эссеистикой, с фельетоном в том изначальном смысле, какой ему сообщил «король фельетона» Влас Дорошевич и возродил наш современник Самуил Лурье. Автор книги Ирина Исааковна Стекол, москвичка по рождению, ныне живущая в Мюнхене, печаталась в газете «Дом кино», в «Огоньке», в «толстых» литературных журналах — «Новый мир», «Нева», «Новый берег», работала для «Радио Свобода».

Что касается этой книги, то бóльшая часть составивших её текстов публиковалась в газете «Русская Германия», главным образом в литературных приложениях к газете. Творчество Ирины Стекол как раз и является образцом того, как писатель может, не роняя себя, работать в массовой печати, умеет использовать преимущества газетной трибуны и при этом остаётся свободным от её менее привлекательных сторон.

Больше того: рассказы, которыми открывается этот сборник избранных произведений Ирины Стекол, задают тон всей книге. Мы имеем все основания говорить о книге художественной прозы — повествовательной и эссеистической.

Хвалебные предисловия чаще всего оставляют читателя равнодушным. Мне бы очень хотелось воздать должное художественному мастерству, изяществу и благородной сдержанности языка и стиля Ирины Стекол. Но — воздержусь. Ограничимся тем, что пожелаем книге счастливой судьбы.

Борис Хазанов

Часть первая

Рассказы

Через полгода во Франкфурте

Медленно, бесшумно открывается дверь, ведущая из тёмной комнаты в другую, такую же тёмную. Почему меня преследует эта медленно открывающаяся дверь? Дверь и не думала открываться — она была открыта: дверь, ведущая из одной тёмной комнаты в другую, такую же тёмную.

В тёмном проёме возник силуэт — тёмный на тёмном, чёрный на чёрном.

«В чёрной-пречёрной комнате...» — начиналась детская «пугалка». В этой чёрной-пречёрной комнате, в тёплой тёмной комнате меня дрожня била дрожь: так колошматило, что зуб на зуб не попадал. Сбросить чужой халат и на ощупь добраться до постели... Путь необозримо долог — от кресла, где кончики пальцев моей опущенной руки ещё прикасаются к шёлку халата, до запретного, недосягаемого даже в снах ложа, на котором мне, в результате обмена ничего не значащими полушутливыми фразами, предстоит спать в эту ночь.

Я не пройду этот путь до конца. Тёмный силуэт пересечёт мне дорогу — и жизнь прервётся. Но я этого ещё не знаю. Я разжимаю сведённые судорогой пальцы, я наугад кладу халат в кресло, я трясусь от озноба и веду с собой лицемерный, отвратительно фальшивый диалог:

Часть первая

— Ничего не будет, не надейся.

— Мне и не надо, упаси Бог!

— Вот и не надейся, ложись и спи.

— Вот сейчас и лягу. Но спать, конечно, жалко. Можно просто так полежать. И ведь будет ещё утро. А сейчас я полежу, я так спокойненько полежу...

И я делаю первый шаг.

В тёмном дверном проёме — тёмный силуэт. Нет! Я этого не хотела!

Задыхаюсь. И делаю второй шаг. Но это — шаг навстречу и шаг — *за*... В темноте тёмные тёплые руки смыкаются за моей спиной, и мои поднимаются синхронно, словно связаны две марионетки одной ниточкой. Почти машинально, как в тысячный раз: так спокойно, так привольно, так легко.

— Вы... Я... Надеюсь...

Понимать вроде понимаю, но ответить — лишь «вва-вва-вва...» — так колотит. Темнота разреживается, становится заметен свет из окна.

— Я... Нет... Ни разу... Нет...

А руки мои делают своё несуетное, вроде бы привычное дело: скользят тихо вверх-вниз-вбок, как будто — что за оказия? — не знакомясь, а узнавая. Будто каждый день перед сном: тут гладенько, тут шершавость, тут, тут...

Вселенная с беззвучным свистом скручивается в воронку: вброшенный в неё влажный тугой комочек ваты обречён теперь вечно совершать миллиардно-километровые круги, пока однажды ночью, сорвавшись с орбиты и невообразимо увеличившись, не рухнет он на меня, и под гигантской тяжестью я задохнусь, задохнусь...

— Я задохнусь...

— Ну, ну, не преувеличивай!..

Жалкие обрывки слов, нежные шершавинки под пальцами, судорога, пронзившая левую ногу — как под водой.

Русалочка, Русалочка, бедная малышка, ты владела любимым всего лишь несколько минут, только те несколько коротких минут под водой, ты, глупый недоростыш, не нужна на суше, ты не нужна, не нужна. Там, на набережной с разноцветными фона-

риками, день и ночь звучит музыка, кружатся пары, там светятся милые глаза его невесты, ты же обратишься в морскую пену, в белые клочья морской пены, и даже следа не останется от тебя у этих берегов, чужих, жестоких, грязных. Солнце высушит влагу, беззвучно лопнут последние пузырьки — ты никогда не станешь взрослой. Это хорошо, что кудри твои коротко острижены, хорошо, что ты не можешь говорить и петь не можешь, а когда-то, ты помнишь, твой голос и, помнишь, гитара... Не пой при нём никогда, не пой, красавица, не пой, глупышка, ведь ты такая маленькая, ты ненастоящая, и ножки твои похожи на рыбы хвостики, ты же такая смешная девка, молчи, дурочка. Молчи, молчи.

— Я молчу, молчу, нет, я не закрываю глаза, я смотрю, я смотрю, я смотрю...

Я смотрю. В жёлтом свете заоконного фонаря надо мною — лицо смерти. Оскаленные зубы, провалы глаз, вздёрнутый нос. Если ты — смерть и ты пришла за мною, то возьми меня. Только скорей, скорей, вот сейчас, ну? Ну!!!

Аптека стояла в глубине огромного двора, огороженного высоким забором с широкими, всегда распахнутыми воротами. От ворот шла дорожка к аптечному крыльцу — бревенчатому и низкому, как и само здание. Всё остальное был пустырь с несколькими старыми соснами, весь заросший густой высокой травой. Это был «аптечный двор». Посреди него возвышалась поленница из длинных круглых стволов — мёртвых сестёр уцелевших сосен. Поленница стояла там так давно, что стволы слежались, заняли устойчивое положение и превратились как бы в некое строение, прочность которого почти не вызвала сомнений, так что без особого труда удалось добиться разрешения лазить по ним, затаскивать туда игрушки и подолгу сидеть по вечерам, глядя, как солнце навсегда опускается за крышу аптеки. Это называлось «сидеть на дровах».

От дорожки ответвлялась узкая тропинка, ведущая к правому крылу аптеки, стоящему несколько уступом и огороженному забором пониже, с шаткой калиткой на массивных ржа-

Часть первая

вых петлях («Не качайся на калитке. Не качайся на калитке!...»). Пространство за низким забором было — «наш двор». Правое крыло аптеки называлось «наш дом», хотя это была лишь половина дома, может, даже меньше, чем половина.

Мы жили тут всегда и будем — всегда. Потому что дедушка ушёл отсюда на фронт и там погиб. Фронт — это тесно, далеко и трудно. Погиб — это очень красиво. Я тоже когда-нибудь обязательно погибну. Погибну, а не умру, потому что «умру» — это падать в чёрную воронку, и тошнит. А «погибнуть» — яркий взрыв.

Мы — это бабушка, мама, тётка, её дочка Танька и я. Мы — женщины. Мужчины — совершенно другие. Когда у нас жил родственник Яша из Баку и ещё другой Яша, из Одессы, я долгу смотрела по утрам, как они бреются.

Яша из Одессы брился узким толстым ножом, который потом вкладывался в чёрную ручку. Однажды он порезался и тёр лицо светло-жёлтым камнем, похожим на мыло, но в тот же день я попробовала его с водой, и он не мылился.

Яша из Баку брился странным аппаратиком. Этот аппаратик я однажды нечаянно развинтила на три части и, решив, что ему теперь конец, хотела быстро куда-нибудь спрятать, чтобы подумали, что потерялся, но вошла бабушка, взяла части у меня из рук и в секунду свинтила обратно.

У Яши из Баку было много необыкновенных вещей. Самое лучшее — золотое жёлтое полотенце с розами и райскими птицами. Оно мне несколько раз снилось. Один раз я почувствовала такой приступ любви к этому полотенцу, что среди дня растелила постель, разделась и легла, прижимая скатанное в жгут полотенце к голому телу.

Я всегда могу лечь и сказать, что заболела, и тогда меня в этот день уже не будут ругать, и можно сколько угодно лежать и читать. Потому что я шесть раз болела воспалением лёгких, а в последний раз врачаха сказала, что у меня в груди такие хрипы, как будто я джаз проглотила. Но вообще говорить, что заболела, — невыгодно. Читать и так можно сколько угодно, а гулять потом не выпустят или наденут столько, что и гулять не захочешь.

Когда Яша из Баку уезжал, он оставил мне своё полотенце с розами и птицами, хотя не знал, что я брала его с собой в по-

стель, — никто не знал. Больше я его и не беру: во-первых, с тех пор как оно стало моё, я его немного разлюбила, а во-вторых, если заметят, опять будут говорить, что я странная, а это я терпеть не могу. Когда мама в прошлое воскресенье сказала, что это очень странно, если человек сидит на яблоне весь исцарапанный и изодранный и при этом читает Шарлотту Бронте в моём возрасте, я ей сказала, что если я странная, то не странен кто ж. И она на меня посмотрела вообще как на сумасшедшую. Сто раз давала себе слово ничего им не говорить, с тех пор как рассказала про кокосовый орех, который упал мне на голову в парке, а они сказали, что это — наглое враньё. Когда ясно, как белый день, что это не враньё, а *история*.

Яша из Баку хотел жениться на моей маме. Она ему — двоюродная тётя и старше его на пятнадцать лет. Я — троюродная сестра и младше на пятнадцать. Никто не знает, что я в него влюблена. Он похож на Овода, у него необыкновенные нижние ресницы, и от него немного пахнет моим отцом.

Когда мама окончательно отказалась, он купил себе овчарку Джима и уехал с ней обратно в Баку. Овчарка несколько последних дней жила у нас вместе с Яшей. После их отъезда я каждый день ходила рыдать в сарай, представляя себе это счастье, если бы мама согласилась и я жила бы в Баку с любимым и его овчаркой. Но всё разрушено навсегда, и жизнь кончена. Можно только сидеть на дровах и вспоминать овчарку Джима: какие у него прекрасные круглые глаза и как он давал мне лапу на прощанье.

Яшу из Баку я на дровах не вспоминаю, а вспоминаю всегда перед сном, когда в нашей комнате гасится абажур, мама выходит в кухню, и оттуда, сквозь стеклянное окошечко над дверью, по потолку протягивается косая полоса света к тому углу, где стоит моя кровать.

Выныриваю из-под очередной волны и жадно вдыхаю, но тут же дыхание опять прерывается. Разлепляю глаза: надо мной — оскаленная улыбка, пальцы стиснуты на моей шее:

Часть первая

— Горлышко такое хрупкое, это всегда так заманчиво...

«Задушит!» — радостно понимаю я и снова закрываю глаза. И тут же разжимаются пальцы. Покорная добыча — не добыча. Конечно. Ах, не умею я играть в эти игры — так и не научилась, а ведь могла бы. Сейчас, когда окончены все игры, как пригодились бы хоть хвостики — противные, изошрённые, необходимые рефлексы, досконально известные, сто раз преподанные другим, которые — смогли...

Сердце бьётся сейчас не в груди — между ногами, болезненными, ёкающими ударами, расходящимися по телу, как круги по воде. И это сердце, моё сердце сжимает жадный горячий кулак, жестокий огненный кулак между моих ног.

Злой окрик: «Открой глаза, открой, я тебе сказал!»

Господи, да что же это — ни капли жалости в нём! Закрывать глаза, уплыть в это горячее, солёное, покачаться на волнах, раскинув руки, потом судорога — и медленно погрузиться в глубину, тихо, тихо опуститься, и только круги... А внизу яркие водоросли, блестящие камешки, скользкие разноцветные рыбки, покой, покой... Нет, за сердце схватив, тащит наружу.

— Убей, ну, убей же, пожалуйста! — но это под водой, внутри рта.

И дикая мысль, что жизнь будет продолжаться: есть, пить, ходить, надевать на это, жгущееся, пульсирующее между ног, трусы, двигать руками, ногами, головой, говорить слова. Смыть привкус родной соли во рту, выбраться на каменистый берег, тело обретёт привычную ненавистную тяжесть, вдали готические шпили, долгий ненужный путь звонкими мощёными тротуарами, шелест сухих листьев, опадающих с деревьев, которые выросли без меня, колокольный звон страшным воскресным утром, огромное молчаливое кладбище за окнами, а по ночам угадываемый в темноте беззвучный полёт вокруг планеты гигантского влажного ватного шара. Когда меня не станет, он по-прежнему будет совершать свои медленные великаны круги, он вечен теперь, я — нет. От меня останется только этот влажный комочек ваты, ещё письма, письма, разрозненные черновики, ободранная и грязная сова с давнишней ёлки, пустая бутылка, где на дне засохло несколько капель густой коричневой

влаги, фотография большеглазой кругломордой девочки с белым бантом в тёмных вьющихся волосах, да несколько кассет, шепчущих моим голосом, что у царя Мидаса — ослиные уши. «Ах, мой царь, — бормочут они безмолвно, — ах, мой любимый, какое счастье, что у тебя ослиные уши! Какие дивные ушки у тебя. Как я люблю твои ушки...»

— Ах, мой царь, — шепчу я без звука, — мой любимый... — И сжимаю губами крошечный гладкий камешек соска. И слышу вдали неотвратимый грохот следующей волны. Она надвигается, а я в страхе ожидания лишь крепче вцепляюсь в ненаглядные шершавые плечи, зная, что сейчас вновь — ослепительная вспышка в центре тела, судорога последней гибели и — темнота.

Злые, весёлые, умные глаза исследователя: лягушечка аккуратно распята на предметном стекле, рот растянулся в смущённой страдальческой улыбке, нелепо раскинутые лягушачьи лапочки бестолково вздрагивают, круглые глазки послушно выпучились. А вот мы её иголкой, а вот мы ей сейчас в животики... Ишь, задрожала, ах ты милая! Ну-ка, а вот так? Смотри-ка, глазки закрывает...

— А ну, открой глаза, быстро!

И беззвучный взрыв, этот приторный ужас, после которого не надо жизни.

— Я люблю тебя, люблю... — слова, выталкиваемые отчаянием. Их нельзя произносить, не надо. Надо молчать. Молчать с открытыми глазами, как будто только что умерший покойник. Ещё тёплый.

...Жива ещё лягушечка, жива, дрыгается...

Танька постоянно ябедничает бабушке. Целыми днями: «Буся, а она опять...» Невозможно спокойно ни на яблоню залезть, ни на чердак. Мерзким визгливым голосом. Когда её причёсывают, она тоже ужасно визжит, потому что у неё волосы все в мелких колечках. У меня тоже колечки, но тёмные и крупнее. Помоему, у меня это — локоны. И я причёсываюсь сама, а она

Часть первая

визжит так, что один раз даже из аптеки прибежали — сказали, что истязают ребёнка. Её никто не истязал. Она сама кого хочешь истязнёт.

Она вылила марганцовку из банки, где у меня должен был вывестись человек, и перепрятала мой «секрет», который я ей сдуру показала, там, где за уборной растёт вишня с тёмными ягодами.

Их есть нельзя, они ядовитые, но, может быть, это неправда, потому что я один раз слышала, как тётка с бабушкой говорили про эту вишню, и бабушка сказала, что мы с Танькой доверчивые. Когда говорят — доверчивые, значит, обманывают, и я тогда же пошла и съела одну вишню. Она была гораздо вкуснее, чем другие, которые не возле уборной, те больше, светлее и кислее, они одичали и годятся только для варенья. Но я всё равно их ем каждый год. Ту, тёмную и сладкую, я специально съела только одну — если это яд, то должен заболеть живот. Но меня всё равно спасут: чтобы отравиться насмерть, надо съесть много.

Но получилось неудачно, потому что в этот же день мы с соседской Веркой съели очень много маленьких кислых яблок, которые набрали у них в саду под яблонями — это тоже не разрешают, — и я тогда не разобрала, отчего болел живот.

В следующий раз надо будет съесть две тёмные вишни, а яблок не есть, и, если не отравлюсь, можно утром, когда бабушка уходит на рынок, а Танька ещё спит, оборвать всю вишню за уборной и сказать, что через забор перелезли чужие мальчишки, пригрозили мне ружьём, а ягоды оборвали и унесли с собой.

У Веркиного отца есть ружьё. Он уже застрелил из него чужую кошку, которая напугала их кур. Меня тогда целый день рвало, потому что я видела, как она лежала в траве на боку и часто-часто вздрагивала хвостом. Уже застреленная.

У Верки в тамбуре пахнет чем-то кислым и противным. Так у многих пахнет. Может, это капустой. А у нас — пыльным и печальным. Несъедобным. Я думаю, это пахнет до-войной, когда нас с Танькой ещё не было, а дедушка был жив. Тогда ещё яблонни не заросли крапивой, а вишни не одичали, потому что де-

душка ухаживал за садом — на некоторых вишнях внизу стволов я нашла крошечные белые пятнышки от извести, которой он белил деревья. Но сейчас этим заниматься некому.

Лучше всего пахнет у нас в буфете. Наш буфет — как дворец. Он огромный и занимает полкухни. У него три этажа, по бокам — башенки с вырезанными виноградными кистями, в середине — дверцы с зелёными, наверное, изумрудными стёклами, и на них — белые матовые лилии. Изумруд — самый красивый на свете камень. Он так красив, что, увидев его все ИЗУМятся и УМРУТ: изум-руд.

На самом верху буфета, совсем под потолком — полузакрытая ниша, вся окружённая тоже вырезанными из дерева листьями и цветами. Я туда умещаюсь, а Танька — нет. Со злости она наврала Бусе, что я залезала туда и наступила на посуду. Я, во-первых, наступила не на посуду, а на ложки и вилки, а во-вторых, босой ногой.

В буфет вообще не разрешают лазить. Но это невозможно, потому что там миллион дверец и ящиков, и в одном я нашла восковое яблоко, а в другом — чёрно-золотую пряжку. Пряжку я спрятала в голову куклы Оксаны: у неё давно уже в голове дырка, а волосы снимаются, и я их прикрепляю обратно слюнями. Яблоко спрятать как следует было некуда, и я положила его в валенок, а они нашли, но не ругались, а очень обидно смеялись, потому что на нём в трёх местах был след от моих зубов. Как будто я дура! Я прекрасно знала, что оно восковое, но оно было такое нежное и гладкое, что даже плакать хотелось, и я подумала, что, может быть, оно ещё вкуснее, чем настоящее — какое-нибудь волшебное. И все три раза так думала, хотя каждый раз было отвратительно, когда куснёшь.

Я никак не могу обсмотреть весь буфет подряд, потому что, когда бабушка уходит на рынок, я сразу открываю какой-нибудь один ящичек или дверцу и уже не могу оторваться, пока не заскрипит калитка. Но запах в них во всех одинаковый — они пахнут чудесными тайнами.

Ещё прекрасный запах у отцовской шкатулки. Она чёрная, а внутри красная. На крышке у неё — чёрно-золотая тройка коней. Отец часто пел мне песню, наверное, про неё:

Часть первая

*Мы ушли от проклятой погони,
Перестань, моя крошка, рыдать!
Нас не выдадут чёрные кони —
Вороних никому не догнать...*

Когда отец ещё жил с нами, он держал в шкатулке папиросы, а потом бросал курить и насыпал туда монпансье. Мне нельзя было их брать, и я всё время ужасно боялась, что нечаянно возьму. Сейчас я иногда нюхаю шкатулку, когда никто не видит: она пахнет папиросами, и монпансье, и отцом, и страхом. Он очень страшно сердился, совсем не так, как мама, бабушка и тётка. Когда он сердился, у меня в животе сжималось, и я думала, что умираю, и тошнило.

Я никогда не знала, в какой момент он начнёт бросать всё на пол и кричать нечеловеческим голосом небывалые слова, которые я больше нигде не слышала. Некоторые я ещё помню.

Однажды он бросил и разбил свой янтарный мундштук, который я очень любила, хотя он каждый раз, когда пососёшь, оказывался не вкусно-кислым, а горьким, — обломки я тоже прячу в голове у Оксаны. И разбил мою чашку с Мойдодыром, а потом сказал, что она пошлая, что это «местечко», и у ребёнка никогда не будет вкуса.

Он всегда, когда сердился, кричал на всех — «местечко». Это, наверное, наш дом и двор, и вообще Томилино — потому что всё это маленькое, и ему неинтересно. Где он теперь живёт, я не знаю, но там стоят большие дома «со всеми удобствами». А нас с Танькой моют всегда в корыте. В тот раз он сердился как раз из-за корыта, но я точно не помню. Потому что, он говорил, его всё время раздражали и злили нарочно, и стукнул кулаком по полену у печки, и разбил себе руку в кровь. Я испугалась, что он сейчас истечёт кровью, стащила с вешалки его вишнёвый галстук с белой подкладкой, вывернула наизнанку и стала бегать за ним по всем комнатам, крича: «Папочка, дай я тебя перевяжу!» Но он гонялся за тёткой с этим поленом, меня отталкивал ногой, а глаза у него были совершенно как у застреленной кошки.

Анна Осиповна, которая через дорогу, говорит, что он алкоголик. Но это враньё. Алкоголиков я сто раз видела у сельпо.

А мой отец красивый, у него самые лучшие в мире галстуки, и ногти похожи на ракушки из перламутра. И пахнет от него всегда удивительно вкусно, хотя и не едой. Он называет меня «милый», как будто я мальчик — я от этого очень волнуюсь.

И он всё знает. Он сам так сказал. Я не очень поверила, что совсем всё, и спросила, что делать, если хочешь чихнуть и не можешь? Он сказал — посмотреть на яркий свет. Оказалось — правда. Ещё я спрашивала, что делать, если что-то забыл и не можешь вспомнить. Он сказал — не думать об этом.

Может быть, это тоже правда, но этого я всё равно не смогу. Если мне что-то придёт в голову или чего-нибудь захочется, то я думаю и думаю об этом до тех пор, пока мне не начнёт казаться, что это — главное во всём мире, а ни о чём другом уже думать не хочу. И все, кто говорит со мной не об этом, мне кажутся врагами. Буся говорит — я вся в отца.

Так было с Яшей из Баку. А ещё раньше — когда отец ушёл от нас, и я хотела, чтобы он вернулся. Он приезжал ко мне по воскресеньям, но не каждую неделю. Я никогда не знала заранее, когда он придет, и на всякий случай приходилось каждое воскресенье переводить будильник на два часа назад, чтобы он подумал, что ещё рано, и побыл подольше. Один раз я забыла потом переставить стрелки обратно, и перед сном была великая путаница, но я не созналась, даже когда будильник понесли в починку.

В то время каждый вечер, ложась спать, я смотрела на жёлтую полосу света над моей кроватью и начинала очень сильно, просто страстно хотеть, чтобы сейчас же раздался стук в дверь тамбура и вошёл отец, в моём любимом сером галстуке с маленькими синими мячиками, неся в руках все свои вещи и коньки и лыжи для меня. Мне их уже два года обещают, но денег нет.

Я была уверена, что если захотеть по-настоящему страстно, то так и будет. Но моё хотение не помогло, хотя я даже зубы сжимала. То же самое было потом с Яшей.

Я очень боюсь поверить, что от меня ничего не зависит, — тогда жить дальше будет невозможно, — и стараюсь себя уговорить, что я просто не сумела достаточно страстно захотеть.

Часть первая

Но тогда я не знала, что если хотеть всё время одного и того же, то хотения постепенно стираются.

Теперь, ложась спать, я почти никогда не думаю об отце, даже о шраме в виде креста на его затылке не думаю, а раньше мне казалось, что этот шрам — самое красивое на свете, и что у всех настоящих мужчин должен быть такой шрам. Но у Яши из Баку шрама нет. Я и о Яше думаю теперь не каждый вечер.

Иногда я начинаю перед сном думать о том, что будет со мной дальше, и мне становится торжественно и чудно, потому что все невероятные приключения и чудеса, которые ждут меня впереди, толпятся вокруг и сверкают, и у меня захватывает дыхание, как под Новый год, так что я даже не обращаю внимания на звон комара возле моей кровати. Но, может быть, это дальний гудок электрички.

Тёмная-тёмная комната начинает равномерно раскачиваться, что-то торопливо постукивает под полом, стены сближаются, опускается потолок, в окно каждые несколько мгновений впрыскиваются густые порции света. Между ними — темнота. На столике мелко дрожит бутылка с янтарной жидкостью, два стакана — один пустой. Последний островок имперского уюта в дребезжащем хаосе.

Я обхватываю руками колени и слушаю, как у меня в ушах, в такт постукиванию, звучит: «Он вчера нашептал мне много, нашептал мне страшное-страшное, он ушёл печальной дорогой, а я забыла вчерашнее, забыла вчерашнее...»

Эти стихи — на завтра. Он ещё здесь. Мы ещё вместе. На полке напротив — запрокинутое бледное лицо, наконец-то сомкнутые глаза, болезненно и насмешливо стиснутые губы.

И трезвая горечь понимания начинает проникать в мою одурманенную голову. Это — всё. Утром поезд уткнётся носом в бетон, грязный снег под тусклым солнцем осядет ещё на сантиметр, хлопнет разболтанная дверца такси, я поспешно сдерну перчатку, холодные губы небрежно и ласково ткнутся в мою ладонь, таксист закурит вонючую сигарету, и это будет конец.

Крушение, Господи, пошли крушение. Или выйти в ледяной тамбур, открыть тугую дверь... Но оторваться от этого подрагивающего на подушке пьяного родного лица, по которому проносятся полосы света, от свесившейся руки с детскими пальцами...

Я сворачиваюсь в клубок на узкой полке, засовываю голову под подушку, репетируя завтрашнее отчаяние — как это будет, и можно ли с этим жить. И слышу почти вдрызг человеческий, почти добрый голос: «Ты не спишь? Иди сюда. Иди ко мне».

Я протягиваю руку, и мои пальцы нащупывают горячий нежный живот. Ниже, ниже, и, ухватившись за единственный мой в этом мире спасательный круг, уже захлёбываясь во вновь накатывающей солёной кипящей волне, я, как магнитом, притягиваюсь на соседнюю полку, к безжалостному, любимому, колдовскому телу, к сумасшедшему запаху полыни и пьяной вишни, к злым мягким рукам; и потряхивания вагона, как сметану в масло, сбивают нас в единый плотный комок.

Пусть волны сомкнутся над нами, пусть волны забвенья... Пусть все о нас забудут и мы останемся здесь! Здесь, в подводном царстве, мы выстроим себе дом из переливающихся ракушек, крыша будет из жемчугов, морской конёк — вместо флюгера, по утрам ручные золотые рыбки станут будить нас, щекоча хвостиками, мой любимый сонно засмеётся, а я надею новую юбку из бахромы медуз и запою песню о том, как по огромной одичавшей стране ехал зелёный поезд, а внутри, в уютной полированной коробочке, двое расставались, расставались навсегда.

— Что это ты поёшь такое печальное? — спросит он своим ленивым, насмешливым, кошачьим голосом. — Какая нелепая история! Спой лучше вчерашнюю песню про белого кита!

И я спою ему про прекрасного Моби Дика, а потом отправлюсь к Большой скале, собирать устриц к завтраку.

— Только не поднимайся на поверхность, — крикнет он мне вслед, — не люблю, когда ты подплываешь к кораблям, не доверяю я людям из верхнего мира.

— Не буду, милый, не буду, — пообещаю я и, конечно, сдержу слово. Зачем мне волновать моего милого, пусть он бу-

Часть первая

дет весел и спокоен. Всё равно однажды вечером он заскучает и захочет посмотреть на закат с Большой скалы. Он уплывёт к багровым облакам на горизонте и больше не вернётся — тяжёлый корабль увезёт его в огромную страшную страну, там он забудет обо мне. Но когда-нибудь, выйдя на морской берег, он увидит, как белые клочья пены оседают на прибрежных камнях, и вздрогнет, и сердце сожмётся от тоски.

«О чём я забыл? — подумает он. — Ведь я о чём-то позабыл, о чём-то важном». Но вспомнить не сможет и, ссутулясь, пойдёт прочь от прибоя, давя рифлёными подошвами ботинок последние пузырьки пены, лопающиеся беззвучно, как я жила.

Я подставляю лесенку и тянусь к верхней полке. Это жёлтая трёпаная книжечка без обложки, начинающаяся с сорок второй страницы, — я засунула её вчера за большого голубого Блока.

Они никогда ничего не запрещают, что бы я ни читала, только иногда противно посмеиваются. И про Блока тётка тоже усмехнулась. Это значит — всё равно не поймёшь.

А я всё понимаю. «Я видела в каждой былинке дорогое лицо его страшное. Он ушёл по той же тропинке, куда уходило вчерашнее, уходило вчерашнее...» — это когда я сижу на дровах и солнце садится за аптеку, а трава становится фиолетовой, и я вдруг вижу, как из нашей калитки выходит Яша из Баку с клетчатым чемоданом и овчарка Джим в толстом скрипучем ошейнике. Они идут, не замечая меня, к воротам, выходят из аптечного двора. Я вижу грустный, опущенный хвост Джима и Яшин узкий затылок. Не оглядываясь, уходят они по влажной песчаной дорожке, скользя длинными тенями по извилистым корням сосен, по направлению к станции, а оттуда уже гудит поезд.

Когда я ложусь спать и в темноте по потолку протягивается жёлтая косая полоса света, я тоже слышу эти гудки. Они далеки и так печальны. Иногда, засыпая, я путаю их с комариным звоном.

Когда-нибудь, в жаркое летнее утро, я выгляну за аптечные ворота и увижу спешащего со станции Яшу. Джим будет бежать

впереди, Яша ворвётся в аптечный двор, прижмёт меня к сердцу, и наши слёзы смешаются. Когда я думаю об этих смешивающихся слезах, что-то сжимается у меня внизу живота. Это похоже на первую несильную боль, когда начинается аппендицит, но мне его прошлой зимой удалили. И немного похоже на слово «погибнуть». Это будет как атомный взрыв, который я видела по Веркиному телевизору: медленная яркая вспышка, и огромное бесшумное облако тьмы.

Наверное, про эту книжку они тоже ничего не скажут. Но, по-моему, это всё равно — тайна. Почему она без обложки и начала и такая грязная?

В ней я тоже почти всё понимаю. Это про любовь. Тонуть и выплывать, погибать и воскресать — про любовь.

Там двое любят друг друга, но не говорят, то есть говорят какие-то насмешливые слова, потому что боятся назвать, любят недолго, а потом разлучаются. И где-то далеко, в другой стране, старый дом, а в одной из комнат, напротив высокой двустворчатой двери, стоит огромный шкаф, похожий, должно быть, на наш буфет, и в одном из ящиков — коробка, полная старых писем и магнитофонных кассет...

Что это — «кассеты»? Такого нет. Бывает магнитофонная плёнка, а кассеты?.. Может быть, они есть, но я ещё не знаю? Или потом будут?

И эта женщина, которая всё время писала письма и не отправляла, и говорила, говорила, звала в пустоте, сжимая ледяные кисти рук под мышками, и никто не отвечал, а она билась лбом об коленки и не плакала, только боялась по ночам влажного ватного комочка, который стал огромным и летает вокруг Земли, как спутник...

Я видела спутник. Два раза видела. Но, может быть, это была падающая звезда, и надо было загадать желание, а я не загадала, и теперь я никогда не увижу Яшу из Баку и овчарку Джима, от которого пахнет мокрым шоколадом, а вовсе не псиной, как Буся говорит.

Эта женщина, печальная, отчаянная и бессовестная, она — как я. Она кочует из города в город и возит в чемодане коробку со старыми письмами, фотографию девочки с крутым лбом,

Часть первая

большими хитрыми глазами и белым бантом в тёмных вьющихся волосах, белую грязную ёлочную сову, сломанную зажималку и липкую гранёную бутылку с квадратной пробкой. Ещё кассеты, про которые я не знаю — что это.

Однажды она оставит свою коробку в чужом старинном шкафу, поднимет воротник чёрного плаща, пригладит коротко стриженные тёмные волосы и уйдёт пешком в город Франкфурт. Совсем уйдёт туда, в далёкий Франкфурт. Потому что в конце так написано: «Через полгода они встретились во Франкфурте, и ничего не удалось избежать».

Я всё, всё понимаю. Дальше кто-то найдёт коробку в шкафу, совсем чужой человек, будет всю ночь читать письма, слушать её хриплый внятный голос, нюхать сладко-горькую бутылку, смотреть на мою фотографию с бантом, а потом напишет об этом книгу, в которой последние слова будут: «Через полгода они встретились во Франкфурте...»

Я сижу на верхней ступеньке лестницы, в окно дует, и у меня затекла левая нога, я боюсь, что войдёт бабушка и позовёт ужинать, что Танька сейчас заглянет в окно и завизжит: «Буся, она опять на лестничке сидит!», в комнате почти стемнело, но я всё читаю и читаю эту странную последнюю фразу и слышу, как кто-то вдалеке тихо проговаривает медленным, ленивым, чуть мяукающим голосом: «Через полгода они встретились во Франкфурте, и ничего не удалось избежать... ничего не удалось избежать».

Мюнхен. Сентябрь 1992 — март 1993

Здесь и там

Ветер звал и гнал погоню,
Чёрных масок не догнал...
Были верны наши кони,
Кто-то белый помогал...

А. Блок. Здесь и там

- Ты готова? — спросил он в дверях.
— Готова. Холодно на улице?
— Да, порядком. Тепло оделась? Когда будем пересаживаться, придётся на дороге ждать.
— Долго?
— Может, и долго. Я говорил.
— Я не помню.
— Надо было запомнить.
— У меня механическая память плохо развита. Мне сначала нужно понять.
— Понимать тебе ничего не надо и некогда. Делай то, что я говорю, и всё.
— Я и делаю.
— Вот и делай. Пошли?
— Пошли.
«Что я, с ума сошла? — подумала она, — говорю с ним таким тоном, словно он мне чем-то обязан. Я сама влезла в это безумие, никто меня силой не тянул, сама теперь и расхлёбываю. Не расхлёбываю даже, а только сейчас начну. Страшно... А если кто-нибудь настучал и нас там заловят? Хорошо ещё, если не пристрелят. В конце концов, если заловят, меня про-

Часть первая

сто вышлют, надеюсь. А его? С ума они все тут походили. Плевать, ты не за этим поехала — рассуждать тут. Ты же видеть его хотела, вот и видишь. Вот и смотри. Голова только очень болит. Со страху или с недосыпу. Надо было ещё аспирина принять. Ненавижу зиму. В Мюнхене она почти не чувствуется. Холодно как».

Они молча спустились по лестнице, сели в машину. Машина, совсем новенькая, пахла внутри свежей пластмассой.

— Послушай, — спросила она, — а если бы я не согласилась, что бы вы делали?

— Придумали бы что-нибудь, — неохотно ответил он, — конечно, мороки было бы больше. Ты что, боишься?

— Да нет... Просто мне действительно ничего не понятно.

— Что ты хочешь понять? Ты ж давно отключилась от этих проблем, да и раньше, насколько я помню, не сильно разбиралась.

— Всё-таки я была *за* кого-то и кого-то *против*, а сейчас вообще тёмный лес, кто, с кем, против кого, за что... Главное, почему?..

Машина шла на небольшой скорости, протыкая светом фар кружащиеся клубы снега. Он помолчал, потом сказал очень мягко:

— Никаких «почему» на ближайшие пятьдесят лет здесь не будет, забудь. Не ищи логики. Есть конкретная данность для каждого конкретного момента, и только она определяет: с кем, за кого и всё остальное. В том числе — как. Поэтому я работаю с этими людьми. Поэтому всё — так, а не иначе. Я бы вообще предпочёл сюда никого не впутывать, тебя тем более, но, похоже, это единственный выход. Это страшно важно, эти бумаги. Важнее сейчас ничего нет. Но ни от кого из наших исходить они не могут, бумаги должны возникнуть как бы ниоткуда, это самое главное, понимаешь? Я тебе не вру.

— Знаю, что не врёшь. Просто я не понимаю ничего. У этого толстого такая морда мерзкая... Как ты можешь с ним дело иметь?

— Знала бы ты ещё, кем он был... второй, кстати, и того хлеще.

— Могу себе представить.

— Не можешь. Чтобы эти бумаги достать, мне на такое пришлось... Ладно, закрыли эту тему. Ты что за висок держишься, голова болит?

— Да, с утра чего-то и никак не проходит. Вообще дурацкое самочувствие. Из-за погоды, наверное. Смотри, какая вьюга. Жутко даже. Я, знаешь, урбанистка, не люблю неуправляемых стихий. Ненавижу эту вашу зиму знаменитую.

— Ты же три четверти жизни в Москве прожила.

— По полгода в году: с октября до мая вообще не жила, только ждала весны. Да я столько лет, слава Богу, тут не живу — отвыкла уже.

— Странно тут?

— Очень. Я почти ничего не видела, но атмосфера сама...

— Чужая?

— Она и была чужая — я тебе говорила, своей я себя никогда здесь не чувствовала, но теперь как-то по-другому чужая. Раньше слои были чётко видны, а сейчас каша какая-то. И эти твои уроды, и делишки ваши все... Чего вы хотите вообще? Чтобы что? Они-то своего добьются, а тебя вышвырнут как миленького.

— Посмотрю я, как они меня теперь вышвырнут. Слушай, я же сказал: кончено об этом. Ты устала, отдохнём лучше, пока время есть. Я и сам вымотался, честно говоря. Отдохнём, ладно?

Она почувствовала, что он и впрямь успокоился немного, расслабился впервые за эту странную неделю, и в голосе его зазвучали знакомые ернически-интимные интонации, которых так и не услышала она ни разу ни у одного человека ни в Германии, ни во Франции, ни в Швеции, ни в Америке — нигде и ни у кого, хотя всё время ждала, искала — сначала бессознательно, не отдавая себе отчёта, а последние годы вполне осмысленно, постепенно теряя надежду и смысл этого поиска — если не повторения *его* в ином и иностранном воплощении, то хотя бы сходства, хоть намёка на этот чрезмерно живописный облик не то прощелыги, не то романтического героя, на эти пиратские повадки в сочетании с мягкостью манер; хоть далёкого отзвука носового мяукающего голоса, от которого у неё всегда с чёткостью безусловного рефлекса сжималось что-то внизу живота.

Часть первая

Она вздохнула глубоко и откинулась на спинку сиденья. Её нелепое и страшноватое приключение наконец приобретало смысл; вьюга за окнами машины перестала пугать первобытной неистовостью и превратилась просто в скверную погоду, боль в висках не прекратилась, но поутихла и стала вполне переносимой.

Она развернулась почти спиной к окну и почувствовала, как знакомо, сдавливая уши полузабытым шорохом пустоты, от неё уходит время. Снова наступала эта пауза во времени и пространстве, «состояние внутри скобок» — как много лет назад она для себя сформулировала, пытаясь понять природу безмятежного покоя, в который она против всякой логики погружалась всякий раз в первые же минуты их коротких сумбурных свиданий. Это так не присущее ей до их встречи состояние ленивого и весёлого легкомыслия, бездумной радости, не заглядывающей даже на час вперёд, — а *завтра* или *через неделю* становилось при этом и вообще чем-то до смешного неправдоподобным, — совершенно оставило её после разлуки с ним. Она опять была сама собой: клубком беспокойства, смутного беспредметного страха и суеверной боязни завтрашнего дня. Утрата этой неведь откуда взявшейся счастливой способности — превращать каждую минуту в солнечную пляжную бесконечность — была до того бесповоротной, что даже не оставляла места сожалению: восстановить ощущение мягко шелестящей ласковой пустоты оказалось невозможно и в чисто логическом представлении, и подавно — на уровне эмоций. Осталась только невнятная память о какой-то другой жизни, более объёмной и яркой по цвету, в которой жила другая женщина, лишь носящая то же имя. Она была счастливей, потому что была лучше... или наоборот.

Иногда она думала, что, может быть, это непонятным образом законсервированное чувство, неизменное во времени и пространстве, сидящее в ней, как инкапсулированная пуля, эта непреложная, безусловная тяга к человеку, оставшемуся в её прежней, давней, дальней, ненужной и даже неинтересной теперь жизни, — не любовь вовсе, хотя в нём сохранялись все приметы любви. Может быть, это было влечение не к нему са-

мому, а к себе, какой она становилась в его присутствии, к той себе, лёгкой и спокойной, что и теперь где-то в иной реальности бездумно и радостно проживает рядом с ним свои счастливые, никогда не кончающиеся полчаса, выкроенные на этот раз ими обоими просто чудом среди сумасшедшего дня, посреди безумного города.

Встретившись с ним вновь, после стольких лет безоговорочной разлуки, она нетерпеливо ждала возобновления этого чувства, и оно действительно несколько раз возникало у неё, но ненадолго и не так остро, как она ожидала, а как бы полустёрто, нерезко, и только теперь, в машине, пробирающейся неизвестно куда и зачем между вращающимися снежными воронками, глядя на его руки, лежащие на руле, поднятый воротник нелепой пиджонской куртки, сигарету в ближайшем к ней углу рта, она наконец ощутила долгожданный провал во времени, тёплый сонный покой и вместе с ним лихую энергичную бесшабашность.

«Как под наркотиком, — подумала она. — Наверное, наркоманы так чувствуют. Ясно тогда, почему их невозможно вылечить. Кому ж охота? Я ведь не вылечилась. Потатилась чёрт-те куда... Ну и ладно. И правильно, что потатилась. Голова бы вот прошла. Хорошо он машину ведёт. Не умел, когда я уезжала. Хорошо ведёт, и вообще он удивительный весь. Или правда у меня какое-то повреждение в мозгах. А хоть бы и так. Какая мне разница, если так хорошо. Ещё долго ехать... Долго-долго... Где-то будем ночевать... Хорошо, что голова болит: фиг-то уснёшь с такой мигренью, а спать — жалко. Удивительно красивый он всё-таки...» — и неожиданно рассмеялась, просто залилась хохотом вслух, до того это слово к нему не подходило.

— Ты что? — спросил он растерянно.

— Подумала: какой ты красивый.

— Смешно, действительно, — ухмыльнулся он, — что это ты вдруг?

— Не вдруг.

Она почувствовала, как напряглось его внимание, сосредоточившись — наконец-то — на ней.

— Разве ты... Всё то же?

— Конечно. Ты что, не знал? А с чего бы я здесь была?

Часть первая

— Я думал, честно говоря, другие соображения.

— Какие? Спасать страну? Ты же сам говоришь, что я в этом ровно ничего не смыслю. И не хочу. — Она помолчала. — Скажи всё-таки, это — ГБ? Ты же ненавидел их больше, чем мы все...

— ГБ нету уже давно.

— Я не о названии говорю. Ладно, не хочешь — не надо. А насчёт тебя и меня — нет, ничего не изменилось и в следующие сорок лет вряд ли изменится. Если тебя это огорчает, помочь ничем не могу. Огорчает?

— Нет.

Она наклонилась вперёд и заглянула ему в глаза — в правый глаз, чуть прищуренный от сигаретного дыма. Он покосился на неё, и снова она узнала это сумасшедшее состояние: замирание под ложечкой, мягкая боль внизу живота и медленное, мощное кружение головы. Взгляд его, как бывало раньше, внезапно стал дикарски весёлым, словно из-под обличья супермистического интеллектуала выглянул голый наглый фавн, поддразнил высунутым языком, похлопал себя по смуглому гладкому животу и спрятался с хихиканьем.

— А где мы будем ночевать? — спросила она вдогонку фавну. Но того и след простыл. Только верхушки кустов зашевелились вдоль тропинки. Солнце к полудню раскалилось до желтизны, от него шла колеблющаяся дымка, но вода в ручье оставалась ледяной, и они забавлялись, то опуская ноги в воду, чтобы ступни заломило от холода, то подставляя их солнечным лучам, пока не станут совсем горячими. Спорили, у кого быстрее согреются, трогали ноги друг у друга губами, потом языком, потом она лизала его узкие ступни, искоса и снизу заглядывая в исказившееся лицо, и слушала, замирая, задыхающийся злой шёпот: «Всё, прекрати, я не могу, слышишь, я не могу больше, а-ах, не могу...» Из-за поворота тропинки показалась стая олешек, они шли на водопой, и надо было притаиться, чтобы не вспугнуть их. Она положила голову на его впалый твёрдый живот, прикрыла глаза, под веками поплыли оранжевые амёбы.

...Жарко, жарко, как сладко ноют виски, что за звон вокруг, ах, это пчёлы, в такой зной они летают низко, лениво, жужжат нехотя, густо... Он, едва шевеля пальцами, перебирал корот-

ко остриженные волосы на её затылке, рука медленно поползла ниже, по позвоночнику побежала дрожь, колени вздрогнули и сомкнулись, она потянулась губами вверх, к крошечному тёмно-сиреневому соску..

— Ты спишь? Выходим. Тут пересаживаемся.

Машина стояла.

— Куда? — спросила она сквозь горячую жёлтую дымку, и голос её прозвучал где-то вдалеке, отдавшись в затылке болезненным эхом.

— В другую машину. Ты совсем разоспалась.

— Долго я спала?

— Да нет, минут десять.

— Голова болит, — пожаловалась она не ему, а кому-то, кто остался в жарких зарослях кустарника у прозрачного ручья.

— Сейчас пересядем, примешь аспирин. Там есть аптечка, и чем запить найдётся.

— Где — там?

— О, Господи, да в другой машине.

— А зачем нам другая машина, эта, по-моему.. Ох, прости, я что-то никак проснуться не могу.

— Надо было высыпаться эти дни, я же предупреждал.

— Да вроде... Всё, я уже в порядке.

— О'кей, тогда вперёд? Ты выходишь первая, идёшь вдоль дороги, я тебя догоню минут через пятнадцать, уже на другой машине. Оглядываться не надо, я сам тебя окликну. И если вдруг, что маловероятно, кого-то встретишь за эти полчаса — никаких разговоров, никаких знакомств, разумеется.

— Кого тут встретишь?.. Так полчаса или пятнадцать минут всё-таки?

— Какая разница?

— Ничего себе! Ты посмотри, какая погода.

— Вьюга уже улеглась.

— Холодно...

— Да что ты всё время мёрзнешь? Ты не заболела случайно? Этого бы ещё не хватало!

— Нет, нет. Просто я хочу знать: пятнадцать или... Ладно, неважно, я пошла.

Часть первая

— Эй, погоди, ты что, обиделась? Слушай, ты в самом деле здорова? Что-то ты мне не нравишься.

— Правда? Жаль.

— Не валяй дурака. С этим мы тоже разберёмся, дай только границу перейти. В Варшаве, идёт? Там есть чудный отельчик, совсем парижский. Пару дней там пересидим. Мне есть что сказать тебе на эту тему.

— Ты про какую тему?

— Уж будто не поняла. Раньше понимала с четверть слова. Сударыня, я имею в виду ту единственную тему, которую мы так плодотворно обсуждали с вами неоднократно и в гораздо менее комфортных условиях, чем этот милый варшавский отельчик. Обещаю, что информация, которую я имею по этому поводу вам сообщить, предельно вас заинтересует. Поняла? Давай тогда быстро на выход. Время.

Она уже открыла дверцу, когда он вдруг вывернулся из-за руля, схватил её за плечи, с силой развернул, прижал к себе, поцеловал в губы, быстро, коротко, грубо, раз, другой, третий, потом в обе щёки, в лоб, в нос, опять в губы, сжал плечи через мех шубы, так же резко оттолкнул, перебросил себя на прежнее место, достал сигареты, сказал, встряхивая пачку:

— Иди теперь. Пора. Не бойся ничего. И не сердись на меня.

«Он меня покупает, — думала она, стараясь идти ровно вдоль обочины и чувствуя, что её пошатывает, как с перепою, — он покупает меня — на себя. Смешно... Он же умный и психолог вроде хороший, как он не понял до сих пор, что ему даже пальцем не надо шевелить, только появиться, только появиться... Зачем я спрашивала о времени? Я даже на часы не могу посмотреть: боюсь отвернуть варежку, чтобы холод в рукав не проник. Господи, какой холод, как тут только люди живут. Как я тут жила столько лет. Сейчас эта прежняя жизнь кажется каким-то скучным экзотическим романом. Вся — кроме него. Поразительно — за столько лет во мне ничего не изменилось. Когда он появился в Мюнхене с этой застенчиво-наглой мордой, сразу было ясно как белый день, что он просто-напросто хочет меня использовать. Но мне-то и слава Богу, я ведь только и мечтала: используй меня, ты, ты, ты — используй хоть как-

нибудь! А он, значит, и не понял... На что же он тогда с самого начала рассчитывал? Неужели и впрямь на мой патриотизм, которого у меня отродясь не было, — и он это отлично знает.

Что ж голова-то так болит... Может, я вправду заболела? Наплевать. Отельчик, отельчик в Варшаве. Там, конечно, есть ванна. Принять горячую ванну и залезть в чистую постель. С ним. О Господи, неужели это будет? Странно, здесь у меня даже после душа ощущение какой-то нечистоты. Будто из воздуха грязь возникает. Какой он смешной был, когда обещал любовные радости в Варшаве. И не понимает, что... нет, конечно, я хочу, ещё как хочу, добраться бы только до этой Варшавы... но главное — видеть его, видеть, слышать... Морду эту дурацкую, голос... как у кого?.. как у жиголо — вкрадчивый и наглый... но и печальный тоже — это уже совсем не как у жиголо...

Неужели я всё-таки заболеваю? Теперь голова кружится, мало ей было болеть. Нет, это из-за него. Тогда, в первые дни, я тоже всё время как шалая ходила, как пьяная, отвечала невпопад, все смеялись... Как я тогда шалела от него... Сейчас тоже, но я могу анализировать, поэтому всё по-другому. Но не очень по-другому, не очень... Главное сохранилось. Я опять не думаю сейчас — сколько нам осталось, сколько мне осталось быть с ним — три, четыре дня, неделю... И раньше никогда не думала. Тогда, в ресторане, уже перед отъездом, всё время себе напоминала: эй, смотри, осталось тебе чуть-чуть, пойми, осознай — и хоть бы что — сидела счастливая, водку пила, он меня под столом тискал, чуть до крика не довёл, потом ещё этот кретин ко мне у вешалки привязался, еле их разняла... А потом... Нет, это на следующий вечер...»

Сзади возник звук мотора.

«Хорошо бы это он был, — подумала она, — ноги совсем зачоченели. А вообще, даже лучше, если ещё немного подождать. Самое счастье всегда было — ждать его, когда точно знаешь, что уже скоро... Поцеловал так, словно боится больше не увидеть. Господи, Господи, как всё хорошо, лучше, чем я надеялась! Если б только голова прошла...»

Голова прошла ровно через полминуты. И всё прошло. Из зарослей показалось лукавое курносое лицо фавна, он оглянул-

Часть первая

ся по сторонам, в два прыжка оказался рядом с ней, схватил цепкой рукой за предплечье и увлёк с обрыва вниз, вниз, кубарем вниз. Визжа, хохоча и цепляясь друг за друга, катились они по нагретой полуденным солнцем мягкой траве с невообразимой высоты туда, где внизу виднелся крошечный игрушечный домик с островерхой крышей. Она поняла, что это тот самый варшавский отельчик, только он был в Мюнхене, и даже сердце заболело от восторга: он решил остаться с ней там, наконец-то, наконец, она так долго мечтала об этом, но Мюнхен был теперь жарким и томным, как Венеция в июле, и безлюдным, как пустыня в Израиле, и они были там только вдвоём, валялись на горячем песке, и он щекотал её длинной травинкой, проводил ею вокруг груди, пока она не начинала ёжиться и вскрикивать, и он отбрасывал травинку, и клал голову ей на грудь, и затихал, а она гладила его по волосам, по маленьким острым рожкам, и воздух плавился на солнце, марево, окружавшее их, покрывалось рябью, и времени больше не было, и всё было всё равно.

Ей и при жизни было бы, вероятно, всё равно: газет она почти не читала. Тем более что тёмная история со скандальными документами, найденными возле трупа эмигрантки в глухом Подмоскowie, большой сенсации не произвела. Скандал удалось замять.

Труп отправили в Мюнхен воскресным рейсом «Аэрофлота», которым улетала она когда-то из Москвы. Близилась весна, и день был такой же солнечный и ледяной, как десять лет назад.

Дело, заведённое Московской областной прокуратурой, закрыли через несколько недель: в ту февральскую ночь напролёт мела метель, и следов — ни машины, ни водителя, скрывшегося с места происшествия, — обнаружить не удалось.

Мюнхен, сентябрь 1993 — февраль 1994

Рассказ для Анны

Моя Анна падка на лесть. Я этим беззастенчиво пользуюсь. Укладывая её по вечерам, рассыпаюсь в комплиментах:

— Ты моя милая, самая лучшая, любимая, самая любимая в мире...

Она блаженно улыбается, и я беспрепятственно стаскиваю с неё кофточку и блузку, натягиваю через голову ночную рубашку. Дальше — самый ответственный момент: опуская вниз полы рубашки, нужно одновременно стянуть к коленям брюки вместе с трусами. Как правило, это мне сходит с рук, благо брюки на резинке, и я наловчилась это делать молниеносно, так что она даже не успевает понять, в чём, собственно, дело. Иногда, правда, происходит заминка.

— Что вы делаете, — возмутилась она однажды, — что вы делаете, я же католичка!

Если она перед сном вдруг переходит на «вы», это тревожный сигнал. В последнюю минуту она может вывернуться у меня из рук и отправиться бродить по дому в одной ночной рубашке и босиком, как в старые добрые времена, до больницы, когда её ещё не пристёгивали на ночь. Дуня, конечно, придёт в восторг и кинется за ней, пыхтя и размахивая хвостом. Они чудно проведут время: Анна зажжёт свет внизу, будет ходить от пиани-

Часть первая

но к роялю — музыка, огни и дым коромыслом, — Дуня начнёт лаять у входной двери, хотя прекрасно знает, что, пока Анна не ляжет, я с ней выйти не смогу.

Поэтому стягиваю брюки я всегда с замирающим сердцем. Дальше уже легче. Я усаживаю Анну на кровать, поближе к середине, и стаскиваю с неё брюки с трусами, туфли и носки. Иногда она спрашивает, показывая на пояс на кровати:

— А это что такое?

— Это же твоё средство от боли в спине, — отвечаю я как можно небрежней и осыпаю её очередной порцией похвал: дело в том, что теперь мне надо подхватить её под коленки и опрокинуть на кровать, а перед этим спросить, можно ли мне ей помочь, и если она, разнеженная, кивнёт, то остальное уже пустяки. Как только она оказалась в кровати, я поднимаю боковинку, застёгиваю на Анне пояс и защёлкиваю магнитный замок. Всё! Теперь только надеть памперс. Но это проходит почти всегда гладко — она охотно ворочается с боку на бок, приподнимает попу и вообще ведёт себя, как кроткий ангел. Я так и говорю:

— Ты мой ангел. Ты просто ангел у меня.

Затем я снимаю с неё очки, накрываю её одеялом, опускаю жалюзи и снова наклоняюсь к ней:

— Спи спокойно, спи хорошо...

По-немецки здесь больше вариантов, и есть ещё одно выражение, которое приблизительно означает «пусть тебе приснятся сладкие сны».

— Спи спокойно, я люблю тебя, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — отвечает она сонно — снотворное уже начинает действовать — и берёт меня за руку, — я тебя тоже люблю.

Оставленный сад жил своей жизнью. В конце января из-под снега, который долго лежал этой зимой — почти три недели, — вдруг вылезли глянцевитые белые цветочки. Они заполнили весь сад и продержались около месяца. На смену им появились какие-то жёлтые и фиолетовые, с тугими листьями.

Потом бледно-голубые. Они росли так густо, что некуда было поставить ногу. Попробовала узнать у Анны немецкое название — иногда бывало, что она внезапно вспоминала какие-то слова, — но она вспомнить не смогла и, как всегда в таких случаях, стала пространно и взволнованно объяснять, что если вот эту штучку поставить на ту штучку...

В июне возле ограды, в кустарнике, появилось несколько кустиков земляники. Созревшую я срывала и ставила в рюмку на кухонный стол.

Сливы порозовели, потом потемнели и начали падать. Их расклёвывали птицы, иногда я подбирала несколько штук, мыла под садовым краном и давала Анне. Она ела неохотно, но, как всегда, очень благодарила:

— Ты такая милая. Спасибо большое. А чей же это сад?

— Это твой сад, Анна. Вспомни, это твой сад и твой дом.

— Да-да, конечно, только надо тут убрать, привести всё в порядок.

— Завтра уберём. Встанем пораньше и всё сделаем.

— Чудесно. Ты такая хорошая.

— Это ты хорошая.

— Нет, ты-ты-ты-ты-ты...

В эту игру она могла играть долго. Потом внимание переключалось, и она спешила в дом — перекладывать с места на место старые ноты, передвигать стулья или перелистывать телефонную книгу.

Мне хотелось остаться в саду, покурить и посмотреть, как в ветвях старой корявой яблони прыгают два дрозда, но я гасила сигарету и спешила за ней: оставлять её без присмотра даже на пять минут было небезопасно. Однажды я зачиталась и перехватила её возле плиты, где она уже включила две конфорки, на одну поставила пустую кастрюлю, а на другую — венок из зелени и искусственных цветов, который вешается на двери к Рождеству. В таких случаях единственное спасение — начать её горячо хвалить и благодарить, будто она здорово отличилась:

— Анна, ну какой же ты молодец, как ты это замечательно придумала...

Часть первая

Она расцветала и терялась, а я потихоньку расставляла всё по местам.

У Анны много одежды. В спальне — большой стеной шкаф, набитый кофточками, блузками, халатами, концертными платьями. Одно, тёмно-синее, мне нравится больше всех.

— Анна, расскажи, где ты бывала в таком красивом платье? На концертах, наверное? На концертах твоих учеников?

— Это же мой шкаф! — взволнованно говорит она. — Это мои вещи!

— Конечно твой. Тут всё твоё. Это ведь твой дом.

— Это мой дом, — успокаивается она. — Мой дом.

Ходит Анна всегда в брюках. Их у нас три пары: тёмно-синие, тёмно-серые и чёрные. Обычно она неделю ходит в одних, потом я её переодеваю. Иногда приходится переодеваться вне очереди. Это всегда очень сложно.

— Анна, посмотри, у тебя грязные штаны. Чувствуешь, как воняет? Давай скорей мыться и переодеваться.

— Нет, — говорит она решительно, — нет. Это от вас, может быть, воняет, а от меня нет.

— Ну а чьи это штаны такие грязные? Кто это наделал в штаны?

— Не знаю, — говорит она, — понятия не имею.

Приходится раздевать и мыть её насильно.

— Как вы смеете! — возмущается она. — Что вы делаете? Я в полицию заявлю!

И начинает плакать. Плачет она, как грудной ребёнок, — ей наплевать, как она при этом выглядит. Верхняя губа задирается, обнажая вампирские клычки, нос морщится, и Анна становится похожа на обиженного кролика. У меня сердце сжимается от жалости, но не оставлять же её до вечера обкаканной...

Из своих кофточек Анна больше всего любит серую, лохматую. Её она не снимает, а остальные непременно за день раз десять снимет и запрячет так, что я ишу потом битый час.

— Где твоя кофта, Анна? Куда ты кофту дела?

— Die Jacke? Sie jagt. Кофта? На охоте. — Анна удачно сострила и очень довольна собой.

В серой она себе нравится. Прихорашивается у зеркала.

- Анна, сколько тебе лет?
- Молчит.
- Сорок?
- Не-ет...
- А сколько? Двадцать пять?
- Нет, столько мне ещё нет.
- Восемнадцать?
- Да, да, восемнадцать!

Дуня ненавидела кошек. Заметив на улице одну из соседских, она бросалась на калитку всем телом, калитка скрипела, чёрная Дунина шерсть ходила большими волнами, разинутая пасть алела, слюна оставляла лужицы на плитках садовой дорожки. Непонятно, почему кошек так влекло в этот заведомо опасный двор, но они частенько шмыгали под калитку, чтобы потом спастись от разъяренного чудовища через сад. Одну пёструю дуру Дуня всё-таки настигла. Я выхватила кошку у неё из зубов в последнюю минуту. Разгорячённая погоней Дуня довольно ошутимо тяпнула меня за руку. Весь день после этого она выглядела больной, ничего не ела и судорожно вздыхала. Что это было — угрызения совести или тоска по ускользнувшей добыче?

Когда я впервые пришла в дом, Дуня встретила меня настороженно, даже огрызалась пару раз, если я пыталась её погладить. Но потом поняла, что от меня зависит не только кормежка — к еде Дуня была более чем равнодушна, — но и гулянье.

Через улицу от нашего дома начиналось большое поле, вдоль него шла узкая тропинка — это называлось «гулять в полях» и ценилось выше, чем простое гулянье по соседней Дамашкештрассе. В полях было больше запахов и мусора, там встречались банки из-под кока-колы, которые можно было облизать, и даже обёртки от пиццы, которые Дуня мгновенно сжирала, если я не успевала вмешаться. Это было особенно обидно, потому что битый час перед прогулкой я ползала перед ней на корточках, пытаюсь скормить ей хоть немного мяса, от которого она брезгливо отворачивалась.

Часть первая

Раньше мы ходили в поля каждый день, если не было сильного дождя. Тогда, вначале, мы ещё гуляли все втроём. Впереди шла Анна, бормоча по-баварски, за ней пыхтела Дуня, то и дело сходя с тропинки в высокую траву в поисках гадости, которую можно сожрать, сзади я, держа в руках Дунин поводок. Если кто-то попадался нам навстречу, мы пытались уступить дорогу, и Анна однажды чуть не упала, поскользнувшись на влажной траве, но кончалось тем, что встречный сходил с тропинки в траву и провожал нас взглядом — я всегда оборачивалась.

Потом Анну положили в больницу, а когда она оттуда вышла, совместные прогулки закончились. Теперь я могла гулять с Дуней, только пока Анна была пристёгнута к кровати. По утрам, если Анна уже проснулась и была беспокойна, я не вела Дуню в поля, а прогуливала её быстро по Дамашкештрассе, и у неё появилась привычка останавливаться на углу у поворота к полю, опускать голову и застывать в упрямой позе так, что её невозможно было сдвинуть с места.

Вечерами же мы ходили в поля всё лето, потом стало рано темнеть, и теперь мы могли ходить туда только в те редкие дни, когда Анна не просыпалась до нашего ухода. Но Дуня на всякий случай продолжала каждую прогулку останавливаться на углу и ждать чуда.

Я и сама любила ходить в поля. На дальней стороне поля была видна дорога, автомобильчики на ней выглядели игрушечными и нарядными, тропинка вилась под деревьями, в ветвях было полно дроздов, и небо было такое высокое.

У Анны красивые волосы. Мягкие, блестящие, совершенно перламутровые. Своей седине Анна иной раз удивляется:

— Я совсем себя не узнаю! А ты меня узнаёшь?

— Конечно.

— А я тебе нравлюсь?

— Нравишься.

— А ты мне как нравишься!..

— Вот и хорошо. Значит, мы будем сейчас чай пить.

— Чай! Чудесно!

Чай пить — это очень важное дело. Чай мы пьём пять раз в день. Первый чай Анна пьёт в постели. Обычно, когда я возвращаюсь с Дуней с утренней прогулки, Анна уже не спит. Она или поёт тихонько, или плачет:

— Мама, мама, ты где, где ты, мамочка...

Это самый подходящий момент войти и сказать:

— Guten Morgen, soll ich sagen...

— Und ein schönes Kompliment! — должна ответить Анна.

Я не знаю целиком этот стишок. У нас в обиходе только первые две строчки: «С добрым утром, вам скажу я, и прекрасный комплимент!» Дальше что-то про жену учителя, у которой кофе убежал, а молоко подгорело.

Я надеваю Анне очки, ослабляю пояс, которым она пристёгнута к кровати, сажаю повыше, поднимаю жалюзи и приношу поднос: чай и тосты с маслом, творогом и медом. Она иногда удивляется, что это белое под медом, но ест охотно. Пока она завтракает, я сижу рядом. Раньше я подавала ей поднос и уходила покурить, но в последнее время она стала теряться — то уронит тост на одеяло, то вообще забудет про хлеб и пьёт пустой чай. Надо сидеть рядом и тихонько приговаривать:

— Теперь хлеб. Вот как хорошо. Это же вкусно, правда? А теперь чай. Ещё глоток чаю. Прекрасно.

Как правило, Анна просыпается в хорошем настроении. Очаровательно мне улыбается, с удовольствием завтракает и выпивает полную чашку чая. В чае — три утренних лекарства, поэтому чай должен быть выпит до дна. Но бывают дни, когда Анна в хандре — всё не по ней. Тогда она со мной на «вы» и очень суха. Однажды на мои уговоры допить чай сказала:

— Я, моя милая, не ребёнок, которым вы можете руководить.

В таких случаях надо без возражений выйти из комнаты, переждать несколько минут и войти снова с тем же самым «Guten Morgen...». Иногда это даёт замечательные результаты: утро начинается заново, и Анна расплывается в улыбке.

Я люблю смотреть на Анну за завтраком: она так старательно склоняется над подносом, очки сползают на кончик курно-

Часть первая

сого носа, волосы распадаются на пробор — прилежная седая девочка.

После завтрака должно пройти полчаса, пока подействует лекарство, чтобы не было никаких сюрпризов при одевании. Она откидывается на подушку и лежит спокойно. Ей только надо знать, что я где-то рядом. Поэтому, если я сижу в смежной комнате на диване и ей меня не видно, я время от времени окликаю её нашим всегдашним «Halli-Hallo». «Hallo-Halli», — отвечает она.

Дом был старый. Облицованный белой плиткой, с высокой черепичной крышей и крыльцом сбоку, он был похож на детский рисунок. В Трудеринге, пригороде Мюнхена, много таких домов. Но только в нашем доме на всех окнах и на балконной двери были решётки.

Самая большая из нижних комнат — комната для занятий — была вся обшита деревом, даже потолок. В ней стоял рояль, шкафчики в углу были забиты книгами и нотами, перед старым большим диваном — низкий круглый стол и у противоположной от рояля стенке — пианино. Рядом с пианино — застеклённый шкаф со всякой всячиной: шкатулками, плюшевыми игрушками, фарфоровыми фигурками, нарядными свечками, бронзовыми слониками... Этой мелочью был набит весь дом.

Основное занятие Анны было — без конца перебирать ноты и книги и переставлять все эти финтифлюшки. Она носила их сверху вниз, снизу вверх, водружала посреди стола в верхней комнате, прятала под подушку на кровати, засовывала себе под кофту... Я едва успевала расставлять их по местам. Чугунного ангела с острыми длинными крыльями я однажды обнаружила в кастрюле, куклу, обшитую дерюгой, в платье с оборками — в масленке, в холодильнике. Старые открытки, пожелтевшие афиши, программки концертов — дом был полон обломками прежней жизни.

Афиши и программки сообщали о выступлениях Йошико Кавамото — маленькой пианистки из Японии, воспитанницы

профессора Анны Байрль. Круглое детское лицо сосредоточенно, сильные пальцы — на клавишах рояля. Восемь, десять, тринадцать лет.

Анна приносила мне программку, тыкала пальцем в фигурку за роялем, расплывалась в улыбке.

— Ах, это Йошико! — говорила я радостно.

— Да, да! Да, да! — кивала Анна.

— Очень красивая. А какая талантливая!

— Да! — счастливая Анна прижималась к программке щекой.

Анна любит гулять.

— Анна, собирайся, пойдём гулять.

— Гулять! Замечательно! А остальные?

— А остальные подождут дома.

— Нет, пойдёмте все вместе. Мама! Тилли! Гулять!..

— Вот видишь, они решили остаться дома.

— А собака?

— Собака тоже подождёт. Я с ней вечером схожу.

— Ну, пойдём тогда.

И мы идём. Анна, нарядная, в наглаженной блузочке летом, в широком баварском пальто зимой, волосы блестят на солнце, радостно озирается по сторонам:

— Смотри, какой красивый палисадник! Ах, какие розы!

— Да, красиво, но твой сад ещё лучше, — неизменно отвечаю я.

— Правда?

— Ну конечно.

Летом, в жару, мы любим гулять по Дамашкештрассе — вдоль неё растут мощные старые липы, под ними можно укрыться от солнца.

— Анна, ты помнишь, мы гуляли здесь с тобой прошлым летом, вот и ещё год мы пережили.

— Да, мы гуляли, я помню, и с мамой.

— Ну да, с мамой. И с собакой.

— И с собакой.

Часть первая

Мы встречаем соседей. Они почтительно останавливаются.

— Добрый день, фрау Байрль.

— Добрый день. Как ваши дела?

— Спасибо, хорошо, а как ваши?

— Всё в порядке.

Тут я раскланиваюсь.

— Извините, нам пора.

Ещё минута, и Анна начнёт объяснять, что надо эту штучку поставить на ту штучку, и весь благообразный разговор рухнет. Конечно, все они знают, что Анна больна, но я дорожу степенностью наших бесед со знакомыми и обрываю разговор, не доходя до опасного предела.

Иногда нам встречаются женщины с маленькими детьми.

— Деточка, детка моя, — говорит Анна и вся сияет.

— Идём, Анна.

— Деточка, малышка...

— Идём, идём!

В конце концов я увожу её, но она ещё долго оборачивается вслед.

Есть утренний маршрут, есть вечерний маршрут, есть маршрут к церкви. Церковь от нашего дома недалеко — звон колоколов доносится до нас утром и вечером.

Я открываю тяжёлую дверь, пропускаю Анну вперёд. Слева от двери чаша со святой водой. Я беру Анну за руку и окунаю её пальцы в воду. Дальше она всё делает сама — крестится, чертит пальцем маленькие крестики на лбу, на верхней губе и на груди. Церковь пуста. Мы подходим к первому ряду скамей. Перед тем как пройти к скамье, Анна делает книксен. Перед нами — огромное распятие, слева — статуя Божьей Матери с Младенцем. У Младенца маленькое нахмуренное лицо. Горят низкие свечки. Я встаю со скамьи, опускаю в жестяную коробку две марки и зажигаю две свечи. Потом возвращаюсь к Анне.

Когда я только появилась в доме, Анна пыталась давать мне уроки.

— Вы принесли ноты? — спрашивала она.

— Нет...

— Почему? Вот вам ноты.

И она давала мне прошлогодний телевизионный журнал. Я ставила его на пюпитр и садилась к роялю.

— Ну, начинайте.

— Фрау Байрль, я не умею играть.

— Почему?

— Я не училась.

— Ничего, я вас научу. Начинайте...

В конце концов я начинала играть гамму до мажор — единственное, что помнила. Анна дирижировала указательным пальцем, склонялась ко мне, прикрыв глаза, потом вскакивала, выпрямлялась, запрокидывала голову, дирижируя уже обеими руками, а я всё играла — во всю длину клавиатуры...

Потом я использовала эту игру, если Анна начинала очень уж ретиво таскать из спальни одеяла и подушки, или по вечерам, если она плакала и я не могла её отвлечь. Это помогало безотказно.

— Может быть, вы позанимаетесь со мной?

— О! Охотно!

И мы садились к роялю. И опять я играла бесконечные гаммы, и Анна в упоении размахивала руками.

Проходило время.

— Может быть, вы позанимаетесь со мной?

— Да, конечно...

Подошла к шкафу, достала из него зелёного японского льва с оскаленной мордой и сунула мне в руки:

— Вот, пожалуйста! — И испуганное румяное личико: — Вы это хотели?

— Это, это, спасибо.

Иногда она садилась к роялю сама. Долгий звук, другой, несколько разрозненных аккордов, потом, зацепившись за последнюю ноту: *...фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля...* Все та же нескончаемая гамма до мажор.

Услышав звуки гамм, Дуня, где бы она ни находилась, вскакивала и, переваливаясь, бросалась под рояль. Плюхалась на

Часть первая

пузо, опускала голову на лапы и могла лежать так бесконечно, взмахивая изредка хвостом. Там, под роялем, у неё вообще было любимое место.

Пол в комнате для занятий был паркетный. Широкие светлые дощечки, уложенные елочкой. С каждым днём Дуне становилось всё трудней выбираться из-под рояля — толстые, с виду такие мощные лапы беспомощно разъезжались на блестящем, гладком паркете. Чтобы помочь ей, нужно было подлезть под рояль и упереться ладонями в задние лапы.

Однажды я поняла, что так мы не выберемся: едва Дуня вставала на задние лапы, начинали проскальзывать передние. Я вылезла из-под рояля, подхватила её под мышки и потянула вперёд. Видимо, я причинила ей дикую боль. Она взвизгнула детским голосом и укусила меня за руку. Я ещё разглядывала укус, когда Анна, схватив с пюпитра деревянную вешалку, которую она в этот день поставила на него вместо нот, во всю длину руки замахнулась на Дуню. Я отобрала у Анны вешалку, а Дуня в это время каким-то образом самостоятельно выбралась из-под рояля. Тяжело дыша, она улеглась на ковре возле кафельной печки.

Подождав, пока она успокоится, я пошла к ней мириться.

— Дуня хорошая, — говорила я, — Дуня не хотела, Дуня нечаянно. Ну, давай посмотрим, где болит.

И потихоньку щупала её. Морда, передние лапы — ничего. Живот, грудь... Спина... Тут она вздрогнула и дёрнулась ко мне оскаленной мордой. Спина, конечно. Несчастье всех больших собак.

В дом стал ездить ветеринар.

Анна любит читать. В доме много книг. Биографии музыкантов, теория фортепьянной игры, разрозненные томики классиков, яркие книжки о зверушках, птицах и бабочках, молитвенники и много всего другого. Если Анну долго не слышно, значит, она сидит с книгой в жёлтом кресле у рояля.

— Что ты читаешь, Анна? Атлас автомобильных дорог? Как интересно! Только не держи его вверх ногами, ладно? Вот так.

Мы выберем с тобой маршрут и летом непременно поедem куда-нибудь далеко. Хочешь в Давос, куда ты ездила с мамой перед войной?

В простенке большой комнаты висит фотография — женская фигурка на фоне гор. Анна часто останавливается перед фотографией и иногда начинает плакать. Я беру её за руку и увожу.

Дуня лежит возле печки, хвост равномерно перекидывается налево и направо. В последнее время она почти не встаёт с места. Вывести её на прогулку теперь становится всё труднее. Иногда она падает посреди улицы и подолгу бьётся телом об землю, пытаясь встать. Я пробую помочь, но любое прикосновение причиняет ей боль, и мне приходится просто стоять и ждать, когда она встанет. Прохожие смотрят на меня неприязненно, но что же я могу сделать?

Анна становится с каждым днём всё молчаливее.

— Как дела, Анна?

— Не знаю...

Мы садимся пить чай. Анна больше не может правильно взять кусок тоста, я вкладываю его ей в руку. Вдруг она принимается пальцами собирать с тоста мед.

— Анна, что ты делаешь? Это не годится. Нужно есть аккуратно. Ты же всегда так красиво ела. Слышишь, Анна?

Молчит.

— Анна, ты слышишь меня?

— Не знаю...

— Ну, пойдём спать. Пойдём, моя милая, самая моя лучшая, самая любимая. Я так тебя люблю. А ты меня любишь?

— Эти люди...

— Какие люди?

— Те, что приходили. Они ушли?

— Ушли, ушли. Ну, давай раздеваться.

Утром приходит Йошико.

— Анна, посмотри, кто пришёл! Это же Йошико! Твоя любимая Йошико! Ты рада?

— Я хочу домой.

— Что это она говорит?

Часть первая

— Это она так часто в последнее время... Анна, ты дома. Это твой дом.

— Это мой дом...

— Вы считаете, в последнее время хуже стало?

— Нет, не хуже, нет, нет!

— Но вы же сказали...

— Я просто ошиблась, она и раньше так говорила.

— Да? Ну ладно, подождём ещё, посмотрим. Я для вас деньги принесла, посчитайте и распишитесь, пожалуйста.

— Спасибо, иду.

Уколы, которые делал Дуне ветеринар, перестали помогать. На вечерней прогулке она свалилась на мокрые листья и не могла подняться. Я стояла рядом и боялась к ней притронуться, чтобы не причинить боли. Лапы то выпрямлялись, то подгибались опять, хвост бился об землю. «Дуня, — говорила я, — Дунечка, ну попробуй ещё разок, ну постарайся...» Наконец она встала и, шатаясь, добрела до дома. Придя домой, рухнула в передней, возле запертой двери комнаты Йошико, где обычно спала по ночам, и закричала от боли. Поесть я принесла ей туда. Она против обыкновения быстро съела всё, что было в миске, и я немного успокоилась: пока собака ест, всё ещё не так страшно.

Ночью я проснулась от грохота. Посреди лестницы, распластавшись на ступеньках, лежала Дуня и смотрела на меня совершенно круглыми глазами. Она пыталась добраться до моей комнаты и скатилась уже с верхних ступенек. На руках я снесла её вниз и положила возле печки, на коврик. Она даже не огрызалась.

Утром я не смогла вывести её на прогулку. Она не поднимала головы. Я попробовала через час, потом ещё через час... Вечером я позвонила ветеринару. Он обещал прийти к одиннадцати.

Я покормила Анну ужином, потом повела её к Дуне.

— Анна, смотри, вот Дуня. Хорошая, хорошая Дуня. Погладь её, Анна, погладь.

— Я уже всё купила сегодня.

— Да, конечно, ты всё купила, а теперь погладь Дуню. Смотри, вот так.

— Где мама?..

Наконец она наклонилась и коснулась Дуниной шерсти кончиками пальцев. Я увела Анну спать. Раздевалась она без возражений.

Я сидела возле Дуни на полу у печки. Вечернюю порцию она уже съела. Я принесла ей ещё. Она и это съела. Я накрошила в миску собачьего печенья, которое давала ей изредка за хорошее поведение. Она быстро съела печенье и вылизала миску. Живот её с утра заметно раздулся. «Дунечка, — говорила я ей, — ты сделай все дела прямо здесь, пописай, покакай, а я всё сразу уберу, ты не будешь лежать грязная, не бойся». Она смотрела на меня серьёзно и спокойно.

Я сходила наверх и принесла старый молитвенник. «Каплям подобно дождевным, злии и малии дние мои, летним обхождением оскудевающе, помалу исчезают...» — читала я молитву на исход души.

Когда-то я спросила у одной знающей женщины, есть ли душа у собак. «Как у других — не знаю, а у моей есть», — сказала она.

В доме было тихо. Изредка что-то пощёлкивало в отоплении. За окном раздалась сирена «скорой помощи». Вот она проехала, и снова тишина.

Звонок в дверь. Я прошла по садовой дорожке, открыла калитку. Ветеринар держал в руках маленький чемоданчик. «Так вы решились? — спросил он, входя. — И давно пора. Что ж ей мучиться».

Увидев ветеринара, Дуня попыталась отползти в сторону, но лапы не слушались, большое тело дергалось на полу, не двигаясь ни на сантиметр. Ветеринар подошёл ближе. Дуня оскалила зубы и зарычала. Ветеринар открыл чемоданчик, покопался в нём и достал длинный широкий бинт.

— Вы сможете? Я сделаю петлю, накиньте её на морду и затяните.

— Я сделаю, конечно. Только, очень вас прошу, введите ей сначала снотворное и выйдите из комнаты, пока она не заснёт, а потом я вас позову, сделаете этот укол.

Часть первая

— Да вы не бойтесь, она ничего не почувствует.

— Но сначала снотворное, хорошо?

— Где у вас розетка?

Он достал из чемоданчика электрическую бритву. Длины шнура не хватило, и я пошла наверх за удлинителем. Заглянула к Анне. Она спала на боку, спокойно и глубоко дыша.

Сделанную из бинта широкую петлю я накинула на Дунину морду. Она сама помогла мне, просунув морду поглубже. Я затянула и завязала бинт. Ветеринар включил электробритву и начал выбривать переднюю лапу. Дуня зарычала и задёргалась.

— Дунечка, — говорила я ей, — потерпи, это же не больно. Ты сейчас заснёшь. Просто заснёшь у печки, как всегда засыпаешь, а я буду тебя гладить. Потерпи, миленькая, ладно?

— Это как наркоз, она не почувствует ничего.

— Только сначала снотворное, да?

— Держите лапу крепко.

Он убрал бритву, достал шприц, иглу, пузырёк с тёмно-жёлтой жидкостью, проколол резиновый колпачок, набрал жидкость в шприц.

Когда игла вошла в вену, Дуня даже не вздрогнула. Я сидела рядом на корточках и ждала, чтобы она заснула. И вдруг голова её стала медленно опускаться.

— Если хотите успеть, погладьте её сейчас, — сказал ветеринар.

— Это было не снотворное?

— Гладьте, гладьте.

Я опустила руку на Дунину большую голову. Она в последний раз дёрнулась под моей рукой и затихла.

— Дунечка, прости, — сказала я.

Ветеринар собирал в чемоданчик шприц и лекарство.

— Мне нужен большой плед или что-то в этом роде.

— Вы заберёте её с собой?

— А вы хотите оставить её до утра?

— Я не могу.

Я нашла у Анны в шкафу пушистый плед, раскрашенный под тигра. Мы перекатали Дуню на плед, взялись каждый

с двух концов и понесли Дуню к машине. Нести было тяжело. Плед в середине сильно тянуло к земле. В последний раз я увидела свисающую из пледа чёрно-бело-рыжую лапу.

Утром Анна спустилась вниз, огляделась вокруг.

— Что, Анна?

— А где моя... эта... эта...

— Что? — Вопреки всему, мне хотелось, чтобы она вспомнила.

— Я хочу в туалет...

Так мы остались вдвоём — Анна и я.

Анна любит смотреть телевизор. Особенно ей нравятся передачи про детей. Если на экране маленький ребёнок, Анна подходит к телевизору и гладит ладошкой экран.

— Маленький мой, малышка...

Я ей не мешаю.

Если показывают что-нибудь страшное, я тут же меняю программу, потому что Анна очень пугается. Автомобильные катастрофы, землетрясения, наводнения — всё это не для нас.

Однажды я не успела вовремя переключить программу, и Анна увидела ураган в Калифорнии. Она громко ахнула, и я принялась её утешать:

— Это не у нас, Анна, это далеко, в Калифорнии.

— Какая разница? Человек есть человек. Mensch ist Mensch, — сказала она мне.

Спортивные передачи Анна смотрит без интереса, зато музыкальные — с большим удовольствием. Однажды я включила телевизор как раз посреди джазового концерта. Яркий одетый негр играл на саксофоне. Саксофон пел невыразительным голосом. Вдруг Анна вскочила с места, подошла вплотную к телевизору, начала пританцовывать, хлопать в ладоши и тоненько подпевать.

— И я тоже, — говорила она, — я тоже хочу!

— Разве ты любишь джаз, Анна?

— Ля-ля-ля, — пела она отчаянно.

Часть первая

Летом в Берлине Кристо упаковал Рейхстаг. Мы с Анной долго смотрели, как хлопала от ветра ткань на стенах Рейхстага, а в кафе по соседству столы, стулья и даже висячие лампы упаковали в оберточную бумагу. Анна встала, пошла в кухню, открыла помойное ведро, достала пачку из-под творога, грязную бумажную салфетку и, тщательно упаковав творожную пачку, аккуратно положила её посреди стола.

Когда показывают мелодрамы, Анна остаётся равнодушной. Однажды актриса рыдала на экране, заламывая руки. Анна пристально смотрела на неё, потом встала, сказала презрительно: «У неё совсем нет проблем!» — и махнула рукой.

Телевизор у нас старый, он часто ломается. Тогда я вызываю мастера, и он увозит телевизор с собой. Анна садится в своё любимое кресло и недоумённо смотрит на пустой телевизионный столик. Она чувствует, что здесь чего-то не хватает, но чего — понять не может.

- Не расстраивайся, Анна, его скоро привезут, — говорю я.
- У меня здесь круглое, такое круглое...
- Что же это круглое у тебя?
- Надо проходить мимо.
- Ну, давай пройдем.
- А где дети?
- Да они давно спят. Пойдем и мы спать, хорошо?
- Хорошо. Сейчас каникулы?
- Да, Анна, у нас с тобой всегда каникулы. Пошли.

Снова наступила весна. Лили дожди, дули холодные ветры, из трубы дома напротив по утрам шёл дым, но почки набухли, а потом распустились.

В этом году в саду не выросли цветы — им не удалось пробиться сквозь прошлогоднюю траву. От яблони отвалилось несколько сухих веток, они упали, перегородив дорожку. Дорожку вообще было почти не видно — между плитками выросла трава. В кустарнике завелись ёжики. По ночам я ясно слышала их топоток и похрюкивание. Птицы селились в саду и нехо-

тя вспархивали при виде человека. Анна не хотела больше заходить в сад — заглядывала за угол дома и спешила обратно.

— Анна, пойдём погуляем в саду. Почему ты не хочешь?

— Не знаю.

— Он немного запущен, но это ничего, мы завтра же всё уберём.

— Он всё принёс?

— Да-да, он всё принёс, не беспокойся. Ну, пойдём домой.

Однажды рано утром пришла Йошико. Анна ещё пила первый чай в постели.

— Как дела?

— Всё хорошо.

— Я вчера говорила с врачами. Фрау Байрль сегодня переезжает в приют. Это специальный дом для таких больных, ей там будет хорошо. А вы сможете её навещать.

— Уже сегодня?

— Да. Вы же видите, она ничего больше не понимает. Ей всё равно, где она — дома или нет.

В руках у Йошико была большая клетчатая сумка.

Я начала собирать вещи. Положила брюки, синие и чёрные, — эту неделю Анна ходила в тёмно-серых. Положила блузочки, две остались неглаженными. Положила все три кофты — жёлтую, чёрную и Аннину любимую, серую пушистую. Концертные платья остались висеть в шкафу. Собрала бельё, трусики и маечки. Упаковала домашние туфли и босоножки. Сложила пальто и курточку. Это было похоже на сборы в отпуск. Наступало лето, и мы с Анной отправлялись далеко-далеко... В Давос.

Йошико сидела возле кровати и разговаривала с Анной.

— Тебе там будет хорошо. Ты ведь хочешь в приют?

— Не знаю...

— Вот видите, — обратилась она ко мне.

— Я ведь ничего не говорю.

— Ну, в общем, это решённый вопрос. Ключи занесите, пожалуйста, фрау Эрмель. Деньги я вам сейчас отдам.

— Хорошо.

Анна слизывала мёд с тоста.

Часть первая

— Доедай, Анна, — сказала я.

Йошико застегнула сумку и вышла из спальни.

Мы с Анной встали с кровати, пошли в ванную, помылись и вернулись в спальню — одеваться.

— Ты сейчас поедешь с Йошико, Анна. В Давос поедешь. Хочешь в Давос? Там горы...

— А ты? — вдруг спросила Анна.

Я оторопела. Так связно она давно не разговаривала.

— А я буду ждать тебя дома. Хорошо?

— Не знаю...

Йошико уже заглядывала в дверь спальни.

День был тёплый. Анна в последний раз спустилась по лестнице, вышла на крыльцо, зажмурилась от солнечного света. Возле калитки стояла большая белая машина. Йошико укладывала сумку в багажник.

— До свидания, Анна. Дай я тебя поцелую.

Анна вырвалась от меня и засеменила к машине. Я пошла следом. Йошико открыла дверцу машины, Анна торопливо забралась внутрь.

— Осторожно, Йошико, руку не прищемите.

— Вижу, вижу.

— До свидания, Анна.

Дверца захлопнулась. Машина медленно тронулась с места. За стеклом белела Аннина ладошка. Она всё махала мне, пока машина разворачивалась. Потом Анна села смирно, и мне был виден только её серебристый затылок. Машина завернула за угол.

Я вернулась в дом. Поднялась в кухню, помыла посуду, оставшуюся после завтрака. Собрала свои вещи, спустилась вниз. Постояла у холодной печки в большой комнате. Примятый ворс на ковре сохранял очертания Дуниного тела. На рояле лежал ржавый карманный фонарик, два карандаша и декоративная свечка. Я вспомнила, что забыла уложить Аннину тёплую косынку. В саду пели птицы. Я вышла на крыльцо, заперла дверь, прошла по дорожке, заперла за собой калитку и отдала ключи соседке.

Рассказы

Недавно я была в Трудеринге. Подошла к белому забору. Сад был расчищен. Цвела слива. Жалюзи подняты. На окнах — новые занавески. На траве сидела кошка. Именно таких — толстых и рыжих — больше всего ненавидела Дуня. Я постояла, покурила и пошла к автобусу через поля, обычным нашим вечерним маршрутом. Справа от меня шагала маленькая сгорбленная фигурка в серой лохматой кофте. Слева раздавалось пыхтение Дуни.

Мюнхен, август — декабрь 1996 г.

Женщина и собака в предлагаемых обстоятельствах

Я ставлю будильник на одиннадцать, но просыпаюсь раньше, в восемь, в полдевятого, принимаю таблетку транквилизатора — её надо разжевать, чтобы скорее подействовала, — иду в туалет, гашу свет в кладовке (я всегда оставляю его на ночь), потом захожу в гостиную, вынимаю телефон из гнезда и прячу его в маленькой комнате в кресло, накрыв старым свитером. Жалюзи в гостиной всегда подняты, иначе мои цветы погибнут без света, а окна низко над тротуаром, поэтому проскакивать в маленькую комнату и обратно нужно быстро, чтобы никто ненароком не заглянул в окно — я сплю голая. Я возвращаюсь в постель, вставляю в уши восковые затычки, ложусь на живот, согнув левую ногу в колене, и начинаю молиться: «Господи, помоги мне уснуть и спокойно проспать до одиннадцати».

Главное — проделать всё это автоматически, ни на мгновение не допустить до себя реальность, не произнести мысленно ни единого слова, а то не уснёшь ни за что. В это время Дёма, спавший всю ночь на полу возле кровати, вспрыгивает на кровать и ложится ко мне в ноги. Иногда удаётся снова заснуть и даже доспать до звонка будильника. Это удача.

Когда звонит будильник, я встаю, иду в кухню, нажимаю кнопку на кофейной машине — заправлена она с вечера, — на-

ливаю апельсиновый сок в стакан, приготовленный на подносе, там же чашка и молочник, приношу телефон, кладу его на поднос и несу всё это в кровать, не дожидаясь, пока сварится кофе. Поднос у меня раскладной, на ножках и с бортиками, на нём удобно пристраивается книжка. Я раскрываю книгу на странице, заложённой с ночи, пью сок и стараюсь понять, что я читаю. Если кофейная машина недавно прочищалась, кофе варится быстро — прежде, чем я выпиваю сок. Я приношу термос-кофейник в спальню и ставлю на поднос. Дёма лежит на кровати и смотрит на меня. Он знает, что, пока я не выпью кофе, не приму душ и не оденусь, гулять идти нельзя, поэтому ждёт спокойно.

В первые недели после переезда, выпив кофе, я сразу звонила кому-нибудь по телефону. Теперь я себе это запретила. Во-первых, из-за дороговизны телефона, а во-вторых, моё «кому-нибудь» — это всего два-три человека, и я больше не могу обременять их ежеутренними звонками. Изредка мне везёт, и кто-то из них звонит сам. Тогда очень важно сразу взять правильный тон и, главное, не заплакать. Проверено, что, если с утра заплачешь, так и будешь плакать весь день.

За кофе можно выкурить четыре сигареты из двадцати пяти, положенных на день. После кофе я должна помолиться. Молюсь я утром по правилу Серафима Саровского: три раза «Отче наш», три раза «Богородице...» и Символ веры. К этому я добавляю молитву о путешествующих, вставляя туда имя Ксюши. Она в Москве не путешествует, она там живёт, но для меня, если она не со мной — значит, в путешествии.

Дальше нужно приготовить Дёме завтрак и идти под душ. Мыться мне стало очень трудно — в это время начинаешь думать, поэтому под душем надо что-то читать. У меня есть старые журналы, которые не жаль забрызгать, их я и перелистываю в сотый раз. Пока я моюсь, Дёма лежит на коврик в ванной. Еда для него готова, но ест он неохотно, и, пока я не сяду рядом с миской на корточках, накормить его не удаётся. Одеваюсь я тоже с книжкой. Джинсы, которые я носила раньше и дома, и на улице, истрепались, и на прогулку приходится надевать чёрные брюки. Они у меня одни, их надо бы беречь, но купить новые джинсы я теперь не могу.

Часть первая

Балкона у меня нет, а в полуподвале моём всегда сумрачно и почти не видно неба, поэтому одеваться приходится наугад, и часто оказывается, что я оделась слишком тепло. Когда все уже были в майках, я всё ещё ходила по утрам в пальто.

Гуляем мы всегда по одному и тому же маршруту: из подъезда направо по нашей Кайзерштрассе, потом за угол по Рёмерштрассе и через перекрёсток на Пюндтерплац. Там есть небольшой сквер. Внутрь заходить с собаками нельзя, но с внешней стороны решёток — небольшие газоны, и мы гуляем по периметру вокруг сквера. Газоны загажены до отказа, потому что это место прогулок всех собак в округе.

Когда я переехала в эту квартиру, была зима. Сейчас зелено, трава на газонах пострижена и пахнет сеном, как всегда летом в Мюнхене. Я всю жизнь любила лето, а сейчас не дождусь, когда оно пройдёт. После переезда и всего, что случилось, Дёма стал плохо переносить жару, задыхается на прогулке, а мне теперь всё равно.

Во время прогулки мы встречаем местных собак, но я не подпускаю Дёму к ним, поэтому с хозяевами собак я не знакома. Знакома я только с продавцом кондитерской на углу, в которой я каждый день покупаю два ванильных круассана — это мой обед, — и с хозяйкой магазинчика, где продаются сигареты. Возле кондитерской, рядом со входом, есть табличка «Парковка для собак», и в стену вделан крюк. Я привязываю к нему поводок так, чтобы Дёма мог видеть меня через стеклянную дверь, тогда те несколько минут, которые я провожу в кондитерской — иногда я покупаю там ещё минеральную воду и молоко, — он не лает.

В табачный магазин собакам входить разрешается. Всякий раз, когда мы туда заходим, Дёма получает от хозяйки собачье печенье, поэтому он рвётся в эту дверь на каждой прогулке, даже на вечерней, когда всё давно закрыто.

Самое сложное на прогулке — оттащить Дёму от всех мужчин, к которым он бросается издали, принимая их за Мотю. Кроме того, у последнего поворота к дому он начинает тянуть меня в противоположную сторону, по направлению к нашей старой квартире, — во время переезда я привела его сюда пешком, и он запомнил дорогу.

С утренней прогулки мы возвращаемся в час дня. Я сразу подхожу к телефону — посмотреть, нет ли чего на автоответчике, но, как правило, там ничего не бывает.

Дальше нужно подмести, расставить вчерашнюю и утреннюю посуду в посудомоечной машине и пропылесосить в гостиной и спальне. Мне не всегда удаётся заставить себя это сделать, поэтому в кухне постоянно валяется по углам Дёмина шерсть. Иногда я нахожу её даже на плите. Как она туда попадает? Может быть, это оттого, что я никогда не готовлю? В этой квартире я готовила только неделю в апреле, когда на моё пятидесятилетие приезжала Ксюша. Но и тогда готовить приходилось немного, потому что она ест самые простые блюда, которыми я кормила её в детстве.

В ту неделю, пока Ксюша была со мной, моё существование как будто приобрело какой-то смысл, и даже стало казаться, что я смогу жить дальше. Но потом она уехала, и всё стало по-прежнему. Звонит она редко, а сама я звонить ей не люблю: трубку почти всегда снимает Олег и говорит со мной так осторожно и участливо, что я сразу начинаю плакать. У Ксюши голос отстранённый и холодноватый — мне это легче. К тому же я знаю, что она никогда не любила Мотю.

После прогулки и уборки делать мне, собственно, нечего, и это значит, что наступает опасное время. Вначале, после переезда, я приносила из кладовки Мотин шарфик — единственное, что осталось в доме из его вещей, все остальные куда-то исчезли после похорон, может быть, их увезли Лариса с Лёшей, — складывала шарфик на столе в кучку, нюхала его и представляла, что Мотя сейчас позвонит с работы. Он обычно звонил в это время. В прошлом году пятого сентября исполнилось одиннадцать лет с тех пор, как он переехал ко мне на Изумрудную. Почему-то это число приводило его в восторг, и каждый звонок он начинал со слов: «Одиннадцать годочков вместе живём, уже двенадцатый!..» Потом я пыталась вспомнить похороны: какие лежали цветы в изножье гроба, кто во что был одет, кто и что мне говорил, но из этого ничего не получалось. Накануне отъезда Ксюша заметила шарфик в кладовке, позвала меня и медленно сказала: «Мама, я его не выбрасываю, пони-

Часть первая

маешь? Хотя и должна бы. Я убираю его в комод, и больше его не доставай оттуда. Хорошо?» Я кивнула и больше его не доставала.

Теперь, приходя с прогулки, я часто сажусь перед туалетным столиком и начинаю разглядывать себя в увеличительном зеркале. Всё происходит очень быстро. Сначала резче проявились от носа к углам рта складки, которые были у меня и раньше. Потом от углов рта вниз поползли глубокие борозды, как на трагической театральной маске. Подглазья отчеркнулись жёсткими тёмными линиями — правый глаз почему-то сильнее. На скулах появились припухлости, которые раньше возникали после бессонной ночи и исчезали, если как следует выспаться, — теперь они не проходят, даже если мне удаётся проспать восемь часов, а больше спать я всё равно не могу из-за Дёминых прогулок. Однажды утром я заметила, что над левой бровью, перпендикулярно к ней, залегла широкая морщина, доходящая до середины лба. Спустя несколько часов она разгладилась. Я стала следить за ней. С каждым днём она держалась всё дольше и через несколько недель осталась на лбу до вечера. Она выглядит как шрам, да так оно и есть.

Теперь я знаю, что морщины не появляются внезапно: сначала где-то сгущается тень, потом прорисовывается эскиз, словно выполненный тонкими карандашными линиями, и только позже — иногда спустя несколько месяцев — морщина определяется и застывает навсегда. Я смотрю в зеркало, и мне кажется, что всё это временно, не навсегда, что однажды этот ужас исчезнет с моего лица, я опять увижу в зеркале прежнюю себя, и тогда снова начнётся обычная жизнь. Я пытаюсь пальцами подтянуть кожу со щёк к ушам — ведь всего каких-то несколько миллиметров. Удивительно, с какой зловещей последовательностью это происходит: как будто по ночам, пока я сплю, кто-то склоняется надо мной со скальпелем и уродует, уродует моё лицо.

Однажды я спросила у Лёши с Ларисой, видят ли они то же, что я, и они наперебой начали уверять, что всё дело в выражении лица и глаз, что, когда я немного приду в себя, у меня будет совсем другой вид, и по их голосам сразу было слышно, что они врут.

Ксюшу я тоже спрашивала. Она помолчала, потом нехотя ответила:

— Катастрофы я пока не вижу, но, конечно, неплохо было бы сделать подтяжку. Деньги только...

— А сколько? — спросила я.

— Тысяч десять, я думаю.

— Ясно...

— Подожди, вдруг у Олега что-то наладится. Поделай массаж. Утром, после душа.

— Утром я же с собакой тороплюсь.

— Ну, вечером. Не будешь всё равно.

Я тоже знала, что не буду, но два раза попробовала. Это оказалось такой же бессмыслицей, как готовить самой себе обед. Самой приготовить и самой съесть, а после обеда убрать посуду. Единственное, что мне удаётся, — выкладывать круассаны на тарелку, а не есть их из бумажного пакета, как я делала вначале. Лёша сказал, что, если я буду питаться одними круассанами и орехами, у меня начнутся мышечные судороги. Тогда я купила в аптеке витамины. К сожалению, я всё время забываю их принимать. О транквилизаторе забыть невозможно: если его вовремя не принять, то ночью вообще не уснёшь, ни в три, ни в четыре, а днём начнёшь плакать и не сможешь остановиться. Однажды я плакала несколько часов подряд, а потом подошла к книжному шкафу и изо всех сил ударила головой об угол — шишка не проходила почти месяц, — и только тогда вспомнила, что не приняла днём транквилизатор.

Когда возвращаешься с собакой с утренней прогулки и знаешь, что весь бессмысленный бесконечный день ещё впереди, начинаешь мечтать, чтобы кто-нибудь пришёл в гости или хотя бы позвонил по телефону, но за те восемь лет, что я прожила в Мюнхене, у меня появилось совсем немного знакомых, и даже те приятели, что были, разбежались от меня сразу после похорон, как будто я заболела какой-то заразной болезнью. Остались Лёша с Ларисой, Ольга, Нина да ещё два-три человека, и я ими очень дорожу. Только почему-то, если я заговариваю о Моте, все они сразу переводят разговор на другое. Несколько раз я пыталась поговорить о похоронах — ведь это так

Часть первая

странно, что я ничего не могу припомнить, — но всякий раз кто-нибудь из них заводил речь о путёвке в санаторий, которую предлагает мне мой врач, хотя поехать я всё равно не могу: не с кем оставить собаку.

Я не только не могу никуда уехать, но даже не могу сходить в магазин или к врачу: в первые же дни после переезда стало ясно, что Дёма не может оставаться один в квартире. Стоило мне начать одеваться, чтобы выйти из дома, он принимался дрожать, а как только за мной защёлкивался замок, раздавался истошный визг, и дверь сотрясалась от ударов. Поначалу я думала, что он повизжит и успокоится, и пережидала, наблюдая за ним в окно, но он всё бился телом о дверь, скрёб лапами замок, а когда не мог больше визжать, начинал хрипло лаять и кашлять, и эти задушенные звуки были так страшны, что я бегом бежала домой. Увидев меня, он сразу переставал лаять и, всё ещё дрожа, прижимался к моим ногам.

Я предприняла ещё несколько таких попыток, пробовала разговаривать с ним через дверь и строго, и ласково, но добилась только того, что он надолго сорвал голос и научился догадываться о моём уходе не тогда, когда я шла к вешалке за курткой, а в тот момент, когда я только начинала об этом думать. При Моте, в старой квартире, он подолгу оставался один, и всё было в порядке. Просто теперь он решил, что его выкрали из дома и Мотя по-прежнему живёт там, а теперь уйду туда и я — уйду и не вернусь, и он навсегда останется один в этом страшном чужом месте. По-видимому, для него ничего не значит, что здесь стоит наша прежняя мебель и вокруг привычные вещи. Он боится. А мне невозможно уйти, оставляя за спиной отчаянный крик и удары маленького чёрного тела о дверь. Кроме того, соседи не станут терпеть эти дикие звуки, и нас выселят из квартиры.

Когда стало ясно, что я не могу выйти из дома, даже чтобы вынести мусор, я очень растерялась. Приходили то Ольга, то Лариса — посидеть с Дёмой, отпускали меня в магазин или в аптеку, но бесконечно так продолжаться не могло. Тогда Нина вызвала ко мне социального педагога из «Каритас». Пришла добрая смуглая женщина, и мы договорились, что по средам

с Дёмой на час-полтора будет оставаться мальчик, проходящий в «Каритас» альтернативную военную службу. Дёме мальчик понравился, и теперь я всю неделю записываю на приколотом к кухонному полотенцу листке всё, что нужно купить в среду, потому что забыть что-нибудь я не имею права.

Пойти вместе с Дёмой в магазин или в аптеку я не могу: при малейшем отклонении от привычного маршрута он начинает задыхаться. Теперь его даже нельзя возить к ветеринару, куда он ездил много раз в жизни, — через несколько недель после переезда подошло время делать очередную прививку, я посадила Дёму в такси, и у него в пути наступил коллапс. Хорошо, что это случилось уже на пороге клиники: наш врач прекратил приём, схватил Дёму на руки, добежал с ним до операционной, дал ему наркоз, начал искусственную вентиляцию лёгких и чудом откачал. Сажая нас в такси — Дёма ещё не отошёл от наркоза и висел чёрной тряпочкой, — ассистент ветеринара сказал, что собака, очевидно, перенесла тяжёлый стресс и отныне может находиться только дома, но не одна, а с кем-то или гулять по отработанному маршруту не более получаса. Поэтому мы гуляем только вокруг сквера, а к церкви Святой Урсулы, где больше зелени, просторнее газоны и не так много собак, повести его я боюсь — туда нужно идти в противоположную от подъезда сторону.

Если бы была жива мама, она оставалась бы с Дёмой, и я могла бы спокойно идти в магазин или к врачу и, может быть, нашла бы какую-то подработку, чтобы не приходилось экономить на сигаретах и еде и можно было купить новые джинсы. Если бы со мной была мама, всё вообще было бы по-другому. Но мама умерла за восемь месяцев до Моти. Перед смертью, уже с помутнённым сознанием, она несколько раз сказала мне: «У неё недоброе лицо...» — а я не спросила, о ком она, — решила, что это бред. Теперь я часто думаю: может быть, она говорила об Анне — есть какая-то Анна, которая желает мне зла, и из-за неё все мои беды, но я не могу вспомнить, кто это. На Мотиных похоронах её, по-моему, не было.

Странно, что мамины похороны я помню очень подробно. Мотя всё время держал меня за руку и спрашивал шёпо-

Часть первая

том: «Ты в порядке?» — и я кивала. На Ксюше была моя чёрная юбка, в которой я ходила в церковь, и чёрная майка с маленьким крокодилом слева на груди. Юбка была ей коротковата, и она её всё время одёргивала. День был тёплый, но, когда маму начали забрасывать землёй, сбежались густые облака и задул холодный ветер, я испугалась, что Ксюша замёрзнет, и хотела набросить на неё свой пиджак, но она дёрнула плечом, а я вспомнила, что мама в таких случаях всегда говорила «оставь её в покое», и отошла.

Кадиш над мамой читал Лёша — у него давно умерли родители, а человек, у которого они живы, читать кадиш не может. Наверное, над Мотей тоже читал он, но точно я не помню.

Мамина могила возле ограды, в самом дальнем конце кладбища, над ней растёт рябина, а в головах — вечнозелёный куст. Пока Мотя был жив, я ездила на кладбище каждую неделю, иногда вместе с ним, мы привозили маме розы, в начале лета посадили на могиле бегонии, а к зиме Мотя выложил холмик еловыми лапами и поставил большую керамическую вазу с еловыми шишками и сухими цветами.

У Моти на могиле я после похорон ни разу не была, кажется, это недалеко от мамы — там ведь несколько рядов эмигрантских могил. Лёша говорит, чтобы я ни о чём не тревожилась: он следит за могилой, и там всё в порядке. Я всё равно не могу туда поехать — мне не с кем оставить собаку.

Когда в апреле приезжала Ксюша, она ездила на кладбище. Я хотела, чтобы на следующий день она посидела с Дёмой и я тоже могла бы съездить, но у неё были дела в городе. Она купила для мамы много мелких белых роз, которые мама любила. Я спросила у неё, подходила ли она к Мотиной могиле, но она промолчала. Когда Ксюша о чём-то не хочет говорить, её невозможно заставить, и я больше не стала спрашивать.

Уезжая, Ксюша собиралась второпях и забыла свою новую длинную юбку в крупный горох. Я повесила её в свой шкаф и теперь глажу каждый день, после того как съем круассаны: когда Ксюша приедет, она сразу сможет её надеть.

Выгладив Ксюшину юбку, я сажусь читать. Читать нормальные книги я не могу и читаю только детективы. Мне приносит

их Лариса, и два раза я заказывала книги по русскому каталогу, когда там объявляли распродажу. Почти все они плохие, но для меня главное — скользить глазами по строчкам. Читая об убийствах, я пытаюсь понять, кто же убил Мотю, — ведь у нас не было врагов, а грабить его не имело смысла: он ехал домой с Берлинского фестиваля, и у него было с собой тридцать марок. Кажется, следствие ничего не установило.

Некоторые книги я совсем не могу читать — те, в которых встречается имя Анна или действует рыжеволосая героиня. Мне становится страшно. Иногда мне снится женщина с пышными рыжими волосами и продолговатым бледным лицом. Она что-то делает мне во вред, но я не понимаю — что, и не знаю, как её остановить.

Я знаю, что, когда приходит страх, надо молиться. Я открываю молитвенник на девяностом псалме — он помогает во время бедствия и при нападении врагов — и читаю его, дохожу до конца и снова читаю. «Не убоишия от страха ночнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тме преходящие, от сряща и беса полуденнаго...» Я повторяю и повторяю эти слова, но страх не уходит, и я боюсь и ночного страха, и дневной стрелы, и особенно «вещи во тме преходящие», и у меня возникает странное чувство, что я что-то забыла. И я стучусь и стучусь в мёртвые небеса.

За окном начинает темнеть, и я понимаю, что день идёт к концу. Тогда я начинаю поливать цветы. Их у меня много: три пальмы-юкки, большой фикус, маленький фикус, «декабрист», хлебное дерево и несколько горшков фиалок. Цветы тоже плохо переносят переезд — им не хватает света, и у меня больше нет балкона, чтобы выставить их летом на воздух. Чтобы они не погибли, с ними надо побольше разговаривать, но я не могу и только говорю им: «Потерпите, потерпите...»

Потом я долго сижу и смотрю на лампу над столом, и мне кажется, что плафон в форме тюльпана, взамен разбитого зелёного, купил Мотя, хотя я понимаю, что этого не может быть: ведь я переехала в эту квартиру после похорон. Всё это так странно. Потом наступает полночь.

Я кормлю Дёму, вывожу его на вечернюю прогулку, вернувшись, запираю дверь на два поворота ключа и на цепочку, засы-

Часть первая

паю в кофейную машину кофе, готовлю на утро поднос, принимаю транквилизатор, моюсь и ложусь. Ложусь я всегда на самый край, чтобы во сне не оказаться случайно на Мотиной половине кровати. Пока действуют таблетки, проходит около часа, но я стараюсь не засыпать подольше. В это время я читаю, курю и ем орехи, и жизнь становится немного похожа на настоящую, потому что в прежней жизни я тоже курила и читала в постели и всегда что-нибудь ела. Когда строчки начинают сливаться, я гашу лампу — свет в спальню проникает из открытой двери кладовки, — говорю Дёме «спокойной ночи» и закрываю глаза. Темнота внутри меня начинает медленно кружиться, и я кружусь вместе с ней.

Вдруг раздаётся телефонный звонок — это позвонил Мотя. Он позвонил, когда мы вернулись с утренней прогулки. Голос звучал как чужой, но я сразу его узнала.

— Послушай, что же ты творишь? От меня люди шарахаются на улице! Шурик Фишер позвонил и спрашивает: «Это правда, что ты жив?» Почему я должен это выслушивать?

Я молчала.

— Ведь ты не сумасшедшая, я знаю. Ты не сумасшедшая! — заорал он вдруг.

— Нет, — сказала я.

— Ты никогда не желала принимать реальность, так теперь тебе придётся её принять, слышишь? Я не умер, ясно? Прекрати меня оплакивать как невинно убиенного! Меня не хоронили на еврейском кладбище, надо мной не читали кадиш, ничего этого не было, я ушёл от тебя, пойми наконец.

— Нет, — сказала я.

— Что «нет»? Что «нет»?

— Нет. Ты не мог от меня уйти. Ты говорил, что никогда от меня не уйдёшь.

— Мало ли что я говорил. Мало ли кто что говорит. Послушай, — сказал он ласково, — а что, если ты попробуешь посмотреть на всё иначе? В конце концов, с твоей биографией... Ну, мужем больше — мужем меньше, подумаешь! Ты, может быть, ещё раз выйдешь замуж.

— Нет, — тупо повторила я.

— Что опять «нет»?

— Тебя нет. Если бы ты был, сам подумай, разве ты допустил бы, чтобы мне было так плохо?

— Чем тебе так уж плохо? Всё, что я должен был для тебя сделать, я сделал. Я снял тебе квартиру, всё устроил, у тебя всё есть, собака с тобой. Чего тебе не живётся? Миллионы людей уходят от жён, и никто от этого не умирает и других не убивает.

— Я тебя не убивала. Просто этот винтик в очках, который раскручивается, и ты вечером его всегда завинчивал, а я без очков его не вижу, и надо на ощупь, и тогда я поняла, что ты умер, иначе такого никогда бы не случилось.

— Да сходи в оптику, тебе там заменят винтик. Анна не зря говорит, что твоя мнимая беспомощность — идеальный способ паразитировать на близких.

— Анна?

— Не прикидывайся идиоткой, всё ты прекрасно понимаешь и помнишь.

— Да, помню, да. Анна. Конечно. Хорошо, я всё поняла. Прости, я больше не буду.

И я положила трубку.

Встала, сняла тапочки, надела туфли, пристегнула Дёме поводок. Дёма удивился неурочной прогулке и уткнулся носом в дверь. Долго искала в кладовке совок, с которым ездила раньше на мамину могилу, не нашла и взяла в кухне лопатку для торта. Достала из нижнего ящика комода Мотин бежевый шарфик, накинула его на шею, сунула в карман ключи, вышла с Дёмой из дома и захлопнула дверь.

На улице светило солнце, и сквер был полон детьми. Я привязала Дёму к решётке, погладила его и попросила: «Не лай, пожалуйста, тебе всё время будет меня видно». Вошла в сквер через низкие воротца, прошла в дальний угол, где в тени большого клёна земля оставалась влажной после ночного дождя, села на корточки и начала копать землю лопаткой для торта. Ямка вырылась легко. Я сняла Мотин шарфик, свернула в трубочку и положила на дно ямки. Оглянулась на Дёму. Он сидел напряжённо, до отказа натянув поводок, но молчал. Я забросала ямку землёй, выпрямилась и секунду постояла.

Часть первая

Солнечные лучи, проходя через резную листву клёна, ложились сложным узором на чернеющий среди травы пятачок утопанной земли. Я вернулась к Дёме, отвязала поводок от решётки и пошла к дому. Было не жарко, и когда мы дошли до подъезда, Дёма почти не запыхался. Я слегка потянула его за поводок вперёд, мимо нашего дома, он охотно подчинился, и через несколько минут мы были уже возле церкви.

Церковь была сложена из красного кирпича, с зелёным куполом и стройной колоколенкой. Четыре колонны по фасаду, затейливый фриз и яркая фреска на фронте. На фреске был изображен белый агнец, два ангела, справа и слева, протягивали к нему руки. Ангельские крылья покрывал цветной мозаичный орнамент.

Перед мраморными ступенями церкви начинался просторный газон, разделённый посередине дорожкой. По одну сторону от неё рос старый ясень, длинные серёжки его почти касались травы. По другую — мощный куст жасмина, весь покрытый светящимися атласными соцветиями.

Дёма бросился к кусту, остановился, насторожил уши и попятился. Я подошла и заглянула под куст. Показалась узкая мордочка, блеснули на солнце серебряные кончики иголок. Под кустом сидел ёж. Дёма тявкнул, сделал стойку и замер. И точно в такой же позе, чуть приподняв левую переднюю ножку с лёгким копытцем, замер на фронте церкви белый барашек с золотым нимбом над кудрявой головкой.

Мюнхен, август 1999 — март 2000

Часть вторая

Разноцветные картинки

Перед вами материалы из моей старой рубрики в литературном приложении к газете «Русская Германия». Я про себя называю их «эссешками» — то есть как бы и эссе, но в то же время — газетные. С темой было просто: для всякого номера она задавалась редактором. Какой именно теме посвящена каждая эссешка, мне кажется, ясно из названия и содержания текстов. Поскольку почти в любом материале время движется «от прошлого к настоящему», показалось наиболее разумным датировать их по первой временной точке повествования — так, по хронологии первого посыла, они и расположены.

Я БЫ ЕЩЁ ПОЖИЛА...

Еврейский ребёнок в условиях естественного обитания

Предание гласит, что во мне при рождении было четыре килограмма живого веса. При мамином небольшом росте и хрупком сложении, в голодное послевоенное время — почти рекорд. Вроде бы все предпосылки для того, чтобы вырасти здоровым ребёнком.

Но еврейский ребёнок не бывает здоровым. Во-первых, у него, по определению, нет аппетита. Почему и как это происходит, не знаю, но весь мой жизненный опыт показывает, что любой ребёнок из интеллигентной еврейской семьи всё детство существует на грани голодной смерти. Так было с моей мамой и тёткой, так было с моей кузиной и со мной, то же повторилось в своё время с моим сыном и племянником. Во-вторых, любая инфекция, витающая в радиусе ближайших ста километров, непременно должна прицепиться именно к этому ребёнку. Я, к примеру, переболела всеми детскими болезнями, какие были в округе, а краснухой болела в гордом одиночестве — в дачном местечке под Москвой, где я росла, ни до, ни после меня ни одного случая краснухи в эти годы не было.

Домик, в котором мы жили, отапливался печкой, находившейся в кухне. Зимой комнаты за ночь выстывали почти до нуля, и когда бабушка, поднимаясь для этого в пятом часу утра,

Часть вторая

растапливала печку, стены и окна начинали «плакать». Естественно, мы с кухней обзавелись полным набором соответствующей хроникой, впрочем, каждая с индивидуальным уклоном: кухня выдавала в месяц две-три роскошных ангины, с плёнками в горле и задыханиями, а я занимала хронический бронхит и гайморит, да и одно-два воспаления лёгких в год считались для меня нормой. «Как будто джаз проглотила!» — восхитилась однажды врачаха, прослушав мою грудную клетку.

Нечего и говорить, что в детстве любая болезнь была удачей и удовольствием, особенно зимой. Вместо того чтобы собираться в школу — натягивать под «форму» лыжные шаровары с начёсом, влезать в пудовые валенки с галошами, затягивать под подбородком тесёмки меховой шапки — вместо всей этой пытки остаться в нагретой постели, печка потрескивает, и бабушка несёт из кухни чай с малиновым вареньем и лимоном, заморским, редким и дорогим фруктом, который подавался только по большим праздникам или во время болезни, а книги ждут на полках... Нет, я себя не чувствовала больной, даже при температуре под сорок, наоборот, считала себя кем-то вроде симулянтки и только боялась, чтобы не разоблачили и не отравили в школу.

К одиннадцати годам, переехав с мамой в городскую квартиру с сухими стенами, я стремительно поздоровела, но в сознании мамы и бабушки осталась «слабенькой» и болезненной. Сражаясь против этой опостылевшей легенды, я бегала босиком по лужам, ела снег горстями и запивала селёдку молоком — без всяких дурных последствий — ничего не помогало. «Ирочка, тебе этого нельзя, ты должна думать о здоровье!» — как же мне это надоело!

«Доченька, что ты делаешь?!»

Наконец я повзрослела. Больше никто не мог давать мне указаний — что есть, во что одеваться и когда ложиться спать. И я с упоением принялась, по выражению моей бабушки, «гробить своё здоровье». В пятнадцать лет я начала курить. Делать это тайком, как большинство одноклассниц, прячась по подъездам и засасывая карамелькой табачный перегар, было ниже

моего достоинства, поэтому я торжественно объявила себя курящей, завалила свой письменный стол сигаретами и, глубоко-мысленно выдыхая дым, объясняла маме, что творческому человеку необходим допинг. Что она, бедненькая, могла сделать? Ей, наверное, тоже казалось, что лучше уж открыто, чем тайком. А между тем, кури я потихоньку, ежедневная порция отравы была бы привычно меньше. Хотя теперь что уж говорить...

Квартира была однокомнатная, и когда мама ложилась спать, для ночных бдений в моём распоряжении оставалась только пятиметровая кухня. Я плотно закрывала дверь (если это было зимой, то и форточку тоже), включала для тепла все четыре газовые горелки, закуривала и раскрывала книгу. Через полчаса пятнадцать кубических метров освоенного мной пространства вполне могли сойти за газовую камеру. «Доченька, — слабым голосом говорила мама, приоткрывая посреди ночи дверь в кухню, — доченька, что же ты делаешь?» И тут же вываливалась наружу, выгалкиваемая тёмно-синим табачным дымом, приобретающим к тому времени физическую плотность и массу.

Я поступила в институт. Начались компании, вечеринки, опять же безостановочное курение и ночные кофейные и прочие возлияния, после которых надо было идти на занятия и, растарачив слипающиеся глаза, изображать участие в учебном процессе. Слава Богу ещё, что с алкоголем у меня отношения как-то не сложились. Ела что попало и когда попало, с огромным облегчением игнорируя (до сего дня) любые первые блюда, до смерти надоевшие мне в детстве. «Без супа обедать нельзя!» Да можно! Да и вообще можно не обедать. В эту пору у меня сформулировался девиз, которым я парировала все призывы к рациональному питанию, от кого бы они ни исходили: я полезного не ем! Как правило, собеседник смолкал, обезоруженный.

Что я думала в это время о своём здоровье? А ничего. Я вообще об этом не думала. И здоровая была — об дорогу не убить.

Я и моя язва

Разумеется, через несколько лет такой «размеренной» жизни в моей двенадцатиперстной кишке завелась язва, размером

Часть вторая

в пятак. Но это уж как у всех. В те времена, если у человека спрашивали, нет ли у него язвы, он просто обижался — да с какой же стати у него её нет? У всех есть, а у него нету? У всех была, и никто от этого не умирал. Я со своей договорилась, нашла, как теперь говорят, некоторый консенсус: я её не лечу, а она меня не мучает так, чтобы уж слишком. И, разумеется, никакой диеты — организм сам знает, что ему есть. Конечно, во время обострения не захочешь ни жирного, ни острого, ни жареного, поскольку не захочешь вообще ничего. Вольёшь в себя две ложки овсянки — и на том спасибо. Я со своей язвой как-то даже сроднилась, и с тех пор, как мне её здесь, в Германии вылечили, всё время такое чувство, что чего-то не хватает.

Само собой, одной язвой дело не ограничивалось. Гриппы «на ногах», обострения хронического бронхита, всякие там остеохондрозы и вегето-сосудистые дистонии — кто ж без них жил? Но о здоровье никто не заботился, это считалось даже в некотором роде дурным тоном. Было ли это знамение времени — «однова живём, и всё едино пропадать» — или прерогативой отнюдь не солидного ещё возраста — трудно сказать, но, безусловно, таково было главенствующее умонастроение.

Время от времени вспыхивали, правда, оздоровительные поветрия, вроде голодания по Брэггу или обливаний по Порфирию Иванову, и кое-кто из нас всё это пробовал. Грешна и сама — обливалась по утрам ледяной водой, распределяя её на три энергетические точки, и даже голодала однажды три недели, но волновало меня отнюдь не состояние здоровья, а только и исключительно мой внешний облик. Несомненно, что от холодных обливаний улучшается цвет лица, да и поменять за недолго 44-й размер на 42-й — куда как заманчиво. И то долго не продержалась: скучно это, так пристально заниматься своим телом. Да и вода уж очень холодная.

«Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт»

А время-то идёт: срабатываются суставы, снашивается печень и другие внутренности, сдаёт зрение. Давление, стабильно пониженное, как у любой порядочной гипотонички, вдруг стало вы-

давать неожиданные скачки вверх — уже и кофе литрами не попьёшь... Набор лекарств в домашней аптечке неуклонно увеличивается. Таблетку от этого, капельки от того... То сердце ноет, то голова кружится. Наследственность плохая — каждый год, с потаённым страхом, сдаюсь домашнему врачу для тотального обследования.

И вокруг — ужас. Все, как по команде, бросили курить и травят меня во время застолий кислородом, открывая настёжь все окна ради моей бедной, одинокой сигаретки. Кампания всеобщего и полного оздоровления. «Против рака — только красный перец!», «Нет, брокколи!», «А капуста — вообще от всех болезней». Недавно участвовала в получасовой дискуссии на волнующую тему — какая морковь полезнее, сырая или варёная. А мой способ питания — никакой! — был заклеймён как состояние качественного голодания.

Я, конечно, понемногу сдаюсь — плетью обуха не перешибёшь. И кофе без кофеина завела, и сигареты на день отсчитываю дрожащими руками. Недавно купила голову какого-то неведомого салата. Теперь он гниёт в холодильнике, и всё же как-то легче. Но вот о чём я навязчиво думаю, хватаясь то за сердце, то за поясницу: если бы я смолоду обращалась со своим здоровьем бережнее и вела более размеренный образ жизни — была бы я сейчас здоровее? А если — нет?! Вот было бы обидно!

А годы — что ж, они на то и есть... Ведь известно, что если после пятидесяти лет ты просыпаешься, и у тебя ничего не болит, значит, ты умер. А я ещё пожила бы, если получится. Так что, пусть уж болит.

НЕЧА НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ, КОЛИ РОЖА КРИВА

Фрейд, конечно, был великий человек. Когда мне было полгода, отец, держа меня на руках, быстрым шагом подходил к выключателю на стене, старомодному, чёрному, с мощным поворотником, и вопрошал басом: «Где он, страшный выключатель? Где он, страшный выключатель?», потом делал ныряющее движение, поднося меня вплотную к загадочному блестящему предмету, и отвечал свистящим шёпотом: «Вот он, страшный выключатель!»

Часть вторая

Вот он, страшный выключатель!» Я, говорят, заливалась истерическим смехом и закрывала руками лицо. Конечно же, именно здесь, а не в полном непонимании школьного курса физики, кроются корни моего священного ужаса перед любой техникой.

Лампочка Ильича

Сделаю страшное признание: я не понимаю электричества. То есть я знаю, что откуда-то, из неведомой дали, приходит нечто, называемое током; при повороте выключателя эта субстанция по проводам проникает в лампочку под потолком, отчего та начинает светиться...

Но почему?! Почему загорается лампа, каким образом этот самый ток превращается в свет? Как эта штукавина вообще проходит по проводам, если её не видно? Наверное, эти вопросы возникли у меня довольно рано, потому что я отчётливо помню, как, маленькая, я стою перед электрической розеткой — тогда ещё цилиндром, привинченным к стене, — и борюсь с желанием сунуть в неё палец, чтобы что-то наконец понять для себя. Палец был сунут, тряхнуло меня, видимо, изрядно, потому что более попыток такого рода я не повторяла, но даже этот рискованный эксперимент не прояснил для меня природу электрического тока.

Из детства, всё из детства...

Печка, примус и керосинка

Впрочем, в детстве окружавший меня мир был населён совсем иными предметами, чем нынче. Центром квартиры была кафельная печь, особа капризная и прожорливая. Руки моей бабушки не отмывались никогда — уголь, сжиравшийся печью, и зола, ею производимая, окрашивали бабушкины пальцы в навечно серый цвет. Дров печь не желала: когда, по безденежью, её пытались топить дровами, из топки начинал валить дым и чад, так что приходилось эвакуировать из квартиры кошку — она, по малости, первой реагировала на угар, — а нас, детей, усаживать одетыми у раскрытого окна. Тепла же в доме, понятно, не прибавлялось.

Важными предметами были примус и керосинка, оба тоже нрава не простого. Для того чтобы вскипятить на примусе чай-

ник или сварить на керосинке кашу, требовался ряд последовательных хитрых манипуляций, которые с удивительным проворством проделывала бабушка, несколько менее ловко — мама, и которые моей тётке не удавались совсем, так что, если она оставалась с детьми одна, то могла накормить их только всухомятку.

Для детей же нагревательные приборы находились под строжайшим запретом, что, естественно, делало их даже не желанными, а возделенными, и самым большим удовольствием моего детства было «понакачивать примус», то есть, в отсутствие бабушки, поводить туда-сюда торчащий из корпуса медный поршень, разумеется, не зажигая огня. Того, что при этом в кухне распространяется запах керосина, мы почему-то не замечали, и каким образом бабушка безошибочно обнаруживает наш проступок, догадаться не могли. Кроме того, после наших упражнений с примусом бабушке частенько приходилось возиться с ним, регулируя заново подачу керосина.

Техническая идиотка чинит утюг

Вообще же, как я теперь понимаю, бабушка моя была женщиной с выдающимися техническими способностями, что было спасением для семьи, состоявшей к моим пяти годам из одних женщин. Она, например, могла самостоятельно починить электрический утюг. По-моему, это был единственный электроприбор в нашем доме — в некотором роде предмет роскоши.

Когда бабушка отвинтила его блестящую металлическую подошву, обнажив внутренность, необыкновенно сложного, как мне показалось, устройства, отсоединила почерневшую пружинку, свернула из проволочки новую и всадила её на место прежней, у меня было ощущение, что я стала свидетелем чуда.

Много лет спустя утюг перегорел у меня. Я отвинтила все имевшиеся на поверхности винты, отчего корпус распался не на две, а почему-то на три части, долго и тупо глядела внутрь, потом ковырнула отвёрткой то, что показалось мне перегоревшей спиралью — она, издав лёгкий звон, выскочила наружу, а вслед за ней вывалились какие-то ещё пружинки, пластин-

Часть вторая

ки и колёсики, так что на столе передо мной оказалась кучка предметов непонятного предназначения. Я аккуратно собрала все детали и выбросила бывший утюг в помойку. «Какой мерзкий, неправильный утюг», — подумала я, ни на секунду не погрешив на собственный технический идиотизм.

Газовая атака и единоборство с телевизором

В своей московской квартире я, худо-плохо, как-то научилась ориентироваться. Да и техники там было — раз-два и обчёлся: собственно, тот же утюг, холодильник, телевизор да газовая плита. Плита всегда была для меня существом родным и понятным, несмотря на очевидную угрозу отравить насмерть. (Утечки газа были регулярными, а мастер-газовщик в сапогах с раструбами так привык получать от меня трёшки и пятёрки, что протягивал руку за деньгами, ещё не переступив порога.) Но газ, при неполадках, по крайней мере, даёт о себе знать — он пахнет и шипит. И вообще, газовая плита — милая вещь: от конфорки так удобно прикуривать.

Московский холодильник был существом кротким, хотя и несколько истеричным. Он покорно переносил размораживания раз в полгода, вместо регулярного, ежемесячного, смирялся с неумеренной загрузкой и неплотно закрытой дверцей морозилки, но иногда, без всяких видимых причин, вдруг начинал утробно рычать, кашлять и мелко трястись. Это означало, что надо заново искать для него положение равновесия, подсовывая то под один, то под другой угол свернутую в несколько раз картонку.

Телевизор же понимал только язык силы — при исчезновении звука нужно было ударить кулаком строго по центру верхней панели.

Проще всего было с утюгом: поскольку я регулярно забывала его включенным на асбестовой подставке, он с такой же регулярностью аккуратно перегорал, и я просто шла и покупала новый — благо на моей памяти утюги в Москве ни разу не переходили в категорию дефицитных товаров.

В конце концов я привыкла к тому, что в доме что-то постоянно заедает, перегорает, отказывается, но приписывала бес-

конечные неполадки отнюдь не вселенской энтропии и уж тем более не каким-то своим личным характеристикам. «Всё совок проклятый», — думала я, принеся в дом очередной новенький, обречённый утюг. Названия «Сименс», «Бош», «Сони» звучали неземной музыкой, и моё убеждение, что Запад — это место, где ничто не портится и не ломается, крепло с каждой перегоревшей пробкой, которую я, по причине панического ужаса перед счетчиком, ни разу не смогла заменить самостоятельно.

«Сименс», «Сони», «Бош» — и что ж?..

В одной из первых квартир, снятых нами в Мюнхене, стояла новенькая стиральная машина. Хозяин квартиры изложил мне подробную инструкцию по её использованию, какую я, благоговей перед хитрым аппаратом, педантично записала.

Вечером бельё было постирано, но дверца не открылась. Я дёргала за замок и резко, и плавно, и с упором другой рукой в корпус машины — ничего. Наконец, после тридцатой попытки, замок поддался. «Ага! — обрадовалась я, — значит, надо сначала медленно, а в конце — рывком!» Через три дня вся история повторилась. Мы жили в этой квартире месяц. Два раза в неделю я сидела перед стиральной машиной, изощряясь в разнообразии рисунков динамических усилий, и ни разу мне не пришло в голову, что она просто-напросто выдерживает паузу между окончанием цикла стирки и открытием дверцы. Ни разу!

Фенов для сушки волос у меня четыре. Как выяснилось недавно, все четыре работают. Всякий раз, когда я пользовалась одним из них больше пятнадцати минут в самом «горячем» режиме, он отключался. «Какой ужас — и здесь всё ломается!» — сокрушалась я и покупала новый, памятуя о том, что ремонт обойдётся дороже. Сломанные я не выбрасывала, в смутной надежде на появление «русского умельца», который, быть может, заменит неведомую мне перегоревшую деталь. Умелец появился и поведал мне потрясающую тайну: оказывается, фен при перегреве автоматически отключается, и надо всего лишь дать ему остыть. Какое счастье: теперь я обеспечена фенами до конца моих дней!

Размораживая холодильник, я умудрилась, соскребая намерзший на стенке лёд, оборвать проводок, который ведёт

Часть вторая

к лампочке, освещающей камеру изнутри, а в тостере однажды едва не начался пожар из-за обронённого внутрь куска оберточной бумаги. Диктофон фирмы «Сони», великолепно работавший в руках у продавца, хрипел удавленником, когда я принесла его домой, и идеально воспроизводил звук, снова оказавшись в магазине. Продавец принял его обратно без возражений, но посмотрел на меня так, словно что-то заподозрил. Телевизионную приставку для приёма российского телевидения мне должны на днях доставить третью — слава Богу, что в фирме-распространителе работают милейшие люди, впрочем, кажется, они тоже что-то уже про меня поняли.

Но самое страшное начинается, когда я сажусь за компьютер. Это — час пик. Сами собой стираются целые файлы, текст уходит куда-то за рамку, и нет никакой возможности его оттуда достать, электронные письма посылаются не тем адресатам, а если тем, то по три раза кряду, дискеты не форматируются, а если форматируются, то не записываются, а если и записываются, то не читаются... Недавно, уничтожив нечаянно файл с анекдотами о «новых русских», собранными в Интернете по крупицам в течение долгих недель кропотливого труда, я поняла, что к компьютеру меня подпускать нельзя, а надлежит мне писать острым камнем на стене пещеры.

Мальчик-с-пальчик за сверхсуперкомпьютером

Любопытно, что при этом я убеждённо считаю себя поклонницей прогресса и апологетом городской цивилизации. Да и действительно, я люблю и почитаю факсы, тостеры, компьютеры, телефоны и автоматически отключающиеся кипятильнички — просто я в них ничего не понимаю.

Осваивая западную цивилизацию, я незаметно для себя оказалась в окружении совершенно загадочных и непостижимых предметов, от которых постоянно ожидаю какого-то подвоха. Включив одновременно посудомоечную и стиральную машину, нажав кнопку на кофейном автомате и говоря при этом по радиотелефону, я чувствую себя Мальчиком-с-пальчик, заблудившимся в лесу. Подумать страшно, что произойдёт, если какой-то из этих сложных приборов, находясь в опасной близости от моего, явно вред-

ного для техники биополя, вдруг откажется работать. Хаос, хаос и запустение настигнут меня тогда, и мне придётся — о ужас! — руками мыть посуду или, жутко представить, стирать в ванне постельное бельё. Но, конечно, если завтра на прилавках появится какой-нибудь сверхфакс или супертостер, я непременно его куплю, подвергая себя риску пережить трагедию в случае его неизбежной поломки. Не говоря уж о сверхсуперкомпьютере.

А вчера у меня в ванной перегорела лампочка. Поскольку другого выхода не было, я влезла на стул и принялась её выкручивать, но не смогла вспомнить, при каком положении выключателя в ванной вырубается свет. И меня так дёрнуло током...

ДЕНЬ СКОРБИ

«День седьмого ноября — красный день календаря...», и по Красной площади тянутся радостные, но дисциплинированные шеренги демонстрантов, плещутся алые знамена, покачиваются над головами портреты вождей, на трибуне Мавзолея — оригиналы; почти беззвучные их приветствия тонут в громовом «Ура-а-а!».

Это — Сталин!

На папином плече примостилась маленькая девочка с тёмными волосами в крупную кудряшку, у неё в кулаке проволочный стебель огромной красной гвоздики из гофрированной бумаги, она держится за папину шею и жадно всматривается в лица людей на Мавзолее. Папа, кто это, в середине? Сталин, доча, это — Сталин, запомни! Папа поднимает к ней лицо, девочка наклоняется к нему, чтобы расслышать чудное имя, и острые фетровые поля папиной серой шляпы попадают ей прямо в глаз. Она хватается за глаз, катятся слёзы, но девочка не издаёт ни звука. «Умница, доченька, — шепчет папа, — умница, молодец, Иринка! Не плачет — моя дочка!»

Шагающие рядом смотрят на ребёнка с восхищением.

«Мы вспоминаем не то, что помним, а то, что однажды вспомнили». Может быть, вспомнила, действительно, года че-

Часть вторая

рез два, и запомнила воспоминание? А может, вовсе не помню, а помнится только отцовский рассказ? Мама, во всяком случае, рассказывала эту историю множество раз и всегда одними и теми же словами. Получалась такая маленькая Зоя Космодемьянская, не дрогнувшая под пытками, проникнувшись торжественностью момента.

Мне этот трагикомический политически-фрейдистский эпизод был интересен, прежде всего, в контексте сложных и болезненных отношений с отцом — что-то не припомню во всю последующую жизнь ни одной отцовской фразы, так определённо утверждавшей наше кровное родство.

Но модель поведения, закреплённая редкой отцовской похвалой, осталась: можно психовать по любому, самому незначительному поводу, но в экстремуме, да тем более на людях — сжать кулаки и молчать, пусть слёзы, только бы не всхлипывания. Может, оно и неплохо?

Пытка вишнёвым вареньем

Ребёнком я относилась в советской власти если не благоговейно, то, во всяком случае, с огромным пиететом. «Какой ужас, — думала я лет в пять, — ведь я могла бы родиться в Нью-Йорке. Как бы я там жила — там же страшно, капитализм. Какое счастье, что я родилась в Москве, столице социализма!»

Революционные песни, тем более в хоровом исполнении, вызывали трепет — меня будоражила их дикарская романтика, безумная энергия. В октябрьские праздники, когда «Варшавянка» и другие революционные гимны звучали из приёмника круглосуточно, я пристраивалась к пластмассовому ящику с вытканым видом алого Кремля в золотистом окошечке и часами подпевала динамичным мелодиям, испытывая почти истерический подъём. Мне грезились подвиги во имя революции, пытки в застенках проклятых белогвардейцев, но я им ничего не скажу, никогда, ни за что! Для наглядности пыток я измазывала рот вишнёвым вареньем и в таком виде таранилась в зеркало. Тёмно-красный сироп должен был обозначать кровь.

Старшие поглядывали с опаской, но молчали. До сих пор не понимаю — то ли думали, перерастёт, то ли боялись расхолажи-

вать мой пыл, подозревая во мне потенциального Павлика Морозова? А что, ведь вполне могла.

Был бы жив Ленин...

Могла же в лесной школе, вскочив на пенёк, как Ленин на броневик, страстно призывать отряд подшефных октябрят немедленно опровергнуть гнусную клевету о том, что из окна их туалета выбрасывается грязная бумага.

«Мы не допустим, — орала я в подлинном экстазе, — они не смеют нас оскорблять в преддверии годовщины революции! Мы докажем!..» Октябрята, сбившись в кучку, тупо молчали, не разделяя моего пафоса. Сами, конечно, и бросали в окно испачканные листочки — кто же, собственно, ещё?

Могла и гораздо позже, взрослой уже, восемнадцатилетней кобылой, чувствуя, что всё вокруг как-то не очень в порядке, на полном серьёзе затосковать в дружеском кругу: «Ох, был бы жив Ленин!..» Но тут взяла слово моя умная лучшая подруга и так размазала меня по стенке, на диво компетентно и аргументированно наградив вождя мирового пролетариата всеми, вполне им заслуженными, но никогда мной не слышанными и не приходившими мне в голову эпитетами, что я ошарашенно смолкла, не возразив ни слова, да и возражать было нечего: о предмете лирической тоски представление у меня было самое смутное — только то, что было в школьной программе, и пара-тройка статей, подлежащих конспектированию на первом курсе института.

Читая классиков марксизма

После того памятного разговора, проведя бессонную ночь, я ринулась в Историческую библиотеку — дома у нас сочинений классиков марксизма-ленинизма отродясь не было. Полное собрание сочинений Ленина, шифруемое во всех библиографиях попросту как ПСС, благородного тёмно-синего цвета, стояло на полках открытого доступа. Я взяла с полки первый том и начала энергично вчитываться, решив наконец самолично понять — что к чему.

Я читала Ленина в библиотеке несколько месяцев подряд. К середине ПСС я начала чувствовать, что у меня волосы вста-

Часть вторая

ют дыбом. Создавалось полное впечатление, что я получила доступ к тайным документам главаря бандитской шайки. Особенно колоритно было то, что касалось октябрьского переворота: «Апрельские тезисы» — ещё полбеда, но документы IV съезда партии и заседания ЦК 16 октября 1917 года, вся «деловая переписка» заговорщиков — полный мрак.

Например: «...надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и т. д.» Вот просто так: арестовать правительство, да и все, а юнкеров «и т. д.» (то есть всех подряд, что ли?) — «победить». Победить — это, собственно, как? По-моему, это — «замочить в сортире». Что, как показала практика, и было сделано.

Работы послереволюционные — тоже хороши необыкновенно и по откровенности просто шедеврально. «Расстрелять», «никого не щадить», «со всей революционной строгостью» (опять тот же сортир) так и пестрят в тексте. Чистый серийный маньяк.

Результатами своих изысканий я делилась с подругой. Однажды она сказала, между прочим: «Ты вообще-то понимаешь, что читаешь только то, что они сочли возможным опубликовать? Представляешь, что у них в архивах лежит?».

Я похолодела.

За это и выпьем!

«Октябрьские праздники» никогда никем из моего круга как праздник, конечно, не воспринимались. Просто несколько свободных дней в промежутке между отпусками и Новым годом: можно устроить вечеринку, потусоваться, можно съездить за город, а повод — да Бог с ним.

Плохо, конечно, если погонят на демонстрацию — такая опасность угрожала всем студентам — членам ВЛКСМ, то есть всем поголовно, потому как не члену поступить в институт было невозможно. Да и на работе можно было «попасть в список», и тогда без больничного листа никак не вернуться. Но и из демонстрации устраивалась своего рода тусовка — с анекдотами, с почти откровенной выпивкой на подступах к Крас-

ной площади, с непременным заходом в кафе после «мероприятия». В общем, «октябрьские» как «октябрьские».

Однажды слышала тост, поразительный по простодушному цинизму. Застолье было богатым, хозяин дома принадлежал к московской элите, его фирменный костюм сверкал диковинной белизной. Он поднял бокал богемского стекла. «Что ж, ребята, действительно в семнадцатом совершился перелом, наступила другая жизнь. Но вот мы живём в ней, и что же, разве нам плохо? Вот за это и выпьем!» Меня повело от неловкости, но я промолчала.

Фига в кармане

Почему? Почему я всегда молчала? Пока была безмозглой дурындой — ладно. Но ведь я уже не была безмозглой. Я прочитала не только Ленина, но и Маркса, проштудировала самым добросовестным образом все четыре тома «Капитала», сделал для себя все возможные выводы. Я прочитала Сталина и всё поняла про него. Прочитала Солженицына, горы самиздата и тамиздата. Я понимала, что режим бесчеловечен и противостоит естествен, я знала всё про октябрьский переворот, про гражданскую войну, про коллективизацию и репрессии, про травлю интеллигенции и подготовку уничтожения евреев, про Венгрию и Чехословакию — я всё знала. И молчала.

Только с друзьями, только в самом узком кругу, который казался таким безопасным... Позже стало известно, что среди нас был стукач, и не один, так что все наши «смелые» разговоры и все фиги в кармане, которые мы отважно показывали советской власти у себя на кухне, мгновенно становились известны «где надо». Но я-то этого не знала. И была очень осторожна. И никогда не говорила лишнего... вне кухни.

Потому что боялась до смерти. И понимала, что люди, захватившие власть в семнадцатом году, не остановятся ни перед чем и никого не пощадят, и им будет абсолютно по барабану, что я женщина и что у меня ребёнок.

Билет на оперу «Октябрь»

В семидесятых годах, в Питере-Ленинграде, молодая женщина, жена диссидента, сама много сделавшая для сопротивле-

Часть вторая

ния, занимавшаяся тогда организацией помощи политическим заключённым, попросила пришедшую к ней подругу спрятать самиздатовские копии, предвидя возможный обыск. «Прости, никак не могу, — сказала та, — боюсь, у меня ведь дети». «Конечно, у тебя дети, — сказала женщина, взглянув на троих своих, игравших тут же, — а у меня, наверное, щенята».

У диссидентов тоже были дети. Но они не молчали. А у кого-то, может быть, именно из-за этого детей и не было.

Одновременно со мной прочитала Ленина Валерия Новодворская, почти моя ровесница. Прочитала насквозь, всё поняла и не стала философствовать на кухне. Напечатала листовки, купила билет во Дворец Съездов, к слову сказать, на оперу «Октябрь», исполнявшуюся по случаю ещё одного всенародного праздника, Дня конституции, поднялась на верхний ярус и бросила листовки в зал. И отправилась из-под кремлёвских стен в Лефортово. А оттуда в страшную казанскую психушку. Не молчала, как заколдованная принцесса, а говорила и писала всё, что считала нужным. И с тех пор не вылезала из психушек и тюрем при советской власти и всех прочих властях. Не поручусь, что это ей ещё не предстоит.

Валерия Ильинична Новодворская, совершенно безумная идеалистка, но абсолютно бесстрашная, чистая, умница и талант, чем бесконечно мила моему сердцу. Почему она могла, а я нет? Как стыдно. Как горько. Как легко махать кулаками после драки.

Кто виноват?

«День скорби» — называли диссиденты 7 ноября. Татьяна Григорьевна Гнедич, замечательный поэт и переводчик, переводившая в тюрьме Байрона по памяти, выпестовавшая поколение свободных людей, диссидентов и поэтов андеграунда, к началу ноября почувствовала приближение смерти и повторяла упорно: «Только не седьмого, только не седьмого, не хочу соприкоснуться с советской властью». Умерла она восьмого — смерть отодвинула.

У нас же всё было очень мило и очаровательно: мы — люди маленькие, мы — вне политики, мы, разумеется, всё понимаем

и ничего праздновать не собираемся, и с советской властью мы никак не соприкасаемся, но если уж выдались длинные выходные, то что ж не посидеть в дружеской компании.

Очень трогательно. Пока мы уютно выпивали и закусывали, Новодворскую в психушке уколами превращали в овощ — чудо, что не удалось, — киевской поэтессе Ирине Ратушинской отбивали почки в тюрьме, десятки и сотни диссидентов терзали допросами и швыряли в лагерь, на откуп уголовникам. А мы «отдыхали». И считали себя вполне порядочными людьми. Хотя, казалось бы, порядочный человек, если видит зло, с которым ничего не может сделать, должен, по крайней мере, вслух сказать, что это — зло, назвать его по имени.

Я не склонна идеализировать николаевскую Россию, выстраивать в сослагательном наклонении её безмятежное и блаженное будущее, которое состоялось бы, если бы не... Может, было бы оно не так уж и безмятежно, не настолько уж блаженно, но уж, наверное, не такие реки крови и не такое извращённое и упорное насилие. Не такие чудовищные семь десятилетий.

И чья вина? С большевиков, ясно, вопроса нет — волк не виноват, что кушает овечек, у него такая генетика. Те, кто так ничего и не понял, — в России тридцать четыре процента населения, например, уверены, что Сталин сыграл весьма положительную роль в истории страны, — с тех вообще нечего взять. Такие, как я, те, кто всё знал, понимал и помалкивал — те преступники.

У кого теперь просить прощения?

«НЕ НУЖНО НАМ ВОЗМЕЗДИЯ ИНОГО...»

Фёдор Тютчев:

**Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.**

Часть вторая

И ещё одно:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изреченная есть ложь.

Последняя строчка — такая страшная. Просто — удар наотмашь. Неужели всё так безнадёжно?

Меня не понимают...

Кошмар всего детства, отрочества, юности: меня не понимают! Теперь не уверена, что там было что понимать. Ничего особенного, обычная девочка, но — перенасыщенная прочитанным, вечно на котурнах, полная романтических иллюзий и выспренных представлений о реальности.

Понятное дело, окружающие, особенно свежие, слегка пугались. И то сказать — бесконечные обширные стихотворные цитаты, архаический и возвышенный слог создавали как бы некоторый коэффициент, без учета которого общение, видимо, действительно становилось затруднительным.

Вины моей, пожалуй, особой не было. Как-то не создалась реальная система координат. Странно, правда, что мама, бабушка и тётка ни разу словом не обмолвились по поводу моей лексики и манеры говорить. Ну, сказали бы: «Ирочка, разговаривай попроще, что ты так торжественно...» Ни разу! Принимали такой. Хорошо это, плохо? Правильно, неправильно? Что ж теперь об этом.

Всю жизнь, лет с пяти, лихорадочный поиск понимания. Любой ценой. Вплоть до консолидации с заведомо скомпрометировавшими себя группами и индивидуумами. Вплоть до дружбы «против кого-то». Лишь бы найти общий язык. Лишь бы ощутить, хоть на мгновение: «Меня понимают. Мы вместе», — как самоцель. Чистый наркотик.

«Поэма горы» — наизусть

А в чём дело, собственно? Быть понятным — зачем? Ты-то себя понимаешь, а с другими — уж как-нибудь, ровно в силу

практической необходимости, можно коммуницировать? Ну, объяснить: мне нужно то-то и то-то, я хочу того и вот этого, а от тебя жду такого-то и эдакого... Но нет ведь, мало! Пойми меня, пойми!.. Для чего?

Думаю над этим всю жизнь, а выводы — самые примитивные. Вот, примерно так, по возрастанию. Чтобы понять себя — через другого. Чтобы утвердиться в своём существовании. Чтобы, хоть на миг, освободиться от экзистенциального одиночества, которое преследует нас от рождения и до могилы.

Что мы ищем, собственно говоря, взыскуя понимания, как манны небесной? Да душу родную. Свою половинку. Совпадение по всем параметрам, по всему внутреннему устройству. Конечно, поймёт тогда нас со всеми потрохами — как не понять, если одинаковые.

Причём в юности требования к параметрам совпадения были очень жёсткие, совсем бескомпромиссные, а представления о людях — самые общие, поэтому постоянно случались уморительные (теперешними глазами глядя) истории. Если человек любил Цветаеву, я с ходу зачисляла его в родные души, и открытие, что он, при этом, к примеру, ненавидит лютой ненавистью гомосексуалистов, действовало как ледяной душ. Как же так, он ведь «Поэму горы» — всю наизусть...

С возрастом научаешься, по меньшей мере, вычленять внутри себя, скажем, систему политических взглядов, определённую структуру восприятия искусства, этические воззрения и религиозные установки — не валишь всё в одну кучу и не ждёшь от близких идентичности себе по всем пунктам сразу и в полном объёме. Хоть что-то совпадает — и на том спасибо. Не фашист, не атеист, не «моральный плюралист», да книгу иногда раскрывает, — и на том спасибо, уже можно спокойно общаться. Не чужой, не враждебный — понимаем друг друга.

В царстве теней

Есть, конечно, масса путей к взаимному пониманию, так сказать — квазипутей. Прежде всего, разумеется, алкоголь. Это ж такое удобство! Не надо напрягаться, искать слов, просто принять по паре-тройке рюмок — и такие все близкие, род-

Часть вторая

ные, понимают друг друга с полуслова, вообще без слов, а если ещё чего-нибудь спеть — вообще экстаз единения. Разумеется, это псевдокоммуникация, потому как слышит каждый только себя, а от собеседника — ровно то, что хочется, но зато сколько кайфа. Единственное, грустно, что когда-то придётся и протрезветь.

И ещё одна дорожка. Здесь всё не так просто. Любовь. Люблю, потому что понимаю, — или наоборот? Не знаю ответа. Такое родное лицо, глубокие глаза, милый запах, любимые руки, — конечно же, это близкая душа, ближе не бывает, он всё во мне понимает, до глубины чувствует, с ним можно говорить, как с собой, не адаптируя, не подбирая слов, ведь мы — одно целое...

Может быть, именно на этом пути находятся самые заманчивые сокровища, но там же подстерегают самые коварные ловушки. Ушла любовь, потому что не стало понимания? Оборвались нити понимания, потому что исчезла любовь? Кто знает? Кто скажет? Но падение с заоблачных высот совместного парения душ — страшно. (Бывает чудо, когда любовь ушла, а понимание осталось, теплота, общность сохранились. Очень редко.)

И снова мы блуждаем... Да не в пустыне — в царстве теней. Протягиваешь руки, чтобы прикоснуться, ощутить другого человека, а они проходят насквозь. И всё ищешь, всё ждёшь — ведь есть же кто-нибудь, кто поймёт меня наконец?

Не «что», а «почему»

Почему же так трудно? Да, необходимо хотя бы в самых общих чертах сходство внутреннего устройства. Но даже при этом условии...

Разве с вами никогда так не было? Вы говорите «А», а собеседник слышит... даже не «Б», а вообще «Ц».

В самых простых вещах.

— Я пойду с тобой, наверное, только со временем сейчас плохо, но ты позвони завтра, постараюсь выбраться, если получится.

Не звонит.

— Почему ты не позвонила?

— А ты же сказала, у тебя всё равно времени нет.

И ведь никакого злого умысла. Просто так услышалось.

Не говоря уже о ситуациях, включающих конфликт интересов. В этом месте для меня всю жизнь — катастрофа. Была в юности мудрая подруга, много лет учила: никогда не слушай, что тебе говорят, думай — почему говорят так, а не иначе. Увы, наука пропала втуне. Единственное, чему научилась, — будучи в очередной раз приложенной мордой об стол, могу чрезвычайно квалифицированно проанализировать происшедшее, разобрать буквально по репликам всю драматургию события. Только ведь поздно уже — поезд ушёл.

И, наверное, никогда не научусь — во-первых, стара стала учиться, а во-вторых, мешает моя неисправимая вербальность: верю словам. Ну, ведь если сказал человек! Никто же его за язык не тянул? А что он просто так сказал (самый невинный случай) — это я никак не могу вовремя осмыслить.

Экстраверт в изоляции

Жизнь складывается порой очень причудливо. Иной раз «бодливой корове Бог рогов не даёт». К примеру, довольно занятно, когда экстраверт с повышенной потребностью в общении, не умеющий ни одной эмоции прожить в одиночку, ни одной мысли сформулировать, не проговорив её вслух, да не себе, а кому-то понимающему, вдруг оказывается в полной изоляции, с ограниченной до минимума возможностью просто выйти из дома.

Да, конечно, друзья, но у всех своя жизнь, плотный график, беды, заботы, дай Бог, раз в месяц кто-нибудь зайдёт. Телефон — единственное спасение, но невозможно же целыми вечерами существовать «на телефоне». Плохо. К счастью, есть такой тайный закон: каждая потребность, если она истинна, получает возможность быть удовлетворённой. Иной раз совершенно непредвиденным способом. Так и получилось.

Забрела я как-то раз в один из русских интернетовских форумов... На всякий случай, чуть-чуть ликбеза. Форум — место встречи. Люди находят определённую страничку в Интернете, присваивают себе любой ник (псевдоним) и, каждый за своим компьютером, участвуют в общем разговоре. Каждая новая реплика одновременно появляется на экране перед всеми участниками форума.

Часть вторая

Психотренинг и психотроп в одном флаконе

В форуме, который через несколько недель стал мне чуть не домом родным, подобралась одна чудесная компания — человек двенадцать-пятнадцать. Публика довольно разномастная, но объединённая очень внятно и прочно довольно второстепенными, на первый взгляд, характеристиками — любовью к поэзии, например, буйной фантазией, позволяющей реализовывать многоролевые театрализованные представления, склонностью к рефлексии, побуждающей участников развивать долгие отвлеченные дискуссии на самые невероятные темы. Степень искренности и откровенности высказываний превосходила все допустимые возможности привычного общения. У меня иногда холодок пробегал по спине — казалось, что держишь руками голую душу.

Первое время странным образом казалось, что моральные структуры виртуальных собеседников тоже совпадают — в общих чертах. При более длительном общении стали выявляться «несовпадения при наложении». Начали возникать конфликты. Причём следует учесть, что виртуальное общение необычайно спрессовано как по времени, так и по интенсивности. Неделя общения вполне может засчитываться за полгода — обычного.

Драматургия событий была чрезвычайно напряжённой. Ссоры, примирения, виртуальные романы и разрывы сыпались, как из рога изобилия. Одна из участниц назвала форум «психотренингом и психотропом в одном флаконе». В какой-то момент собеседники ощутили потребность осмыслить происходящее.

Побыть королевой

— Что мы делаем здесь, собственно? — задал кто-то вопрос.

— Придуриваемся, играем, плачем, шутим, философствуем, ругаемся, влюбляемся, смеёмся, скучаем, умираем, — отозвалась одна из участниц.

— Разве то, что ты перечислила, не называется жизнью? Но ведь форум — всего лишь игра? Ведь мы здесь — только виртуальные тени? — прозвучал ещё один голос.

— Нет, мы — точно живые. И никакая это не игра. А если и игра, то не в большей степени, чем мы играем в жизни, по моему, даже в меньшей, — был ответ.

Возникла пауза. В виртуальном общении паузы переживаются довольно мучительно: ты ведь не понимаешь — не хотят тебе отвечать, или просто собеседник отлучился кофе налить, а может, телефон у него зазвонил.

Вот некоторые обзывают то, чем мы здесь занимаемся, «душевным стриптизом». А это просто работа над собой. Если ты не открываешь себя мучительно перед другими, ты ничего в себе и не поймёшь. Фокус в том, что в одиночестве это самораскрытие так не работает, сказала одна из моих виртуальных подруг.

Есть гипотеза, что мы здесь летаем, поскольку нас не связывают реальные условия. Кто-то может в меня влюбиться, потому что не знает, насколько я некрасива в жизни. Кто-то может позволить себе откровенность, потому что знает, что ему не придётся за это расплачиваться, ежедневно вспоминая о минуте проявленной слабости при встречах с другим. Кто-то может позволить себе побыть королевой, забыв о немой посуде на кухне, насладиться балом.

В общем, Интернет — это зеркало. Я живая, и я вижу вас такими, какими хочу видеть, и ничто мне в этом не мешает. Я — создательница этого мира. В реале надо очень сильно подстраиваться под другого. А здесь — люди без быта, чистое общение, парение.

Слова — это всё

Это произнесла моя виртуальная любимица, живущая от меня за многие тысячи километров. Я никогда не видела её, не слышала даже её голоса, но успела привязаться к ней больше, чем к иным из «реальных» людей, которых встречала в жизни. Её всегдашняя безжалостная прямота, беспощадный самоанализ, холодный юмор и внезапные приступы нежности создавали у меня ощущение необычайной близости и родства. И точно та же потребность в понимании, что у меня. И так же неудовлетворённая, должно быть. Близкое существо. Близкое? Всего

Часть вторая

лишь буквы на экране монитора. Но буквы слагаются в слова, а слова — это так много... Это почти все.

По многим причинам, которым здесь не место, я не бываю сейчас в форуме. Есть близкие люди, есть дружеское общение. Видимся по-прежнему нечасто, больше — по телефону. Говорим о политике, о ценах в магазине, о детях, о делах. Редко-редко когда завяжется «чистый» разговор, не привязанный к обыденности, не увязающий в конкретике. Некогда. Жизнь.

Но мне теперь легче жить. Я знаю, что есть на свете кто-то, для кого, как для меня, сверхценность — человеческое общение. Ни за чем. Просто так. Для ясного ощущения собственного «Я». Для ведения бессмысленной и нескончаемой внутренней работы. Для неодиначества.

*Когда сочувственно на наше слово
Одна душа отозвалась —
Не нужно нам возмездия иного,
Довольно с нас, довольно с нас...*

Это опять Тютчев.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Человек, выросший за городом, в дачном посёлке, на участке с собственным садом, должен вроде бы быть близким к земле, чувствовать природу и разбираться в ней. На кого бы мне спихнуть вину за то, что, родившись в подмосковном Томилине, выросла я дремучей горожанкой, не отличающей яблони от груши, пока не созреют плоды, и картошки от свеклы, куда корнеплод не выруют из земли?

Два двора

Дом, в котором жила наша семья, был, собственно, не домом, а всего лишь половиной дома. Вторая половина принадлежала аптеке. Этой аптекой до войны заведовал мой по-

гибший на фронте дед. Руки не дошли или рука не поднялась выселить семью, никакого отношения к аптеке более не имеющую, только так мы в казённой квартире и остались.

В детском сознании существовали как бы два круга — ближний и дальний: «наш двор» и «аптечный двор». На аптечном дворе росли старые сосны, трава по пояс, длинные ломкие стебли каких-то неведомых цветов с лиловыми колокольчиками вдоль высокого забора, стояла старая деревянная, почерневшая от времени скамейка с вырезанным на спинке сердцем.

Наш двор был отделён от аптечного забором пониже, сразу за забором росли в ряд три яблони, за ними стоял полуразвалившийся сарай, а дальше начиналось то, что мы называли садом: штук двадцать карликовых вишен и несколько кустов малины. Всё это буйно заросло лопухами, полынью и гигантской крапивой.

Садом никто не занимался, вишни одичали, ягоды на них были мелкими, светло-красными и кислыми, но на стволах снизу кое-где ещё сохранялись пятнышки известки, которой много лет назад дедушка мазал деревья.

Ядовитая вишня

Каждое лето мы с двоюродной сестрой, не дожидаясь, пока редкие вишенки созреют, продирались сквозь лопухи и крапиву и набивали рты чуть розовеющими ягодами. Кончалось это пиршество плачевно для наших животов, но наука впрок не шла. Почему-то родительского запрета на поедание незрелых вишен не было, но был другой запрет: рядом с дощатым домиком уборной росла ещё одна вишня — не карликовая, настоящая, и ягоды на ней были совсем другие — крупные и тёмные, почти чёрные, сладкие даже на вид и необыкновенно заманчивые. Нам было запрещено даже дотрагиваться до этих прекрасных вишен — взрослые утверждали, что они ядовитые.

Мы с сестрой приняли это на веру чуть ли не с младенчества, и когда однажды бабушкина гостья, выходя из уборной, на ходу сорвала и съела запретную вишенку, мы прибежали вслед за ней в кухню, сели напротив и стали с ужасом следить — когда

Часть вторая

же появятся признаки мучительной кончины. Ничего не произошло. Мы переглянулись и вернулись в сад.

Вишни оказались действительно очень сладкими, но следовало соблюдать осторожность, чтобы наше преступление не было раскрыто. Поэтому мы съедали через определённые интервалы времени определенное количество ягод, и так продолжалось годы. Десятилетия спустя, когда никого из старших не было уже на свете, я как-то спросила сестру, почему, по её мнению, единственная в нашем саду вишня со сладкими ягодами была объявлена ядовитой. «Ты что, не догадалась? Ведь обе наши мамы и бабушка были помешаны на гигиене, а вишня росла возле самой уборной».

«Пусть будет, как есть»

Три яблони у забора тоже давно одичали, яблоки были настолько несъедобными, что мы на них даже не покушались. Зато последняя от калитки яблоня, гораздо выше и мощнее, чем её сестры, была очень хороша для лазанья. В самом низу ствола росли параллельно две толстые ветки, образуя словно бы ступеньку, с которой можно было легко перебраться на нижнюю ветвь кроны, а уж дальше вверх, как нечего делать.

Я сидела на яблоне часами, иногда с книжкой, иногда без, оглядывала наш двор, и грустные мысли приходили мне в голову: почему у всех соседей каждый год снимают богатый урожай фруктов, всё лето на столе овощи со своего огорода, а у нас бабушка даже зелёный лук покупает на рынке; почему все участки сверкают разнообразными цветами — флоксами, анютиными глазками, георгинами, розами, а у нас только куст сирени у заднего крыльца да мелкий шиповник возле сарая.

Перед сараем когда-то была круглая большая клумба, от неё осталось только полусферическое возвышение, поросшее травой и одуванчиками, да обломки кирпичей по диаметру. Однажды я решила, что не хуже мы других, нашла в сарае старую лопату и принялась вскапывать клумбу. Копать я не умела, сил не хватало, лопата входила неглубоко, царапая только поверхность затвердевшей почвы, и, наконец, наткнувшись на какой-то камень, отлетела от черенка.

— Не надо, — сказала бабушка, убирая обломки лопаты в сарай, — пусть будет, как есть. Прежде этим занимался дедушка, он любил сад и всё умел, а у меня времени и сил нет, с вами-то двумя. Мамы ваши целыми днями на работе, да и не понимают они в этом ничего.

Небывалый урожай

С тех пор я перестала грустить, что у нас — не как у всех, что нет в саду грядок с алой клубникой, не запасают на зиму в чулане яблоки, переложенные соломой, что нет к чаю вишнёвого варенья. В голове как-то само собой сложилось, что наш запущенный сад, одичавшие вишни, несъедобные яблоки, заросли лопухов и крапивы — это как бы в память дедушки, которого я никогда не видела. Раз нет его, значит, ничего и не нужно.

Впрочем, вишнёвое варенье однажды у нас было. В одно прекрасное лето что-то такое случилось вдруг в природе, и наши заброшенные деревца словно сошли с ума: каждое из них, розовевшее обычно жалким десятком ягод, оказалось сплошь усыпанным вишнями. В том году в Подмосковье был небывалый урожай фруктов, но соседи по посёлку оказались во всеоружии — с ведрами для сбора плодов, с десятками банок для варенья, с запасённым впрок сахаром, — а нас нежданное изобилие застало врасплох. Пока покупались новые и доставались из сарая старые, Бог весть, с каких времён залежавшиеся там банки, пока добывался сахар, вишни созрели и начали осыпаться — половину ягод мы подбирали уже с земли. Варенья хватило на всю зиму, но мы с сестрой его не ели: в это лето мы съели столько вишен, что потом долго смотреть на них не могли.

Убеждённая горожанка

Потом мы с мамой переехали в Москву. Я нисколько не скучала по саду, в котором прошло моё детство, по соснам, по грачиным гнёздам на них, из которых каждую весну выпадали маленькие грачата, и надо было подбирать их, кормить из пипетки молоком, а потом хлебом и мясом, чтобы к осени они смогли на собственных крыльях улететь из нашего Томилина на юг, где мы с сестрой ни разу не бывали.

Часть вторая

Я даже с каким-то облегчением рассталась с нашим полудомиком, с застеклённой террасой, где нас днём укладывали спать, а ветка яблони стучала в стекло и мешала заснуть, с огромными лопухами, из которых в жару мы мастерили шляпы от солнца, с мелкой кислой малиной, мстящей за каждую сорванную ягоду ударом крапивы по ногам. Я с удовольствием стала горожанкой, и блага цивилизации с лихвой возместили мне утрату зелени и запахов, среди которых я выросла.

В эти годы в Москве процветала культура дач: мечтой любой семьи был хотя бы совсем небольшой участок, где можно посадить несколько плодовых деревьев, разбить пару грядок с овощами и клумбу с цветами. Дачка строилась чуть ли не из фанеры, без намёка на любые удобства, как правило, с одной комнаткой и крошечной верандой. Те, у кого не было шансов стать дачевладельцами, снимали на лето под Москвой одну комнату на всю семью, при этом специально оговаривалась возможность или невозможность пользоваться дарами сада и огорода.

Меня эти загородные прелести вовсе не прельщали, и я отказывалась от любых приглашений — на лето, на месяц, на выходные — провести время на даче. Пугало отсутствие душа, комары, от которых я в детстве натерпелась, и вообще — чего я там не видела. Впрочем, считала, что разбираюсь во всевозможной флоре не хуже других — ведь почти что из деревни родом.

Старый дом

И вот я вышла замуж. Семья моего мужа была привязана к своему дачному участку не сказать даже прочными узами, а какими-то морскими канатами. Во-первых, это была не фанерная будочка, а настоящий старый дом, где родился и вырос давно умерший отец моей свекрови — агроном с университетским образованием, — где родилась и выросла моя свекровь и, в свою очередь, мой муж, во-вторых, сад и огород полностью обеспечивали потребности семьи во фруктах и овощах, включая картошку, в-третьих, и в главных, там круглый год жила мужнина бабушка. На даче проводились все отпуска, все выходные, все праздники, их тянуло туда, как магнитом, там был

истинный дом, а городская квартира была просто биваком, лишь бы перезимовать, да к работе поближе.

Это было очень мило и удобно, пока мы с будущим мужем поддерживали неформальные отношения, — всё свободное время пустая квартира была в нашем распоряжении, — но в первую же пятницу после свадьбы свекровь радостно сказала: «Ну, вот, а завтра мы все вместе поедem на дачу!» Позже я поняла, что мне была сделана огромная уступка — обычно они ехали на дачу в пятницу вечером, прямо с работы.

Окучивать или пропалывать?

Открыв калитку, я ахнула: по моим понятиям участок такого размера годился для небольшого колхоза. Огромный яблоневый сад начинался сразу от забора, слева и справа от него тянулись грядки с овощами, которых я не распознала, в глубине сада краснела несомненная клубника, кусты чёрной и красной смородины были посажены в шахматном порядке, малина, растущая вокруг дома, доставала до верхних наличников окон. Каждый свободный уголок земли был покрыт цветами.

«Я пропала, — мелькнуло у меня в голове, — теперь я пропала!»

И верно, расцеловавшись с бабушкой, сбросив с плеч сумки с консервами, хлебом и колбасой, всё семейство устремилось в сад. «Ирочка, тебе что больше нравится — пропалывать или окучивать?» — ласково спросила бабушка.

Что такое — окучивать? Наверное, уж лучше пропалывать. А как их отличить, которые нужно пропалывать? Нельзя же спрашивать, подумают, что я совсем идиотка. И я бодро отправилась к грядке, как потом выяснилось, с картошкой. Умолчу о своём позоре.

Потом я собирала малину. Оказалось, чёрт её дерит, что почему-то нельзя срывать ягоды вместе с листиками, но когда это выяснилось, было слишком поздно: по меньшей мере, два куста были мной безнадежно загублены — я очень старалась. Предприняв ещё несколько попыток как-то пристроить меня к делу, бедные мои новые родственники убедились, что ущерб, причиняемый мной садово-огородному хозяйству, никак не окупается наличием ещё одной пары рабочих рук, и выработали

Часть вторая

жёсткую систему: к моменту начала работ мне выдавалась тарелка с фруктами или ягодами, вручалась книжка, и муж провожал меня в дальний угол сада, в беседку, где я тихо сидела до обеда.

Овсо

Именно во время обеда, в очередной наш приезд на дачу, произошёл окончательный крах. Семья дружно накрывала на стол, расставляя огромные миски с салатами, варёной картошкой, зеленью, солёными огурцами и другими дарами природы, как вдруг свекровь спохватилась, что забыла нарезать в салат молодого чеснока. «Ирочка, сорви несколько листочков», — обратилась она ко мне. И, глянув на меня с сомнением, добавила: «Длинненькие такие, узкие, знаешь?»

Я вошла в сад. Длинненькие, узкие. Длинненькие, узкие. Надо полагать, зелёные. Ага, не иначе, как эти. Сорвала штук пять и вернулась в дом.

— Что это, — прошептала в ужасе свекровь, — Ира, это же листья гладиолусов! Ты что, овощей от цветов не отличаешь? Ты же за городом росла!

— Но у нас там не было гладиолусов, и чеснока не было, а вы сказали длинненькие...

— Ну, ничего, ничего, не расстраивайся. — И бедная свекровь поспешила в сад.

— Ирочка, как ты думаешь, — невинно поинтересовался за обедом свёкор, вот, скажем, гречневая каша, она из чего, это что?

Я задумалась, брезжило что-то из Тургенева.

— Гречиха.

— А пшеница?

— Пшено, — уверенно ответила я.

— А геркулесовая?

— Овсо.

Больше меня на дачу не брали.

Джунгли на подоконнике

Я люблю природу. Правда, из всех деревьев с уверенностью могу отличить только берёзу и клён, зато листва то ли тополя,

то ли ясеня, в сквере, где я по вечерам гуляю с собакой, так красиво переливается в свете фонарей, и шиповник, который я радостно и легко опознаю, так дивно пахнет.

А дома на подоконнике у меня просто джунгли: мой любимый фикус, да три горшка махровых фиалок, да хлебное, оно же денежное дерево, да чудесная аралия... А фрукты — что, фрукты в магазине купить можно, и гори они огнём, все эти дачи!

Всё равно, самыми вкусными из всех плодов, какие я в жизни пробовала, были те самые тёмные, почти чёрные вишни, что росли в нашем запущенном саду на деревце возле уборной.

«КТО ЧЕГО БОИТСЯ...»

Кто чего боится,
То с тем и случится, —
Ничего бояться не надо...

Анна Ахматова

Страх рождается вместе с нами. Представить только, что испытывает младенец, появляясь на свет: после абсолютной защищённости, тёплой уютной мглы, где рос он долгие месяцы, после тишины, покоя, неги, — резкий свет, оглушительные чужие голоса, грубые прикосновения, боль во впервые расширяющихся лёгких... Немудрено, что новорождённые так орут. Говорят — рефлекс. Какой уж там рефлекс — чистый ужас.

«Идите мимо...»

И растут дети — в страхе. Стоит погаснуть свету — обступают видения: Баба Яга, Змей Горыныч, большие злые собаки, разбойники... А бабушки и мамы все рассказывают детям на ночь страшные сказки. Зачем?

В моём детстве главный страх был — ночные грабители. Домик, в котором мы жили, стоял на отшибе. Окна, выходящие на фасад, были забраны решётками, но те, что выходили во двор, — нет. Я часто думаю — почему так нелепо и наивно, неужели рас-

Часть вторая

чѐт был на то, что злоумышленник глянет с улицы и подумает: «Не-ет, сюда не залезешь!» — и даже во двор не зайдѐт?..

А ограбления в подмосковном посѐлке происходили регулярно и очень жестоко. То двух стариков задушили, то всю семью вырезали.

Каждый вечер, ложась спать, я проделывала странный ритуал — как только гас свет, крепко зажмуривалась, сжимала кулаки и, дрожа от страха, начинала заклинять: «Идите мимо, идите мимо, не подходите к заднему крыльцу, проходите, проходите, ступайте!» Такая до-молитва. Языческое заклинание. И ведь помогало. Ни разу нас не ограбили. Надо бы, правда, припомнить, что красть было, в общем, нечего, кроме приёмника «Рекорд» и бабушкиного обручального кольца. Грабитель, он ведь, верно, тоже не дурак. Ломился, правда, однажды какой-то забуддыга. И бабушка кричала на него из-за двери мужским голосом, что сейчас в милицию позвонит. На самом-то деле, не было в помине у нас ни телефона, ни мужчин в доме. А мы с сестрой забились в одну кровать, накрылись одеялом с головой и тряслись — думали, всё, настал наш последний час. С трудом потом нас успокоили.

От страха до страха

Я росла, и страх рос и становился разнообразнее и сложнее. В какую-то ночь вдруг осенила мысль, что мама моя может ведь умереть. Я встала на цыпочках, дрожа, подошла к маминой кровати и прислушалась к её дыханию. Дыхание было ровное и глубокое. Я легла, стараясь не терять из «поля слуха» почти бесшумных маминых вдохов и выдохов, и, прислушиваясь к ним, заснула.

Каждый вечер терзалась страхом, что мама не вернѐтся с работы домой, попадѐт под электричку, — вон же, прошлым летом женщину переехало, она тоже шла с работы.

Так и жила, от страха до страха. Страшно было с наступлением темноты пробираться через сад до дощатого домика туалета — мало ли что таится среди вишнёвых деревьев. Страшно возвращаться домой после второй школьной смены: зимой так рано темнеет...

Лет в семь до меня дошло, что атомная война может начаться в любую минуту. Меня осенило, когда я, сидя у окна, делала уроки. В окне виднелась старая высоченная сосна. Вдруг я представила себе чудовищный взрыв — всё вокруг разлетается в мелкие щепочки, а сосна, объятая пламенем, выворачивается из земли и летит в почерневшее небо. С того дня за письменный стол у окна я садилась вполоборота, чтобы не смотреть на злополучную сосну.

Однажды мы разговорились с немецкой подружкой о том, что чего боится, и оказалось, что в своём тихом Альгое семилетняя Лиза испытала точно такой же ужас, только перед глазами у неё был витой металлический забор, которого она с тех пор видеть не могла без содрогания.

«Дура. Вербовке не подлежит»

Самая страшная пугалка, самый кошмарный ужастик моей взрослой жизни были, конечно, наши доблестные органы. КГБ. По большому счёту я ни в чём перед ними не провинилась. Но мне, очевидно, казалось, что они могут читать мысли, а мысли, действительно, были у меня весьма крамольные, антисоветские мысли, прямо скажем. Ну и, разумеется, самиздат и тамиздат. Не читать же невозможно? Невозможно. Но страшно... Читаешь — и боишься, боишься — и читаешь. Ночью читаешь Солженицына, а днём прячешь картоночки фотокопий на шкаф, в коробку из-под обуви. Уж такой надёжный тайник, где им догадаться, в случае чего!

Трижды, с интервалом лет в семь-восемь, меня пытались вербовать. И все три раза с примитивностью необыкновенной. Даже было чувство, что не от глупости это, а от сознания всемогущества и полного наплевательства — дескать, и так сойдёт. Уже накануне перестройки ко мне заявился на дом некий капитан, уверявший меня, что его сестра (капитана КГБ!) уехала в Израиль, и ей там так хорошо, так хорошо, а, дескать, не собираюсь ли и я туда же?.. Всякий раз я цепенела от ужаса и несла несусветную околесицу, чтобы уверить владыку мрака не только в собственной лояльности, но и в полной лояльности друзей и знакомых, о которых неизменно заходила речь. Мой прия-

Часть вторая

тель, отсидевший диссидент, выслушав уже здесь мою исповедь о контактах с тайной полицией, уверенно подытожил: «А знаешь, почему они до тебя больше не докапывались, почему не возобновляли попыток? У тебя в личном деле, я уверен, записано: „Дура. Вербовке не подлежит“. Молодец, правильно, что боялась».

Больше — никогда!

Отдельный кошмар — самолёты. Я и не знала, что страдаю аэрофобией, — так это называется по-научному, — просто как-то бессознательно избегала полётов, довольно долго и успешно. И вот однажды, в конце киноэкспедиции узнаю, что обратные билеты взяты не на поезд, а почему-то на самолёт. То ли денег у администрации группы оставался излишек, надо было потратить, то ли сроки поджимали. При этом известии что-то неприятно сжалось у меня в животе, но голова трезво подумала: «А что, даже интересно, я же ни разу не летала! Посмотрю, неужели самолёт действительно летает по воздуху, он ведь вроде такой тяжёлый?»

Приехали на аэродром. Что-то мне дискомфортно. Зарегистрировались. Дискомфорт усилился. Погрузились. Сидим, ждём взлета. Как-то совсем стало не по себе. Небольшой самолётик рванул с места, жутко рыча, проехал по взлётной полосе и вдруг — на самом деле! — оторвался от земли.

Боже, что я испытала! Нет, я не боялась, что мы упадём. Я была стопроцентно уверена, что это произойдёт, и не когда-нибудь, а немедленно. Я не сомневалась, что в следующую же секунду вся эта конструкция развалится на части и, сопровождаемая предсмертными воплями всех находящихся внутри неё людей, грохнется оземь.

Нормальной реакцией организма в таком состоянии было бы — дико заорать и начать метаться по салону. Но ведь неудобно, неприлично! Опять же — полсалона коллег. Я, сделав над собой нечеловеческое усилие, не заорала, сжалась в комок, сцепила руки под коленями и просидела так, не шевелясь, пока колеса не загрохотали на посадочной полосе. Спустившись на мёртвых ногах с трапа на лётное поле, я прошептала про себя:

«Больше никогда. Никогда в жизни». И нарушила этот обет всего лишь раз, когда летела из Москвы в Мюнхен, — просто другого выхода не было.

Я боюсь

Всё познается в сравнении. Такая пошлая истина. Пока не столкнёшься с ней лицом к лицу.

Дом на далёкой окраине Мюнхена. Небольшой, деревянный, двухэтажный. Вокруг запущенный сад. Все окна забраны решётками, даже те, что на втором этаже, даже чердачное окошко. В доме — двое: я и моя пациентка, в прошлом знаменитая учительница музыки с европейской известностью, забывшая нынче даже своё имя. Болезнь Альцгеймера. Спасибо моему институту — одновременно с архивным делом обучили на медсестру на военной кафедре, теперь я могу работать сиделкой. За это хорошо платят.

Днём мы с фрау Ш. гуляем, едим, разговариваем с помощью тех немногих слов, что остались ещё в её словаре; я убираю в доме. Вечером я укладываю её в кровать, пристёгиваю специальным поясом, не стесняющим движения, но не позволяющим ей встать, и ухожу на первый этаж. Смеркается.

Пока не стуситится темнота, я могу читать, смотреть телевизор, говорить со своими по телефону. Но за окном чернеет, и я начинаю дрожать. Мне страшно. Чего я боюсь? Я не верю в привидения, которыми может наполниться тихий дом, — вся семья фрау Ш., три поколения, жили и умерли здесь, в этих комнатах. Я понимаю, что в окно не может проскользнуть даже кошка, — после ужина я наглухо задраиваю все форточки, в любую жару. Я знаю, что фрау Ш. не может встать с кровати, чтобы хотя бы испугать меня внезапным появлением, а на агрессию она не способна.

Мне нечего бояться. Я боюсь. Нет, я умираю от ужаса. Каждый шорох в саду отдаётся во мне судорогой. От каждого скрипа рассыхающегося дерева темнеет в глазах. Я принимаю валерьянку, потом валокордин, потом транквилизатор. Они мне не помогают. Я не могу принять снотворное, потому что боюсь не услышать свою пациентку, если ночью с ней что-нибудь

Часть вторая

случится. Я сижу и дрожу. Потом ложусь в постель в соседней с фрау Ш. комнате и дрожу уже лёжа. Это происходит три вечера в неделю. Четверо суток в неделю, которые я провожу дома, я пытаюсь отойти от пережитого страха.

Решётки на окнах

Психотерапевт, высокая милая американка, мучилась со мной несколько месяцев.

— Чего именно ты боишься? — допытывалась она. — Я помогу тебе справиться со страхом, но сперва мы должны понять его природу. Постарайся объяснить, иначе я ничего не смогу сделать. Кто может причинить тебе вред в наглухо запертом доме, с решётками на окнах?

Я не знала.

Мы играли в ассоциации, рисовали картинки, тренировались на расслабление мышц, чтобы в «расслабленном» виде я смогла хоть как-то рационализировать тёмный ужас, наваливавшийся на меня по вечерам в деревянном доме.

Кэрол выспрашивала об отношениях с отцом, о первом любовном опыте, просила записывать сны, дотошно вникала во все подробности моего брака. Я изо всех сил пыталась ей — то есть себе — помочь, да и славная она была, приятно было с ней, да и что ж о себе-то не поговорить — это ведь всегда интересно. Однажды в нашей беседе невзначай всплыла тема решёток.

— Может быть, тебе это напоминает тюрьму?

— Откуда? Я к тюрьме даже близко не подходила. Мне они скорее детство напоминают — у нас в Томилине на двух фасадных окнах стояли решётки.

Глаза американки полыхнули пламенем.

— Почему же ты мне об этом никогда не говорила?! Я ведь расспрашивала тебя о детстве!

— Не знаю. Забыла. Не придала значения...

Кэрол торжествовала победу — мы докопались до первопричины. Поразмыслив, я поняла, что она была совершенно права: модель страха пришла именно оттуда — сгущающиеся сумерки, решётки на окнах и полная незащищённость перед возможными злодеями. И по барабану было моей подкорке, что

в мюнхенском пригороде, в отличие от подмосковного посёлка, решётки стояли на *всех* окнах.

Высокая американка была прекрасным психотерапевтом. Я познакомилась со многими людьми, которых она вытаскивала из такого, что не приведи Господи. Мне она помочь не смогла. Причина страха была найдена, но сам страх сидел во мне так глубоко, что выкорчевать его можно было, очевидно, только устроив мне лоботомию. Лоботомии не хотелось.

Да здравствует страх!

Боятся все. Нет человека в здравом уме, который ничего не боится. Страх правит миром. Он многолик, он принимает любые формы, проникает во все душевные щели. Страх за близких, страх перед физической болью, боязнь высоты, замкнутого пространства, открытых площадей, страх перед грозой, страх потерять работу, страх перед насилием... Отдельный мощнейший страх — за детей. И — король всех страхов — страх смерти. Всё это — лики большого страха, рождающегося с нами и сопровождающего нас до последнего дыхания.

Умение его уговорить, загнать поглубже, не поддаться — характеристика душевного равновесия, завидный талант. Справляешься со своими страхами, управляешь ими — стало быть, непоколебимо психически здоров и гармоничен. А много ли таких? А если — нет? «Ничего бояться не надо...» А если всё равно страшно?

Тогда надо научиться с ним жить. Взглянуть с другой стороны: ты боишься потерять работу — стало быть, есть она у тебя, и ты ею дорожишь. Боишься физической боли — значит сейчас, сию минуту, ничего не болит, а то бы было уже не до страха, боль сама по себе — слишком сильная эмоция, она перешибает даже страх, ей отдаёшься целиком. Тебя мучает страх за близких — так ты просто богат: они у тебя есть, ты их любишь, это ли не счастье? Вообразите человека, которому нечего, не за что, не за кого бояться, — какой ужас, какое отчаяние и одиночество, это же человек, который потерял всё!

А какое блаженство испытываешь, когда страх тебя отпускает: твой самолёт благополучно приземляется, задержавший-

Часть вторая

ся допоздна неведомо где взрослый ребёнок звонит наконец в дверь, гроза проходит стороной, угроза жизни чудом минует... Может быть, именно затем рассказывают детям страшные сказки? Может быть, только в такие мгновения наслаждение жизнью и бывает по-настоящему острым и полным? Ну, что ж, тогда — да здравствует страх!

ТЫ ПОЧЕМУ НЕ ЕШЬ?

— Ирочка, есть хочешь? Как это «нет», ты же голодная!

— Ира, иди обедать!

— Ешь немедленно!

— Без супа обедать нельзя!

— Оставь компот, ешь кашу!

— Что за мучение с этим ребёнком — ничего не ест!

Вам это ничего не напоминает? Значит, вам повезло. Одно из самых ранних воспоминаний — тарелка каши, которую съесть, с одной стороны, необходимо, с другой — совершенно невозможно. Тягостное чувство неизбежности и беспомощности.

Истязание пищей

Бабушка прекрасно готовила. Но это я поняла много-много лет спустя. В детстве у меня было отчётливое ощущение, что еда придумана специально, чтобы мучить детей. Каша манная, каша гречневая, картошка жареная, варёная, картофельное пюре, котлеты, жаркое, макароны, суп, щи — всего лишь разновидности пыток.

Понятия не имею, что было первично — то ли у меня от природы был плохой аппетит и принудительная кормежка толь-

ко его усугубляла, то ли впихивание еды погубило аппетит на корню.

Достаток в семье был более чем скромным, разносолов в доме не водилось, да и не было их вовсе, пожалуй, поэтому бедная бабушка из кожи вон лезла, чтобы накормить детей повкусней. А мы с сестрой с ужасом ждали каждого приёма пищи и оттягивали его со всей доступной нам изобретательностью. Сестра даже как-то додумалась ближе к обеду симулировать боли в желудке, но это не прошло — сразу определили, что у ребёнка голодные спазмы.

Чтобы сделать обеденный стол для нас хоть чем-то притягательным, бабушка изобрела игру «в детский сад». Мы с сестрой детского сада и не нюхали, поэтому он представлялся заманчивым и загадочным, и на какое-то время бабушка, в роли строгой воспитательницы, добилась того, что обедали мы не полтора часа, а час.

В один прекрасный день я осознала, что игра предоставляет новые возможности уклониться от поглощения обеда.

— Кашу есть не буду, — вздохнула я и отодвинула от себя тарелку.

— Почему это ты не будешь, Стекол? — холодно спросила бабушка, не выходя из роли.

— Мне слишком грустно это, — сделала я скорбное лицо, — у меня была сестра-близнец, она подавилась гречневой кашей и умерла. С тех пор я её в рот не беру.

Расчёт строился на том, что другого второго блюда, разумеется, не было. Бабушка повела себя очень спортивно, правила игры нарушены не были, и номер прошёл, но только на один день. В следующий раз мне мгновенно была поставлена под нос тарелка с варёной картошкой.

«Только не суп!»

Вырвавшись из родительского дома, я отпраздновала свободу от пищевой дисциплины прежде всего тем, что раз и навсегда прекратила есть суп. Всякий. До сих пор пугаю знакомых вскриком: «Нет-нет, суп (борщ, щи, рассольник...) мне не наливайте!»

Часть вторая

Потом сообразила, что запрет на «запивание» второго блюда — это тоже не Моисеева скрижаль, и, садясь за стол, с кайфом ставила перед собой полный графин с водой. Много позже обнаружила в каком-то солидном источнике информацию, что вот как раз запивать-то еду необходимо, и исполнилась торжества. Только торжествовать было уже не над кем — бабушки давно не было.

Но главное, утратило актуальность табу на чтение за едой. Обедать для меня означало — читать в своё удовольствие, параллельно закладывая в себя... в общем, всё равно что. Лучше что-нибудь компактное и пачкающее минимальное количество посуды — ну, например, бутерброд с ветчиной или сыром. Запивать можно водой, а можно и кофе — совмещение приятного с полезным. Кофе, понятно, удовольствие, ну а есть-то надо! Надо — но лучше поменьше и пореже.

Забавно, что при этом я неплохо готовила — видно, генетика сказалась. Даже пекла всякую вкусную всячину — бисквиты, «наполеон», яблочные пирожные, и вафли с кремом мастерила. И борщ у меня получался лучше, чем у подруг, и отбивные по особому рецепту стряпала... Пробовать только старалась минимально, и всё равно, пока готовила, успевала напробоваться так, что есть потом уже никак не хотелось.

НЗ

Говорят, нельзя учесть чужой опыт. Наверняка нельзя — у меня и со своим-то никогда не получалось. Ну, казалось бы, пичкали тебя в детстве, так ты хоть своего ребёнка не тирань, вспомни свои ощущения... Ничуть не бывало.

- Сынок, ешь!
- Ешь сейчас же!
- Ты почему не ешь?

И всё сначала, всё по кругу.

— Что ж ты делаешь? — спросила меня шёпотом лучшая подруга, отозвав меня из кухни, где происходило очередное кормление трёхлетнего мученика. — Зачем ты в него пихаешь насильно, он же не хочет!

- Так он же не ест!

- Ну и пусть не ест.
 - Да он голодный!
 - Был бы голодный, ел бы.
 - Да он же и так, как скелет, все рёбра видны.
 - Конечно, скелет, если ты его насильно кормишь, у него ничего не усваивается.
 - Видишь, ты сама говоришь...
- Диалог зашёл в тупик.

В кухне стоял круглый раздвижной стол, превращающийся при необходимости в большущий овальный. Доска, увеличивающая размер стола, была вмонтирована под столешницей. Однажды перед Новым годом я начала раздвигать стол, вытаскивала доску — и обнаружила там запасы еды, которой хватило бы на небольшую войну: окаменевшие бутерброды, сморщенные котлеты, аккуратные кучки гречневой каши... Несчастный ребёнок, спасаясь от моего пищевого террора, искал выхода — и нашёл его.

Я ужаснулась, раскаялась, огорчилась, что в моём детстве у нас не было такого замечательного стола, а был банальный квадратный, не хранящий детских тайн... И продолжала принудительную кормёжку — только теперь нипочём не оставляла сына одного за столом, пока не доест последний кусок.

«Ты не будешь?»

Ребёнок рос, а аппетита у него всё не было и не было. Я изошрялась в кулинарии, назначала призы за успешно съеденный обед — никакого толку. Так продолжалось до тех пор, пока муж, устав ежедневно присутствовать при часовых сеансах впихивания в мальчика «полноценного питания», не спросил невинно: «Ты не будешь? Ну давай я съем». И потянул к себе ребёночку тарелку. Сын захлопал ладошкой по столу, пытаясь догнать ускользающую пищу, распахнул на изверга глаза, но было поздно — муж спокойно доел жаркое, поблагодарил и встал из-за стола.

Я, жутким волевым усилием подавив в себе материнский инстинкт, вопящий, что ребёнка ожидает немедленная голодная смерть, сделала вид, что ничего не случилось, и налила сыну киселя.

Часть вторая

Назавтра история повторилась.

Мальчику хватило недели, чтобы отвыкнуть сидеть над тарелкой со страдальческим лицом. Волчьего аппетита у него так и не появилось, но он исправно съедал всё, что подавалось на стол, и даже немного прибавил в весе.

А я между тем увлеклась голоданием по Брэггу: полное очищение от шлаков, волшебный цвет лица, осиная талия и парение духа. Вся Москва передавала из рук в руки самиздатовский перевод с английского и лихорадочно высчитывала, сколько дней в году надо проголодать, чтобы очиститься окончательно. Система предполагала полный отказ от пищи сначала один день в неделю, потом неделю в месяц и, как заключительный аккорд, три недели в год. Чего мелочиться, подумала я — и решила начать с трёх недель.

На волосок от людоедства

В первые два дня я вообще не испытывала никакого дискомфорта, скорее, некоторое облегчение — ну её, эту еду, тем более раз полезно для здоровья. На третий день начались голодные муки. Желудок сводило судорогой, запахи еды становились всё заманчивей, я провожала жадными глазами каждый кусок, поглощаемый моими близкими, и ловила себя на том, что во время обеда начинаю их ненавидеть. Словом, я была на волосок от людоедства. Да что там людоедство — представлялось уже, что я сейчас могла бы съесть и ненавидимый мной суп — две тарелки, три тарелки...

Так продолжалось несколько дней. Потом страдания постепенно ослабели, появилась странная лёгкость, ощущение, что хожу ногами исключительно по привычке и приличия ради, а так вообще-то могла бы лететь невысоко над землёй, потому как тело постепенно сходило на нет.

На второй неделе голодания я перестала ощущать связь с остальным человечеством — словно бы все люди рабски привязаны, как канатом, к ежедневному приёму пищи, а я воистину свободна: не червь, а Бог.

Проголодав больше двух недель, я поймала себя на том, что испытываю к еде влечение, сродни романтической влюблён-

ности — платоническую нежность, совершенно бескорыстную. Я готовила не только обеды, но и горячие завтраки и ужины, каждый день пекла что-нибудь замысловатое и наслаждалась запахами пищи, как изысканным ароматом невиданных цветов. Причём оказалось, что моя стряпня в это время достигла немислимых кулинарных высот — это было странно, учитывая, что я не могла попробовать то, что готовила, даже чтобы определить, достаточно ли в блюде соли. Видимо, работали какие-то метафизические рычаги: экзистенциальная любовь — великая сила!

«Выходить» из голода следовало, начиная с варёной морковки. Я положила на блюдечек маленький оранжевый овощ, источающий лёгкий парок, и долго любовалась им. Потом положила в рот крошечный кусочек и замерла. Очевидно, я просто забыла, что с ним делать и как его жуют, но у меня было ощущение великого таинства.

«Принеси еды!»

Мой роман с едой после голодания продолжался несколько недель и закончился, как всякий роман, порождённый не глубокой внутренней потребностью, а внешними обстоятельствами, быстрым охлаждением. За это время я вновь набрала половину из потерянных десяти килограммов и приобрела привычку непременно иметь при себе что-нибудь съестное — ну, хоть конфету или сушку какую-нибудь. Супа, правда, так и не съела ни ложки — это уж видно, только если приключится что-нибудь из того, от чего не зарекаются. Словом, прошла любовь...

Зато я оказалась в необыкновенно выигрышном положении, когда в Москве во время перестройки плавно исчезли из продажи продукты питания. Сын вырос, жил отдельно и охотился на мамонта уже самостоятельно, мы остались вдвоём, муж обедал в редакционной столовой. Замученные подружки, у которых дети были ещё маленькие, целыми днями носились по пустым магазинам, а я жила совершенно безмятежно. Утром наказывала мужу: «Принеси, если сможешь, какой-нибудь еды», он приносил из столовой пару бутербродов, или немного винегрета, или несколько шпротин, мы съедали «еду» на ужин и, не заглядывая в пустой холодильник, ложились спать. А на завтрак у меня был

Часть вторая

кофе с сигареткой. Кофе, правда, тоже в продаже не было, зато все деньги, сэкономленные на нехождении в магазины, логичным образом тратились на кофе втридорога и на курево.

«Вкусно?»

Мой первый рабочий день на «Радио Свобода» пришёлся на понедельник. Я тихонько сидела на указанном мне месте и с ужасом внимала, как три весьма интеллигентные женщины в течение часа рассказывали друг другу, что они ели в прошедшие выходные.

— И вот, у этих японцев тебе ставят жаровню прямо на столик и приносят подносы с мясом и рыбой. Ты сам выбираешь куски, и их жарят на твоих глазах. Понимаешь, это совершенно другое ощущение...

— Конечно, другое. Это очень важно, когда видишь. А вот мы ходим к грекам, ну, там надо обязательно спросить у официанта, что у них сегодня лучше, потому что бывают дни, когда рыба...

— А мы тоже часто к грекам, я там всегда беру мясо, но надо брать именно ассорти. Вчера в ассорти мясном была замечательная баранина...

«Боже, они двинулись совсем, — думала я, — сколько можно говорить о еде, голодают они тут, что ли? В ресторан — важно, с кем, чтобы интересно, весело, чтобы потанцевать, а они, выходит, жрать туда ходят?»

Через пару недель, в столовой «Свободы», приятель, работавший в другом отделе, заметил вдруг:

— Как ты странно ешь, будто машинально. Такое впечатление, что тебе всё равно, что есть.

— Нет, ну как, не всё равно, конечно, манную кашу, к примеру, я бы не заказала, а вообще, какая разница?

— Ну, ты совсем дикая, — возмутился приятель, — надо тебе мозги вправить!

С этого дня он взял за правило минимум раз в месяц тащить меня в ресторан, всякий раз в новый. Заказывал какое-нибудь роскошество и пристально наблюдал меня в процессе поглощения пищи.

— Вкусно? — спрашивал он подозрительно.

— Очень даже! — торопливо отвечала я, чувствуя себя подопытным кроликом.

Бывало действительно очень вкусно, особенно осетрина на вертеле, как сейчас помню. Но я так и не смогла признаться ему, что для меня в тысячу раз важнее беседовать с милым мне человеком, чем дегустировать деликатесы. Наверное, он обиделся бы...

Приятного аппетита!

Напоследок пара экзотических кулинарных рецептов, в которых я изошряюсь последние несколько лет.

Берете булочку, лучше присыпанную зёрнышками сверху. Режете пополам, внутрь — кусок сыра, кусок ветчины, можно немного масла. Варите кофе. Кусок булки — глоток кофе. Кофе лучше с молоком. Организм получает все необходимые вещества, а вы сыты. Если вы законченный гурман, положите на ветчину ломтик огурца.

Второй рецепт: ту же самую булочку точно так же режете пополам. Намазываете такой розовой намазкой, которая продаётся в магазине «Пенни-Маркт» и называется «лакссалат». Варите кофе... И так далее. Вкус чрезвычайно изысканный.

Приятного аппетита! И не кормите своих детей насильно.

ДРУГ МОЙ, ТРЕТЬЕ МОЁ ПЛЕЧО

Толковый словарь русского языка: дружба — отношения между кем-либо, основанные на взаимной привязанности, духовной близости, общности интересов и т. п. Любовь (тот же источник) — чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности.

Я знаю, как надо

Я — натура страстная. Начиная с пламенной любви к кукле Оксане, каковое чувство не могло поколебать даже то обстоя-

Часть вторая

тельство, что волосы с головы любимицы снимались целиком чуть не с первого дня её жизни и подлежали прилепливанию обратно с помощью слюней, и кончая сегодняшней слепой и, не побоюсь этого слова, всеобъемлющей страстью к моей собаке, я отдавалась любой привязанности всецело и не рассуждая. Учитывая это обстоятельство, стать объектом моей пылкой — а по-другому у меня не получалось — дружбы — было испытанием нелёгким.

И не то ещё беда, что я, будучи человеком сверхвербальным, непременно должна озвучить процесс — без клятвы на Воробьёвых горах мне и дружба не в дружбу, — но одолевающий меня перфекционизм, направляемый, естественно, прежде всего на близких людей, сам по себе — ситуация не для слабонервных. Потому что я хочу, чтобы мои друзья были хороши и счастливы, а как — уж я-то знаю! Я знаю, как надо.

Первая моя в жизни подруга Верка, образовавшаяся скорее по территориальному признаку, чем по велению души, — наши дома разделял только забор, — была ребёнком довольно кротким, поэтому мои вечные поучения терпела довольно долго, года три, не меньше. Я учила её, как правильно прыгать через скакалку, как лучше залезать на дерево, как надо кормить кошку, как подорожником лечить болячки на коленках — ну, неправильно же всё делала, а я-то знала!

Она сносила всё, однако однажды, когда я, стоя между стеной нашего дома и приставной лестницей, по которой Верка взбиралась на крышу, активно руководила её действиями — ведь я лучше знала норы нашей лестницы, — тихо и угрюмо сказала: «Не учи! Надоела ты мне», — и яростно плюнула сверху мне на макушку. Был скандал и драка со слезами, нас разнимала бабушка, полтора дня мы страдали по разные стороны забора, затем последовало бурное примирение, я подарила Верке свой заветный «фестивальный браслетик», состоящий из крошечных фигурок негрятят, китайчат и маленьких белых пионерчиков, и... Как хотелось бы сказать: и с тех пор я ни разу не учила своих друзей, как надо жить. Увы!..

Не далее как в этом году я, объясняя близкой подруге, кого же, в конце концов, ей следует любить, столкнулась с необъ-

ясным феноменом: умнейший, тончайший, насквозь отрелексированный человек на моих глазах превратился в тупую злобную фурию, хамящую мне без всякой видимой причины и не желающую видеть собственной вины. Это было совершенно трагично и непостижимо. Мне понадобилось две недели, чтобы сообразить, что, очевидно, вместо того чтобы с неукротимой энергией держать свечку над её личными делами, капая раскалённым воском прямёхонько в глаза любимой подруги, надо бы предоставить ей право самой разобраться со своей жизнью, тем более что и я не такой уж безупречный эксперт в устройстве судьбы, как мне иногда кажется.

«Чтоб не пропасть поодиночке»

Есть у меня Главная Подруга, прошедшая со мной долгий путь от наших семнадцати лет до нынешней дороги с ярмарки. Наша связь не ослабевала ни на минуту, и даже нынче, когда нас разделяют такие расстояния, я чувствую её близость и родство. Её духовный и интеллектуальный уровень — недостижимый образец для меня, я даже и не пыталась ей подражать, безоговорочно признавая её абсолютное превосходство. Мы совсем разные. Кульбиты, которые я выбрасывала, должны были быть ей бесконечно чужды и дики, но я ни на минуту не ощутила не только осуждения, но даже отстранения. Воистину — бесконечная терпимость. В этой семье я находила душевный приют и любовь в самые крутые периоды жизни. И единственная за многие десятилетия наша ссора произошла, когда нам было лет по двадцать пять и я решила наконец научить её, как надо причёсываться — ну я-то знала, что ей пойдёт, я же обязана была ей помочь! Главная Подруга мягко отвела мою руку с расчёской, заплакала и попросила шёпотом: «Пожалуйста, отстань от меня...» Сейчас я диву даюсь, как я ухитрилась пробить брешь в её бесконечном терпении — я и её достала! Наверное, на каком-нибудь конкурсе сатаны мне за это полагаются первый приз...

В то же время нельзя сказать, чтобы я была плохим товарищем. Не подлежало сомнению, что, если я собираюсь на любовное свидание, а в это время звонит подруга и говорит, что

Часть вторая

у неё мигрень, я плюну на всю любовь и помчусь на другой конец города, чтобы если не помочь, так хоть рядом посидеть. Но это само собой разумелось, иначе в нашем кругу никто и не поступал. Собственно, только за счёт этой, почти фанатической, дружеской преданности мы и держались. Мир вокруг нас был так холоден и враждебен, что, только взявшись за руки, чтоб не пропасть поодиночке, можно было в нём уцелеть. Наша круговая порука со стороны, наверное, могла показаться чем-то почти животным, мы сбивались в стаю, чтобы выжить, и узы дружбы становились священны — забавно, но они были гораздо важнее семейных уз. Мужья и жены могли меняться — друзья были постоянной величиной..

И что замечательно, у нас на всё была общая точка зрения. Мир был внятным, чётким и чёрно-белым: вот мы — вот они, это хорошо — это плохо, так можно и нужно поступать, а вот эдак — ни в коем случае нельзя, потому что непорядочно и неинтеллигентно. И те несущественные разногласия, которые возникали порой, служили всего лишь пикантной приправой к нашему почти первобытному единодушию — ведь нельзя оспаривать, что костёр согреет нас в сырой пещере, а ближе или дальше от входа его разводить, это, в конце концов, мелкие подробности. Так что даже у меня, с моим маниакальным стремлением к усовершенствованию близких, было не так уж много поводов кидаться в атаку — ведь мы все были заодно и, стало быть, все правы. Но, если уж в кои-то веки кто-то из нас высказывал иное, противоположное суждение, мы бросались на святотатца всем племенем и не отступались, пока не приводили его образ мыслей в соответствии с общественным — правильным — мнением.

«Ты поняла, что я права?»

Попад в Германию, я была изрядно удивлена тем, что в одной компании могут существовать совершенно разные взгляды на один и тот же вопрос. Меня это даже как-то шокировало. Ага, смекнула я немного погодя — это, стало быть, не друзья они, а всего лишь приятели, у них нет никакой душевной близости, нет настоящего единства. Однако пришлось признать, что странным образом в сообществе, далеко, впрочем, не таком

тесном, как наше московское, сохранялись все приметы дружбы — и взаимное расположение, и откровенность, и дружеская поддержка. Мне понадобилось несколько лет, чтобы осознать, что в среде, не разделённой жёстким противостоянием, попросту нет необходимости в фанатической сплоченности и стоянии «спиной к спине у мачты, против тысячи — вдвоём».

Примерно тогда же пришло едва ли не первое осознание того, что никто не давал мне полномочий перекраивать взрослых людей на свой аршин, дабы они стали хороши и счастливы по моему образцу. Простая истина «пусть каждый шагает, как хочет» очень туго давала ростки в моём отравленном общинностью сознании. Я упорно старалась поставить знак равенства между дружбой и одинаковостью, пыталась воспроизвести в Мюнхене московскую тусовку и не замечала, что ни образ жизни, ни возраст, который, несомненно, усугубляет личностные характеристики — не зря ведь молодые лица всё более или менее похожи, а с годами индивидуальность проступает всё отчётливей, — попросту не дают возможности слиться в экстазе единомыслия, да так и ходить, не разжимая рук.

Однажды поспорили с немецкой подружкой о чём-то, связанном с отношениями мужчины и женщины. Мнения, понятное дело, резко разошлись. Она — отчаянная феминистка, я же выросла в атмосфере мачизма, и, признаться, этот тип отношений до сих пор представляется мне наиболее природно верным и таит в себе некоторое исконно-посконное обаяние, недоступное, очевидно, западным женщинам. Ну — рабская натура, это уже в крови. Но странно было не то, что мы не сошлись в оценках, а то, что в какой-то момент я заметила, что игра идёт в одни ворота: я пылко нападаю, нанизываю аргументы, сыплю цитатами, а все мои меткие удары попадают как бы в пустоту, не встречая никакого сопротивления.

— Ну, теперь ты понимаешь, что я права? — спросила я, торжествуя победу. — Я тебя убедила?

— Нет, — флегматично ответила подруга.

— Почему же ты не возражаешь?

— А зачем? Я уже поняла твою точку зрения, ты очень хорошо всё обосновала.

Часть вторая

Я решила, что тут какое-то чисто языковое недоразумение.

— Ты поняла, что я права?

— Нет. Я просто поняла тебя. А думаю я всё равно по-другому. Но ты ведь тоже поняла, что я думаю?

Меня даже ознобом прохватило. А ведь наши отношения к тому моменту насчитывали уже несколько лет, и вдруг такой холодный цинизм, такое равнодушие ко мне как к личности — как это можно, остаться настолько глухой к моему страстному желанию научить её правильно жить? А вдруг, наоборот, я не права, и, может быть, это сломает всю мою жизнь, так убеди же меня, научи!.. К слову сказать, с тех пор моя подруга не однажды и достаточно веско доказала мне, что товарищ она верный и надёжный, и даже — правда, в несколько экстремальных обстоятельствах, — к моему неудовольствию, пыталась поучить меня правильно жить, так что пришлось напомнить ей тот давнишний спор, отчего мы обе невесело засмеялись. Но урок был дан, и, хоть далеко не сразу пошёл он впрок, я за него благодарна.

Единомышленники и друзья

Этот урок был не единственным. Мне постепенно, маленькими порциями, сравнительно безболезненно, прививалось представление о терпимости, о подлинном уважении к личности, о том, что мои друзья — это вовсе не мои двойники и не светлой-зеркальце, которое доложит всю правду, что я на свете всех румяней и белее, то бишь правее. Сказать, что я вовсе вылечилась, наверное, нельзя, однако некоторый прогресс в течении болезни определённо наметился. Бывают, конечно, рецидивы, вроде того, от которого пострадала недавно моя бедная подруга, подвергнутая экзекуции на предмет «правильной» любви, но в целом можно сказать, что пациент скорее жив, чем мёртв.

И это большая удача, потому что иначе не знаю, как бы я справилась с нынешним временем противостояния, когда зачастую даже в одной семье множество кардинально разнящихся взглядов на события — по числу её членов. Америка, Ирак, Израиль — это нынче такие опознавательные знаки, которые водоразделом ложатся между самыми близкими по духу людьми.

Среди моих друзей есть один — блистательный собеседник, неотразимо обаятельный человек и великолепный писатель. Его убеждения в точности отражают палитру воззрений крайне левых немцев, доводя их к тому же до абсолютного предела. Причём эти левонемецкие взгляды причудливо уживаются с присущим только русской интеллигенции желанием распространить свою точку зрения на всё живущее ныне человечество. Когда он начинает в который раз страстно вещать, что Америка — фашистская страна, с повсеместно применяемыми пытками для инакомыслящих, а Израиль по той же причине подлежит немедленному принудительному расселению, я, странным образом вынужденная исполнять партию моей немецкой подруги, сначала посмеиваюсь, потом мирно говорю: «Ну да, я поняла, но я, ты же знаешь, думаю по-другому», — и в конце концов пытаюсь просто сменить тему. Однажды, когда это мне в очередной раз не удалось, я, уже слегка закипая, спросила:

— Объясни, чего ты хочешь? Ты же знаешь мою точку зрения — она другая.

И он в полной простоте совершенно искренне ответил:

— Я хочу тебя убедить!

Кто-то из моих друзей свято уверен, что гуманистические принципы неприменимы к арабам, кто-то считает, что Холокост — событие малозначительное и не стоящее пристального внимания, и, что самое удивительное, каждый незыблемо убеждён в своей правоте. И что самое грустное, все они не прочь убедить в ней меня. А я слушаю их всех и тихонько складываю по кирпичику маленький домик моих собственных убеждений, которые никому больше не хочу навязывать. Единomyшленников у меня нет — таких, чтобы во всем и полностью. Но есть друзья.

В конечном счёте наша готовность воспринимать человека таким, какой он есть, определяется двумя величинами: границами нашей внутренней терпимости и персональной ценностью для нас именно этого человека. И когда первые уже зашкаливают, вступает в силу второй параметр: дорожишь ли ты этим человеком настолько, чтобы пойти на компромисс со своими установками? Не лепи себе друга по принципу «если

Часть вторая

я тебя придумала, стань таким, как я хочу», а положи на весы те его стороны, которые ты ценишь, то тепло, которое он тебе даёт, то прошлое, что вас связывает, да просто те неназываемые и не поддающиеся рациональному объяснению нити взаимной симпатии, соединяющие подчас совершенно разных людей. И если всё это не перетянет твоего внутреннего несогласия с ним, — что ж, тогда, значит, это не друг. Дружба ведь, в отличие от любви, не бывает неразделённой.

А других отличий, кажется, ведь и нет? Дружба — это любовь минус эротическая составляющая. Ведь не оставим мы любимого человека потому лишь, что он видит мир иначе, чем мы? И даже толковый словарь на первое место в определении дружбы ставит то же, что и в любви: взаимную привязанность, а следом уже прочие «и т. п.»... Дружить — значит любить.

НИЧЕГО ОСОБЕННОГО

Секса, как известно, в СССР не было. Не только секса, много чего не было. Не было, например, инвалидов. Во-первых, советский народ — самый здоровый в мире, а во-вторых, жить становится всё радостней и веселей, так при чем же тут какие-то уроды? Им в стране побеждающего социализма просто не было места.

Обрубок в детском вагоне

Каждое путешествие в Москву из подмосковного Томили-на было счастливым приключением: детей нечасто брали «в город». Прежде всего, это было хлопотно: надо было обеспечить ребёнка питьевой водой, каким-то перекусом (купить же «на ходу» ничего невозможно), кофточкой или пальтишком на случай похолодания, словом — целый обоз, а кроме того, наши мамы панически боялись инфекции, каковая, по их представлениям, кишела кишмя во всех общественных местах, особенно в транспорте. И ладно бы ангина или грипп, но над всеми родителями в то время витал ещё страшный жупел полиомиелита, которого боялись до судорог и никогда не называли по

имени, употребляя эвфемизм «это»: «Нет, у неё, слава Богу, не «это», температура не такая уж высокая».

Ну и вот, отправляясь в Москву, я была радостно возбуждена, тем более что нам удалось попасть в «детский вагон», все отличие которого от обычных состояло в гирляндах разноцветных бумажных флажков, развешанных под потолком, — но ведь это же совсем другое дело! Поезд трусил между знакомыми пейзажами: одноэтажные домишки, скромные садики подле них, коробочки пристанционных магазинов, переезды с полосатыми шлагбаумами — как вдруг раздался металлический грохот, дверь вагона отъехала, и я, ощутив странный сбой взгляда — на высоте ожидаемого взрослого роста никого не оказалось, — обнаружилась на уровне ниже обрубок человека.

Обрубок был воздвигнут на деревянную платформочку, передвигающуюся на самодельных подшипниках — они-то и издавали жуткий грохот. Отталкиваясь руками, замотанными в плотные грязные тряпки, кусок человека проехал по вагону и, остановившись на середине, запел. Песня была заунывно-агрессивная: что-то о боях, в которых «ног и рученок лишился», о злой жене, не пустившей инвалида на порог, о бедной маме, сердце которой разорвалось от горя... В сочетании с ошеломляющей, невиданной ситуацией, немудрящий текст ударил в моё сердце с мощью истинной поэзии, и я, каким-то образом поняв, что от нас требуется, затеребила маму. Но она и без того доставала уже кошелёк.

В невообразимо засаленную ушанку, закреплённую на тележке рядом с торсом инвалида, посыпалась мелочь. Быстро бросая в шапку монетки, пассажиры тут же отводили глаза. Собрав дань, обрубок прокатился в конец вагона, с усилием преодолел невеликий порожек, и грохот стал удаляться.

«Куда милиция смотрит?»

«Детский вагон» подавленно смолк, потом послышались голоса:

- И сколько лет уже после войны, а они, бедные, всё ездят.
- «Самовар» называется.
- Нет, «самовар» — это когда и без рук.

Часть вторая

— Вот несчастье...

— И куда милиция смотрит? Здесь дети, между прочим!

Строго-настрога выдрессированная — никогда не встречать в дискуссии со взрослыми, я старательно прикусила язык, но тут вмешалась моя тихая мама:

— Ну и что, что дети? Дети должны знать, что на свете есть беда, они от этого всё равно не уйдут.

Пассажиры поделились примерно пятьдесят на пятьдесят, и та половина, которая не желала видеть перед собой живого горя, обрушилась на маму с такой энергией, что нам пришлось перейти в другой вагон и продолжить путь без флажков, за что я на маму несколько не обиделась, радуясь тому, что она смогла выразить мои несформулированные мысли.

Дома я попыталась расспросить старших о поразившем моё воображение обрубке, но всё, чего добилась, было разъяснение: ранения на войне бывали разные — вот у папы просто не действует левая рука, а попади вражеская пуля чуть выше, был бы он и вовсе одорукий, как его однокурсник, дядя Август. О том, что таких «самоваров» после войны свезли доживать на Валаам, с глаз подальше, никто и словом не обмолвился — очевидно, мамино свободомыслие имело определённые пределы.

Надо сказать, в контексте общественного сознания это было естественным — даже в маленьком подмосковном посёлке господствовало установление: физическая неполноценность — состояние в некотором роде постыдное. Ту единственную девочку в Томилине, что и взаправду переболела страшным полиомиелитом, прятали от глаз соседей так старательно, что со времени выздоровления её попросту никто не видел. Врач, а потом и учительница, ходили к ней домой, а гулять её выводили — очевидно, как-то передвигаться она всё же могла — исключительно на заднем дворе, так что соседка стала для нас прямо-таки «железной маской», и мы даже как-то пытались подсматривать через забор из соседнего двора, за чем были застигнуты и сурово наказаны.

Слепая Сура, которой вспыхнувшим примусом выжгло глаза, никогда не покидала своей комнаты. Мы бывали у неё в доме довольно часто, но никому даже в голову не приходило,

что в принципе её можно просто взять под руку и вывести погулять — и это при том, что её любили и жалели и мать, и сестра, и отец. Ну, просто это было ясно: ослепла — должна сидеть дома.

В сложной палитре чувств, которые вызывает общение с человеком, отличающимся от других не в лучшую сторону, — суеверный страх, жалость, сочувствие и желание помочь — настолько отчётливо преобладало первое, что нежелание видеть въявь чужое несчастье доходило уже прямо до отвращения. С жалостью тоже дело обстояло непросто. Затверженное накрепко враньё: «жалость унижает человека» — не только не позволяло окружающим проявлять эту самую ни в чём не повинную оболганную жалость, но и ориентировало самих инвалидов на несколько даже вызывающее поведение. «Я не калека! Я не хуже вас!» — тем самым между физической ущербностью и «потерей качества» в личностном смысле ставился жирный знак равенства.

«Мы не умрём!»

Обнаружив в Германии, сразу по приезде, несметное количество инвалидов, я принялась строить теорию, согласно которой высокий уровень промышленных технологий обуславливает повышенную инвалидизацию населения, даже намеревалась добыть конкретные цифирки, что, впрочем, трудно было сделать без Интернета и полноценного языка, — и рисковала остаться при этом идиотском заблуждении на долгие годы. Спасибо, что в какой-то момент, наблюдая ставшую уже привычной картину посадки в автобус инвалида (коляска подъезжает к передней двери, водитель опускает пандус, если нет сопровождающего, помогает въехать внутрь и ввозит коляску в отведённое для «колёсных сооружений» пространство), вдруг сообразила: а каким же образом я могла бы составить представление о количестве калек в Москве — они же, чисто технически, не могли высунуть носу из дома.

Иное сознание порождает иную степень технического оснащения инвалидов — или наоборот? Как чистый идеалист я склонилась в сторону первого утверждения и стала наблю-

Часть вторая

дать. Получалось что-то странное. С одной стороны, всё предельно приспособлено для людей, скажем так, нестандартного состояния: те же повсюду понастроенные пандусы, жужжащие при переключении на зелёный свет светофоры и куча других примочек, которые мне в стране происхождения даже в башку не залетали: например, специально приспособленные для колясок общественные туалеты — ну, это уж для советского москвича было чересчур, поскольку мы и обычными туалетами вовсе не были набалованы.

С другой стороны, никакой повышенной предупредительности, такое ощущение, что ни тебе суеверного страха, ни особого сочувствия — так, бытовое явление. Помогают, конечно, при посадке в транспорт, если надо, но без всякого пиетета — так же деловито, как одиноким мамочкам с колясками. Так что моё идеалистическое построение: мол, Германия обяна повышенным состраданием, оттого и заботливо подстелила во всех местах соломки для уязвимых членов общества — снова рухнуло. Выходило так, что живут среди людей — люди. Ну, у одного ноги парализованы, другой — не видит, надо уладить всё так, чтобы им было удобно, нужна помощь — пожалуйста, а так-то, вообще, что ж тут такого?

Прошло довольно много времени, прежде чем я поняла: вопрос, бесспорно, в менталитете, но закопан гораздо глубже. Советское атеистическое сознание, восходящее к солженицынскому «мы не умрём», отвергает на корню мысль о том, что все ходят под Богом, и несчастье может в любой момент коснуться любого. Подкорковое «чур меня!» не желает принимать в расчёт ни возможность собственной инвалидности, ни вероятность рождения больного ребёнка, вообще никакой беды — потому не желает видеть перед собой живое существо, угодившее «под судьбу». От этого, а вовсе не от бедности и технической беспомощности — подумаешь, какая сложность и дороговизна — спроектировать пандусы в подземных переходах! — установка на то, что инвалид не должен мозолить глаза полноценному населению. А уже отсюда как следствие нервная настороженность советских инвалидов и их беспомощная потребность доказать, что они — тоже люди.

Совсем как настоящий

Массовое сознание иногда проявляет себя парадоксальным образом, проговариваясь, совершенно как человек. Такая проговорка произошла в СССР, когда на ровном месте был насажден культ Асадова. Нельзя сказать о нём ничего плохого: говорят, да, вполне возможно, так и есть, что он был очень приличным человеком, даже и неглупым. Но скорость, с которой он был возведён в ранг поэта, поистине изумительна. Ведь совершенно очевидно было для всех, даже для членов Союза писателей, что к литературе данный феномен не имеет ни малейшего отношения, и вся популярность Асадова базировалась только и исключительно на том факте, что «поэт» был слепым.

Если вдуматься, слепота, не помешавшая Гомеру, никак не могла препятствовать поэтическому творчеству во второй половине двадцатого века, тем более что дело не происходило на необитаемом острове: если не магнитофон, так запись под диктовку. Безумное тиражирование абсолютно беспомощных виршей, подобных песням вагонных инвалидов моего детства, выражало затаённую мысль: вот, слепой, а пишет — совсем как настоящий... Если допустить у Асадова наличие хотя бы некоторой рефлексии, это, логически рассуждая, должно было бы его обижать.

Дядю Августа, папиного однорукого друга, я любила нежно и восторженно. Он и впрямь был очаровательный: рыжий, весёлый, беззаботный и редкая умница. То, что он инвалид, молчаливо выносилось за скобки. Своей единственной широколапой рукой он ухитрялся полностью обслуживать себя, да ещё и баловать «своих баб» — жену и дочку: когда я впервые увидела, как он чистит картошку, прижимая культей к боку клубень, я просто онемела. Никаких комплексов у него, по всей видимости, не было — каждый год в день его ранения поднимался тост за того немца, который «отстрелил» руку Августу и тем самым почти наверняка спас ему жизнь: из сражения, в котором это произошло, мало кто вышел живым.

То есть казалось, что психологически никаких изменений с человеком, прожившим большую часть жизни одноруким, не произошло. Но: он никогда не позволял себе помогать, даже

Часть вторая

в тех неоспоримых случаях, когда действие было совершенно невыполнимо без второй руки — я однажды влезла со своей помощью и натолкнулась на такой надменный, отчаянный, отчуждённый взгляд, что никогда больше попыток не повторяла.

Другие

Я вспомнила Августа Алексеевича, когда рядом со мной на лекции оказалась юная девица с коротенькими ластами вместо рук. Говорят, это увечье, чуть ли не в массовом порядке, появилось из-за снотворного, которое в своё время предлагалось беременным как совершенно безвредное.

Девушка управлялась наличными конечностями с просто-таки неправдоподобной ловкостью, как опытный антиподист: вынимая ступню из просторной обуви, она ногой доставала необходимые предметы из сумки, придерживая её культиями. Ступни были гибкими, с тщательным педикюром. Народ сохранял полнейшую невозмутимость. Я, внутренне поёживаясь, старательно подавляла импульс помочь, возникавший буквально каждые несколько минут. В конце лекции, ловко покидав тем же способом вещи в сумку, девушка обратилась к соседу:

— Вы не могли бы подать мне пальто?

Он взял с соседнего стула затейливую накидку без рукавов и накинул ей на плечи.

— Спасибо. — Улыбка.

— Пожалуйста. — Улыбка.

Ничего особенного.

Хотя, конечно, чужая душа — потёмки. Наверное, свою инвалидность, равно как и другого рода инакость, каждый обрабатывает в меру своих душевных возможностей — один с негодующим воплем: «Ну почему я?!», другой со смиренным: «А почему бы и не я?»... Есть и те, кто принимает калечество как испытание, дающее возможность проявить себя внутренне по максимуму, как другим не снилось, но это уже, конечно, высший пилотаж и бывает, очевидно, крайне редко.

Люди с физическими недостатками, разумеется, не хуже прочих. И не лучше. Они — другие. Совершенно полноценные и по-своему гармоничные, просто поставлены в несколько

иные условия существования, но их жизнь может и должна быть наполненной и радостной, хотя бы в тех рамках, которые обусловлены природой или случаем. Это трудно. Чувствовать себя полноценным человеком не вопреки своему увечью, а несмотря на него — вовсе не просто. Тем не менее, иногда получается.

Видела недавно картинку. Идёт парочка. Она — с белой палочкой слепца, он — с костылём, который не вполне поддерживает перекошенное, колеблющееся при ходьбе тело, поэтому опирается на руку спутницы. Подошли к автобусной остановке, сели на лавочку, оживлённо разговаривают. Он взглянул внимательно и поправил её заботливо сделанную — очевидно, им же самим — причёску. Она улыбнулась и, найдя ошупью, погладила его руку. Так несомненно радовались жизни, что было даже немного завидно.

«И НИКАКОГО РОЗОВОГО ДЕТСТВА...»

И никакого розового детства,
Веснушечек, и мишек, и игрушек...

Анна Ахматова

О, прекрасное детство! Беспечальное, беззаботное, безоблачное, безвозвратное... Что ещё «без»? Беззащитное, беспомощное, безответное, бессильное... Вернуться туда? Да Боже меня сохрани!

Девочка-вурдалак

...Гаснет оранжевый абажур, мама выходит на кухню, там ждёт её бабушка. Это всегда так: меня укладывают спать, а сами сидят в кухне, разговаривают негромко. О чём они там? Обо мне? Может, узнали, что я лазила в буфет и нечаянно сломала брызгалку из синего стекла, с шёлковой грушей сбоку? Я ведь только хотела налить туда воды и побрызгать на кошку, а груша соскочила и не приделывается обратно. Я спрятала её подальше, за банки с вареньем, а вдруг нашли? Что теперь будет?

Часть вторая

Что-то скребётся в окно. Что это? Кто? Позвать маму? Она зажжёт свет, и всё исчезнет, скажет: «Нет никого, спи», погасит свет и уйдёт, а оно опять... А вдруг это вурдалак? Он укусит меня в шею, как в той английской сказке, и я тоже стану вурдалаком, ночью высосу всю кровь из мамы, и она умрёт, и никто не будет знать, что это я, а я буду, но ничего не смогу сделать — вурдалак же не может не пить кровь, — а потом бабушку... Что делать? Кажется, стихло. Улетел? Вернётся?

Когда вырасту, у меня будет толстая коса, в руку, не такая, как сейчас, а до колен, и все будут в меня влюбляться, как только увидят, а я буду молчать и вздыхать, бледная и прекрасная, потому что в моём сердце будет жить далёкий образ Витьки, и ни на кого даже не посмотрю. Если коса не вырастёт, можно будет купить привязную, у Лидии Дмитриевны привязана, она показывала. Мама сказала потом бабушке: «Какая гадость». Почему гадость — красиво.

Теперь под кроватью скребётся. Если мышь, я сейчас умру. Они не верят, что я могу умереть, если мышь прыгнет, а я умру. Тогда они пожалеют.

Робинзон Крузо в лесной школе

Самое острое впечатление детства: меня никто не понимает. Взрослые говорят на другом языке, они таинственны, непредсказуемы, нелогичны и непреклонны. Им ничего нельзя объяснить. Они никогда мне не верят.

Воспитатели, а потом учителя — странные. Они хвалят, ставят пятёрки, но спрашивать ни о чём нельзя, непременно скажут: «Это тебе рано знать», а потом, в школе: «Этого мы ещё не проходили, это тебе не надо». Маму вызывают в школу, говорят: «Ваш ребёнок неправильно развивается».

В характеристике из лесной школы написали: «Девочка начитанная, отлично учится, сан.-гигиенические навыки привиты, но живёт в мире странных фантазий, не отличает прочитанное от реальности, не умеет вести себя в детском коллективе». Мама расстроилась.

А всё из-за того, что я играла в Робинзона Крузо и должна была, конечно, быть одна на прогулке, а они хотели играть

в «ручеек» — с кем же мне играть на необитаемом острове, ведь даже Пятница ещё не появился? Я попросила, чтобы меня не трогали, вежливо попросила, а воспитательница закричала: «Ты что, особенная?» — и прогнала меня в спальню.

«Опять воображаешь?»

Всё детство прошло в поисках лучшей подруги. Должна ведь у человека быть лучшая подруга? Чтобы всё ей рассказать и чтобы она всё поняла, чтобы читала те же книги и любила те же стихи, и никогда тебе не изменила. С подругой мне не везло. Соседская Верка, смуглая, с прямыми соломенными волосами, охотно играла со мной в «подшибалу», «нагонялы» и в мяч, но в куклы с ней играть было уже невозможно — смысл игры для неё был в том, чтобы лупить куклу по попе и кричать: «Щас убью тебя, заразу!» Играть так скучно и неприятно. Разговаривать с ней и вовсе трудно: на любое ей незнакомое слово она щурит презрительно прозрачные глаза: «Опять воображаешь?» А я же не нарочно.

С другими девочками тоже не получается. Они все рассказывают своим мамам, что им ни скажешь, а те — моей, и меня наказывают за враньё, но это ведь не враньё, а «истории», и никому не объяснишь. И про Овода им не расскажешь, что я в него влюблена и что Витька на него похож, особенно ресницами — будут смеяться. И что я совершу подвиг — тоже нельзя... Наверное, они все правильные, а я неправильная. А как стать правильной?

Анечка

В первом классе появилась Анечка. Подошла на перемене: «Давай с тобой дружить». Она изящная, тоненькая, форма с плиссированной юбкой сшита на заказ, она сразу об этом сказала, значит, это важно. После уроков пошли к ней домой. У них свой дом, во дворе бегают огромная овчарка, Анечка её боится, кричит: «Мама, убери собаку!», а я так хотела её погладить.

Обед был, как в Новый год, даже ветчина, я стеснялась есть, а Анечкина сестра сказала: «Что это ты так плохо ешь, ты, наверное, избалованная». Потом мы пошли в Анечкину комна-

Часть вторая

ту — у неё своя комната, и письменный стол свой, — и я всё-всё ей рассказала, даже про Овода и про то, что я буду, как Констанция Бонасье, чтобы умереть на руках у любимого, только успеть предупредить его про врагов, и она внимательно слушала и так хорошо всё понимала.

Про себя она ничего не рассказывала, только показала игрушки и кукол, их у неё очень много, я бы не смогла столько любить, у меня одна Оксана. У неё полный шкаф платьев, и есть даже брюки, серые, она померила, я не видела никогда ни одной девочки в брюках, очень красиво.

Мы дружили до Нового года, я приходила к ней, она ко мне, и мы ходили гулять в парк, нас вдвоём отпускали, она всё про меня знала, и мы поклялись, что будем лучшими подругами всю жизнь и никогда друг друга не предадим. Чтобы скрепить клятву, нужно разрезать пальцы и смешать кровь, и я разрешила себе указательный палец бритвенным лезвием, а она нет, тогда я просто помазала её палец своей кровью и подумала, что клятва всё равно действительна, и показала ей роман, который писала второй месяц — это была самая страшная тайна, я знала, что Анечка никому не скажет.

Но перед зимними каникулами, когда весь класс остался после уроков готовиться к ёлке, я заметила, что девочки собираются в кучки, и шепчутся, и смеются. Потом ко мне подошла Алла Николаевна и сказала: «А ты можешь идти домой, в утреннике участвовать не будешь. Ты ведь у нас писательница, вот и иди, пиши свой роман. И подумай о том, что надо не выделяться, а быть как все». И я ушла.

Путёвка в санаторий

Самое страшное в детстве — полная зависимость. Мама приходит с работы и говорит: «Ну вот, достала тебе путёвку в лесную школу. Подлечишь желёзки, подышишь воздухом, там питание хорошее».

И всё, жизнь кончается, ты начинаешь с ужасом отсчитывать дни, их остаётся всё меньше и меньше, по вечерам ты смотришь с отчаянием на коврик на стене возле кровати, с родными вылезшими нитками, на любимую сосну в окне, прижимаешь

к себе куклу и понимаешь, что ничего этого больше не будет, что скоро ты останешься одна среди чужих взрослых и незнакомых враждебных детей, и мысль о том, что из проклятой лесной школы ты когда-то вернёшься ведь домой, просто не приходит в голову, потому что такими временными категориями, как «полгода», детство не оперирует.

Внутри всё рвётся, хочется броситься к маме и умолять: мамочка, родная, не отдавай меня, у меня почти не опухают желёзки, здесь у нас тоже хороший, чистый воздух, тут парк и сосны, ты же сама говорила, я всегда буду есть гречневую кашу, только не отдавай... Но знаешь, что это бесполезно, и молчишь, и только кукле шепчешь на ухо: «Оксаночка, сиротка моя бедная, как же ты без меня?»

И приходит страшный день. Чемоданчик собран, на нём наклейка с моим именем. Написанное бабушкой тушью на белой тряпочке, оно кажется таким странным, чужим. На всех вещах тоже пришиты полоски с именем, они от этого тоже как не мои, казенные. Подходит электричка. Золотые и алые осенние деревья бегут назад в окне, я смотрю на них с тоской и понимаю, что скоро они облетят, а потом покроются снегом, а меня здесь не будет, не будет...

Считалось, что я общительная и легко привыкаю к новому месту, и мама так и не узнала, что каждый вечер я часами плакала под одеялом и ковыряла пальцем ненавистную белую стену в изголовье кровати.

«Где ты, моя мамочка?»

Прошло двадцать лет. Мой пятилетний сын сидел возле меня и смотрел, как я пришиваю к майкам и штанишкам полоски с его именем, заказанные загодя в прачечной.

— Мама, — спросил он, — а я туда надолго? Навсегда?

— Ты что, только на три месяца, и я же буду приезжать каждую неделю, время быстро пройдёт, ты будешь там играть с детьми, ещё и домой не захочешь.

— Захочу, — сказал он очень тихо.

Санаторский автобус с детьми уходил утром. Воспитательница проверила наш мешок, который я сшила с огромными

Часть вторая

трусами, — велено было именно мешок, а не чемодан, — и сказала, что не хватает тапочек — «чешек».

— Их же не было в списке.

— Но на собрании говорили.

— Что же делать?

— Поезжайте, купите и сегодня привезите, только чтобы мальчик вас не видел.

Я поцеловала сына и вышла из автобуса. Его лицо, серьёзное и спокойное, с полуопущенными веками виднелось в окне, пока автобус не повернул за угол..

После работы, выстояв очередь за тапочками, на электричке и двух автобусах я добралась до санатория. Нянечка взяла у меня «чешки» и сказала: «Ваша группа пока в игровой, можете посмотреть на своего из коридора, а в восемь пойдут спать, с той стороны второе окно, его кровать в углу».

Игровая комната была ярко освещена, дети, собравшись группками, сосредоточенно занимались какими-то важными делами. Мой сын сидел на стуле у стены, худая шея наклонена, глаза опущены, руки сложены на коленях. Я смотрела на него из коридора. Потом воспитательница вышла на середину комнаты, хлопнула в ладоши и сказала: «Отбой! Быстро умываться и по палатам».

Окно спальни было высоко. Я разыскала какой-то обломок кирпича, встала на него и заглянула внутрь. Кроватки рядами, белые стены. Воспитательница стояла в дверях, держа руку на выключателе. «Всем спать», — сказала она, и свет погас. Прошло около получаса. С кровати в углу поднялась фигурка в белёющей в темноте пижаме. «Мама, — услышала я голос моего сына, — мамочка моя, где ты, моя мамочка...» Сын всхлипывал в тёмной тихой спальне, а я беззвучно плакала снаружи, балансируя на шатком кирпиче.

А ты?..

Почему мы ничего не помним? Не бывает никакого счастливого детства. Это блеф. Ребёнок по определению беспомощен, растерян и одинок. Он не понимает своего предназначения в этом мире, не чувствует границ своих возможностей

и почти вовсе не имеет никаких прав. Он полностью зависит от произвола взрослых, слава Богу ещё, если эти взрослые добро-совестны и ответственны, а если нет?

Дети, по сути, живут в точно таком же жёстко регламентированном мире, как армия, а у многих ли срочная служба вызывает радужные воспоминания? Разве что когда пройдут годы и годы... Вот в этом и фокус. Детство — это было так давно. Счастливые свойства памяти: стирать мучительные и болезненные воспоминания, оставляя только тёплые и светлые. А попробуйте честно вспомнить своё детство — сколько унижений, горя и слёз. Не случайно дети так часто плачут, это не только потому, что они ещё не натренировались глотать комок в горле молча — у них на самом деле больше оснований для слёз. Они учатся жить. Учёба — дело суровое.

Детство. Милые лица мамы и бабушки, кошка, свернувшаяся возле печки, оранжевый абажур над столом, покой и уют. А рядом притаился страх. В дом могут ворваться грабители, во время грозы может ударить молния, мама, возвращаясь с работы, может попасть под электричку, и — внезапно ударившая и с тех пор никогда не оставляющая мысль, — могу умереть я сама. О страхе никому нельзя сказать, с ним надо жить, научиться его преодолевать. На это уходят годы.

Люди, знавшие меня с малолетства, — их теперь осталось так мало — говорят иногда: «Ну, у тебя-то уж было прекрасное детство, ты была чудным ребёнком, таким жизнерадостным». А я никак не могу набраться храбрости, чтобы спросить у своего взрослого сына: «А ты был счастлив в детстве?»

НЕ ОБМАНИСЬ

Всё-таки девочки — совсем не то, что мальчики. Не то чтобы они были лучше — во всяком случае, я не взялась бы это доказывать, — но некоторые свойства проявляются у них раньше и чётче, чем у представителей сильного пола. Вы видели когда-нибудь ребёнка мужского пола, кокетливо одёргивающего

Часть вторая

**майку? Или изящным жестом поправляющего чёлку? А девочек?
Да сколько угодно.**

Вызывающий ситец

Когда мне было года четыре, бабушка заболела, и меня отправили на побывку к её сестре. Тётя Лида, как я её звала, хотя на самом деле она приходилась мне двоюродной бабушкой, была человеком совершенно очаровательным, весёлым и добрым, а меня любила ещё отдельно, как дочку любимой племянницы, так что жилось мне у неё неплохо, и тоской по дому я почти не страдала — ну разве что по вечерам.

Когда внезапно потеплело, тётя Лида пересмотрела мой довольно скудный гардеробчик и решительно сказала: «Ну, так мы не обойдёмся. Пойдём, купим тебе материала на сарафанчик и, может быть, ещё на блузочку». Я возликовала — про себя, поскольку, по моему разумению, вслух полагалось сказать только чинное «Спасибо», — и мы отправились в магазин.

В маленьком универмаге, в подмосковном Гучкове, обнаружился, по моему тогдашнему представлению, гигантский выбор тканей: две расцветки сатина и не менее полдюжины ситцев. Сатин «в ромашку», на блузку, был выбран тётей Лидой без колебаний, а перед ситцами она засомневалась:

— Вот этот, красный, что ли, взять?..

— А конечно, — поддакнула продавщица, — она тёмненькая, ей пойдёт.

— Тётя Лида, не надо красный... — прошептала я (всё-таки не дома).

— Почему?

— Он... он... — я лихорадочно рылась в памяти в поисках нужного слова, а оно все не находилось.

— Да чем он тебе не нравится? Смотри, и цветочки красивые.

— Он слишком вызывающий! — выпалила я.

Интермедия, естественно, вошла в семейный эпос и служила мне вечной укоризной, когда я в очередной раз обнаруживала присущую мне дикарскую любовь к варварской роскоши.

— Ты даже ребёнком проявляла большую сдержанность в одежде, — качала головой мама.

О какой сдержанности она говорила? Словечко «вызывающий» просто подвернулось мне под язык и обозначало всего лишь неприятие жёсткого, химического оттенка, которым отличался красный ситец в цветочек. Правильно же одеваться, по моему юношескому представлению, означало — выявить мою отличность, отдельность от остального мира, которую я, как всякий тинэйджер, непоколебимо ощущала. Что шло в ход для этой цели — страшно вспомнить: сплошной маскарад.

«А плевать мне!»

Мои подруги не уступали мне в сражении за индивидуальность имиджа... Каждая стремилась доказать миру свою исключительность, а учитывая наши более чем скромные возможности и диктат моды, гораздо более жёсткий, чем сегодня (если в моде батники — все, как одна, в батничках, если платье «трапедией» — никуда не денешься) — наши потуги выглядеть одновременно «как все» и в то же время «оригинально» принимали подчас уже вовсе диковинные формы. Одна из девочек пришивала себе на удлинённые воротники вышеупомянутых батников железные колокольчики, купленные в зоомагазине и предназначенные для морских свинок, другая пришивала к туфлям тесёмки, которыми обвивала голени, наподобие балеринок Дега... Паноптикум.

Но что было самым интересным — все наши ухищрения имели весьма отдалённое отношение к брачным играм (это пришло позднее), а носили скорей характер чисто экзистенциальный — выявление собственной сущности, более ничего. Я всегда вспоминаю об этом периоде, когда вижу на улице девочку с оранжевым ирокезом на головке, в приспущенных, волочащихся штанах и с татуировкой во всё плечо: наивно предполагать, что таким обликом она предполагает усилить своё женское очарование — ясно, что тут сводятся счёты с окружающим миром: «А плевать мне на маму, на папу, а заодно, на вас всех, — написано на зверски изукрашенной свежей мордашке. — В чём хочу, в том и хожу!»

Выплески самобытности, в конце концов, ослабевают, во всяком случае, что касается одежды. Начинает преобладать же-

Часть вторая

ление, такое понятное: быть привлекательной. И вот тут начинаются совсем уж загадочные вещи. Казалось бы, задача проста: по возможности скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства — вроде вполне реально. Чем объяснить тогда толстушку с ножками-кеглями, упорно наряжающуюся в мини? Ведь надень она просторные брюки и в меру облегающий пуловер, всё внимание оказалось бы приковано к славному круглому личику. Нет. Почему? Одно из многих: или она недавно похудела аж на два кило и убеждена, что стала стройной, как газель, или её возлюбленный признаёт только мини-юбки, или она таким образом борется с комплексами, или на самом деле уверена, что её пухленькие ножки предельно сексапильны на любой вкус, — самое интересное, что в последнем случае именно так они и воспринимаются всеми окружающими.

Впрочем, есть категория женщин, хладнокровно и последовательно выявляющих в себе плюсы и маскирующих минусы так, что ты до них и не доберёшься. Это, как правило, трезвые, расчётливые особи, никогда не позволяющие себе выброса эмоций в виде разреза на юбке до попы и расстёгивающие пуговицы на блузке ровно до того предела, где неудовлетворённое любопытство представителей противоположного пола достигает апогея, — будь я мужчиной, я бы остерегалась подобных дам.

Кофта в разводах

Но с мужчинами, к слову сказать, происходят схожие процессы, только в более смазанной форме. Всё-таки их возможности расположены в гораздо более скудном диапазоне, даже сегодня, когда вроде бы границы между полами имеют отчётливую тенденцию к исчезновению. Максимум, что может сделать мужик под настроение, — сменить джинсы и яркий пуловер на отутюженные брюки и классическую рубашку. Юбки клеш и топика с выглядывающими бретельками от белья в его репертуаре как не было, так и нет. Да и потребности в соблазнительно вылезавшей бретельке у них нет.

Кроме того, в мужской одежде в большей степени доминирует социальный пафос: гораздо легче отличить универ-

ситетского профессора от режиссёра маленького театра, чем актрису того же театра от ассистентки с профессорской кафедры — иной учёной даме такое придёт в голову.. По крайней мере, здесь и сейчас это так.

Вообще же, конечно, определённая социальная знаковая система прочитывается и в женских нарядах, только работает это, к сожалению, лишь в определенном общественном контексте. Приехав в Германию, я словно бы ослепла в этом отношении — под пистолетом не смогла бы отличить продавщицу от врача, а проститутку от жены миллионера. Во-первых, я даже примерно не могла оценить стоимость вещей, во-вторых, я не считывала кодов, заложенных в одежде, обуви и украшениях. Это был второй, дополнительный, языковой шок.

Я перестала понимать, как я сама должна одеваться. Потребовалась пара недель, чтобы осознать, что чемодан тряпок, привезённых из Третьего Рима, можно благополучно выбрасывать. Сначала я, собираясь в какое-то важное учреждение, надела роскошную по московским меркам шерстяную кофту, чёрную, в белых разводах, с рукавами-буфф, и, едва войдя в метро, обнаружила двух турчанок в юбках до полу, платках и кофтах, очень похожих на мою. Они смотрелись вполне мило и органично, но меня это сходство насторожило. Я, естественно, ничегошеньки не имею против турок, равно как и против кого угодно, но получалось, что я выгляжу принадлежащей к определённой этнической группе, к которой вовсе не отношусь, — такая вроде турчанка, но без платка.

Потом, на торжественный обед, данный друзьями в нашу честь, я обрядилась в чёрные джинсы-стрейч (правда, слова я такого тогда не знала), в чёрные лакированные лодочки на шпильках и в китель из чёрного же японского шёлка с пагодами и цветущими вишнями. В ушах у меня висели серьги из чёрного стекляруса, созданные мной собственноручно из прабабушкиных пуговиц. Весь мой вид, по моему ощущению, означал: я интеллигентная женщина свободной профессии, с некоторым налетом богемности, знаю себе цену и смогу за себя постоять в новых условиях. Фотографии, сделанные в тот вечер, я по прошествии короткого времени стала прятать подальше:

Часть вторая

на них внятно обозначалась растерянная Кабирия, взятая непосредственно с рабочего места, перепуганная и подавленная.

Что носить?!

В общем, стало ясно: мои наряды не канают абсолютно, и во что одеваться — неизвестно. Надо было каким-то образом обозначать свою социальную принадлежность, с которой тоже ясности не было: если я преуспевающая журналистка — это одно, если бедная эмигрантка — совсем другое. К примеру, жизненно важный вопрос — носить ли туфли на высоком каблуке, я решила больше года.

На всякий случай, от греха подальше, я соорудила себе такой стёртый облик, что словно бы его и не было вовсе: джинсы, рубашка типа мужской или спортивная майка, зимой — прямые пуловеры с закрытым воротом, спортивная куртка. Всё это совершенно мне не шло и не соответствовало моему внутреннему состоянию, зато приглушённый, «никакой» сигнал, который я посылала во внешний мир, не рисковал вступить в диссонанс ни с моим статусом, ни с окружающей средой.

Единственное, с кем обнаружился ощутимый и довольно болезненный диссонанс — с моей мамой. Привыкнув к дочке-шеголихе, она совершенно не понимала, почему та вдруг в одночасье превратилась в серую, невзрачную мышь. Зато каким-то загадочным образом оказалось, что мамыны строго-элегантные туалеты без малейшего зазора вписываются в мюнхенский пейзаж и она выглядит в них именно тем, кем была на самом деле: адвокатом на пенсии (ну, положим, не совсем на пенсии, скорее на социальном пособии, но на лбу же у неё это не написано!).

Как я теперь понимаю, мы бессознательно стремились к сохранению своего социального статуса — по крайней мере, его внешнего рисунка, — но я просто не понимала, как это сделать. Ещё несколько лет после приезда в поход за тряпками меня непременно должен был сопровождать кто-то понимающий: сама я не видела, что мне надлежит надевать, а что — ни в коем случае.

Ну, с собой с течением времени я более или менее разобралась. Оказалось, как ни смешно, что в целом сохранился примерно тот же стиль, что и всю жизнь, просто с обрезанными пиками графич-

ка — то есть гораздо более сдержанный. Постепенно я осмелела и стала позволять себе, скажем, тунику с асимметричным вырезом, башмаки с узким, клоунским носом, но в меру, в меру..

Только вот считывать коды окружающих меня людей в совершенстве, как это было в Москве, я так и не научилась. Там мне достаточно было полувзгляда, чтобы определить социальный слой, даже прослойку, к которой принадлежит данный индивидум: если костюм джерси с кантами по воротнику — училка, ковбойка и болгарские джинсы — ИТР, если фирменный прикид... тут надо взглянуть на лицо, возможен большой разброс — от фарцовщика до дипломата.

Не перепутать бы

Нет, в общем и целом я, конечно, уже ориентируюсь, во всяком случае, вряд ли перепутаю ночную фею с женой депутата бундестага или ведущей телепрограммы, но иногда случаются досадные промашки. Девушку в разлетающемся воздушном наряде, оказавшуюся со мной за столиком кафе, я определила как богемную тусовщицу, а она оказалась вот именно училкой начальной школы. Я осторожно похвалила платьице, она гордо сказала, что всегда надевает его «для настроения» — работает, мол, бесподобно. Особа в заплатанных джинсах, с малышом примерно в таком же прикиде, сообщила, что работает в бюро, ей до смерти надоедает ходить в офисе в английском костюме, и таким образом она расслабляется, а я было приняла её за «альтернативную мамочку» — «левую» и нищую.

А может быть, дело вовсе не в моей недостаточной адаптивности? Может быть, стандартность, типизация внешнего образа в тогдашнем СССР была всего лишь результатом скудости ассортимента и зажатости индивидума? А когда всё, что душе угодно, есть и не маячит за спиной тоталитарная идеология, каждый выражается, кто во что горазд? Возможно, не совсем так, но отчасти — наверное.

Скорее всего, наш наряд говорит о нас не то, что мы на самом деле есть, а то, что мы хотели бы о себе сообщить, посылая в мир сигналы: я отважный, а я застенчивая, я ищу приключений, а я — недотрога... А чтобы выяснить, что за этим

Часть вторая

стоит — то, что отважный может оказаться в душе чувствительной устрицей, застенчивая — законченной развратницей, а искательница приключений — трусихой и как раз недотрогой, — тут уж лучше действительно глянуть в лицо: лицо не обманет. А одежда порой больше скроет, чем расскажет.

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

Гаснут лампы по углам дощатых стен, шурша, раздвигается тёмно-вишнёвый, засаленный и грязный, но такой волшебный и прекрасный занавес перед экраном, сшитым из четырёх неровных прямоугольников — швы видны, — слышится громкое жужжание за спиной и начинается... кино!

Это летний кинотеатр в подмосковном Краскове, где билеты стоят дореформенный рубль, где в дождь отменяются сеансы, экран заключён в рамку из круглых, грубо отёсанных брёвен, и в середине фильма родители отправляют малышей пописать возле сцены. Туда меня возили на электричке, очень редко, и каждый такой культпоход надолго давал пищу семейным обсуждениям и моим одиноким неуёмным мечтаниям. Чудо это было — кино.

Ассоль в тёмно-синих рейтузах

Одним из первых увиденных фильмов был «Убийство на улице Данте». Ничего не помню, ни фабулы, ни наполнения. Помню только юного Козакова, со смуглым лицом падшего ангела, в белой рубашке с распахнутым воротом. Впрочем, может быть, и не в белой, и не с распахнутым, но это уже не имело значения — на всю жизнь сформировался идеал: небрежные тёмные кудри, узкое лицо и яркие глаза. (Аукнулса мне много лет спустя этот идеал, спасибо Михал Михальчу..)

Фильмов было мало, каждый более или менее приличный мгновенно становился культовым и растаскивался на репризы, определяя целую эпоху, в год, а то и в два, порождая вокруг себя множество мифов, связанных с главными героями.

Была эпоха «Гусарской баллады», эпоха «Три плюс два», «Коллег», «Человека-амфибии» и «Алых парусов». Последний я всё ещё вспоминаю с замиранием сердца и ни за что на свете не согласилась бы его пересмотреть.

Это было в детском санатории. Кино нам показывали по воскресеньям перед дневной прогулкой. Впечатлений в замкнутом мирке было мало, и мы ждали кинопоказа не меньше, чем родительского дня. Фильмы привозили по большей части старые, плёнка часто рвалась, и тогда мы сидели тихо-претихо, поскольку помнили страшный прецедент, когда самодурка-воспитательница прервала сеанс из-за того, что зал зашумел во время нечаянного перерыва. Всю неделю после — обсуждали увиденное, доходило чуть не до драки: кто красивее, кто «лучше играет» — что мы вкладывали в это понятие, Бог весть, но азарта было немеряно.

Однажды я сцепилась с мужской половиной нашей группы из-за «Ивана Грозного»: мужские, склонные к философскому восприятию умы осмыслили дело таким образом, что странные грубые лица на экране — свидетельство того, что в то время человек ещё не сформировался окончательно, и никакие мои призывы к осознанию экранной реальности как плода режиссёрского и актёрского искусства действия не возымели — мальчики были твёрдо уверены, что плёнка запечатлела эпоху Иоанна Мучителя и что всё увиденное происходило «взаправду». Мне, более искушённой, такая наивность казалась смешной, но и на меня нашлась управа: привезли «Алые паруса».

Куда девалась моя отстранённость, моя многоопытность — тонюсенькая девушка-девочка, с растрёпанными локонами, дожидавшаяся своего принца на берегу, спровоцировала во мне такую идентификацию, что я вышла из зала, как в бреду, и душа моя наотрез отказалась воспринимать реальность как сущее, не желая расставаться с волшебным экранным миром. Мутно-зелёные стены палаты, где выстроились восемь никелированных кроватей, показались жутким сараем, громкие голоса девочек резали слух, а окрик воспитательницы: «Стекол, ты опять не надела на прогулку рейтузы?» — прозвучал просто оскорблением. Но самым страшным ударом об землю оказа-

Часть вторая

лись сами рейтузы: тёмно-синие, с начёсом — да и надевать их под платье, стать толстой, неуклюжей, означало окончательно отделиться от образа прелестной Ассоль, с которой я срослась в единое целое за полтора часа в полутёмном зале. Я отшвырнула мерзкие рейтузы и горько заплакала.

— Ты почему плачешь? — всполошилась воспитательница.

— Это из-за кино она, из-за «Алых парусов», — проявила недюжинную психологическую прозорливость моя соседка, на кровать которой угодила противная одежда.

— Из-за кино плакать нечего, — объяснила наставница, — это же всё не взаправду.

Кино для избранных

Надо сказать, книжная реальность всегда представлялась мне более несомненной, чем киношная, более объективной, что ли, но книги — это было то, с чем я жила с утра до вечера, а кино оставалось праздником. И были ведь ещё кинофестивали. Трудно даже вообразить при нынешней взаимопроникаемости мира, чем были кинофестивали для Москвы 60—70-х годов. Даже не окно в другой мир, а щёлочка в двери — стоит в неё протиснуться, и ты на другой планете. Билеты не поступали в открытую продажу никогда, так что всё зависело от того, есть ли у тебя нужные связи — это создавало вокруг московских фестивалей дополнительную ауру элитарности, греющую сердца посетителей ощущением своей избранности.

Летом 69-го, сидя с маленьким сыном на даче, я получила известие, что мой отец мог бы выделить мне билет на открытие кинофестиваля, но сомневается, подобает ли мне пренебрегать обязанностями кормящей матери. Обязанностями пренебречь я и впрямь не могла никак: добираться до Москвы с дачи надо было не меньше двух часов, да обратно столько же, да просмотр часа три-четыре — ребёнок бы просто помер с голоду. Но — кинофестиваль, но — торжественное открытие, но — «Ромео и Джульетта», но — Франко Дзеффирелли, Боже, да само имя...

Я поспешно упаковала сынишку, запихнула в сумку его мнатки и, не слушая громких недоумений свекрови, бросилась на станцию. Ребёнку в электричке сперва понравилось, потом

не очень, потом и вовсе нет, причём до такой степени, что мне пришлось кормить его грудью на глазах пассажиров, радостно оживившихся — всё-таки на раскованную цыганку я совсем не походила. С горем пополам довезла маленького страдальца до дома, нацедила молока на следующее кормление, лихорадочно привела себя в порядок и, оставив ребёнка на бабушку, тоже несколько недоумевающую, но, впрочем, вполне тихо, помчалась к отцу на работу.

Уже получив вождеденный билетик и приближаясь к кинотеатру «Россия», я стряхнула с себя все заботы, приняла небрежный вид и, протискиваясь сквозь толпу жадно заглядывающих в глаза в расчёте на чудесную случайность несостоявшихся зрителей, вдруг осознала, что я — счастливейшая из смертных: жарким летним московским днём я иду на открытие кинофестиваля, буду смотреть «Ромео и Джульетту», а дома меня ждёт сын... И, странным образом, весь фильм сряду думала я не о волшебной любовной истории, не об очаровательных юных актёрах, не о дивной картинке на экране, а о том, удалось ли бабушке скормить мальчику молоко из бутылочки — это был его первый опыт кормления без меня, — не простудился ли он на вагонном сквозняке и как он встретит меня после столь долгого отсутствия — ведь мы ещё ни разу не разлучались.

Влетев домой, я ринулась к кровати: ребёнок хладнокровно спал.

— Как фильм-то? — нетерпеливо спросила бабушка.

— А, фильм... — я уже и думать о нём забыла, — хороший фильм.

Сигарета Кабирии

Когда я пришла работать на «Мосфильм», обнаружила, что кино, оказывается, содержит в себе необыкновенную чудесную притягательность не только для тех, кто его смотрит, но и для тех, кто его сам делает. Я сменила в жизни множество профессий, крутилась в самых разных сферах, но, честное слово, нигде не встречала такого количества фанатиков, готовых работать за гроши, работать день и ночь, работать без выходных и отпусков, да хоть вообще бесплатно — лишь бы рабо-

Часть вторая

тать в кино. Меня сперва тоже захватил общий энтузиазм, и я пропахала несколько лет вполне добросовестно и в полное своё удовольствие, но потом, в рамках возможностей профессионального роста — а они были невелики без специального диплома, — всему уже научилась, ситуации начали повторяться, возможности самовыражения были очень скромными, и мой интерес к кинопроизводству стал постепенно угасать. Не получилось у меня стать винтиком в волшебном процессе создания иллюзий.

Больше того, благодаря тому, что я узнала изнутри киношную кухню, у меня утратилось ощущение праздничности экранной реальности и несколько лет после этого я вообще неохотно ходила в кино. Потом, конечно, восстановилось, и снова бегала за милую душу, особенно на кинофестивали, особенно если можно было посмотреть Феллини — это был всеобщий и мой кумир.

И как-то мне так везло, что — чисто случайно, конечно, процесс был неуправляем — я смотрела фильмы итальянского чародея в порядке их создания, хоть, понятно, далеко не все: сначала «Дорогу», следом «Ночи Кабирии», затем «Сладкую жизнь», «Восемь с половиной», «Джюльетту и духи»... а «Амаркорд» не видела, хоть и шёл он в Москве. Долго вовсе ничего не показывали на фестивалях и закрытых просмотрах, или мне не везло, только уже в начале 80-х удалось посмотреть «Репетицию оркестра», и мне вдруг оказалось — никак. Словно кончилось волшебство. А помню, как впадала в экран прямо с титров, как замирала, увидев неповторимую обезьянью мордочку Мазины, как становилось ощутимо телесным захватывающее обаяние восхитительного Марчелло, помню, как совершенно реально увлажняли моё лицо брызги из фонтана в «Сладкой жизни», как, выходя из кинотеатра «Зарядье», затягивалась сигаретой, словно Кабирия только что вложила мне в пальцы свою... И всё ушло. Вряд ли дело тут в великом маэстро, скорее, что-то изменилось во мне — исыяк дар сопереживания, быть может?

Но Тарковский ещё оставался. Его показывали редко, всегда не вторым даже, а каким-то четвёртым экраном, и надо было

ловить случайную информацию, добираться в заштатные кинотеатрики или вовсе дряхлые клубы, добывать билеты, чтобы ещё раз увидеть, как вспучивается чудовищный океан «Солариса», зловеще никнет рожь в «Зеркале», как нескончаемо долго бредёт Рублёв своей угрюмой дорогой. Может быть, дело в том, что фильмы Тарковского не вызывали на прямое сопереживание, не требовали идентификации с героями, просто перед глазами развёртывался свиток иной реальности, реальности магического свойства — они открывали мир, совсем иначе увиденный, и сама инакость этого видения забирала покруче любой эмоции.

Немцы, я и кино

Помню, как в Мюнхене уже, в маленьком элитном кинотеатре, я в напряжении ждала начала просмотра «Рублева» — мы привели с собой нескольких друзей-немцев, и я очень боялась, что непривычно-медленный темп и чёрно-белое изображение могут им наскучить прежде, чем они поймут главное — прежде чем успеют почувствовать свет, исходящий с экрана и тихо шепчущий, что добро и красота — есть; победить они не могут, да и не должны, но есть они, какое счастье. С первых же кадров я успокоилась — бедные немцы как вцепились в подлокотники, подавшись вперёд, так и просидели весь длинный фильм, шедший без перерыва. И как почтительно глядели после сеанса на нас — соотечественников великого Тарковского, взявшего их в полон против всякой психологической вероятности. И даже я, безнадежно безродный космополит, ощутила что-то вроде национальной гордости — приятно!

Но кончилось и это. Недавно решили с подружкой пересмотреть на видео «Сталкер», один из любимейших когда-то. Я впиалась в экран, ожидая возврата прежней замороженности. Вот идёт на титрах поразительный, потрясающе-непонятный пролог, панорама по убогой, но светящейся изнутри комнатке... почему так затянута?.. вот герой встаёт, невероятно выпуклы все предметы... но зачем так подробно, это же не наторморт?.. вот Алиса хватается за него, пытается удержать, эта жуткая по напряжённости сцена, он выходит, она падает,

Часть вторая

катается по полу... Да в чём дело? Почему всё так наигранно, неестественно — это же моя обожаемая Фрейндлих, она великая актриса! Я покосилась на подругу. Она сидела, полуприкрыв глаза, слегка оттопырив нижнюю губу. Я снова уставилась в экран. Прошло несколько минут.

— Знаешь, — прозвучал голос подруги, — а давай его выключим, а? Что-то мне неинтересно.

Я выключила телевизор и попыталась проинтервьюировать более решительную, чем я, барышню: что же всё-таки ей не понравилось? Человек более чем вербальный, она, тем не менее, не смогла озвучить происходящие в ней процессы, говорила что-то достаточно невразумительное, вроде того, что, мол, это же все ненастоящее, и ненастоящность очень резко ощущается. Я, надо признаться, несколько утешилась: если со мной приключилась какая-то инвалидность, так, по крайней мере, хоть не со мной одной.

Стала припоминать и анализировать — получалась странная штука: оказывается, попав в город, где на каждом шагу понатыканы кинотеатры, замечательно комфортабельные и с довольно разнообразным и постоянно сменяющимся репертуаром, имея дома телевизор с большим экраном и видеоманитофон, я ухитрилась за все годы, проведённые в Германии, посмотреть от силы пяток фильмов, причём ни один не произвёл на меня сильного впечатления. Кроме, пожалуй, «Списка Шиндлера», который впечатление-то произвёл, но довольно негативного свойства — у меня осталось впечатление, как будто меня ловят на одну из самых болезненных для меня тем, как на живца, и хотят купить моё сопереживание и подключение ровно за три копейки: ну, в самом деле, набейте полную комнату женщин и заставьте их кричать что есть мочи — вам поневоле станет жутко, но реакция эта чисто физиологического свойства, к искусству никакого отношения не имеющая и трагедии Холокоста ни в малой мере, даже приблизительно, не описывающая. Так что и тут у меня приключился облом.

А те же немцы, между прочим, смотрели спилберговский лубок, как под наркозом — в зале не слышно было даже дыхания. Оставались безмолвно сидеть до самого конца длиннющих ти-

тров и даже несколько мгновений после того, как в зале вспыхнул свет, и только после этого медленно, всё ещё храня молчание, потянулись к выходу. И вот эта молчаливая процессия произвела на меня несказанно большее впечатление и спровоцировала на несравненно более глубокие раздумья, чем голливудский бестселлер.

Может быть, я, в своей уже некороткой жизни, просто наигралась в кино до отвала — наелась его и снаружи и изнутри? Всё лучшее уже просмотрено, проработано и включено в обмен веществ, а лишнего корма душе и уму не надобно? Может, кино — это просто не мой тип иллюзии: я, в конце концов, человек преимущественно вербальный, а не визуальный — ведь чёрные буквы на белой странице по-прежнему имеют надо мной власть, и как же она велика! А может статься, приходит пора, и ты начинаешь понимать, что никакая иллюзия не соотнесена с реальностью с коэффициентом, необходимым для того, чтобы включиться в игру с полной отдачей, — что звёзды над нами и нравственный закон внутри нас во много крат более интересное и захватывающее приключение, чем тени на экране?

...Кино? Нет, не люблю — это же всё не взаправду.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ?..

Я — это кто? Я — это картинки из детства, любимые стихи, память о страсти, память о боли, трепет при виде звёздного неба, нежность к друзьям, тоска о милых ушедших? Или я — вот это: рост, вес, цвет волос, цвет глаз, шрамы, родинки, прочие особые приметы?

Другими словами, я — это тело или всё-таки душа? Потому что ведь это определяет выбор образа жизни и приоритетов — о чём сперва подумать, что прежде улаживать, что важнее.

Ребёнок дышит воздухом

Как ни смешно, я была на редкость спортивным ребёнком. Весь дворовый досуг, по сути, поглощали так называемые «под-

Часть вторая

вижные игры». Похоже, они давно ушли в прошлое. Кто сейчас помнит, что такое «круговая лапта»? Или «подшибалы»? «Нагонялы»? «Салочки»?..

«Круговая», к примеру, — очень занятная штука. Водящий стоит в кругу и уворачивается от мяча, которым остальные пытаются его «выбить». Если мяч удаётся поймать на лету, водящий получает очко, каждое попадание мяча в него — очко минус. Если я входила в круг, меня долго не могли выбить, так долго, что остальным надоедало. Азарт невероятный. Крик стоял — мамы в окна высовывались. И нравилось ведь... И лыжи нравились, и велосипед.

Лыжи были куплены вопреки лютому безденежью, самые дешёвые, конечно, с ременными петлями, в которые вдевались ноги, обутые в валенки. Тётка подарила настоящую лыжную шапочку, выступающую мысом на лоб. Шапочка, зелёная с чёрной полосой, хранилась в сундуке со времён тёткиной юности, её немного побила моль, но подштопали виртуозно, и она в течение всего детства составляла предмет моей зимней гордости.

Лыжня проходила по канаве между тротуаром и мостовой, на улицах ранними вечерами было безлюдно, снежинки кружились под жёлтыми фонарями, я с силой отталкивалась палками, и мысли мои улетали далеко, в прекрасное, блистательное будущее, которое, конечно же, меня ожидало. Сейчас я понимаю, что вечернее катание на лыжах реализовывало неосознанную потребность в одиночестве, в уединении, которое в большой семье иначе было невозможным. Но взрослые были довольны: «ребёнок дышит воздухом» — так это называлось.

«Папка велик привёз!»

Велосипед был совсем уже недоступной роскошью. Как я научилась ездить на нём — не помню. Такое ощущение, что вообще не училась, просто села — и поехала. «Дай покататься» было тогда вполне обычной просьбой, и все давали. Так и каталась на чужих и даже достигла немалых успехов: ездить «без рук» вообще оказалось делом пустяковым, а вот задом наперёд — училась несколько недель.

Как-то приехал отец — редкий гость — и случайно оказался свидетелем моих цирковых велосипедных трюков. Видно, они произвели на него сильное впечатление... Воскресным утром мы играли в «нагонялы» во дворе, то есть попросту прыгали через скакалку со счётом — кто дольше не собьётся. Скакалка мелькала передо мной, и я пропустила момент, когда в калитку вошёл отец, неся в руках что-то большое и блестящее.

«Ирка! — завопила вдруг соседская Верка. — Смотри, тебе папка велик привёз!»

«Какой ещё велик?» — начала я... и остолбенела. Для вящего эффекта отец собрал велосипед ещё в электричке, привинтил седло, руль, педали и внёс во двор чудо уже готовым к употреблению.

Поверив наконец в невероятное, я никак не могла это невероятное начать использовать по назначению. Немыслимым казалось прямо вот так сесть на собственный велосипед и поехать. Я его осматривала, гладила, нюхала и только что не лизала... К досаде отца, который, совершив беспрецедентный по широте и великодушию жест, жаждал насладиться зрелищем счастливого ребёнка на собственных колесах. Так в тот день и не села в седло. Зато к следующему отцовскому приезду я уже стала неким велокентавром — мы с великом были оба ободранны и исцарапаны об корни деревьев, выступавшие из земли на пути нашего следования, слиты воедино и совершенно счастливы. Странно, что я не помню ни цвета рамы, ни формы седла, ни марки велосипеда — только пронизавшее до костей счастье и острое до жути ощущение материализовавшейся мечты, а потом, на несколько лет, — отношение родства, как к собственной руке или ноге. А отцу — спасибо навсегда, что бы ни было прежде и потом.

О пользе курения

В школе проблем с физкультурой у меня не было, разве что с катанием на коньках — ну не держались ноги в щиколотках, хоть тресни. Болели и подворачивались. Равновесие-то сохранять — не проблема, и даже приятно было бы скользить по блестящему льду, да вот щиколотки проклятые... Но это был, ка-

Часть вторая

жется, единственный пробел в моей спортивной подготовке. На гимнастических снарядах справлялась легко, на лыжах — по-прежнему, с удовольствием, и даже однажды снискала всеобщий восторг, пробежав первой из класса стометровку. Правда, потом с полчаса отдышаться не могла и ни разу этот подвиг не повторила — видно, случайно все силёнки собрала в кулак, потому как интересовавший меня мальчик при сём присутствовал.

В десятом классе мама поднатужилась и купила мне в расрочку спортивный велосипед. Его я помню хорошо: назывался «Старт», был изящен, с узкими шинами и сиял солнечными оранжевыми тонами. Он не был, как первый, в детстве, воплотившимся чудом, но относилась я к нему чрезвычайно тепло. Было чудесно ярким летним днём угнать куда-нибудь в недалёкий лес. Посреди леса проходило правительственное шоссе, гладкое и на диво ухоженное для Москвы, так что — едешь среди деревьев, но по удобному покрытию. В кожаной сумочке, подвешенной к велосипедной раме, кроме пары гаечных ключей, удачно помещалась пачка сигарет, и на те первые месяцы курения, пока я занималась этим втайне, велосипед стал надёжным хранителем секрета.

— Доченька, — тихо сказала однажды мама, — ты уж, если куришь, так кури дома, а не во время велосипедной прогулки, иначе это ж абсурд получается...

Вот тебе и на! Кому ж могло прийти в голову, что маме зачем-то понадобится гаечный ключ... С той поры моё курение легализовалось.

Впрочем, сигареты на велосипедные прогулки я продолжала брать — что может быть полезнее, чем курение на свежем воздухе?

Благородный покой

Проведя детство и раннюю юность довольно активно в физическом отношении, позже я стала явно склоняться к предпочтительности статуйного состояния перед динамическим. Может, бурное развитие интеллекта (в моём случае — со значительным запозданием) привело к ослаблению двигательной

активности? И уж конечно, все мои спортивные извращения сняло как рукой после рождения ребёнка — очевидно, за первые годы его жизни я так надвигалась и наподнималась, что организм решил: с него хватит.

Вообще, чем старше я становилась, тем яснее мне было, что времена охоты на мамонта для человечества миновали, а стало быть, отпала необходимость постоянно находиться в хорошей физической форме. Ведь, если вдуматься, — зачем, собственно? Есть транспорт, есть лифты, есть эскалаторы в метро, сумки на колёсиках... Куда эти мышцы-то накачивать?

Постепенно моим идеалом стал благородный покой. С книжечкой на диване... С блокнотом за столом... Перед компьютером, и кресло чтоб поудобнее... Но жизнь — штука жестокая. И постоянно врываются какие-то обстоятельства, нарушающие идеал минимальной подвижности.

Вышла я однажды замуж. Ну, бывает, с кем не случалось. И человек-то был хороший. И очень по всем статьям привлекательный. Чудесно танцевал, замечательно водил машину, на руках меня носил, в самом что ни на есть буквальном смысле, без всякого напряжения, как кролика какого-нибудь... Только я не учла, что всё это было как-то связано с его званием: мастер спорта международного класса, по двум видам — баскетболу и лёгкой атлетике. Вот тут-то промашка и вышла.

Пойдём бегать!

Когда мы познакомились, он находился в стадии, мне приятной и близкой — писал диссертацию по методике легкоатлетических тренировок. Ну, сидит человек за машинкой дни напролёт — поди плохо. Методику он разработал совершенно оригинальную, даже революционную, выпестовал по ней двух чемпионов мира, надо было только грамотно изложить всё это на бумаге. Я охотно подключилась, тем более что русский язык для моего суженого был не родным, и хотя трепался он на нём без проблем, письменное изложение всё же вызывало некоторые затруднения.

В дружном тандеме мы написали неплохую работу, между делом сыграли свадьбу, рукопись была сдана на отзыв оппонен-

Часть вторая

там, и в первое же свободное утро, когда я намеревалась наконец отдохнуть — посидеть спокойно, почитать, покурить, побеседовать, ну, может, под вечер пройтись по парку, — выйдя из ванной, обнаружила мужа в спортивном обмундировании и чудесном настроении.

— Ну, одевайся скорее, и пойдём бегать! — радостно провозгласил он.

— Ку-у-уда?

— Бегать же! Мы страшно засиделись за это время. Надо же и тело побаловать.

— А чем его баловать?

— Движением! Разве у тебя нет потребности подвигаться?

Решительно никакой потребности двигаться у меня не было. У меня скорее была потребность спокойно выпить кофе и выкурить пару сигарет, но, как настоящая Душечка, я облачилась в тренировочный костюм, в котором обычно занималась генеральной уборкой, изобразила максимальное воодушевление и бодрой рысью проследовала за мужем в ближний сквер.

Жестокий поединок

Муж рвался из постромок, как застоявшийся жеребец, и только несовпадение наших габаритов (он был примерно вдвое выше меня, соответственно, и ноги...) заставляло его несколько умерять темп. Обежав вокруг сквера раза два, я попробовала завести с любимым светскую беседу, потому как начала умирать от скуки.

— Что ты, — возмутился он, — разве можно во время тренировки разговаривать!

— А почему нет-то?

— Ты должна отдаться бегу, наслаждаться движением каждой клеточкой, сосредоточиться на дыхании, должна прочувствовать это блаженство!

Блаженство, Боже мой!.. Мной овладела лютая тоска. Я рассматривала прохожих, считала деревья и даже начала складывать в уме стихотворные строчки, чего, трезво оценивая свои способности к стихосложению, никогда не позволила бы себе в нормальной ситуации.

С трудом продержавшись полчаса, я деловито вскрикнула: «Ой, кажется, я забыла газ выключить!» — и поспешно потрусила к дому.

С этого дня наш брак превратился в бескомпромиссный жестокый поединок двух начал — мужниного, динамического, и моего — решительно тяготеющего к статике. Как он, отважно и последовательно, пытался вовлечь меня в любой двигательный процесс, так я, упорно и бесстрашно, этому вовлечению сопротивлялась.

Он записывал нас в теннисный клуб («Ведь ты прилично играешь!») — у моей ракетки необъяснимо и, разумеется, совершенно непреднамеренно, рвались струны. Он с великими трудами приводил в порядок мой велосипед, давно и, как я надеялась, непоправимо поуродованный сыном, — я на малой скорости въезжала в забор, и переднее колесо сворачивалось в безнадёжную «восьмёрку». («Как ты ухитрилась, непостижимо, ты же прекрасно едешь!»)

Честное слово, я не уничтожала спортивный инвентарь со злым умыслом. Просто у меня очень мощно работает подкорка, и, приходя со мной в соприкосновение, орудия пытки с неумолимой последовательностью подвергались разрушению, как бы даже без моего прямого участия. Я действительно умела играть в теннис, ездить на велосипеде, бегать на лыжах... Но не хотелось мне! Не хотелось. Чем закончился наш брак, объяснять, я полагаю, не нужно.

Мой брат осёл

Кажется, это Франциск Ассизский назвал наше тело — «мой брат осёл». В общем-то правильно. Полезное домашнее животное. Даёт возможность перемещаться в пространстве, переносить тяжести, взамен требует, понятное дело, заботы и ухода — сена там ему задать, водички, репы выдрать. Никто и не спорит. Но не надо же увлекаться!

Я своим телом честно занимаюсь — ровно в меру необходимости. Я его мою, одеваю, кормлю иногда, но чтобы мне его ещё и бегать?! В фитнесе тренировать? Может, ещё ему утреннюю зарядку?.. Да ведь у меня не три жизни! Что ж так время-

Часть вторая

то бездарно расходовать? Когда можно посидеть спокойно, почитать, пописать, с друзьями потреться.

Говорят, спорт — для здоровья. Так для здоровья ведь таблетки придуманы.

Говорят, борьба с лишним весом. А вот это уж совсем блеф. В борьбе с лишним весом помогает только один спорт — не жрать. Суровый спорт для настоящих женщин. А будешь съедать обед из трёх блюд каждый день — так хоть оббегайся...

А «в здоровом теле — здоровый дух» — это уж, помилуйте, вовсе унизительно. Что первично всё-таки, дух или материя? Неужели моё внутреннее состояние всерьёз зависит от степени накачанности моих бицепсов и трицепсов? Неужели «мой брат осёл» главнее меня, гордого и прекрасного седока — хозяина, в конце концов? Неужели моя душа, моя бессмертная душа нуждается в тупом бессмысленном беге, в приседаниях с прямой спиной или в наклонах, «ноги на ширине плеч»? Смешно...

Только вот что странно. Стали отчего-то по утрам болеть суставы. Что-то в спине такое... Когда особенно часиков 5—6 за компьютером посидишь. А недавно пришлось догонять автобус — ну сколько я там бежала? 30 секунд по непересечённой местности — а организм так страшно изумился, что его пошевелиться заставили, что чуть не помер в одночасье. Вместе со мной, естественно. Вот было бы забавно!

Так что я стала трусливо подумывать: может, братца-осла всё-таки как-то движением побаловать? Нет, не фитнес, конечно, фитнес я не потяну, и, разумеется, не утренний бег — это уж только под дулом автомата, а маленькую такую утреннюю зарядочку? Ну, приседания там, наклоны, с ногами на ширине плеч? Конечно, моей душе это будет глубоко противно. Ну ничего, потерпит, она же бессмертная...

СОРОК ПЯТЬ КАНАЛОВ

Приёмничек «Москва»: серая пластмассовая коробочка, высотой в ладонь, шириной в две, спереди тряпичный экранчик, разме-

ром с пачку «Беломора», с изображением Кремля. Мы с сестрёнкой усаживались перед ним, уставившись в кустарно изображённые башенки, и играли — «смотрели телевизор». И мечтать не могли, чтобы в доме появился настоящий. «На телевизор» можно было пойти только по праздникам к соседке Анне Осиповне, через дорогу...

«На телевизор»

Там, у Анны Осиповны, стоял полированный ящичек с крошечным экраном, а перед ним большая линза, наполненная водой, но не простой, а дистиллированной, которую надо было покупать в аптеке, — наполнять линзу разрешалось только мужу Анны Осиповны, а мы, если повезло прийти как раз к священнодействию, затаив дыхание, смотрели издали, как выплёскивают из стеклянной ёмкости воду, протирают её специальной мягонькой тряпочкой и осторожно наполняют из узкогорлой бутылки. Потом все рассаживались полукругом, гас свет, и за стеклом начинали мелькать серо-чёрные тени. Было в общем-то, безразлично, что смотреть, главное — процесс. При одной мысли, что событие происходит за тридевять земель, а мы видим его здесь, в Томилине, захватывало дыхание.

Когда показывали «Голубой огонёк», «на телевизор» собиралось пол-улицы — стулья выстраивались рядами, детей сажали впереди, и комната Анны Осиповны, с круглым столом и плюшевыми полукреслами вокруг него, роскошной рижской люстрой над столом и «гобеленом» с горным пейзажем на стене — богатая комната — становилась как бы мини-кинотеатром, и даже шикали друг на друга, если кто начинал перешёптываться: телевизор же смотрим!

Потом бабушка сломала ногу, и меня отправили на выпас к тётке. А у неё был телевизор «Ленинград», замечательный, и даже без линзы, с огромным экраном, размером не меньше чем в три ладони. Я пришла в истинный восторг — ну, теперь уж насмотрюсь вдоволь! Не тут-то было: моя тётка была по тем временам необыкновенно продвинутой в экологическом отношении и пребывала в твёрдой уверенности, что телевизор испускает смертоносное излучение, отчего сидеть перед ним

Часть вторая

дозволяется не более получаса в день. Все мои мольбы и доказательная аргументация, что фильм-то любой длится не менее полутора часов, и вряд ли его показ по телевизору задумывается как массовое убийство, успеха не имели.

Пришлось искать альтернативу: когда дядя садился смотреть телевизор — на него почему-то ядовитые лучи не действовали, — я усаживалась на диван в смежной комнате и уставлялась в полированный шкаф, стоящий в запретном помещении у двери, как раз напротив экрана — он отражал картинку вполне сносно, и звука, если прислушиваться внимательно, как раз хватало. Таким образом я пересмотрела все тогдашние бестселлеры — а их и было-то немного, — все выпуски новостей и массу документальных фильмов. Мне по-прежнему было всё равно, что смотреть, — к нестирающемуся ощущению чуда прибавлялась прелесть запретного плода. Фокус был только в том, чтобы успеть перевести глаза в книжку, когда тётя приходит из кухни.

Программа «Время»

— Мама, а телевизор мы купим? — спросила я первым делом, когда стало ясно, что переезжаем на новую квартиру. Новое жильё представлялось мне гарантией исполнения всех мечтаний — ещё бы, там же будет ванная, туалет и, как обещала мама, попозже даже холодильник. В этот же набор чудес в моём сознании входил телевизор. В мамин же набор необходимого волшебный ящик категорически не входил. Не то чтобы она была принципиально против — просто денег не было, а лезть из кожи ради движущихся картинок ей казалось лишним. Так мы и остались без телевизора до моего замужества.

Когда в школе начиналось возбужденное обсуждение вчерашней передачи, я, понятно, чувствовала себя немного ущербной и выпадающей из круга приличных людей, но деться было некуда, приходилось изображать лису, брезгующую незрелой лозой.

В доме у мужа телевизор был, стоял в красном углу родительской спальни и включался для просмотра программы «Время». Потом свёкор со свекровью укладывались спать, а мы даже не

особенно печалились, поскольку ясно было, что к экрану доступа не будет.

— Завтра польский фильм по телевизору, — задумчиво говорил муж. — Может, сходить к кому-нибудь из ребят, посмотреть?

— Да ну ещё, ради телевизора тащиться куда-то...

И вот наступил счастливый день, родители мужа получили квартиру. Мы, тщательно скрывая восторг, помогли перевезти вещи и устроили на руинах уютного и обжитого жилища танец диких с острова Фиджи: по тем временам отдельная квартира для молодой семьи — это было покуче всякого палаццо.

Родительский «Рубин», естественно, переехал вместе с ними, но тут моя мама сделала нам царский подарок — ей удалось взять в кредит сразу два телевизора «Горизонт», себе и нам. Он был чудесный, с взаправду большим экраном, с рогатой антенной, жутко модного дизайнера, на тоненьких раскоряченных ножках. Я страстно полюбила его с первого взгляда и принялась смотреть всё подряд. К моему удивлению, примерно через месяц оказалось, что смотреть, в сущности, нечего: старые фильмы, детские передачи и немеряно патриотически-совковой документалистики. Ну и та же самая программа «Время», от которой меня уже воротило.

Не может быть, подумала я, чтобы столь вожеленный предмет так меня разочаровал — это же обидно! И попробовала смотреть телевизор по утрам. Оказалось, что ничего нового утренняя программа не содержит — повторы вечернего фильма и то же проклятое «Время». И вообще, к часу дня всё заканчивалось.

Я попыталась приобщить к телевизору ребёнка, но он, трёхлетний, вежливо посмотрев несколько раз Хрюшу и Степашку, обвинил культовых зверушек в ненатуральности голосов и стал обходить экран стороной.

«Зачем я это смотрю?»

Кончилось тем, что телевизор у нас вроде бы как бы и был, но словно бы его и не было. Я точно так же чувствовала себя вне игры, когда обсуждалась вчерашняя передача, но теперь это меня не угнетало, поскольку — есть же, в принципе, ящик.

Часть вторая

Захочу — и посмотрю. Только что-то не хотелось. Необходимость в нём возникала непреложно раз в году, на Новый год — исправно глядели Рязанова, а позже Захарова и, самое главное, чокались шампанским ровно вовремя, под бой курантов.

Единственное моё слияние с тогда уже цветным экраном произошло, когда вся страна прилипла к телевизорам во время Первого съезда народных депутатов. Шла, если кто не помнит, прямая трансляция, и это воистину было чудом. Подключение к событию было абсолютное — дошло до того, что я однажды плюнула в Горбачёва, когда он отбирал микрофон у Сахарова.

Такое острое ощущение соучастия я пережила благодаря движущимся картинкам ещё только раз в жизни, когда меня выдернули из душа по телефону, с воплем «Нью-Йорк взорвали!». Завернувшись в полотенце, я ошеломлённо смотрела на экран, где в бесконечных повторах медленно рушились и рушились башни-близнецы. Мелькнула мысль: «Зачем я это смотрю? Такой ужас, и я же всё равно не могу ничем помочь?» На смену ей пришла другая, словно бы вовсе и не из моей головы: «Я обязана это видеть. Как правильно и хорошо, что это возможно».

В Германии мы оставались без телевизора только в первые времена лютого бездомья. Как только обзавелись постоянным жильём, подруга подарила маленький, но вполне цветной телек, и, что было поразительно, с управлялкой. Тут же муж и сын доказали, что они — истинные представители сильного пола, поскольку, согласно новейшим психологическим исследованиям, повадка часами скакать с канала на канал, не задерживаясь ни на одном более минуты, — чисто мужская прерогатива. Меня же страшно увлекла порнуха. Не сама по себе, а факт её наличия в программе. В начале девяностых по советскому телевидению уже стали появляться репортажи-страшилки и довольно смелые документальные фильмы, а вот порнухи ещё не было, посему я добросовестно глядела по ночам баварскую любовь на сеновале, пока меня не стало от неё тошнить, как в старые времена от программы «Время».

Пока учила язык, добросовестно смотрела все попадавшие в программу ток-шоу, вылавливая из невнятной чужой речи от-

дельные знакомые слова и радуясь узнаванию; позже, когда немецкий стал более понятен, с облегчением отказалась и от них.

«Я — и телевизор?»

Странно, но по мере расширения круга немецких знакомых, а потом и друзей, проявилась определённая закономерность: чем более мне был симпатичен человек, чем ближе ко мне по типу восприятия, по кругу интересов, тем с большей вероятностью можно было предположить, что у него дома не окажется телевизора.

На вопрос «а почему?» давались совершенно разные ответы, иногда полярные по смыслу, но прослеживалось определённое сходство: эти люди ощущали возможное возникновение зависимости и пытались её избежать. На моё возражение, что вот я же его почти и не смотрю, хотя у меня он есть, — да пусть будет, не мешает же он мне, отвечали с уважением что-то вроде того, что у меня, мол, сильная воля. Ощущать себя несгибаемой было приятно, поэтому я не обнародовала тот факт, что вообще-то никакой тяги к экрану не испытываю, поэтому мне и преодолевать нечего.

Моя ученица, занимающаяся шестнадцать лет русским языком без всякой конкретной надобности, просто по любви, мать четверых детей, боится телевизора, как заразы. На мой вопрос, почему бы ей и не завести для ребят ящик, ведь бывают и приличные фильмы, которые им неплохо посмотреть, она реагировала так, как будто я предложила внести в дом пробирку со спорами сибирской язвы: «Ты что?! Там же реклама!» И тут же призналась, что дети, когда попадают к бабушке с дедушкой, не отлипают от экрана.

— Так, может, не надо создавать для них запретный плод? Может, лучше дозировать просмотр, но всё-таки поставить его дома?

— Не надо, — категорически сказала она, — я за ними четверыми всё равно не догляжу, ещё посмотрятся какой-нибудь гадости.

Другой ученик, архитектор, всего-навсего с тремя детишками, не заводит телевизор по простой и ясной причине:

Часть вторая

— Они читать тогда не будут. И музыку слушать. И сами играть не станут.

В доме у него два рояля, и почти всё время на одном из них, а то и на обоих разом, кто-нибудь занимается.

Мой старинный друг, философ, ответил ещё проще:

— Ну ты что? Сама подумай: я — и телевизор. Да и где его тут поставишь?

И недоумённо осмотрел большущую квартиру, действительно всю доверху заваленную книгами.

Самый «зелёный» и «левый» из моих знакомых испытывает к телевидению острую брезгливость. У него ощущение, что его сознанием будут манипулировать через экран, чуть ли не зомбировать.

— Но книги же ты читаешь? Там тоже всего лишь чье-то мнение, ты точно так же можешь от него дистанцироваться и в восприятии зрительного ряда. А зато всегда свежие новости.

— Новости я могу по радио послушать. Нет, и потом там такие мерзкие ведущие, насквозь буржуазные...

Правда, надо сказать, он точно так же люто ненавидит автомобиль — отвратительное порождение империализма и разрушителя экологии. На работу ездит каждый Божий день за тридцать километров на велосипеде — в любую погоду. Положа руку на сердце, он и есть самый симпатичный из моих знакомых, несмотря на то что, приходя ко мне, всякий раз тщательно и демонстративно усаживается спиной к выключенному экрану.

«Может, не надо?»

Так я и жила себе спокойно, мирно сосуществуя с молчащим ящиком, включая его лишь в случае экстремальных ситуаций, когда требовалось постоянное поступление информации, вроде выборов в Германии или теракта в Израиле — когда Интернет не поспевал, да и хотелось увидеть собственными глазами, что же происходит, пока не приехал сын и не сказал деловито:

— Сейчас скидка на кабельную приставку, через неё можно смотреть ТВ-6, я тебе, пожалуй, подарю. Немецкое ты всё равно не смотришь, а по-русски — совсем другое дело.

«Может, правда, — подумала я. — Действительно, наверное, приятно, по-русски-то».

Сын подключил мне приставку и уехал, а я, позабавившись новизной ощущения, что у меня в Германии из ящика звучит русская речь, опять стала забывать включить телевизор, решительно предпочитая ему свежий детективчик. Но тут развернулась баталия за ТВ-6, и я словно опять окунулась в перестроечные страсти с трансляцией Первого съезда. Снова было ясно — где друзья, а где враги, но, в отличие от тогдашних баталий, где мы одержали невнятную и ненадежную, но всё-таки победу, на этот раз «наши» проиграли.

Дважды, впрочем, ничто не повторяется, и сражение было словно бы лишь тенью тогдашней битвы, но я всё-таки успела не поспать пару ночей, не отлипая от экрана во время прямого эфира с митингов в защиту Киселёва, пострадала вдоволь по поводу раскола его команды... Причём, честно говоря, сам по себе Киселёв никогда не был мне особенно симпатичен, просто очень уж отвратительны были его оппоненты.

Бой был проигран. Сменились ведущие, изменилась атмосфера, и включать телевизор стало уже решительно незачем. А потом каналы продали, перепродали, и приставка стала годиться только на то, чтобы вытирать с неё пыль.

За долгие годы отношений с «ящиком чудес» я успела понять, что в нормальной ситуации он меня категорически не интересует — я бросаюсь к экрану только в случае какого-то катаклизма, когда страсти в клочки, и я эмоционально подключена до предела. Тогда меня не оторвать от движущихся фигурок, а звук я увеличиваю до максимума, чтобы, если придётся выйти из комнаты, не пропустить чего-нибудь важного. А так, если всё нормально, чего ж его и включать-то?

И снова приехал сын и радостно сказал:

— Ну, вот, сейчас я перезаключу договор с этой компанией, которой продали русский пакет, и у тебя опять будет русское телевидение, да не один канал, а целых пять!

— Может, не надо? — робко сказала я.

— Почему? — озадачился сын. — Тебе что, совсем неинтересно? Тебе же не всё равно, что в России происходит?

Часть вторая

— Да нет, мне, конечно, не всё равно, только, знаешь, лучше бы в России не происходило такого, чтобы я принялась телевизор смотреть.

Он его всё-таки мне подключил. В кабеле у меня сорок немецких каналов, которые я не смотрю. Теперь не смотрю ещё пять русских. А всё почему? Потому что у меня в детстве телевизора не было.

НАУКА РАССТАВАНЬЯ

Я изучил науку расставанья...

Осип Мандельштам

Детское восприятие мира отличается от взрослого в основном процентным соотношением. Нормальный ребёнок, если его по несчастью не постигли в детстве беды и горести, уверен, что мир на девяносто процентов состоит из радостей и удовольствий — ну, остаётся десять процентов на разбитые коленки и улетевший воздушный шарик. Его жизнь определяется позитивом, и ой сколько времени пройдёт, прежде чем наступит понимание, что всё наоборот, что жизнь — это в лучшем случае одна десятая радостей, а всё остальное — боль, разочарования и утраты. И что это — нормально. И коль скоро утраты, разлука — составная часть жизни, необходимо научиться грамотно с этим обходиться. Это непросто, но без этого умения очень трудно порой прожить.

Ромео и Джульетта в детском санатории

Мальчик Серёжа был смуглый, но с льняными волосами. Наше знакомство в томилинском детском санатории для дошкольников было, совершенно однозначно, роковым и судьбоносным: я разлила на него стакан компота, который несла от раздачи на свой стол — руководство санатория полагало, что дети обязаны приучаться к самостоятельности, так что хорошо ещё, что нам самим не предлагалось этот компот варить.

Мы подружились очень быстро, и я, будучи ребёнком читающим и продвинутым, быстро поняла, что Серёжа — то самое

великое чувство, которое однажды в жизни настигает каждого. Может быть, не так внятно, но его посетило то же самое знание, и мы стали неразлучны. Мы избегали ходить за руку, кроме тех случаев, когда шли на обед и воспитательница, покровительствовавшая нашим отношениям, ставила нас в пару, но жизнь была к нам щедра, и когда, спрятавшись в зарослях бузины, он накручивал на палец мою кудряшку, сердце переполнялось счастьем, и казалось, что так будет всегда.

Мы рассказали друг другу всю свою жизнь — на это, как ни странно, понадобилось очень много времени: его тревожили неровные отношения мамы с папой, а меня мучил вопрос, вернётся ли папа однажды домой или придётся привыкать к жизни без него — ведь он теперь даже не каждое воскресенье ко мне приезжает... К тому же Серёжа был запуган старшим братом, который втихомолку его помучивал, а меня огорчала привычка моей кухни бесперечь ябедничать бабушке, что подрывало любую здоровую инициативу — лягушку невозбранно в дом не принести. Словом, это был в первую очередь союз двух одиноких сердец, хотя накручивание кудряшки на палец тоже никак нельзя было сбрасывать со счетов.

Моя мама быстро раскусила, что к чему, и, навещая меня у дырки в заборе (родительские посещения жёстко регламентировались), приносила двойную порцию фруктов, сладостей и орехов — мне и Серёже. Его родители приехали только однажды, в родительский день, и на его робкую попытку сказать: «А вот это Ириша...» поглядели на меня с отчётливым выражением — «Ну и что?..», после чего я отбежала подальше и стала ждать маму с бабушкой.

Про Ромео и Джульетту я тогда ещё не читала, но что-то, видимо, слышала, поэтому некоторая горечь от такого свиного отношения родителей любимого во мне возникла, однако отравить наши отношения не смогла, тем более что родительский день миновал, а половина смены была ещё впереди. Лето длилось. Играя в «ручеек», мы неизменно выбирали друг друга, я читала Серёже вслух глуповатые книжки, которых в санатории было наперечёт, и обещала, что когда он приедет ко мне (он жил не в Томилине, а в Краскове), я покажу ему все

Часть вторая

свои (хорошие!) книги, научу его как следует читать — а то что это, по слогам! — мы залезем вместе на мою яблоню, заберёмся в сарай, где так много таинственных штучек, а наша кошка непременно родит к тому времени котёнка, которого я отдам ему.

Первый урок

Словом, отношения сложились окончательно и прочно, было незыблемо ясно, что мы не расстанемся никогда, я уговорила маму отдать меня в школу в Краскове, поскольку, хоть и не подчёркивалось, было ясно, что его мама возить его в Томилино не будет ни за что, мы будем сидеть за одной партой, а как только закончим школу, немедленно поженимся. Детей мы намеревались иметь троих.

Свой адрес для Серёжи я записала на специально принесённой мамой картонке, и он спрятал её на дно своего мешка с вещами, доступ к которому мы получали только в банный день.

Оставалась ещё целая долгая неделя до конца смены. Я помогала нянечке собрать на прогулку малышей — как-то незаметно это стало моей обязанностью, поскольку я чудесно умела заговаривать им зубы, безостановочно читая вслух детские стишки, когда за мной прибежала девочка из нашей, старшей группы:

— Серёжку увозят!

— Как увозят?

— Ну да, забирают, папа за ним приехал. Беги скорей, может, у ворот ещё застанешь. Он тебя искал-искал, хотел попроситься.

Я кинулась к воротам. Створки были ещё распахнуты — нянечка недоглядела — и вдалеке, на дорожке, ведущей к станции, виднелись две фигуры, высокая и маленькая. Высокая шла стремительно, маленькая тащилась следом, выворачивая голову назад. Я неистово замахала рукой, фигурка замахала обеими, вдруг остановилась и дёрнулась обратно. Высокая обхватила маленькую за плечи и повлекла вперёд. Несколько минут я ещё видела отчаянно машущую руку, потом они скрылись за углом. Нянечка долго гнала меня от ворот.

Последняя неделя в санатории была для меня истинным мучением. Я плакала по ночам, как в первые дни, когда не-

стерпимо скучала по дому, и всё пыталась понять: отчего мы так безропотно позволили себя разлучить — даже не попрощавшись! Ну, казалось бы, чего мне стоило, несмотря на все запреты, броситься следом, или ему добежать обратно к воротам — ну, что бы нам сделали за это, в конце концов? Анализируя случившееся, я довольно быстро поняла, что мы оба, очевидно, не столько убоялись репрессий взрослых, сколько смирились с неотменяемой реальностью и бессознательно попытались сохранить лицо в наступившей беде: какой смысл был плакать, орать, вырываться из рук отца — ему, или вопить и бросаться вслед — мне? Ведь всё равно бы это ничего не изменило.

Это был первый урок «науки расставанья», и я его усвоила. Правда, ещё несколько лет мои вечерние мечты перед сном, когда я пыталась смоделировать мир таким, каким хотела бы его видеть, как необходимый компонент содержали замедленный кадр: к нашей калитке подходит Серёжа, берётся за калитку рукой, открывает её, я со всех ног бегу к нему, а вдали маячит его мама, смущённая, но смягчившаяся.

Конечно, он не приехал.

«Давайте негромко, давайте вполголоса...»

Наверное, столь ранние уроки идут впрок — всегда. Я чётливо помню, как любимый муж вернулся из командировки совершенно неузнаваемым — ну, просто другой человек: иное лицо, чужой голос, незнакомые движения, — присел, как в гостях, и начал говорить что-то совершенно обязательное. Собственно, всё было ясно с первой минуты, но ролевое распределение вынуждало меня задать вопрос. Я и задала.

— Что случилось?

— То, что ты подумала.

— И что же теперь будет?

Возможные варианты его ответа ветвились в моём мозгу с необычайной скоростью: вот сейчас он скажет: «Это будет зависеть от тебя», — и что я тогда?.. Знать не знаю — у меня нет такого опыта. Или: «Всё останется по-прежнему», — но разве может быть по-прежнему теперь?

Часть вторая

Но он упростил мне задачу:

— Мы расстаёмся.

Вот любопытно: естественная реакция на такой гром среди абсолютно безоблачного неба у застигнутого врасплох человека должна быть оглушительной — какой она ещё может быть, если в тебя среди бела дня ударяет молния или, скажем, прямо в незащищённый живот вонзается нож:

— А-а-а-а! Да ты с ума сошёл!

Или:

— Что?! А как же я? (Особенно учитывая, что с внезапной смерти моей мамы не прошло и полугода.)

Ничего этого я почему-то не выкрикнула, да и вообще ничего не выкрикнула, а почему-то, напротив того, сильно понизила голос и рассудительно сказала:

— Ну хорошо, давай обсудим.

Что мы там обсуждали, честно говоря, не могу восстановить. Все мои старания были направлены на то, чтобы сохранить это своё пресловутое лицо. Из каких таких возвышенных соображений — понятия не имею. Будучи человеком эмоциональным и довольно непосредственным, я никогда особо не заикливалась на том, как выгляжу со стороны, — меня всегда занимала скорее задача максимально адекватно донести до собеседника свои мысли и ощущения. Но тут что-то резко изменилось — как будто во внутреннее ухо мне кто-то нашёптывал: «Молчи, скрывайся и тай...» или что-то, столь же полезное, всё из того же Тютчева, типа, например: «Мысль изречённая есть ложь».

Словом, на меня нашёл некий ступор, создавший непреодолимую перегородку между чувствами и их проявлением. И все полтора месяца, которые мы провели вместе перед окончательным расставанием, я находилась во власти этого ступора. Мы прохладно и вполне доброжелательно общались, деловито решали практические вопросы, и ни разу мне не пришлось в голову, к примеру, истошно завывать и броситься мужу на шею, с криком: «И на кого ж ты меня покидаешь?! Да миленький, не надо, останься!» — хотя это было бы довольно логично и вполне в рифму с моим состоянием.

**«Не говори с тоской — их нет,
но с благодарностью — были!»**

Сейчас, когда прошло много лет, я с некоторым недоумением обнаруживаю, что проявила тогда какую-то фантастическую выдержку, вовсе мне по жизни несвойственную и словно бы даже некоторое мужество, отнюдь мне не присущее. Как будто бы перед глазами у меня была некоторая модель поведения в экстремальной ситуации, обязывающая не то чтобы к соблюдению приличий — мне на это всегда было более или менее наплевать, — но, скорее, призывающая признать реальность и действовать соответственно ей.

Ну что бы изменилось, примись я выть и бросаться в ноги? Ровно ничего. Просто эти последние полтора месяца стали бы медленным аутодафе для нас обоих, а так — они превратились для меня в некоторое спокойно-печальное воспоминание, окрашенное даже некоторой осенней поэзией.

Мне приходилось слышать мнение, что, предпринимая энергичное сопротивление — очевидно, с помощью всё того же утробного воя и давления на соперницу, включая меры физического воздействия, — можно было бы изменить исход событий. Ну, во-первых — «Не верю!», а во-вторых — разве это можно? Человек же исходно свободен, и если сплетает свою жизнь в один узел с другой, то этот узел — отнюдь не Гордиев, и не на вечные он времена завязан, а ровно на столько, на сколько человек этого желает. «Колхоз — дело добровольное». Кроме того, представить рядом существо, страхом ли, жалостью ли словно загнанное в ненавистную ему клетку и влачащее совместное бытие из-под палки... Это уж очень на любителя.

Никуда не денешься, существует некий коэффициент, повелевающий нам в острых ситуациях (а разлука — куда уж острее!) пересчитывать свои непосредственные импульсы таким образом, чтобы не изуродовать картинку, сохранить хотя бы видимость гармонии в отношениях и пощадить чувства другого человека, даже если именно его решением нам причиняется боль, и даже если эта боль нестерпима. Это уже не этика отношений, а скорей эстетика.

Часть вторая

То же со смертью. Можно, конечно, побиться головой об стенку — и порой очень хочется, но этим мы оскорбляем память об ушедшем, тревожим его тень и увеличиваем количество открытого горя, выплеснутого в мир. Видимо, подобает до последней крайности стараться удержать своё горе внутри, не давать ему захлестнуть окружающих, ну а уж если совсем невмоготу — закрой входную дверь и бейся головой в одиночестве — все четыре твои стены к твоим услугам. Жестоко звучит, но, к сожалению, это так и есть.

Когда человек уходит из твоей жизни — по собственной ли воле, по воле ли судьбы, — единственно возможная модель поведения: инкапсулировать его образ, закрепить в душе картинку былого счастья и превратить её в часть своего существа, так, чтобы на этом месте была не развёрстая кровоточащая рана, а шёлковистый, привычный на ощупь шрам.

«С любимыми не расставайтесь»

Собственно, это рецепт на все случаи жизни. Жизнь, она ведь, как известно, полосатая. Вот кончается полоса, давшая много хорошего, наполнившая тебя опытом и радостью, которые не заменить ничем в следующем, наступающем отрезке, — зафиксируй всё, что дал тебе этот промежуток, чем одарили тебя люди, игравшие с тобой вместе в этом акте, спрячь в свои душевные закрома всё, что вынес ты из этого куска жизни, и ступай дальше. Если будешь жив, придут иные времена, может быть, и не худшие, появятся другие люди, начнётся следующее действие. Главное — быть живым, ещё главнее — остаться живым внутри, не позволить разлуке выжечь твою душу и сделать из неё бесплодную пустыню — ведь тогда уж точно в твоей судьбе ничего не начнётся.

И всё-таки, конечно, если можешь не потерять — не теряй! Удержи всё, что можно, всё, что позволяет жизнь. Сохрани хотя бы приятельские отношения с бывшей половинкой, не рви отношений с друзьями сгоряча, только потому, что не сошлись во мнениях или «не сошлись характерами», не гнушайся возможностью сделать первый шаг после размолвки, кажущейся разрывом, не разбрасывайся людьми: в отличие от денег и деловых свершений, это — ценность абсолютная.

Наука расставания — дело нелёгкое, но, как всякой наукой, ею можно овладеть. Если нужно. Если пришлось. Хотелось бы, конечно, чтобы НЕ... Пусть вам повезёт.

ТОВАР — ДЕНЬГИ — ТОВАР

Великий Сталин в своей последней работе «Экономические проблемы социализма», которую он считал вершиной своего гения, отрицал действие закона стоимости при социализме. То есть бесхитростная формула «товар — деньги — товар» — продам, к примеру, свою рабочую силу, получу за это денежки и куплю себе пожрать или наготу прикрыть — отменялась. Казалось бы, против всякой очевидности — ведь деньги в социалистическом обществе продолжали существовать, — ан ведь не соврал отец народов!

Драгоценности из «сельпо»

В семье, где я росла, господствовал строгий вкус: сумочка в цвет туфель, хоть и латаных-перелатаных, никогда — два разных оттенка одного и того же цвета, украшений — минимум, и только самых скромных (их, впрочем, почти не было ни у мамы, ни у бабушки, но предполагалось, что если бы и были...).

Я понимала, что такое хороший вкус, что такое строгий тон, что прилично, а что нет, и даже под пыткой не выдала бы своих истинных пристрастий, которые Бог весть почему, может быть, из духа противоречия и неосознанного протеста, были у меня совершенно дикарские.

В нашем «сельпо», крошечном тесном магазинчике, где продавалось буквально всё — от губной помады до иголок для примуса, то есть всё, что не еда, — была отдельная витрина с бижутерией, про себя я называла её — драгоценности. Там были жестяные браслеты, железные брошки, огромные латунные серьги с камушками из цветной пластмассы, и, самое главное, там были перстни, в основном из красного или прозрач-

Часть вторая

ного стекла, долженствующие, соответственно, изображать рубины и бриллианты, и среди них один тёмно-синий — сапфир!

Сапфир чистой воды

Тщательно скрывая свой тайный порок от окружающих, при любой возможности я просачивалась в «сельпо» и стояла у витрины часами, не отводя глаз от сверкающего синего камня. Чем он так покори́л меня и почему именно он? Мерещился ли мне в его синеве отблеск морских волн, никогда мною не виденных? Манило ли сверкание роскоши, знакомое по переводным романам? Сконцентрировалась ли в нём жажда красоты, которой так не хватало?..

Три месяца я собирала деньги — дореформенного рубля, выдаваемого мне на завтрак, хватало на два пирожка с повидлом. Я покупала один пирожок, а сэкономленный полтинник прятала за отставший плинтус под кроватью.

И вот я купила его. Я купила мой сапфир. Продавщица пересчитала монетки, вываленные из влажной варежки на мутный стеклянный прилавок, выдвинула витрину со сверкающими «драгоценностями», подцепила сапфир из углубления в потёртом вишнёвом бархате, где он так терпеливо дожидался меня, сунула его в пакетик из обёрточной бумаги и протянула мне.

Я выскочила на крыльцо, вытряхнула драгоценный перстень на ладонь. Надеть я его, конечно, не могла — разве что на два пальца разом, — но синее стёклышко так засверкало в лучах холодного солнца, что показалось мне ещё краше.

Это была единственная настоящая покупка, сделанная мною за всю жизнь на родине. Единственный раз, когда я чего-то захотела, заплатила деньги — и купила. И не разочаровалась потом.

Только кончилось всё печально. Мама нашла кольцо, ужаснулась его языческому великолепию, содрогнулась при мысли, какой папуасский вкус, вопреки всем стараниям, сформировался у ребёнка, вычитала мне длинную мораль и выкинула мой сапфир в помойку.

В погоне за мужскими носками

«Человек есть то, что он ест», но, по крайней мере, для горожан, — ест-то он только то, что купит, да ведь, опять же, по меньшей мере, и прикрыться надо. Стало быть, человек есть то, что он покупает.

Воистину загадочны были отношения между человеком и вещами в Советском Союзе. Вроде все работали, получали какую-то зарплату, что-то ели, что-то пили, спали не на полу и не ходили голыми, то есть общество как бы исправно функционировало, но все логические связи при этом были нарушены.

Инженер получал по деньгам ровно столько же, сколько продавщица, однако в социуме по всем параметрам занимал место на несколько не ступенек, а пролетов ниже. Чтобы купить машину, тот же инженер должен был шесть лет собирать копеечку к копеечке свою зарплату — при этом не есть, не пить и не платить за квартиру. Квартирная плата почему-то была равна цене пары галош, а пара туфель стоила треть месячной зарплаты...

Но самое поразительное, что ни туфли, ни машину, ни даже галоши — купить было нельзя. Нельзя, и всё тут. Много вечеров скоротали мы на кухне с друзьями, предаваясь бессмысленным спорам — делается это нарочно или само так получается. А какая, собственно, разница? Суть одна: ты не можешь за честно заработанные деньги купить то, что тебе нужно, да вдобавок ещё какие-то из необходимых вещей время от времени вообще исчезают бесследно, оставляя в рынке зияющую незаполнимую дыру, — сколько себя помню, вечно гонялись то за термометрами, то за ватой, то за мужскими носками.

Сколько стоит пачка творога?

Естественно, при отсутствии прямого русла от прилавка к потребителю товар начинал просачиваться боковыми путями, но уже за совсем другие деньги. Благословенные спекулянты — без них бы тогда погибель! Продавщица в молочном оставляла под прилавком творог — пять копеек «сверху» за каждую пачку; мясник, совершенно не таясь, приглашал в подсобку и заворачивал отбивные — почти по госцене, но деньги не в кассу,

Часть вторая

а в прямо в жирную руку, — а у тёток-спекулянтток, крашенных перекисью, обнаруживался на дому просто небольшой промтоварный магазинчик.

Противно? Да нет, почему же, я ведь не ворую, а деньги плачу, просто — дико: зачем такие сложности? Можно было бы и официально на пятак больше за творог заплатить — ну, если он реально столько стоит.

«Зачем человеку две пары штанов, если у него одна пара ног?»

А «противно» — это не случайно. Советский базис, перевернутый с ног на голову, породил такую же безумную надстройку — всё по марксизму. И оказалось, что, с одной стороны, в нашей стране всё есть, поскольку — изобилие, а с другой стороны — ничего нам не надо, так как мы не «мещане». (Чем им не угодили мещане — тихий, законопослушный средний класс, по существу, опора общества?..) Поэтому стремиться к обладанию вещами — вещизм. А покупать что-то в обход официальной торговли, разумеется, «противно». Надо работать и строить коммунизм, а не бегать за носками... И вообще, как сказал Мао Цзедун: «Зачем человеку две пары штанов, если у него всего одна пара ног?»

За туманом

Бедная интеллигенция, всю жизнь мечущаяся между оппозиционерством, полагающимся вроде по статусу, и пиететом к власти, вбиваемым веками, выработала собственную, но поразительно схожую с официозной концепцию, в которой на место социалистических ценностей водрузила так называемые духовные. По этой концепции получалось, что книгу у приятеля стащить не зазорно, поскольку ценность это высокодуховная, а тряпку у спекулянтки купить — как-то неловко: ты что, тряпичница?

Образовался целый пласт интеллигенции, особый тип горожанина, не отягощенного пошлой собственностью, в единственных, по Мао, штанах, клетчатой засаленной ковбойке, кочующего с прожжённой палаткой по просторам необъятной родины и поющего под треснувшую гитару: «А я еду, а я еду за туманом...»

А остальные исправно покупали «с рук» колготки и записывались с ночи в очередь в мебельном магазине.

Обморок в колбасной лавке

В начале перестройки, когда железный занавес начал понемногу подниматься, ходила по Москве история о какой-то не то ткачихе, не то поварихе, рухнувшей в обморок в мюнхенской колбасной лавке.

Меня в Мюнхене, слава Богу, обморок не постиг, но некоторая оторопь при первом посещении «Карштадта» ододела. И, может быть, растерялась бы я вовсе, но спасло одно счастливое обстоятельство: полное безденежье. Сразу появился точный ориентир: покупать надо самое дешёвое, оно и есть самое лучшее. И какой болван покупает майки по тридцать марок, когда вот же за пять, и точно такие? Что не точно такие, а растянутся и полиняют после первой стирки, этого я тогда не знала.

«Версаче» за марку

Потребовалось довольно продолжительное время, чтобы перестать покупать майки по пять марок и сапоги из пластика. А пока, насыщая попутно глаз пестротой и разнообразием недоступных магазинных витрин, я погрузилась в стихию фломаркта. Мюнхенский фломаркт — целая поэма, а для советского эмигранта — просто рай. Сотни, тысячи вещей — тряпок, обуви, посуды — и всё по марке, по три, много по пять.

Моим гидом стала подруга, принадлежавшая, как ни странно, к людям вполне обеспеченным. Фломаркт был её страстью. Она запускала руку в кучу смятого тряпья и вытаскивала джинсы от «Валентино», юбку от «Версаче», свитер от «Эскадо». Конечно, всё это надо было продезинфицировать, отстирать, отгладить, но — за марку! Правда, к свитеру за марку подруга прикупала иногда в хорошем магазине юбочку за триста, но ведь это спорт, это азартно. Я так и не научилась выискивать жемчужные зёрна по марке, по две, но все же фломаркт здорово выручал в первые годы.

Часть вторая

Это — мне, а это — тебе

Когда сняли постоянную квартиру и появились какие-то деньги, пришлось всерьёз окунуться в мир капиталистического рынка. И тут выяснилась странная вещь. Приходишь в магазин среднего уровня, чтобы купить, скажем, настольную лампу. Первое ощущение: зачем их здесь так много, как из них выбирать? Потом осматриваешься и начинаешь соображать: половина мне сразу не годится — слишком дорого, эта не подходит к письменному столу, эта вроде неудобная, эта и удобная, и подходит, но к ней нужна специальная, дорогая лампочка, а вот эту я даром не возьму — она мне просто не нравится. В результате находится в лучшем случае две или три вещи, из которых надо на самом деле выбирать. А бывает, что и ни одной, надо ещё куда-то идти. При этом тут же другой покупатель выбирает именно ту штуку, которая тебе и даром не нужна, а ему, значит, нужна именно эта. Стало быть, их столько и нужно, сколько есть, и ни на одну больше.

Ошибочка вышла

Через пару лет появились совсем уж странные причуды — туфли, к примеру, оказывается, должны быть удобными. То есть, значит, недорогими, красивыми, определённой модели, конкретного цвета, да ещё и по ноге — да где ж такие найти? Это весь Мюнхен надо обегать.

И вспомнилось, как лет двадцать назад мы с мамой с большими трудами добыли себе где-то на дальней окраине Москвы по паре туфель, переплатив, как водится, по десятке за каждую, и, счастливые, под дождём через весь город добирались домой. Меня осенила тогда внезапная догадка. «Вот, представляешь, — сказала я, — если бы мы жили на Западе, никогда бы такой радости у нас не было — там-то ведь их миллион, поди, ну, подумаешь, туфли купили». Ох, ошибочка вышла, не знала я тогда ничего про Запад, большая это радость — правильные туфли купить.

Купить?..

Много, слишком много всего — часто слышишь от эмигрантов и от «левых» немцев. Ну, с последними-то всё понятно —

их забросить в Северную Корею на годик, они бы быстро оклемались. А мы? Нам просто страшно. Непривычно. Непонятно. Потом привыкаешь.

Это ведь так замечательно, и всё это люди придумали и сделали, точно так же как Венеру Милосскую, — и БМВ, гордость Баварии и моя лично, хотя никогда у меня этой машины не было и никогда не будет, и сахарницы, высыпающие за один наклон ровно необходимое количество сахара, и умнящие компьютеры, и колготки с лайкрой. Мне столько не надо, верно, да и вообще мало что надо, но это малое я могу получить тогда, когда оно мне понадобится. А другие — другое. Заработают — и купят, по деньгам и по вкусу. Господи, как просто! Только завидовать не надо. Сколько ты стоишь, столько ты и получаешь, столько, стало быть, и покупаешь. Товар — деньги — товар.

А в парикмахерской, что возле моего дома, я увидела в обновлённой к лету витрине целую россыпь браслетиков из разноцветных камушков. С детства я, признаться, несколько цивилизовалась, и такую роскошь и тридцать лет назад не надела бы под пистолетом, а теперь подавно. Но — блестят! И стоят всего десять марок, вполне можно себе позволить. Купить?..

НЕ ЖИВИТЕ В ОДИНОЧКУ

Круглый стол, абжур над столом, и вокруг него — мама, папа, бабушка, дедушка, две сестрёнки, два братика и я. Семья. Мечта.

Папы не было, дедушки тоже, вместо сестрёнок — кузина, хоть и родная, но двоюродная, а братиков — и в помине... Мечта, естественно, не сбылась, как и многие другие, и помнится ещё тоска о несбывшемся.

Но зато помню тоже, как бежала из любой ситуации — домой, к маме, к бабушке, к тётке, к двоюродной сестрёнке, — не потому, чтобы жили так уж всегда дружно и душа в душу, а чтобы разделить жизнь с ними — потому что мы были семья.

Часть вторая

Что знает статистика?

Человек — животное парное. В одиночку не выжить. Конечно, хорошо, когда стол круглый и с абажуром, но уж тут кому как повезёт, вот и лепимся друг к другу, как получится.

Говорят — распадается семья, сходит на нет, тенденция такова, общество тяготеет к индивидуализму, статистика показывает... Да что она знает, статистика? Когда люди тянутся друг к другу, ищут опоры — разве это считаешь?

У меня есть друг, один из самых старых в Германии, ещё когда совсем по-немецки еле лопотали, ухитрился как-то с нами подружиться — симпатия на невербальном, можно сказать, уровне. Красивый высокий парень, элегантный, изысканный. В одном из первых разговоров он объяснил, что женщинами не интересуется, что он гомосексуалист. Сейчас ему около сорока, так что явный поворот общества к терпимости по отношению к «другим» произошёл уже после того, как он осознал свою инакость. Его с другом даже и в полицию однажды забирали, лет двадцать назад — хотя кому они помешали с вполне невинными нежностями в ночном Английском саду?..

Вырос он в большой, традиционной, дружной семье, и его всё больше угнетало, что его романы носят скорее эпизодический характер. По мере сближения он всё чаще стал признаваться, что ему в тягость одиночество, что хочется дома, уюта. А личная жизнь всё не клеилась и не клеилась, хотя, на мой взгляд, эстетически он должен был быть привлекателен для лиц обоего пола — очень собой хорош. И человек на диво славный. И умница. И с огромным вкусом — квартира стильная и с индивидуальностью... Да всё при нём. Единственное, чем можно было объяснить его одиночество, — у тех, кто склонен к однополой любви, просто выборка намного меньше. Ну и что он должен делать? Он же при всём желании не может создать семью с женщиной — насколько я знаю, даже и пробовал, не зависит это от него.

И вот, года три назад, звонит он мне после долгого перерыва и вибрирующим голосом просит непременно прийти в гости. Прихожу. Представляет мне своего друга — маленький толстенный дяденька, милый и улыбчивый, с сильным баварским

акцентом, явно не интеллеktуал и заметно старше. Роберт, как и прежде, суетится по хозяйству — он чудесно готовит, — но весь сияет и выглядит как именинник. А дяденька смотрит на него, как на несмышлениша, и руководит. Дом, конечно, изменился, на смену стильной вылизанности пришёл некоторый кавардак, но какой-то живой и тёплый.

Когда Роберт отвозил меня домой, я спросила:

— Это всерьёз? Ты чувствуешь с ним настоящую близость? Ты же такой эстет, сноб, а он очень симпатичный, но вроде из другой среды?

— Плевать мне на среду, — ответил Роберт, — он добрый, порядочный, он меня любит, ему про меня всё интересно.

Помолчал и сказал:

— Мы теперь каждый вечер чай пьём вместе. Знаешь, какое счастье?

Недавно Роберт с Полем снова были у меня в гостях. Между собой они почти не разговаривают — перегляд, кивок, видно, что взаимопонимание мощное нарастили. На прощанье Поль погладил меня по руке и сказал:

— И как ты живёшь одна? Беденькая...

Попугайчики-неразлучники

В моём районе живут в основном синглы — одиночки, какой-то страшный процент по статистике, то ли шестьдесят, то ли семьдесят. Оно и на улице заметно — редко пройдёт семейная пара, да ещё с детьми, а в основном всё независимые единицы. Райончик замкнутый, ограниченный с четырёх сторон большими улицами, всё под рукой — пара магазинов, аптека, парикмахерская, почта, банк, химчистка... Собственно, можно жизнь прожить, не выходя за пределы квартала. Поэтому все обыватели друг друга в основном знают в лицо и уже здороваются машинально.

Эту пару я заметила давно, уж очень колоритная: две женщины за и под шестьдесят, одна — ярко-крашенная шатенка, другая — пергидрольная блондинка, но кудрявые взбитые причёски совершенно одинаковые, и обе одинаково нелепо нарумянены. Впрочем, одеты неплохо, но бывает такая беда у жен-

Часть вторая

шин — не замечают перехода в другую возрастную группу и не поспевают вовремя сменить стиль и макияж.

Я видела их всегда только вдвоём, поэтому, когда обнаружила в аптеке блондинку в одиночестве, да ещё с растёкшейся тушью под глазами, не удержалась и в ответ на её приветствие спросила:

— А где ваша подруга? Она не заболела?

— Это не подруга, это моя сестра, — всхлипнула блондинка, — позвоночник она повредила, такое несчастье!

И рассказала. Девочки росли порознь — одна у отца, другая у матери. Родители, разойдясь, враждовали, поэтому виделись сёстры редко. Когда подросли, стали встречаться иногда, впрочем, особенной близости не чувствовали. Но когда старшей исполнилось тридцать пять, у неё погибли в автомобильной катастрофе муж и дочь. Младшая, у которой семьи не было, поняла, что сестра точно пропадёт, если оставить её одну, и переехала к ней. С тех пор они вместе, как два попугайчика-неразлучника. У них даже болезни общие — если у одной мигрень, то и вторая за голову хватается. Блондинка — как раз младшая — говорила мне, округляя глаза, что стала чувствовать боли в спине с тех пор, как старшая сестра, упав со стремянки, сломала позвоночник.

— Ничего, её приведут в порядок, врачи обещали, но в больнице придётся оставаться по меньшей мере два месяца, а мне так плохо без неё, я каждый день сижу с ней, пока она не заснёт, но вечером-то надо возвращаться домой, там так пусто, и я впервые подумала: что же будет со мной, если её не станет?

Мы вышли из аптеки и шли по нашему скверу, где я так часто встречала их прогуливающимися, взявшись за руки. Я рискнула спросить:

— Вы никогда не жалеете, что так жизнь сложилась? Ведь у вас могла бы быть своя семья...

— Могла бы быть? — И собеседница посмотрела на меня как на полную идиотку.

По законам стаи

Одна из самых читаемых нынче в России писательниц — Дарья Донцова. Она пишет забавные книжки под грифом «Иро-

нический детектив». Интрига закручена довольно лихо, и не откажешь автору в бойкости пера и чувстве юмора, хотя определённая небрежность и некоторое «тяп-ляп» тоже налицо. Ну и неудивительно, она ваяет чуть ли не по десять произведений в год — тут уж не до тонкостей. У Донцовой три постоянные героини, три цикла — о Дарье Васильевой, Евлампии Романовой и Виоле Таракановой; все три — несуразные такие бабёнки, не лишённые обаяния, постоянно влипающие в жуткие криминальные ситуации и с варьирующейся степенью лихости из них выпутывающиеся. Но вот что интересно — каждая из трёх героинь живёт в большущей семье, и что же это за семьи?

Семья Дарьи — это подруга, живущая постоянно в Париже, но являющаяся кормильцем всех остальных, разбогатеет после смерти мужа-барона, далее — сын с невесткой, затем появляются двое внуков-близнецов, — и младшая дочь. Однако постепенно выясняется, что сын — не родной и достался Дарье после расставания с которым-то по счёту мужем в «компенсации за развод». Дочь — на самом деле ребёнок следующей после Дарьи жены другого мужа, брошенный на попечение названной матери при отъезде семьи за границу. Позже в доме оказывается полковник милиции, старинный друг, с которым Дарью связывают исключительно братские чувства. Кроме того, существует, на правах членов семьи, няня близнецов, а также попугай Коко, крыса Фима, жаба Эльвира, пять собак и две кошки — два последних подвида семейного клана время от времени ещё и размножаются. Всё это разнородное хозяйство, которое героиня называет «стаей», выстроено совершенно гармонично и существует, несомненно, по законам семьи, хотя невестка порой окликает свекровь: «Дашка!»

Героиня другого цикла — Евлампия — снова живёт с подругой и детьми подруги — естественно, неродными, — в семье которых она прижилась в совершенно экстремальных обстоятельствах. Опять собаки, кошки, жаба, опять пёстрое сообщество, абсолютно, однако, монолитное и сплочённое. К дому, как и в первом цикле, периодически прибываются бывшие свекрови, подруги, оказавшиеся в пиковой ситуации, и все они органично вливаются в семью и существуют в ней на равноправных условиях.

Часть вторая

Приступая к третьему циклу, о Виоле, я готова была побиться об заклад, что основой семьи снова будут подруги с налипшими чужими детьми, ставшими своими, — так и оказалось: две подруги, муж одной из них с дочкой от предыдущего брака, да в придачу ещё посыпались отцы — героини и её мужа, долгие годы пропадавшие в нетях, но с безусловностью вошедшие в «стаю». Опять куча домашних животных, даже ручные мыши, бездомные девушки с амнезией, подобранные на улице и оставшиеся жить... И весь этот конгломерат совершенно, по сути, посторонних людей представляет собой тем не менее единую «ячейку общества».

Это — моя семья

Что-то всё это должно означать? Какое-то послание автор определённо хочет до нас донести, так настойчиво воспроизводя ситуацию, в которой героиня не состоит в браке — мужья как действующий феномен существуют только в третьем цикле, — не рождает детей, но окружена любящими и любимыми людьми, нуждающимися в ней и необходимыми ей самой? Вряд ли это механическое противопоставление многосемейной героини детективного расследования привычному образу сыщика-одиночки, вроде Эркюля Пуаро или Шерлока Холмса. Может быть, незамысловатая идея в том и состоит, что никто из нас не обречён на одиночество, если сам его не выбрал? Что нити симпатии и взаимной ответственности соединяют людей вовсе не по непереносимости кровного или брачного родства, а просто — по любви? Что достаточно решить: эти люди — моя семья, и так оно и будет?..

И что-то мне всё это упорно напоминало. Совсем недавно вспомнила. Семья моей бабушки — из Одессы. Летом сорок первого одна из её многочисленных сестёр с мужем и дочкой-подростком поехала отдыхать в деревеньку в Белоруссии, муж тяжело и внезапно заболел, а дальше — известно, что произошло. Каким образом происходило остальное — не знаю в подробностях, только муж умер, а нашу родственницу спрятала у себя в доме женщина из местных, жившая вдвоём с сыном, тяжело психически больным.

Когда события остались позади, сестра бабушки вернулась в Одессу сама-четвёртая, с дочкой, своей спасительницей и её сыном, так они и прожили всю жизнь вместе — дочка вышла замуж, родила двоих детей, но продолжали жить в одной квартире, и никому не приходило в голову подвергать сомнению единство семьи, состоящей, казалось бы, из людей, не связанных никакими родственными узами. Надо сказать, выросший мальчик не представлял собой большого подарка для постороннего человека, однако после смерти обеих старших он был нежно и любовно опекаем названной сестрой и её мужем, и мне кажется, они на части бы разорвали любого, кто посоветовал бы им избавиться от «обузы».

А видала я и другое, что тоже в некотором роде льёт воду на мельницу Донцовой, если я правильно расшифровала её «месседж»: формально безупречные семьи — мама, папа, бабушка, бабушка, подростки — и никаких силовых линий, соединяющих людей, никакой совместности, только видимость общности и тайное раздражение, едва ли не ненависть, и что этих людей соединяет, в чём стержень семьи состоит — непонятно.

Общий кров

Человек — животное парное. Ну уж, во всяком случае, общественное. Смолоду казалось, что для того, чтобы делить с нами жизнь, существуют друзья. Нет. Друзья — это святое, без них уж точно пропасть, но у друзей своя жизнь. Наши выросшие дети, наши братья и сёстры, даже родители, если они живут отдельно, — это другое. Это — смысл и любовь, сверхценность, но, если мы не делим с ними крышу — это не семья.

Семья — это те, кто, любя друг друга, живут вместе и уже от этого делят жизнь поровну. Это те, кто собирается с вами под — пусть вымышленным — абажуром. Те, кто с вами пьёт чай по вечерам. Те, кто ощущает вашу боль, как свою. Кому можно рассказать, как устали ноги и болит душа, и не бояться, что человек поморщится мысленно и подумает: «И что она всё время ноет?..» Те, перед кем совсем не надо «делать лицо».

Если повезёт, таким человеком может стать муж, жена. Иногда удаётся собрать под одной крышей и мужа, и родите-

Часть вторая

лей, и детей — если близость не мнимая, это, конечно, вершина успеха. Может состояться семья и по воле случая — бывает. А никого нет — заведите собаку. Кошку заведите, да хоть канарейку! Они не дадут совета, не подадут пресловутый «стакан воды», но с ними можно поговорить, погладить, им можно пожаловаться, они будут любить вас и делить с вами кров и станут — семьёй.

Не живите в одиночку, не живите в одиночку — не выжить одному.

«В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ ШКОЛУ ПОМНЮ Я...»

Хотим мы этого или не хотим, вызывает школа нежные, тёплые воспоминания или судорогу полузабытого раздражения, представляются ли учителя мудрыми наставниками или жуткими черберами, превратились одноклассники в лучших друзей, в ночные кошмары или вовсе в посторонних, — всё равно, никто, ни один человек не живёт без памяти о школе, глубокой, важной памяти. Никто не забыл её — это попросту невозможно.

Размножается ли человек опылением?

И то сказать — десять лет жизни! Приходишь — от горшка два вершка, с букетом в собственный рост, а в конце — взрослая девка, хоть сейчас замуж отдавай (что со мной вскоре после окончания школы и случилось).

Если попробовать суммарно оценить десять лет, проведённых в школе, возникает странное чувство: победы, поражения, обиды, радости, дружбы, любви — вроде жизнь, просто жизнь, но отчего же всё так остро, так болезненно резко? Только потому, что была маленькой, незакалённой, всё ярче, живее воспринималось? Или потому, что школа — замкнутое пространство, почти остров?

Нельзя сказать, что мои десять школьных лет — сплошной негатив, несправедливо было бы. Но сейчас вспоминаются почему-то в основном унижения и горечь. Как в первом классе

шпыняли за неумение читать по слогам, а навыки беглого чтения воспринимались как чистый выпендрёж и нахальство. Как в пятом учительница ботаники с ангельской улыбкой объясняла классу, что есть такая категория людей (так и сказала «категория» — кому надо, тот поймёт), которой непременно надо выделиться и показать себя умнее других, и что против таких людей, в данном случае против Стекол, существует единственное надёжное средство — бойкот. Чтобы поняла, что такое коллектив, и знала своё место. Класс радостно оживился, и бойкот был мне объявлен на следующей же перемене.

Это был первый из трёх бойкотов, которые мне пришлось пережить. В тот раз преступление моё состояло в том, что, рассказывая про опыление, я ответила недолжным образом на наводящий вопрос учительницы о сходстве размножения растений с аналогичным процессом в животном мире и тем самым обнаружила свою несправедливую осведомленность в том, что человек размножается отнюдь не с помощью тычинок и пестиков.

«И это пройдёт»

Если бы министром просвещения была я, в законодательном порядке запретила бы учителям провоцировать и допускать бойкоты учеников. Сейчас, оценивая ситуацию сорокалетней давности, я отчётливо понимаю, что была тогда на волосок от самоубийства. Жизнь представлялась сплошным, беспросветным мраком, смысла в ней не было никакого, и, по особенностям детского мышления, ситуация виделась бесконечно протяжённой во времени и пространстве — со мной никто и никогда не будет разговаривать, я проживу всю жизнь изгоем и умру в полном и безысходном одиночестве.

Единственное, что меня тогда спасло, это мамин здравый смысл и хладнокровие: будучи вызванной в школу и поставленной в известность о том, что её одиннадцатилетняя дочь безнадежно развращена и грязна в помыслах, мама вернулась домой абсолютно невозмутимой и объяснила мне, что излишек эрудиции стоило бы иногда скрывать, а заодно напомнила о надписи на кольце царя Соломона. Последнее произ-

Часть вторая

вело магическое действие, я впервые осмыслила древнейшую мудрость применительно к реальным жизненным обстоятельствам и каждый день по дороге в школу твердила шёпотом: «И это пройдёт». Помогало. А через недельку бойкот как-то рассосался сам собой.

Когда в восьмом классе мне, опять же по инициативе педагога, объявили бойкот за ногти, покрытые бесцветным лаком, я перенесла это не в пример легче. А когда в десятом, по настоянию классной руководительницы, мы с двумя подругами были подвергнуты общественному остракизму за индивидуальные встречи с тремя мальчиками (как на грех, с нашими — всех троих — будущими мужьями), это уж было просто удовольствие: какой же бойкот — шестерым? Да мы просто забавлялись.

Так, от бойкота к бойкоту, мужал и закалялся человек, за что низкий поклон мудрым и добрым моим учителям!

В августе сорок второго

Нет, нечестно было бы мазать дёгтем всех моих учителей чохом. Были и умницы, были классные профи, были просто милые, славные люди. Хотя, конечно, незабываемые впечатления, скажем, от преподавательницы русского языка и литературы, которая рекомендовала нам: «Непрременно поезжайте и купите эту книжку», очень трудно чем-то перешибить. Но страшно не это, страшно другое. В подавляющем большинстве, за редчайшим исключением, наши учителя (собственно, учительницы — у меня за все годы школьного обучения было только двое учителей-мужчин, по труду и физкультуре) — не любили нас. Причём не любили активно. Чего, в общем, и не скрывали.

Может быть, от них этого и требовать было нельзя — затурканные, несчастные тётки, работающие на полторы-две ставки, чтобы хоть как-то прожить, варящиеся в «женском коллективе», замученные магазинами, хозяйством, пьющими мужьями, не справляющиеся с собственными детьми... Или всё-таки можно?

Генрик Гольдшмидт — бессмертный Януш Корчак — в августе сорок второго однажды и навсегда показал миру, что та-

кое — Учитель. Так и осталось тайной, что сказал он своим детям, он, ни разу, ни словом им не солгавший, отчего они шли на смерть спокойно, чуть ли не весело. Может, только и сказал: «Я буду с вами»?

Я, пожалуй, впадаю в некий кощунственный идеализм. Нельзя требовать или хотя бы ждать от обычных училок подвига Корчака. Не дано среднему человеку такой самозабвенной любви — вплоть до порога газовой камеры. Но, совсем рационально и трезво: дети — маленькие, они беззащитные, они — в твоей власти. Ну ты же женщина, ты тоже мать, в конце концов, ну, пожалей их хоть немного, хоть ответственность почувствуй, что ж ты пинаешь их с таким наслаждением?

Кандидат в колонию

Десять лет школьного обучения моего сына вспоминаются уже просто как «десять лет лагерей без права переписки». Такое впечатление, что за девять лет, которые разделили мою учёбу и его, учителя окончательно утратили всякое подобие педагогического облика и школа превратилась в некую разновидность пенитенциарного учреждения, да как бы ещё и не строгого режима.

Меня, по крайней мере, за десять лет никто пальцем не тронул — его с первого класса лупили линейкой по рукам, как нечего делать (правда, не его одного, но это отнюдь не утешало). Моей маме зловеще намекали, что будущее дочери туманно, поскольку скрывать избыток информации я так и не научилась. Мне уже открытым текстом говорились: мой ребёнок настолько неправилен и задаёт настолько странные вопросы, что место ему — в колонии. (Когда неправильный ребёнок без всякого блата с первого захода поступил на юрфак МГУ, я, увидев одну из сивилл на другой стороне улицы, перешла через дорогу — не смогла отказать себе в удовольствии сообщить, что её прогнозы сбылись ровно с точностью до наоборот.)

Каждое утро, когда мальчик брался за ранец, меня начинали мучить нехорошие предчувствия, и я, словно невзначай, напоминала ему, что болтать лишнего — не надо. Это ему, наверное, тоже энтузиазма по отношению к школе не прибавляло.

Часть вторая

А какой у меня был выход? Делать вид, что не замечаю окружающей действительности, и растить из него строителя коммунизма? Так ведь, выросши, считал бы меня либо лгуньей, либо полной идиоткой. Или, поверив маме, на самом деле превратился бы в идейного борца, и как бы дальше строились наши отношения? Наверное, это может понять лишь тот, кто, живя с открытыми глазами, растил ребёнка при диктатуре, — больше никому не объяснишь.

Прощение от Песталоцци

К пятому классу ходить в школу на родительские собрания, чтобы выдерживать всякий раз прилюдное мочилово, у меня не стало сил. Ходил отец ребёнка — человек повышенно миролюбивый, философски настроенный, его так просто не возьмёшь. Причём, что забавно, учился мальчик не так, как я, не на одни «пятёрки», но вполне пристойно, дисциплину шибко не нарушал, с детьми коммуницировал прекрасно, а гнобили его год от года всё усерднее.

Бенефис пришёлся на конец девятого класса. Сын влетел домой багровый, брызжа слезами, которых к тому времени я не видела у него лет пять, и поведал, что учитель физкультуры (всё та же сакральная единственная мужская фигура в школе) дал ему пощёчину «за попытку проникновения в школу без сменной обуви». Пятнадцатилетнему человеку. По лицу. При всех. При девочках.

Сын был вправе ожидать, что я немедленно побегу в школу и потребую оскорбителя к ответу. Первый импульс мой именно таким и был. Но в голове бешено завертелось: последний год... аттестат... окончательно испорченные отношения с педагогическим коллективом... сниженный средний балл... не поступит в институт... армия...

Я действительно немедленно побежала в школу, разыскала рыцаря от педагогики и долго умоляла его простить злого нарушителя дисциплины, который, как оказалось, прямотаки с особым цинизмом намеревался проникнуть в здание, не только не имея в наличии тапочек, но ещё и с парадного входа, нагло утверждая, что на улице вполне сухо и чисто. Прощение

Песталоцци милостиво было дано всего через час унижений. Сын мой эту историю простил мне вряд ли. Я-то себе — точно нет.

А в квадрате, плюс 2АБ, плюс Б в квадрате

Школами в Германии многие недовольны. Немцы — и то недовольны. А уж нам — сам Бог велел (мы вообще как-то мало чем здесь довольны). И, главное, в России образование лучше, ну просто намного, даже и не сравнить. Там, например, гораздо глубже изучают математику. Правда, не очень понятно, зачем всем поголовно детям, даже «гуманитарным», так уж глубоко её изучать — мне, скажем, кроме таблицы умножения, ровно ничего не пригодилось, а что не пригодилось, то и забылось. Недавно обнаружилось, что я не помню формулу площади треугольника, — ужаснулась сперва, а потом сообразила, что за всю долгую жизнь не было у меня необходимости вычислять площадь ну хоть какого-нибудь, самого заваливающего.

И родной язык, и литература — чудовищная картина. Мне вот сообщили, что в немецких гимназиях вообще нет предмета — литература. Именно поэтому немцы ровно ничего и не читали. Нет такого предмета. Верно. Гёте дети изучают в рамках предмета «немецкий язык» — Гёте, его предшественников, его последователей, и всё остальное тоже. И рефераты пишут. И даже, кажется, им не даётся общий на весь класс план, как нам давали: «Онегин — лишний человек».

Самая серьёзная претензия: то, что в России проходят в пятом классе, у них — в седьмом. Налицо умственная отсталость. И никакие пересчёты, что в России обучение пока продолжается десять лет, а здесь на три года дольше, тут не работают.

Куда клонится Пизанская башня?

И тут грянуло международное исследование Пиза. И обнаружилась страшная истина, подтверждающая самые зловещие подозрения: школы в Германии никуда не годятся. По результатам исследования знаний пятнадцатилетних школьников Германия заняла двадцатое место в области математики, двадцатое же в области естественных наук и аж двадцать первое «по

Часть вторая

языку». Позор и стыд. Просто детей надо отсюда срочно эвакуировать. Непонятно только, куда. Потому что Россия по математике оказалась на двадцать втором месте, по естественным наукам — на двадцать шестом, а по владению родным языком — на двадцать седьмом. То есть как бы преимущества российского образования есть, несомненно, но почему-то их не видно. И ещё один, совершенно непрояснённый вопрос: при таком дрянном образовании занять ведущую позицию в Европе — марсиане, что ли, Германию отстроили?

Меня же в проблеме школьного обучения интересует всего лишь один, вполне конкретный аспект: линейкой первоклассников по пальцам лупят? И абитуриентов по мордам — бьют? Оказалось — да! поголовное рукоприкладство. Просто буквально *четыре-пять раз в год* в немецкой школе происходят такие чудовищные вещи. О чём незамедлительно сообщают аршинные «шапки» газет. После чего карьеру преподавателя можно считать раз и навсегда законченной. И стало мне грустно.

Когда же услышала, что родительские собрания проводятся в индивидуальном порядке — каждый преподаватель назначает время, когда можно прийти к нему и обсудить успехи чада один на один, — я совсем затосковала.

И так захотелось отвести своего первоклашку в эту гадкую, безобразную, Пизой опозоренную немецкую школу, чтоб сидел он там на коврикe, рисовал всласть на чём попало, и чтоб звали его по имени, а не хлестали фамилией, шестилетнего. Говорят, здесь педагоги по-настоящему детей не любят... Кто ж их знает, в душу не заглянешь. Те две учительницы, которых я знаю, вроде и любят. Янушей Корчаков на всех не хватит. Но хоть бы школу вспоминать — не с комом в горле. Всё равно ведь её не забудешь.

«А БЕЗ ДЕНЕГ ЖИЗНЬ ПЛОХАЯ...»

Золотой телец, бабки, башли, мамона, капуста, тугрики, шуршунчики, мани — и ещё, наверное, с полдюжины имён, только по-русски, и всё это для обозначения раскрашенных бумажек, ме-

таллических кружочков, меховых шкурок, продырявленных каменных дисков, лоскутков кожи, бусинок, раковин... Странное и бесценное изобретение человека — эквивалент труда, таланта, удачи, суммы затраченных усилий или просто везенья? И почему у одних они всегда есть, а у других — фатально и навсегда нет, хоть ты из кожи вон вылезь, хоть весь изработайся?

«Лысарики» и «зелень»

Если долго жить, да ещё и не сидеть на одном месте, через твои руки и память проходят совсем разные деньги.

Дореформенные (до 61-го года) хрустящие простыни, не влезающие не свернутыми ни в один кошелек. «Новые» пореформенные, маленькие, какие-то несерьёзные, вначале, однако, по покупательной способности довольно увесистые — пачка самых дорогих сигарет стоила тридцать копеек, — и только с годами медленно, почти незаметно обесценивающиеся, как бы теряющие смысл по мере исчезновения товарного эквивалента.

Они же, наши, десятилетиями привычные «лысарики» — рубли с гордой лысиной вождя, — «червонцы» и «четвертные», превратившиеся с инфляцией в кучу бессмысленной бумаги, вызывающую растерянную досаду — как же это, деньги вроде есть, а ничего не купишь.

Ещё слава Богу, что не застала обвальная инфляция в России, когда счёт пошёл на миллионы — с моей арифметической тупостью прогорела бы я у первого же киоска...

Доллары в Советском Союзе, до которых и дотрагиваться было страшно — на моей памяти нескольких любителей «зелени» расстреляли «за валютные операции». Но это были как бы и вовсе не деньги, просто символ какой-то иной, загадочной, притягательной и страшноватой жизни.

Чеки Внешпосылторга с разноцветными полосками, имевшие хождение только в валютных «Берёзках», на которые, в отличие от «деревянных», можно было купить реальные товары, но с привкусом уголовного и самозванства — за границей-то сроду не была, стало быть, не имеешь права. Эти чеки, очевидно, были уникальным случаем существования «денег для из-

Часть вторая

бранных», то есть как бы отменой основной характеристики денег как таковых — их универсальности.

Наконец, милая, надёжная, после длительных мучений ставшая в конце концов привычной и уходящая в прошлое на наших глазах дойчмарка.

А теперь ещё эти евро. С ними-то как?

Деньги — это то, чего нет

Если бы меня пятилетнюю спросили, что такое деньги, я бы уверенно сказала: то, чего никогда нету. Постоянный рефрен разговоров взрослых — нет денег, где взять денег, сколько стоит, нет, это очень дорого, на это денег нет, что делать, не хватит денег до зарплаты, придётся опять одалживать у Анны Осиповны...

Получалось, что деньги — это то, чего никогда нет у нас, но всегда есть у соседки напротив. У неё брали займы, а потом надо было вернуть, но ведь на эти, одолженные, деньги бабушка уже купила продуктов на рынке, что же мы будем теперь отдавать?

Универсальность и безличность дензнаков долго не укладывались в моём сознании, потом наконец что-то щёлкнуло, и я сообразила, что солидная хрустящая бумажка и пригоршня серебряных монеток — это один и тот же рубль. На этом мой интерес и исчерпался.

Мои отношения с деньгами сводились к получению по утрам рубля на два пирожка с повидлом в школьном буфете. А вообще «нет денег» — означало радостное известие, что обеда не будет и бабушка испечёт блинчики с яблоками из остатков муки, скисшего молока и кислого дичка с нашей заброшенной яблони.

Что такое «продел»?

Как раз когда мы с мамой переехали на первую в моей жизни городскую квартиру, случилась денежная реформа 61-го года. Мне очень понравились новые хрустящие бумажки и блестящие маленькие монетки, но я совершенно не въехала, что, например, коробка спичек, стоившая копейку, так

и будет стоить копейку, только эта копейка стала в десять раз дороже.

Вообще цены на дешёвые товары сразу после реформы как-то ненавязчиво поползли вверх — ведь в сознании людей рубль оставался небольшой суммой, а то, что количество рублей в зарплате стало вдесятеро меньше, какое-то время оставалось абстрактным знанием.

Моя мама, воспринявшая реформу поначалу вполне спокойно — сбережений у нас не было ни копейки, — довольно быстро ощутила изменения: хотя она не сидела уже без работы, как в позднесталинские времена, а служила юрисконсультом в тресте, получая «новыми» аж 67 рублей, денег катастрофически не хватало.

Первый замок в новой квартире пришлось врезать на одолженные три рубля, последние дни перед зарплатой питались мы исключительно «проделом», то есть гречневой кашей, сваренной из мелких отходов крупы, шоколадка «Аленка» покупалась раз в месяц, в день маминой зарплаты, зато мои личные доходы возросли вдвое.

Пирожки, стоившие до реформы в школьном буфете по полтиннику, плавно подорожали до десяти копеек в новых деньгах, и я получала на завтрак уже не гривенник, а двадцать копеек. Так я впервые ощутила на себе инфляцию, и, надо сказать, она мне очень понравилась — как ни говори, а двадцать копеек вдвое лучше, чем десять.

Денег по-прежнему не было, но голодом я не мучилась: «продел» — очень сытная каша, — босиком зимой не ходила — войлочные ботики «прощай, молодость» (если кто помнит, была такая чрезвычайно популярная обувь) стоили около пяти рублей, — а двугривенный по утрам я получала бесперебойно, даже если это была последняя денежка в доме.

«Прощай, молодость!»

В старших классах «нет денег» приобрело для меня другой смысл. Нет денег — значит, мне не будет куплено новое пальто, хотя из старого я выросла, а будет перелицовано старое мамино, значит, у меня не будет босоножек, и я буду ходить ле-

Часть вторая

том в туфлях, хоть это и жарко, и некрасиво, значит, школьную форму придётся надевать не только в школу, но и в театр, и в гости, потому что летние платица стоят недорого, а «зимнее» нам не по карману.

Ну и что? Я подшивала к форме кружевные воротнички и манжеты и прикидывала, что гимназистки тоже ходили круглый год в таком наряде, и это было вполне мило и элегантно. Ну нет у меня мохерового шарфика, а только бабушкин клетчатый, и сапожек зимних нет, а всё те же ботики «прощай, молодость», зато я лучше всех танцую твист и заняла первое место в районном конкурсе чтецов. И наша с мамой, как я теперь понимаю, почти нищета никак на моём самоощущении не отражалась.

Тем более что на завтрак мне давалось уже 30 копеек, что очень пригодилось, когда я начала курить: покупаешь вместо завтрака пачку сигарет, её хватает на несколько дней, а на следующий день, глядишь, и позавтракать можно.

Гривенники в бутылке

Так, в безмятежной бедности, я закончила школу, поступила в институт, вышла замуж и родила ребёнка. От всех этих перемен денег не прибавилось, но бабушки с дедушками голодать ребёнку не давали, а при нём и мы с мужем как-то кормились. Удачно было, что наши родители вносили дань на прокорм внука в основном натурой, так что хлеб, молоко и картошка в доме не переводились. Двух же наших стипендий хватало как раз на квартплату, сигареты, обеды в институте и проездные, и даже на то, чтобы, собираясь в гости, купить какую-то мелочь в подарок, а дарить дорогие подарки было как-то даже и не принято.

Однако, став хозяйкой дома, даже при бюджете «в обрез», обращаться с деньгами я так и не научилась: могла просадить полстипендии на книги в букинистическом или на фирменные сигареты, «выброшенные» внезапно в Новоарбатском гастрономе к очередному съезду. Это всего лишь означало, что мы с мужем оба останемся без обеда в институте на неделю. Но можно ведь вечером дома поесть?

Разговоров о деньгах в нашем кругу я почти не припоминаю. Ни у кого их не было, но все вечно перехватывали друг у друга три-пять рублей до стипендии, до зарплаты, стало быть, эти трёшки и пятёрки всё-таки в наличии имелись, — по сей день эта система всеобщего беззаботного безденежья представляется мне довольно загадочной.

Однажды решили накопить денег путём собирания гривенников в бутылке из-под шампанского — молва гласила, что итоговая сумма составит двадцать пять рублей, — но, как только монетки начинали покрывать донышко, нам резко не хватало на хлеб или на сигареты и приходилось с чертыханием гривенники из бутылки вытряхивать: входили-то они туда легко, да вот вылезали трудно.

Честная иждивенка

Тем временем моя мама покинула трест «Промбурвод», где зарабатывала к тому времени уже почти сто рублей — инфляция медленно, но верно набирала обороты, — и поступила в адвокатуру, что увеличило её доход разом втрое.

С тех пор я знала, что, если кончились деньги, надо проехать две остановки на автобусе и попросить у мамы десятку. Жизненная установка моей мамы строилась на абсолютном приоритете интересов дочки и внука, и если бы я попыталась ей эту десятку с полочки вернуть, она бы точно решила, что я сошла с ума.

Бюджет моей семьи отныне строился таким образом: тряпки мне и сыну покупала мама, причём мне ещё приходилось убеждать её, что мне совершенно не нужен третий свитер для одного-единственного туловища, а хозяйство я честно вела на собственную зарплату — пока не кончались деньги.

В начале семидесятых деньги у меня кончались за несколько дней до зарплаты, потом за неделю, а к началу восьмидесятых мне удавалось прокормить семью полмесяца — в остальные две недели мы оказывались на мамином иждивении. А денег у меня по-прежнему не было.

Самое смешное, что работала я честно и без перерыва и зарплату получала вполне среднюю, только вот прожить на неё

Часть вторая

было почему-то нельзя. Однако мои подруги, у которых мамы не были адвокатами, как-то жили и кормили детей на те же 100 рублей и ухитрялись ещё во что-то одеваться. Получалось, что или меня развратила мамина постоянная подстраховка, или со мной что-то не в порядке в смысле отношений с деньгами. В том, что вероятней второе предположение, мне предстояло ещё убедиться.

Портмоне в подарок

Приехав в Мюнхен из Москвы 91-го года, где в последние два года рост журналистских и редакторских гонораров опережал почему-то рост инфляции и деньги лежали по квартире пачками, как сухие листья для гербария, а потратить их можно было только на такси и сигареты, за полным отсутствием других товаров, включая еду, — так вот, приехав в Мюнхен, я страшно растерялась.

Я не могла отличить купюру в сто марок от десятки, не понимала стоимости денег, не чувствовала масштаба цен. 50 марок за туфли — это много или мало? Йогурт за 69 пфеннигов — это дорого или дёшево? Почему месячная плата за квартиру равна цене двадцати пар туфель? Этого же быть не может!

Получив гонорар на «Радио Свобода», я сунула пачку денег в карман плаща. «Что ты делаешь! — ужаснулся мой редактор. — Кто так обращается с деньгами?» И подарил мне портмоне. Оно мне не помогло.

Я перестала рассовывать деньги по карманам, разобралась с обувью и молочными товарами, смирилась с безумными ценами на жильё, но обращаться с деньгами так и не научилась. За десять лет, прожитых в стране с прочной валютой, бывали разные времена: иногда мы зарабатывали с мужем почти четыре тысячи в месяц, а порой мне приходилось жить вдвоём с собакой на сто пятьдесят марок. А денег не было. Никогда.

Против рока не попрёшь

Почему-то все мои попытки прикопить денег на чёрный день или подсобрать на серьёзную покупку неизменно заканчивались крахом. То приходил какой-то неожиданный жут-

кий счёт, то в доме случалась дорогостоящая поломка, то просто надо было кому-то помочь, а результат был один — нет денег.

Я начала всерьёз задумываться, что же со мной не так, и тут на помощь пришёл любимый Довлатов. Я вычитала у него тезис, согласно которому все люди исходно делятся на две категории: те, которые с деньгами, и те, что без. И никакие телодвижения в любую сторону ничего изменить не могут.

Можешь бездельничать на диване, проигрывать в казино, тебя могут ограбить в подъезде, но, если ты по жизни человек денежный, в проигрыше не останешься — получишь наследство, выиграешь в лотерею, просто на улице найдёшь набитый кошелёк. И наоборот: работай до седьмого пота, экономь на кефире — или в подъезде ограбят, или инфляция настигнет, или просто на улице потеряешь. Предопределение! Вот и ответ. Против него — куда ж?

Стало быть, что получается? Вот, реформа. Евро. И будет то же самое: те, кто должен быть с деньгами, от этого выиграют. Те, кто от природы безденежные, — естественно проиграют.

Я, в частности, наверняка проиграю. Во-первых, буду делать неправильные покупки, радуясь дешёвизне, — ведь пока ещё до меня доедет, что мои поступления номинально сократились вдвое!

Во-вторых, у меня наконец-то завелись сбережения, которые, боюсь, обречены погибнуть при реформе: банка из-под джема, наполненная медными денежками, в один, два и пять пфеннигов — гривенники ещё как-то можно потратить, а отсчитывать возле кассы мелкие монетки и неловко, и неудобно. Поэтому, когда они начинают сами вываливаться из кошелька, я ссыпаю их в банку. Думаю, их там уже марок на двадцать. А может, и на тридцать.

Говорят, надо их отсчитывать по десятку, заворачивать в специальные бумажки и в таком аккуратном виде сдавать в банк. Сколько ж я времени на это потрачу? А когда деньги зарабатывать? Нет, видно, против рока не попрёшь. Сказано ведь: в тридцать лет денег нет — и не будет. А мне-то уж давным-давно не тридцать.

«ПО ВЕЧЕРАМ НАД РЕСТОРАНАМИ...»

В мрачной сырой пещере, собравшись вокруг радостно полыхающего костерка, первобытные люди, завернувшись в шкуры, дружно обгладывали кости мамонта, таская их из общего огня. Не прятались угрюмо по углам, каждый со своим куском, а дружно делили трапезу. Это и был первый ресторан.

Как гимназистка

В моём детском быту ресторан был примерно так же обиходен, как бриллиантовая диадема. Когда приходилось читать про походы туда, создавалось ощущение небрежной роскоши, невыразимого сибаритства и, соответственно, недостижимой притягательности.

Поэтому, когда в мои одиннадцать лет отец сообщил, что я иду с ним в ресторан, у меня замерло сердце. Приглашение было сделано по всей форме, и речь шла о том, что я в сугубо торжественной обстановке буду представлена отцовской новой жене. Новая жена занимала меня, признаться, меньше всего — основным был вопрос: что надеть? Мои туалеты отличались, мягко говоря, аскетической скромностью. Парадная пионерская форма, «белый верх — чёрный низ», никак не прокатывала в смысле сезона — дело происходило под Новый год. Бумажное серое платьице я отмела с ходу, а больше ничего, собственно, и не было, кроме двух-трёх ситцевых летних платьев.

Выход из положения нашла бабушка:

— А пускай наденет форму. Пришьём новый воротничок — у меня есть кусочек кружева красивого, фартучек отгладим...

— Неудобно как-то в форме?.. — робко возразила мама.

— Ничего не неудобно. Строго и элегантно. Будет как гимназистка.

— Я бы вообще... Может быть... Неужели это так уж необходимо... — дальше мама зашептала бабушке что-то, чего я не услышала, но поняла, что мой поход в ресторан может быть поставлен под сомнение.

— В форме! — в панике выкрикнула я. — Конечно, в форме! И очень даже элегантно, ничего такого, даже прекрасно будет!

Ни за какие блага в жизни я не отказалась бы от возможности, подобно блоковской «Незнакомке», явиться, пусть и не в упругих шёлках, а всего лишь в коричневом школьном платье, перед поэтом, который, несомненно, будет сидеть там, в ресторане, пронзённый терпким вином.

В назначенный день, с вымытой головой, в постиранной и отутюженной форме с новым воротничком из кружева «органди», я металась по квартире в ожидании отца. В косы были вплетены новые шёлковые ленты, ботинки на шнурках сверкали гуталиновым блеском. К чести мамы и бабушки, они даже не заикнулись о том, чтобы я отправилась в ресторан в валенках с галошами — а ведь могли бы!

Отец вошёл, увидел меня и остолбенел.

— Это почему ты не одета?

— Я одета.

— Ты прямо так и пойдёшь?

— А разве плохо?..

Тут отец, видимо, смекнул, в чём дело — его вообще-то никогда не интересовало, в чём я хожу, — хмыкнул, кхекнул и ушёл курить на крыльцо, пока я лихорадочно натягивала пальто.

С ёкающим сердцем я села с отцом в электричку, потом в метро. Мы вышли на «Маяковской» и направились к ресторану «Пекин».

Ни китайцев, ни поэта

— А мы в «Пекин» идём? — ужаснулась я. Я точно знала, что китайцы едят палочками, которых в жизни не видела в глаза и не представляла, как с ними буду обходиться.

— Да. — Отец нетерпеливо оглядывался по сторонам: его суженая опаздывала.

Наконец маленькая голубоглазая женщина поспешно подошла к нам.

— Ирочка, здравствуй, — сказала она и поцеловала меня в щёку.

Я как-то замешкалась, не понимая — то ли целовать её в ответ, то ли нет, причём меня очень занимал вопрос, почувствовала ли она, что от меня пахнет маминой «Красной Мо-

Часть вторая

сквой» — улучив момент, перед уходом я потёрла пробочкой за ушами, как делала мама. Надуться было совершенно необходимо, иначе невозможно было бы явиться в ресторан «дыша духами и туманами», но я опасалась, как бы новоявленная мачеха не стукнула на меня отцу — его реакцию я себе живо представляла.

Мы вошли в сверкающий вестибюль, разделись, голубоглазая сменила ботики на «лодочки», и по скользкому полу, который сразу напугал меня — не хватало ещё грохнуться, — проследовали в ещё более сверкающий зал. Помещение было просторным, вместо стен — зеркала. Столик, выбранный отцом, стоял вплотную к зеркальной стене. Пока я, старательно расправив плечи, небрежно оглядывала себя, прикидывая, достаточно ли загадочный у меня вид, к нам подошёл человек во фраке, который я видела впервые в жизни, но сразу узнала по описанию, и шустро отодвинул стулья.

К моему облегчению, на столе лежали нормальные столовые приборы — таким образом, угроза палочек словно бы отменилась. Но образовалась паника по поводу количества вилок и ножей — их было равным счётом по пяти, а зачем — непонятно. Между тем отец сделал заказ официанту, и новая мачеха приступила ко мне с расспросами, как я учусь и какой предмет мне больше всего нравится. С одной стороны, я немного недоумевала — разве папа не сказал ей, что я круглая отличница? — с другой, она меня страшно отвлекала от рассматривания посетителей.

Посетители были разные, но ни одного китайца в поле зрения не наблюдалось, что меня несколько огорчило. Пьяниц с глазами кроликов я тоже не обнаружила. На мою форму и банты поглядывали с улыбкой, но ненавязчиво.

Никого похожего на поэта с надменным и трагическим лицом мне выявить не удалось, и вообще всё было как-то чересчур обыденно. Но только до тех пор, пока не принесли закуски.

Справившись с первым порывом отчаяния, поскольку опознать пищу, уложенную в вазочки и судочки, было решительно невозможно, я приняла соломоново решение: стала пристально наблюдать за отцовской избранницей, сидевшей рядом со

мной, и делать всё в точности, как она, тем более что, как мне показалось, орудовала она прибором довольно уверенно. Не то чтобы она вызывала у меня безграничное доверие, просто мне казалось, что голубоглазка — уж если отец надумал на ней жениться — должна быть человеком многоопытным и продвинутым во всех отношениях.

Зачем ходят в ресторан

Система обезьянничанья работала неплохо, и я даже приободрилась, как вдруг тарелки перед нами сменились на вовсе уж огромные, с продолговатыми золотистыми... ну, такими дирижаблями, на концах которых были накручены спиральки из разноцветной бумаги. Что с этим предметом делать, я не понимала и уже привычно уставилась в тарелку мачехи. Она решительно взяла нож и вонзила его в тело дирижабля. Через секунду и я, и она, обрызганные горячим маслом, схватились за щёки, а на её кружевной блузке расплылось жёлтое пятно...

Много лет после этого я как огня боялась котлет по-киевски и на предложение их заказать так страстно и поспешно отказывалась, что меня заподозрили в тайной идеологической ненависти к курятине. Остался и страх перед непривычной пищей — я предпочитала что-нибудь безобидное, вроде шницеля или бифштекса. А у моей мачехи на всю жизнь сохранился ужас перед общепитовскими заведениями вообще — как я много позже узнала, это был первый раз, когда наречённый пригласил её в ресторан. У меня даже было ощущение, что она втихомолку затаила на меня обиду за то, что я невольно стала свидетелем её позора.

Вообще в Москве моей юности нас меньше всего волновало, что заказывать в ресторане — ну не жрать же туда ходить! Людей посмотреть, себя показать, потанцевать, предьявить миру новое платье... А говорить о пище вообще было не принято. С обратным подходом я впервые столкнулась в Литве, на собственной свадьбе. Будущая свекровь так подробно обсуждала со мной меню свадебного ужина, что я была даже несколько озадачена — меня, естественно, гораздо больше волновал мой подвенечный наряд.

Часть вторая

Когда же после регистрации в роскошной Ратуше я оказалась в самом старом ресторане города, где, как шепнул мне муж, каждый резной стул стоил больше тысячи, когда замелькали совершенно беззвучные и словно бы бестелесные официанты в тёмно-голубых фраках, я совсем оробела. Контраст с московскими ресторанами, несколько безалаберными, зато и более демократичными, — где официант, даже в шикарном «Национале», обслуживал в диапазоне от «прекрасно» до «ужасно», в зависимости от того, приглянулся ты ему или нет, — был так велик, что у меня появилось отчётливое ощущение: я попала за границу.

Я еле-еле высидела торжественное мероприятие, отбиваясь улыбкой на пристальные расспросы после каждого блюда, а было ли мне вкусно, и после, бывая в Литве по несколько раз в году, всячески избегала ресторанов — меня преследовало подозрение, что они как-то неправильно рассматривают цель мероприятия.

«Эй, половой!»

Но литовцы хотя бы так же пристально, как москвичи, относились к своему обмундированию, выходя на люди, а Германия в этом отношении совсем меня доконала — ну что это, ходить в ресторан в кроссовках? Это что же — в чём был, в том и пошёл, в том смысле, что, мол, проголодался, и какая разница, что на мне надето? И эти азартные обсуждения того, что съедено и выпито — это же надо, так трепетно относиться к своему желудку! И никто ни на кого не смотрит — буквально непонятно, зачем пришли — с таким же успехом можно было бы и дома пообедать, гурманы хреновы...

Так как-то складывалось, что бывала я в Германии только в немецких ресторанах — ну то есть, конечно, и в греческих, и в итальянских, и в китайских, но ни в один русский мне попасть не довелось. И вот совсем недавно из Москвы приехали давние знакомые, быстренько навели справки и нарыли где-то за городом, как они сказали, «чисто русский ресторан, с настоящей русской кухней». Мне, признаться, показался странным такой навязчивый патриотизм: разве они не насытились рус-

ской кухней в Москве — казалось бы, интересней было посмотреть местные заведения? Но потом приятельница мне шепнула, что выбор был сделан исключительно ради меня, чтобы я могла окунуться в атмосферу покинутой родины, — я растрогалась такой заботой и, хотя не страдаю ностальгией, тем более пищевой, сразу согласилась.

В назначенный час я вышла из подъезда, чтобы сесть в машину к родственнице моих друзей, которая согласилась поехать с нами, чтобы было удобней добираться. На мне были чёрные джинсы, почти новые, стало быть, по моему разумению, вполне приличные для похода в ресторан, и моя лучшая майка, купленная на распродаже в хорошем магазине.

Некоторую неловкость я ощутила, уже сев в машину. Дамы были отчаянно надушены, на местной родственнице было декольтированное платье из серебристого шёлка, а московская подруга сверкала в закатных лучах солнца браслетом и колье, уж не знаю, бриллиантовыми или хрустальными, но только необычайно роскошными. Я запоздало подумала, что у меня в принципе тоже есть серьги, и надо было бы, пожалуй, их надеть.

Зал ресторана был расписан «под хохлому» — и в этом был даже какой-то своеобразный уют. То, что официантки щеголяли в русских сарафанах, тоже было забавно, правда, официанты в рубашках навыпуск показались мне некоторым перебором — так и хотелось крикнуть: «Эй, половой!» Но это тоже было бы ещё полбеды. Хуже оказалось другое. Все дамы в зале были разодеты в пух и прах, так что я в своих чёрных джинсиках и маечке выглядела даже не белой вороной, а чёрной вороной в стае павлинов. Ощущение было несколько дискомфортное, но я утешила себя тем, что никто не обратит на меня особого внимания, а если и заметят несоответствие, не подадут виду.

Бедная сиротка

Не тут-то было! Через несколько минут после того, как мы уселись за столик, я обнаружила, что на меня поглядывают буквально из всех концов зала, причём поглядывают довольно откровенно и явно неодобрительно. Довершил дело офици-

Часть вторая

ант, непринуждённо поприветствовавший моих спутников по-русски, а ко мне обратившийся по-немецки.

— Что это он? — напряжённо хихикнула я, когда он, раздав нам меню, отошёл.

— Вот то! — сурово изрекла московская подруга. — Именно то и есть, что ты совершенно онемечилась. Кто приходит в ресторан в таком виде? Тебе что, надеть нечего — так попросила бы, я б тебе дала.

— Да я... — начала я виновато... и замолкла. Возразить было совершенно нечего. Оказывается, за эти годы в моём сознании прочно пустила корни идея о том, что повседневное посещение ресторана — не повод щеголять голыми плечами, ведь не в оперу идёшь. Ну ладно, на Рождество, если коллективная пьянка, можно прикинуться понаряднее, или ещё на Октоберфест надеваются «трахтен» с большим вырезом, но не в будний же день... Простая истина «С волками жить — по-волчьи выть» открылась мне во всей неприглядной наготе. И, главное, в моём шкафу который год висит роскошный шёлковый брючный костюм, подаренный подругой, — могла бы выглядеть не хуже других, ёлки-палки, а теперь сижу тут, как бедная сиротка...

Мы сделали заказ. Через несколько минут официант снова подошёл к нашему столику и, изображая лицом немислимое сожаление, интимно сообщил:

— К сожалению, шашлычки кончились. Может, возьмёте котлетки по-киевски?

Это было уже слишком. Я, конечно, честно отсидела вечер, терзая свой шницель и наблюдая, как декольтированные дамы, сверкая драгоценностями, бурно отплясывают русский национальный танец «Хава Нагила», но на следующий же день, гуляя с собакой, не удержалась и зашла в «Теештубе», напротив нашего скверика, заказала кофе с молоком и сидела с полчаса, в прогулочных потёртых джинсах, наслаждаясь тем, что ровно никому нет до меня никакого дела, хоть я завернись в половую тряпку.

— Вкусно было? — поинтересовалась официантка с дежурной улыбкой.

— Очень! — воскликнула я с непропорциональным пылом. — Ужасно вкусно! Какой у вас замечательный кофе!

...Если смысл в том, чтобы вместе съесть мамонта, — какая разница, в конце концов, в какую шкуру ты при этом вернешься. И при условии, что никто не станет обсуждать цвет и покрой моей шкуры, я даже готова по часу беседовать о вкусе отдельно взятой, чрезвычайно удачно зажаренной мамонтовой лодыжки.

С ВОЛКАМИ ЖИТЬ — ПО-ВОЛЧЬИ ВЫТЬ

С детства не люблю непроходимых лесов, бескрайних просторов, могучих рек, а также громы, молнии, ураганы и вообще всякую неуправляемую стихию. Мне страшно. Мне мерещится в этом умаление моей значимости, вплоть до полного уничтожения, и вселенская энтропия.

Город — это кусок, отвоёванный человеком у хаоса. В городе я чувствую, что я — Божий ребёнок, а не саранча на глобусе.

Роман с душем

Я — горожанка по убеждению. Может быть, потому, что росла в маленьком дачном посёлке и за первые одиннадцать лет жизни наелась досыта прелестей житья без воды, отопления и канализации. Печку топить, дрова рубить, помои выносить, воду из колодца таскать — для меня эта плата за идиллическую жизнь «на природе» представляется непомерно высокой.

В первый же день жизни в городской квартире, как только мама ушла на работу, я наугад включила газовую колонку, набрала полную ванну воды и залезла туда с совершенно дикарским наслаждением. Когда вода стала остывать, я попыталась добавить горячей, но с колонкой уже не совладала и часа два просидела в остывающей всё больше воде, досидевшись в конце концов до сильной простуды. Это не охладило моего восторга перед волшебным образом текущей из крана водой, перед батареями, нагревающимися сами собой, без всяких усилий с моей стороны, и, конечно, перед вершиной цивилизации — унитазом.

Часть вторая

Наверное, это может понять только тот, кто долгое время всех этих благ был лишён. Надежда Яковлевна Мандельштам, получив после своих бесконечных мытарств однокомнатную квартиру в Москве, наотрез отказывалась даже пару дней погостить у друзей на даче, мотивируя это так: «Я не хочу ночевать вне дома, ведь у меня роман с моим унитазом». Ну вот, а у меня был затяжной роман с моим душем.

Конечно, моё пригородное детство не идёт ни в какое сравнение с многолетним бездомьем Надежды Яковлевны, но всю мою московскую жизнь я то и дело, стоя под душем, ловила себя на ощущении невероятного комфорта и прямо-таки разнузданной роскоши, когда лёгким поворотом крана регулировала силу струи и температуру воды. Блаженство!

Негритёнок, мучимый жаждой

Вскоре после переезда на Запад это невинное удовольствие оказалось основательно подпорченным. Как-то у меня ночевала подруга-немка. Утром я первой пошла в ванную, а когда вышла, увидела её совершенно изменившееся лицо.

— Что ты там делала?

— Мылась, а что?

— И зубы чистила?

Я перестала понимать, что происходит.

— Ну, чистила.

— У тебя непрерывно лилась вода. Как ты так можешь?

— Господи, а как надо?

— Когда намыливаешься или чистишь зубы, воду надо выключать! Ты что, не знаешь, что запасы воды на Земле ограничены, что в Африке миллионы людей страдают от жажды, там же дети!

Я была ошарашена — никогда в жизни мне это не приходило в голову, а ведь действительно страдают и, главное, действительно дети...

— Бригитка, — сказала я неуверенно, — но ведь оттого, что я тут сэкономлю немного воды, у них же там не прибавится?

— Ты действительно не понимаешь? Мир един.

После этого разговора меня как сглазили. Всякий раз, когда мне хотелось подольше понежиться под тёплыми струями,

перед моими глазами вставал несчастный маленький негритёнок, с выступающими рёбрами, вздувшимся животиком и пересохшими губами, и я, едва смыв мыло, поспешно выключала воду. Про ванну пришлось вообще забыть — это же десятки литров воды, потраченных впустую! Зубы я теперь чищу так, что паста едва не в комки сбивается у меня во рту, и только в конце процесса позволяю себе пригоршню воды, чтобы прополоскать рот...

Психоз сортировки

Следующий экологический шок постиг меня, когда я приехала на пару дней погостить к своему другу в Бремен. Он жил тогда один, но своё немудреное хозяйство вёл даже с некоторым блеском. Тем более меня удивило, что в небольшой кухне оказалось несколько пакетов с мусором: один лежал под раковиной, другой висел на ручке двери, ещё парочку я обнаружила под столом. «Ох, эти мне одинокие мужчины», — подумала я и немедленно навела порядок: свалила содержимое всех пакетов в один, побольше, и сунула его под раковину.

— Где мусор? — в ужасе вскричал мой друг, вернувшись с работы.

— На месте, под раковиной, а то ты распихал его по всей кухне — начнёшь пакет и забываешь про него.

В течение следующего получаса я в растерянности наблюдала, как хозяин дома, чертыхаясь, копается в мусоре и тщательно раскладывает всё в прежнем порядке: стеклянные бутылки отдельно, бумагу отдельно, остатки пищи отдельно и баночки от йогуртов — совершенно отдельно.

— Ну ты совсем дикая, — сказал он мне, моя руки, — ты вообще представляешь себе эти горы мусора, которые надо сортировать за такими, как ты?

— А зачем его сортировать?

— А что же с ним делать?

Мы в недоумении уставились друг на друга. Весь остаток вечера я слушала лекцию о мусоре. О том, как необходимо перерабатывать всё, что поддаётся переработке, и уничтожать то, что переработке не поддаётся, о монбланах полиэтилено-

Часть вторая

вой плёнки и жестяных банок, которые покроют планету, если пустить проблему на самотёк, о будущем наших детей и внуков, которое мы погубим собственными руками, если не будем мыть баночки из-под йогуртов... Я выслушала всё очень внимательно и потихоньку подумала: если отдельно взятая я не буду всё-таки мыть эти проклятые баночки, то, может, ничего страшного ещё и не случится, и вряд ли отдельно взятой мне удастся наесть такое количество продуктов, упакованных в плёнку, чтобы она и впрямь погубила всю Землю. Успокоенная, я вернулась домой.

Однако лекция по экологии, подкреплённая лицемерием моего лучшего друга, роющегося в отбросах, оказалась ядом замедленного действия. Через несколько дней я поймала себя на том, что почему-то складываю картонные коробки от продуктов и от сигарет рядом с пакетом для мусора, причём из сигаретных коробок старательно вынимаю фольгу. Ну, бумага, её действительно можно пустить в дело, если не испачкать, подумала я — и завела отдельный пакет для макулатуры.

Я ещё не понимала, что меня настиг всеобщий немецкий психоз сортировки мусора. Потом мне подумалось, что просто неприятно, в конце концов, если остатки пищи налипают на бутылки, которые вполне ещё можно использовать... Ну а потом уж пошло-поехало. Число пакетов с мусором росло и множилось, и бросить севшую батарейку в общий пакет с упаковкой из-под сыра у меня так же не поднималась рука, как, скажем, положить вместе грязное и чистое бельё.

Цивилизация соседей

Все эти странные превращения происходили со мной как бы вне осмысления, бессознательно. Тогда я попробовала отрефлексировать произошедшие в моём поведении изменения и, по крайней мере, понять, зачем у меня в кухне пять пакетов для мусора и почему я маниакально мою дочиста баночки из-под йогурта, прежде чем их выбрасывать. И получилось вот что.

Да, я урбанистка, люблю города. Но любимые мной города в моей любимой Европе — это цивилизация соседей. В средневековых городах люди, точно так же, как и сейчас, сидели друг

у друга на головах и научились сводить до минимума взаимный ущерб.

Я приехала из совсем другой страны. Бескрайние просторы к терпимости не понуждают. Не нравится сосед — плюнь и переселись на другой конец леса. В крайнем случае, отправь соседа в Сибирь. По этапу. Места всем хватит. Для мусора — тоже. Ну, загадили Байкал или Аральское море — подумаешь, ещё вон сколько осталось. Россия большая.

А Европа-то — маленькая. А мусора так много. Вот и таскают немцы, как муравьишки, свои пакетики с аккуратно рассортированным мусором в контейнеры: коричневые бутылки к коричневым, зелёные — к зелёным, жестяночки к жестяночкам... Чтобы страну не доверху загадить и чтобы соседям, в данном случае тем, которые мусор сортируют, не вовсе надо-ваться.

Вода, сама собой текущая из крана, это, конечно, чудо как хорошо. Но, чтобы она была в кране, надо, чтобы она в принципе была, в этой самой, не слишком симпатичной мне, дикой природе. Стало быть, воду надо экономить, а то ведь кончится. Опять же, негритята...

И город, этот кусок, отвоёванный у хаоса человеком, чтобы не быть вновь поглощённым хаосом, требует ежедневных и кропотливых усилий по поддержанию в этом городе порядка от каждого из своих обитателей, стало быть, и от меня.

Конечно, широкой и раздольной русской (в смысле российской) душе такого рода мелкие пошлые соображения совсем не свойственны, но ведь я уже столько лет здесь, а, как известно, бытие определяет сознание или, другими словами, с волками жить — по-волчьи выть.

«А ВЫ — НЕ ПСИХ?...»

Нормальный, психически здоровый, уравновешенный человек, живущий в гармонии с миром и самим собой. Человек, с оптимизмом смотрящий в будущее, адекватно осознающий своё ме-

Часть вторая

сто в социальной структуре, легко преодолевающий препятствия и назавтра забывающий о них, не несущий на себе невыводимых шрамов от прошлых бед и обид, не искалеченный подавляющей системой власти, радостный, безмятежный, полноценный Хомо сапиенс. Как прекрасно! Какая тоска...

Чувствует — значит, живой

Слава Богу, с таким идеальным манекеном мне крайне редко приходилось сталкиваться. То ли здоровые, нормальные люди в панике бежали от меня при первом же знакомстве, то ли я сама шараялась от них, только все мои близкие, каждый по-своему, были более или менее поражены комплексами, каждый нёс в себе внутренний психический, в лучшем случае, психологический изъян. Все друг про друга это знали и, подозреваю, если не за это любили, то уж вместе с этим — точно. Странное сборище уродов? А если вдуматься, может, не так уж и странно? Обращаясь к науке, комплексы — суть взаимоотношения эмоций друг с другом и каждой из них (и всех вместе) с волей и сознанием. Что ни чувство — то комплекс. Так что же теперь — «без чувств-с»? Чувствует, значит, живой, уже хорошо.

При огромном разнообразии и полной индивидуальности психологических патологий, всех встреченных мною в жизни людей можно было бы типизировать по доминирующему комплексу, и первый и, пожалуй, самый распространённый, конечно...

Комплекс неполноценности

Может быть, сейчас воспитательные акценты немного сместились, но во времена моего детства родители и школа изо всей мочи воспитывали в детях скромность. Быть скромным означало каждую секунду ощущать, что ты — ничто и место тебе у параша. И не дай Бог было сказать «я могу», «я умею» или «по-моему, это не так, а так» — тут же получал по носу, как нашкодивший щенок. Эту эстафету унижения с готовностью подхватывали пионерская организация и комсомол, отрицавшие в принципе любое проявление индивидуальности и ощущения себя как отдельно взятого субъекта, и вся государствен-

ная машина в целом, детерминировавшая любое движение души и тела, смачно отхватывающая робко высывавшиеся из прокрустова ложа стандарта живые человеческие куски.

Естественное, присущее человеку как Божьему созданию, чувство любви и уважения к себе, ощущение собственной единственности и неповторимости извращалось на корню и превращалось в собственную противоположность. Вырастали поколения за поколениями людей, себя абсолютно не уважающих, осознающих как данность собственное ничтожество и никчёмность, и требовалось незаурядное мужество и природная сила духа, чтобы вырваться из тисков шаблона и угнетающего сознания собственной неполноценности. Кто-то смог. Мне не удалось.

«А ноги-то, глянь...»

Какие-то странные глупости иногда застревают в памяти. Мне было лет четырнадцать. Договорилась с мамой встретиться после школы возле кинотеатра, чтобы посмотреть новый фильм. Последний урок отменился, и я, прихватив в школьном буфете бутылку лимонада — весенний день был жарким, — решила сразу купить билеты в кино, а там уж подождать маму.

Отстояла небольшую очередь, до маминого появления было около получаса — далеко уходить нет смысла, а возле кинотеатра ни одной лавочки. Зато возле крыльца кинотеатра рос пышный клён, а под ним газончик не газончик, а просто крошечный клочок травы, отграниченный от тротуара низеньким бордюром. Новые туфли мне жали, солнце палило. Потоптавшись на тротуаре, я села на траву в тени дерева, сбросила туфли, упёрлась ступнями в бордюр и отковырнула крышечку с бутылки. Запрокинув голову, чтобы сделать глоток лимонада, а затем вернув её в исходное положение, я внезапно обнаружила себя в центре разъярённой толпы. Откуда только набегали? Вроде было довольно безлюдно.

«Хиппует!» — звучали ненавидящие голоса. «Сопливая, а пиво уже пьёт, вот так и начинается, сначала пиво...» «Это лимонад», — забормотала я, но никто меня не слушал. «Вот они, нынешние, бесстыжие, такие-то в подоле и приносят, людей бы постыдилась! А ноги-то, глянь, выставила, ни стыда, ни со-

Часть вторая

вести!» Я вскочила и начала лихорадочно нашаривать туфли. Ощущение было такое, что меня собираются то ли сжечь, то ли распясть. Самый ужас заключался в том, что я никак не могла взять в толк — в чём причина такого бурного остракизма, ведь даже таблички «По газонам не ходить» и то не было. Давно уже усвоив, что подросток в нашем обществе существо, изначально подлежащее травле и по жизни во всём виноватое, я всё-таки была ошеломлена неожиданной мощью общественного негодования и позорно бежала с поля боя, приминая пятками задники проклятых туфель.

Много лет спустя подруга сказала мне: «Послушай, давно хочу тебя спросить: почему, садясь, ты заталкиваешь ноги под стул так, чтобы от них и следа не было, ведь они у тебя вовсе не уродливые?» «А я разве заталкиваю?» — «Всегда». Я стала припоминать. И вспомнила. И поняла, что я, оказывается, до смерти боюсь, чтобы кто-то не взглянул мне на ноги.

Так, получая каждый свою оплеуху (или серию оплеух) от жизни, мы постепенно деформировались в самых неожиданных местах, и от образа гармоничного, жизнерадостного идеального человека оставались рожки да ножки. А казалось бы, такой пустяк. Пустяк, да ещё один, да ещё...

Хорошенькая девочка

Была в нашей компании девочка. Довольно хорошенькая, неглупая, весёлая, доброжелательная, пожалуй, немного слишком шумная, но все к ней привыкли, и её несколько повышенная возбудимость никого особенно не тяготила. Как при броуновском движении молекул, в нашей юношеской компании пары сходились, расходились, появлялись новые, иногда на обломках прежних, и у каждой более-менее привлекательной девочки, в каждый отдельно взятый момент времени, было два-три поклонника, из которых ненужные отсекались, а с оставшимся завязывались какие-то, долговечные или не очень, отношения. Наша же подружка с поразительным упорством прикладывала невероятные усилия, чтобы удержать при себе любого случайно образовавшегося поклонника. Она их словно коллекционировала. Естественно, при таком распы-

лении сил не было и речи о том, чтобы завести серьёзный роман — у неё на это просто не хватало объёма внимания, к тому же никого не устраивало быть одним из множества соискателей. Покрутившись вокруг объекта и не добившись желаемого результата — стать единственным, — поклонники исчезали, на их месте возникали другие, а на Новый год девочка оказалась одна-одинёшенька среди нескольких пар друзей.

В новогоднюю ночь, выпив шампанского, в кухоньке, заставленной грязной посудой, подружка плакала на моём плече и рассказывала, как обожаемый ею отец всё детство и отрочество размазывал её по стенке, объясняя, что она — уродливая, вульгарная, толстая, примитивная и никогда в жизни никто не сможет в неё влюбиться. Делалось это, понятно, от любви, в противовес маминому и бабушкиному баловству, которое, как он считал, непременно испортит девочке жизнь, если он не вмешается в процесс воспитания.

Что меня поразило — девочка прекрасно осознавала всё происходящее с ней. «Понимаешь, — всхлипывала она, — я знаю, что они мне не нужны и вовсе не подходят, но я так боюсь, что в другой раз никому уже не понравлюсь, что цепляюсь за каждого, даже если он полное барахло. Ну что мне делать? Ведь я вижу, на самом деле я не урод, ведь я хорошенькая, ну скажи, я ведь хорошенькая?»

А правда, что ей было делать? Осмыслить себя как безусловную ценность, не собирать вокруг себя кучу ненужностей, а спокойно дожидаться человека, который всерьёз понравится ей самой? Легко сказать...

Не спорьте с психотерапевтом

А что вообще-то делать с гнетущим ощущением своей малости, никчемности и ненужности на этом свете? Есть замечательный ответ: идти к психотерапевту. Я, например, ходила. Правда, по другому поводу, но умная баба с красивым, значительным лицом мгновенно расковыряла мои болячки и вытащила на свет Божий все страхи, неуверенность, зависимость от мнения окружающих, боязнь проявить свою некомпетентность и неустойчивую самооценку.

Часть вторая

— Это всё эмиграция, — сказала она уверенно.

— Да нет, я всегда такая была.

— Ну, тогда с этого момента, когда вы всё осознали, вы станете другим человеком и начнёте новую жизнь.

— Да, конечно, — закивала я.

Не спорить же со своим психотерапевтом. Вся психотерапия, в сущности, зиждется на простом постулате, что, осознав причину возникшего комплекса, вернувшись к его истокам, человек излечивается от него. Да ничуть не бывало! Та же девочка из нашей компании, отчётливо понимая, что причиной её метаний между мужиками было унижение, испытанное по вине отца, ровно ничего не могла сделать, чтобы изменить своё поведение на более адекватное. А я? Так и продолжаю старательно прятать нижние конечности от собеседника, хотя прекрасно знаю, что сейчас уж, во всяком случае, мои ноги по большому счёту никого особенно не интересуют.

Грустная логика

У каждого — комплекс, а то и несколько, а то и целый клубок. Как у Галича: «И вот я псих. А кто не псих? А вы — не псих?» Но тут есть одна коварная ловушка. Комплекс неполноценности, оставленный без присмотра, имеет склонность плавно переходить в манию величия. Вполне логично, чистый компенсаторный механизм: да, я ничего не значу в этом мире, я никто, ничто и звать меня никак, окружающие не очень-то со мной считаются, я в жизни ничего не добился и, скорее всего, уже не добьюсь, но на самом-то деле я — самый красивый, самый умный, самый замечательный, и если они этого не понимают, тем хуже для них.

А дальше — простая схема: скромник и тихушник гнобит жену так, что от неё только перья летят, обаятельный холостяк вымещает на старенькой матери неудавшиеся попытки подмять под себя сексуальных партнёрш, самоотверженная мать-одиночка, под видом воспитания в разумной строгости, тиранит задёрганного сына... Всё, круг замкнулся. Ведь сын когда-нибудь вырастёт.

Мучайся, страдай, терзайся, грызи себя за свою никчемность, неудачливость, нерешительность и глупость, но не об-

ращай комплексы свои против ближнего своего. Побереги друзей, не заставляй их ввинчиваться вместе с тобой в спираль твоих личностных кошмаров, всё равно они не помогут тебе на этом бесконечном пути. Разве что самые близкие. Каждый сам себе психотерапевт. Вспомни, раскопай корни своих страхов и сомнений, не бойся вернуться к обидам и травмам. Говори себе: я знаю, это — от этого, а это — отсюда. Страхи и сомнения от этого не исчезнут, но жить с ними будет легче.

Эмигрантский комплекс

Эмиграция — серьёзный экзамен на комплексы. Как-то постараться бы понять: страна пребывания не виновата в том, что мы выломаны из инфраструктуры, разлучены с родными и друзьями, утратили с таким трудом завоеванный социальный статус. Это наше осмысленное решение. За него надо платить. Никто из нас не подвергся депортации, никого не загоняли в эшелон с овчарками.

Аборигены не для того говорят по-немецки, чтобы мы их не понимали и мучились от этого, — это просто их родной язык. Для нас не приготовлены ячейки в социальной структуре, нет такого рабочего места «инженер из России», «врач из Украины», есть инженер и врач, на общей конкурентной основе. Конечно, нам труднее конкурировать — другой тип образования, совсем другой опыт, да ещё язык. Нам труднее, но мы от этого не хуже. Но ведь и не лучше.

Все люди — люди, у каждого — свои болячки. Да и ладно, и ничего страшного. Только бы не лупить ими окружающих по голове.

НЕ СМЕШНО?

Развеивается утренний туман, и оказывается, что жизнь — жестокая штука. Жестокая, безжалостная и в придачу коварная: лупит из-за угла, когда вовсе этого не ждёшь. И нет спасения от мира. И не спрячешься в своём углу — всюду достанет. И тут,

Часть вторая

если ты человек мало-мальски конструктивный, начинаешь искать спасения — ну не в петлю же лезть, на самом деле. Не можешь изменить реальность — измени отношение к ней. Так на свет появляется юмор.

«Ты не понимаешь иронии в голосе!»

Надо признаться, чувство юмора у меня от природы не развито. То есть как бы пассивно оно присутствовало: я смеялась над анекдотами, адекватно реагировала на иронические тексты, но «в жизни» была настолько переполнена пафосом и высокими истинами, что осознать мир и себя как объект юмора мне никак не удавалось.

Как-то, было нам лет по четырнадцать-пятнадцать, сидели в дружеской компании, обсуждали сложные вопросы бытия, я высказала какой-то неоспоримо верный тезис, вроде того, что все люди — братья, а в ответ девочка-аутсайдер, посмотрев пристально мне в лицо, сказала веско:

— Все люди братья, а ты — дура.

Я онемела. Так просто ругаться ни за что ни про что — было в нашей компании как-то не принято. И к тому же что это за аргумент вообще?..

— И что ты этим хочешь сказать? — осторожно спросила я.

— Это я пошутила, — высокомерно сообщила собеседница, — а ты не понимаешь иронии в голосе.

Все присутствующие посмотрели на охальницу с уважением — нам был продемонстрирован какой-то новый, более высокий этап коммуникации.

Я почувствовала себя совершенно оплётанной и обезоруженной: ведь если я сейчас вступлю в серьёзный спор, доказывая, что «дура» — это не аргумент, стало быть, подтвердится снова, что я — это самое и есть, раз не понимаю этой окаянной иронии.

Эта история надолго поселила во мне недоверие к ироническим высказываниям и опасение попасть впросак: будучи обруганной, я всякий раз осведомлялась: «Это ты шутишь так?», и лишь после заверений в серьёзности сказанного переходила к активной обороне.

Надо сказать, в моей юности — то ли подобрались мы такие, уныло-серьёзные, то ли время было такое, не располагавшее к веселью, — юмор существовал для нас в основном в форме анекдотов. Развлечение, само собой, было довольно рискованное, потому как даже в те, сравнительно вегетарианские времена вполне можно было если не загреметь в лагерь за пару минут беззаботного смеха, то уж неприятностей гарантированно огрести по полной программе. И всё равно рассказывали. С этого, собственно, начиналась любая дружеская встреча: «А вы слышали?..» Ну, это и понятно: наш тогдашний «вождь и учитель» сам по себе являл такое замечательное зрелище, что были любители наслаждаться каждой минутой телевизионно-экранного времени с участием Леонида Ильича. Чего стоили одни, совершенно однозначно произносимые на весь мир «сосиски сраные» — социалистические, то бишь, страны. Я до таких высот не поднималась — чувства юмора не хватало — и, завидев бровастого зомби, телевизор мгновенно выключала.

Зоны действия юмора

Вообще, в моём тогдашнем представлении юмор имел некоторую локальную, специально для него отведённую зону: ну там, партия и правительство, взаимоотношения зятя с тёщей, ну, медицина, на худой конец. Но чтобы посмеяться над близкими или над собой — да ни Боже мой! Став объектом подшучивания, я затаивалась, замирала и переживала дружеские насмешки, как налетевший смерч, — на этот случай у меня была припасена даже специальная такая грустно-ироническая улыбочка, судя по проверке перед зеркалом, выглядевшая вполне достойно: дескать, шүтите, знаем, ладно-ладно, смейтесь, я ж понимаю «иронию в голосе», — а потом выпаливала какую-нибудь цитату из классика, коих было у меня в голове немеряно, и выходила из битвы, существовавшей, впрочем, только в моём воображении, как бы даже и победителем.

Самая беда наступала, когда происходила одна из моих нечастых встреч с отцом — его чувство юмора было столь же неограниченным по тематике, сколь и беспощадным по интенсивности, цитат же у него было припасено существенно поболее

Часть вторая

моего, и я, почти как правило, весь путь до дома проводила, утирая слёзы обиды. Впрочем, насчёт тематики это я загнула: как раз те сферы, где резвились мы с друзьями, были для него жёстко табуированы. Как-то я, потеряв осторожность, рассказала ему очередной, по моему разумению, безумно смешной анекдот всё про того же Брежнева, за что была грубо обругана уже без всяких шуток, из чего сделала вывод: зоны действия юмора ограничены у всех, но у всех по-разному. После этого я стала реагировать гораздо спокойней на отцовские насмешки по поводу моей манеры выражаться, моей причёски и нового платья...

А время шло, и комическая суть мира приоткрывалась мне всё отчетливей. Только я не была готова её увидеть, всё отворачивалась, как страус, прячась в песок общих мест, ходульных истин и всё тех же цитат, которых, благодаря прекрасной тогда памяти, было у меня заготовлено по три кило на любую жизненную ситуацию. И относилась к себе с полной и убийственной серьёзностью. И так бы, может быть, и прожила всю свою жизнь, но, на счастье, настала эмиграция.

Внезапно я оказалась лишённой защитной оболочки языковой шелухи, которой так дивно можно было защищаться от мира, продолжая принимать себя всерьёз, несмотря на очевидность: смешно всё на свете, и я — в первую очередь.

Указующий перст

В одну из первых недель пребывания в Мюнхене пришлось мне одной ехать в метро. В подземке я совершенно не ориентировалась, перепутала станцию метро с одноимённой остановкой электрички — они в центре тоже следуют под землёй, — и, потеряв всякое соображение, битый час металась с одной платформы на другую, когда ко мне подошла женщина с рюкзаком за спиной (это мне было в новинку) и, очевидно, поняв, что я нахожусь в затруднении, что-то начала спрашивать. Я, естественно, не поняла ни слова и от безвыходности стала выразительно и громко говорить по-русски, что вот, мол, заблудилась, а меня ждут, и как же мне теперь быть? Собеседница внимательно выслушала мою пламенную речь и, взяв меня

за руку, куда-то повлекла. Мы оказались у стенда со схемой подземки. Женщина бесцеремонно взяла меня за указательный палец правой руки и упёрла его в стекло. Я, от той же безнадёжности, принялась тупо рассматривать сложный рисунок и, видимо совершенно случайно, наткнулась глазами на знакомое название нужной мне станции. Я радостно ткнула пальцем в цветную точку, моя руководительница захолопала в ладоши, и мы обе в восторге расхохотались.

Деликатные пассажиры, не привыкшие к разглядыванию в упор, всё же поглядывали на странную картинку: стоят две тётки у схемы метрополитена и заливаются смехом. Далее я была энергично схвачена за руку, протаскана через переход к требуемому направлению и усажена в поезд. Высадив меня на нужной станции, где в панике маялся мой муж, женщина хлопала меня по плечу, ещё раз громко рассмеялась и побежала к поезду, идущему в обратном направлении. Это был, пожалуй, первый раз, когда я от души посмеялась над собой — вдруг исчезла вся привычная схема отношений с миром, вся моя мнимая значимость, все социальные роли, все наработанные образы, и осталась только безумно смешная бестолковая баба, не могущая самостоятельно даже разобраться в устройстве подземки, рассчитанной, как я позже поняла, на полных идиотов, поскольку указатели направления повторяются в ней, на всякий случай, через каждые десять метров.

Упражнения на юмор подстерегают нас в новой среде на каждом шагу. Когда оказалось, что никакие прочитанные книги, никакой духовный багаж не способствуют тому, чтобы аккуратно и быстро расставлять на прилавке самообслуживания стаканчики с йогуртами, и что эрудиция вовсе не предохраняет меня от бесконечного битья яиц при раскладывании их по коробкам, у меня не оставалось никакого выхода, кроме смеха над собой — ну, не вешаться же, в самом деле, с горя?

И какой выход, кроме внутреннего хихиканья, можно придумать, когда обнаруживается, что все языковые достижения, наработанные десятилетиями и предназначенные для того, чтобы предельно полно и точно донести до собеседника информацию, перестали работать на немецком и не компенсиру-

Часть вторая

ются никакими невербальными методами коммуникации — ни мимикой, ни энергичной жестикуляцией, — ни, увы, даже добавлениями бесконечных «denn» и «doch» в неподатливые немецкие фразы. Что тут делать, кроме как посмеяться над самой собой, благо собеседники, как правило, себе такой роскоши не позволяют и терпеливо вслушиваются в мои бесконечно нагромождаемые придаточные, пытаюсь вникнуть не в то, что слышат, а в то, что я на самом деле хочу сказать. И, что самое поразительное, зачастую понимают!

Что подлежит осмеянию?

Я человек последовательный и методичный. Положив однажды руку на плуг, я, как правило, от этого же плуга и гибну. Поразмыслив над феноменом юмора, я начала соображать, что осмеянию, похоже, подлежит всё... кроме, пожалуй, смерти и убийства. То есть какие-то табу я себе оставляла, хотя поле, подлежащее обстёбыванию, увеличилось для меня многократно. И тут вышел фильм «Жизнь прекрасна». Услышав о нём впервые, я поёжилась: комедия о Холокосте — это всё-таки слишком. С этим не шутят. Посмотрела фильм и поняла: можно шутить и над этим. Страшенькие шуточки получаются, на грани трагедии, но ведь и жанр такой существует — трагикомедия. И, может быть, он — единственный, охватывающий жизнь «во всей её полноте», как говаривал наш преподаватель марксизма-ленинизма.

А жизнь продолжала меня учить: сложилось в какой-то момент так, что ситуации, в которые я попадала, не очень-то оставляли мне выбор. Дилемма выглядела буквально так: или будешь хохотать над собой до упаду, или падёшь в буквальном смысле, как дохлая лошадка. Движимая мощным инстинктом самосохранения, я принялась тренироваться. Получилось. Даже, я бы сказала, увлеклась. И тут Бог послал мне подругу. Её судьба в последние годы тоже как-то не очень баловала, мы жаловались одна другой на бесконечные невзгоды, увлечённо сочувствовали друг другу, но неизменно в какой-то момент замечали, что зубоскалим как по поводу безденежья и болящего горла, так и по поводу более серьёзных неприятностей. Всё

становилось поводом для стёба: сносившиеся туфли и непопулярные дети, семейные драмы и скверная погода, и прежде всего мы сами, с нашими амбициями и ожиданиями, с неизжитой детской романтичностью и глупыми надеждами. И оказалось, что этот стёб, это самоосмеяние — единственное спасение, единственное, что даёт силы жить.

Я стала приглядываться к окружавшим меня людям и вдруг поняла, что умение взглянуть на себя со стороны и от души над собой поржать — ценный дар, который даётся не всем. Дальше — больше, начав анализировать отношения с людьми в зависимости от наличия у них этого дара, обнаружила, что отношение к себе «на полном серьёзе» вызывает у меня острую аллергию — похоже, упражняясь в юморе, я начисто утратила умение принимать всё, что происходит в реальности, «один к одному», не пересчитывая на коэффициент очищающего стёба. В какой-то момент показалось, что я чрезмерно увлеклась: самые разные люди стали упрекать меня в том, что со мной невозможно говорить серьёзно, что я куражусь над святым и фиглярничаю не к месту. Так, доигралась, подумала я.

Но тут, очень кстати, приключился очередной удар судьбы, и я, по обыкновению, стала искать, за что бы уцепиться. Не помогали никакие привычные рецепты, не помогал даже Зоценко с его мрачным гиньодем, и спасение пришло из уникальной по уровню отстранения фразы Мандельштама, обращённой к жене в ответ на её, мягко говоря, довольно обоснованную жалобу на жизнь: «А кто тебе сказал, что ты должна быть счастлива?» Я переадресовала вопрос к себе, зацепилась за него, покачалась, как мартышка на лиане, хмыкнула и поняла: жизнь всё-таки прекрасна, а счастливы мы или там несчастны — вряд ли сыграет большую роль в устройстве мироздания. А насмешка — поистине панацея от всех бед, и не откажусь от неё ни за что.

Верный масштаб

Чувство юмора — это ведь, в сущности, чувство масштаба. Стоит воспринять себя как «глыбу и матёрого человечиса», так тут тебе и конец, поскольку все твои беды и потери вырастают

Часть вторая

соответственно вместе с тобой, и снести этот гигантский груз не хватит никаких сил. А если видеть себя как пылинку на глобусе, так, помилуйте, какие же у неё, у пылинки, могут быть заботы — пустяки все! И живёшь себе, порхаешь и твёрдо помнишь брошенное как-то Бродским: «Жизнь — скверная штука. Вы заметили вообще, чем она кончается?»

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ВЗРОСЛЫЕ

Мне было пятнадцать лет. Стоял на диво душный для Москвы сентябрь. Мы сидели с другом детства в прогретой квартире с запахнутыми окнами. Пахло асфальтом и сухой листвой. Все новые книги были обсуждены, все запомненные стихи прочитаны, все свежие новости пересказаны.

— А давай поиграем в шахматы, — вяло предложил он.

— Давай, — отозвалась я и сняла с подоконника погромыживающую фигурами шахматную доску — ею в жару припирали створку окна, чтобы не захлопнулась от сквозняка. Зимой мама убирала её на шкаф.

Два короля

Мне достались белые. Расставили фигуры. Двух чёрных пешек недоставало, пришлось заменить их спичечным коробком и солонкой.

— Ну, ходи, — сказал он.

— Сейчас, — ответила я и принялась вспоминать, как там было у Ильфа и Петрова: Е2-Е3 или Е2-Е4? Вспомнила. Пошла.

Мы оба откуда-то знали, как ходят фигуры, но на этом наша шахматная эрудиция исчерпывалась. Партия проходила довольно бойко. Пешки, офицеры и кони облетали с доски, как сухие листья с деревьев. Мы по-джентльменски поправляли друг друга, заметив совсем уж очевидный «зевок», но это не помогало — очевидно, для того, чтобы играть в шахматы, требовалось что-то ещё, кроме умения перемещать фигуры по доске.

Через полчаса я «съела» своим королем чёрного ферзя, и на доске остались два короля — чёрный и белый.

— Как же это может быть? — спросила я.

Мы недоумённо уставились друг на друга и от растерянности впервые в жизни начали целоваться. Новая игра оказалась гораздо увлекательнее шахмат.

На бегах

Моё поколение спасалось от советской реальности тотальным поголовным чтением, дружбами, романами и, кроме того, периодически возникавшими увлечениями, налетавшими неизвестно откуда и мгновенно захватывающими разом всю тусовку.

Когда мне было двадцать, таким увлечением стали бега. Прохладным летним днём мы впятером встретились у ворот ипподрома. Один из нас, постарше, был завсегдаем скачек. Он деловито раздал нам программки и повлёк всю компанию к кассе. Там уже собралась группа компетентных лиц необыкновенно пёстрого — от почти бомжей до элегантных господ — состава. Наш приятель органично влился в неё. Звучали странные слова: «в ординаре», «жучок», «двойная выплата», «Черчилль», «Лебедь», «Детка».

— Кто это — «Детка»? — потеряла я приятеля за рукав.

— А, это проигрышная кобыла, полная безнадёга.

— Покажи.

Лошади подрагивали в готовности у стартовой линии.

— Вот эта, чёрная, жокей в бело-зелёном.

Мне понравилась не только кличка, но и сама лошадка, небольшая, со вскинутой головкой.

— Я на неё поставлю.

— С ума сошла, ни рубля.

— Нет, я все десять поставлю.

— Почему? — заинтересовался вдруг приятель.

— Мне её жалко. Она проигрышная, на неё никто не поставит, она будет стараться, и все зря.

— Новичкам везёт, — прошептал приятель, собрал у нас деньги и подошёл к окошку.

Часть вторая

Кобыла Детка

Лошади бросились вперёд. Трибуны сошли с ума. Я смотрела на ревущую толпу, на своих друзей, обезумевших вместе со всеми, на приятеля-завсегдаю, дико вопящего «Детка!» и судорожно толкающего меня в бок фляжкой с коньяком, и понимала, что я, единственная, выпадаю из многотысячного сообщества собравшихся на ипподроме людей. Было жалко надрывающихся лошадак.

Я взяла фляжку, сделала глоток, чтобы согреться, и перевела взгляд на поле. Лошади разделились на три плотные группы, расстояние между ними то нарастало, то сокращалось. Впереди всех, с большим отрывом, неся, весь вытянутый в стрелу, коричневый, кажется, жеребец, а может, и кобыла, кто их разберёт. Сзади, со столь же большим отрывом, неторопливо трусила Детка. Наездник в бело-зелёном пришпоривал её изо всех сил. Даже на таком расстоянии можно было почувствовать его отчаяние, азарт и гаснущую с каждой секундой надежду на чудо.

Лошадь была совершенно спокойна и даже не думала стараться. Она твёрдо усвоила, что от неё требуется пробежать несколько кругов по скаковой дорожке, вот она и бежала и наотрез отказывалась понимать, чего хочет от неё дрожащий от волнения мальчик в бело-зелёном камзоле.

Пробег закончился. Измученные лошади, отфыркиваясь, судорожно встряхивали головами. Невозмутимая Детка, неспешно пересекши последней финишную линию, несколько не устав, с любопытством поглядывала вокруг. Она не проиграла скачку — она просто в ней не участвовала.

Мои друзья, допивая коньяк, неприязненно поглядывали на меня. В следующем заезде ставить им было нечего — все взятые с собой деньги мы проиграли на Детке.

Интеллектуальная игра

— Когда ты наконец научишься преферансу? — возмутился однажды мой возлюбленный.

— А зачем мне ему учиться?

— Как — зачем? Это интеллектуальная игра, концентрирует внимание, развивает логическое мышление, и потом, все же играют!

Меня вполне устраивало существующее положение вещей: мы вместе приезжаем к друзьям, он играет с ними в карты, я завариваю на всех кофе, а потом мирно сижу с книжкой и никому не мешаю. Игра частенько затягивалась до утра, но тут важно только, какую книгу с собой взять, и пусть себе играют на здоровье хоть до следующей ночи. Чем плохо? Но не спорить же с любимым человеком, если ему так хочется, я, в конце концов, не феминистка, и потом, действительно все играют...

Меня усадили за стол, объяснили правила, расчертили сложной геометрической конструкцией лист бумаги и раздали карты. Сначала вроде я действовала довольно разумно, потом внимание отвлеклось, я что-то позабыла или перепутала и не вовремя сказала «пас» или «вист», не помню. Что тут началось! На меня орал все мои друзья, на меня орала моя лучшая подруга, и, главное, дико выкатив глаза, на меня с ненавистью орал любимый человек, о котором я до сих пор твёрдо знала, что он вообще не в состоянии повысить голос. «Идиотка» было самым ласковым словом из всех, какие я тогда услышала.

— Ребята, — попыталась защититься я, — вы что, с цепи сорвались? Что, собственно, случилось? Ну, проиграли мы... сколько? Тридцать копеек? А вы-то вообще выиграли, что ж вы вопите? Ну, в крайнем случае, давайте начнём сначала, какая разница, мы ж тут все свои!

— Ты безнадёжная, — сипло прошептал мой возлюбленный, — ты вообще не понимаешь, что такое игра.

Было очень обидно.

Гривенник на «зеро»

В середине 70-х годов сразу в нескольких близких ко мне кругах началось рулеточное безумие. Какими-то тайными путями в Москву проникали с Запада пластмассовые рулетки, видимо, детские, игрушечные, но действовавшие совершенно как настоящие. В нескольких квартирах, в том числе у моей близкой подруги, образовались тайные игорные притоны. Ставили по десять копеек. Выигрыш за вечер при удаче достигал пяти-семи рублей.

— Приезжай, — сказала мне подруга, — сегодня поиграем.

Часть вторая

— А интересно? — спросила я.

— Увлекательно, как мало что.

Разжившись пригоршней гривенников, я отправилась в Тёплый Стан.

Игра была в разгаре. Вспомнив всё, что я знала о рулетке из классики, я поставила на «зеро». Проиграла. Поставила на красное. Проиграла.

Дальше я действовала с единственным намерением — как можно быстрее проиграть все монетки, потому что занятие оказалось невыносимо скучным, а прекратить игру, пока у меня оставались серебряные денежки, было как-то неудобно.

Наконец я с облегчением отошла от кухонного стола, на котором размещалось миниатюрное вместилище азарта, и огляделась.

Господи, да что же это, чистый Достоевский — знакомые лица были напряжены, словно сведены какой-то судорогой, и в этом напряжении поразительно похожи друг на друга.

Я попробовала заговорить с одним, с другим, от меня отмахивались, как от неуместной мухи. Лёгкий розовый шарик рулетки словно вогнал всех в транс.

Тихо одевшись в тёмной передней, я прикрыла за собой дверь. Моего ухода никто не заметил.

Старик Хоттабыч

Бредя к автобусу однообразными кварталами Тёплого Стана, я поневоле принялась обдумывать прожитый вечер. Что происходит? Почему, набившись в тесную кухню, милые мне люди готовы часами раскручивать игрушечную рулетку, вглядываясь не мигая в неподвластное никакой логике и воле движение пластмассового шарика? Что ими движет? Не судьбу же своего гривенника переживают они с такой страстью? Какой-то иной импульс, которого у меня нет.

Весь долгий путь до противоположного конца города я вспоминала похожие случаи, придирчиво анализировала своё поведение и восприятие, чтобы прийти, в конце концов, к неприятному выводу: очевидно, я урод. Я начисто лишена азарта. Мне неинтересно. Любые игры — от шахмат до футбола — мне

скучны. Для меня это — напрасная трата жизни. Если я что-то умею — то я это умею, а если нет — то зачем напрягаться?

Мне, как старику Хоттабычу, дико видеть толпу молодых здоровых ребят, тупо бегающих по полю за одним мячиком. Кто-то из них от природы более ловкий и сильный, другой — менее. Ну и что? Хоттабыч, помнится, вырвав волосок из бороды и пробормотав «Ух-тибедух...», набросал на футбольное поле разноцветных мячей по числу игроков: действительно, пусть каждый бегаёт со своим, в этом хоть какой-то смысл есть — поупражняются.

Тем более игры, в которых от тебя ничего не зависит — как фишка ляжет. Проиграть — глупо, выиграть — стыдно: ты же эти деньги не заработал. Но у людей — азарт. А у меня нету. Что ж теперь делать? И так проживу.

Игра в жизнь

Тем более что есть гораздо более упоительные игры. Игра и реальность — взаимобратимы. Если игры строятся по законам реальности: шахматы воспроизводят военные действия, карты — торговлю, — то и жизнь, в свою очередь, представляет собой вереницу игр. Жизнь-игра (или игра-жизнь) — это гессевская «Игра в бисер», не случайно ставшая для моего поколения культовой книгой.

Я — ребёнок, я — школьник, я — студент. Я — подчинённый, я — начальник. Я — счастливый влюблённый, я — преданная жена, я — обманутый муж, я — тайный любовник. Я — строгий отец, я — нежная мать. Я — заботливый дедушка, я — мудрый старик... Бесчисленные я-образы, формируясь с младенчества из наблюдения, из опыта, позже в значительной мере из прочитанного, формируют наше ролевое поведение, определяют не только поступки, но и мироощущение, мировосприятие.

Легко и пластично поворачиваясь к разным людям в разных ситуациях различными сторонами своего «я», мы не всегда отдаём себе отчёт в том, насколько чётко обусловлены наши, казалось бы, такие органичные проявления. И в то же время какую свободу мы получаем в жёстких рамках этой обусловленности.

Часть вторая

Самая азартная игра на свете. Мужчина и женщина. От первого косвенного, скользящего взгляда до невероятной близости и взаимопроникновения, которые невозможны в подлунном мире ни при каких других отношениях, ни при каком, самом тесном, дружеском сближении. И от каждого следующего шага — веер возможностей. Выбрать верную, единственно правильную. И — снова. Тут и азарт, и торговля, и война, и игра — не на жизнь, а на смерть.

Выигрыш или проигрыш?

Я играла в жизнь честно. Переиграла почти все возможные роли. Играла, по Станиславскому, не по «школе представления», а по «школе переживания», то есть выигрываясь до печёнок в каждый игровой момент. И выигрывала. И проигрывала. Но — всё тот же дефект. Нет азарта. В каждой игре есть лидеры — и аутсайдеры. И есть кобыла Детка, которая не участвует в скачках. При всяком намёке на конкуренцию — будь то на работе или в извечной игре-войне полов, — я отходила в сторону. Если я что-то умею — то умею, а если нет... Зачем мне прыгать через обруч, чтобы кому-то что-то доказать?

У меня есть место в этом мире, есть чёткое понимание того, зачем я родилась на свет, есть ворох милых воспоминаний, есть друзья, кажется, нет врагов, я никому не причинила зла намеренно или для достижения своих целей.

Но я не участвовала в скачках. Как мне теперь понять — выиграла я свою жизнь или проиграла?

НЕВЕЗЕНИЕ

Я человек организованный, аккуратный, пунктуальный. Я бы даже сказала — педантичный. Всё окружающее меня жизненное пространство я структурирую оптимальным образом, невзирая ни на какие препятствия. Да это и неудивительно, если учесть формирующие факторы: наследственность, воспитание, среда — всё это наилучшим образом способствовало тому, чтобы я умела сопротив-

ляться агрессивной энтропии, которая по необъяснимой причине постоянно обрушивается на меня, стремясь обратить мою жизнь в хаос. Однако я не складываю оружия и даю ей достойный отпор.

«Ну а теперь иди...»

Мои родители, каждый на свой лад, были гениями организации. Отец доводил меня до слёз обиды во время моих редких визитов, взглядывая на часы неизменно в восемь и прерывая любой, самый важный разговор словами: «Ну а теперь иди, мне пора собираться спать». Однажды я не выдержала и спросила: «Послушай, почему так рано, ты же не младенец — в восемь часов укладываться?» «Ко сну надо подготовиться: проветрить, пропылесосить, — нельзя спать в духоте и в пыли, — принять душ, постелить, расслабиться, успокоиться, чтобы ровно в девять заснуть. Я же встаю в полшестого и выхожу на пробежку и гимнастику. Если я недосплю или сокращу пробежку, я не смогу полноценно работать». «Ой ты Боже мой, — подумала я в бессильной ярости, — он живёт по железному расписанию, как робот, лишь бы его ненаглядная работа не пострадала, а на меня ему наплевать».

Пожалуй, так оно и было: дочка не дочка, гости не гости, праздник не праздник... Только раз в году, в новогоднюю ночь, делалось исключение, и то — поздравить папочку по телефону полагалось в первые пятнадцать минут после полуночи, поскольку в полпервого он уже отходил ко сну.

В кабинет он являлся за полчаса до начала рабочего дня, не смотря на то, что работал большим начальником и никто, разумеется, его не проверял, — просмотреть вчерашние бумаги, подготовить сегодняшние, сосредоточиться.

Один-единственный раз я нарушила существовавший, сколько я себя помнила, запрет на звонки после восьми вечера. У меня стряслась жуткая неприятность, и я просто забыла посмотреть на часы.

— Ты знаешь, сколько сейчас времени? — спросил отец каменным голосом.

— Что? Без двадцати девять... Папа, послушай, ты же ещё не спишь, а мне надо срочно посоветоваться!

— Позвони завтра на работу.

Часть вторая

— Но, папа...

— На работу позвони, я сказал. Если я сейчас буду тебя выслушивать, я разволнуюсь и не засну, а у меня завтра, как ты знаешь, рабочий день.

И трубка была положена.

Жизнь в три смены

Мама, исходя из свойственной ей иерархии ценностей, на первый план ставила интересы дочки и внука, на второй — свою работу, а остальное — как уж фишка ляжет. Недоспать, недоесть — наплевать! Главное, чтобы детки были вовремя накормлены, напоены и спать уложены. И, конечно, клиенты, клиенты... Маме как истинному адвокату, настоящему защитнику от Бога, каждый мелкий уголовник, вверенный её заботам, мнился по меньшей мере Дрейфусом. А все они требовали времени. Мало того, что она проводила в консультации по десять часов в день, они её ещё и вечером доставали. Как ни придёшь — на кухне обливается слезами бандитская мать или жена, или бедолага, барахтающаяся в пучинах бракоразводного процесса.

— Сегодня три смены отработала, — радостно сообщала мне мама по телефону в двенадцать часов ночи, — два дела в суде провела, всех клиентов приняла, потом тебе продукты отнесла, обед вам сготовила — ты видела? — и ещё успела дома большую стирку постирать!

— Да видела и продукты, и обед... Вот скажи, зачем ты на все амбразуры разом бросаешься? У нас же есть пельмени, и из продуктов я кое-что купила по дороге.

— Нельзя кормить ребёнка пельменями, и какое «кое-что» ты там купила? Я же курицу достала! Ну ладно, доченька, пойдёшь к завтрашнему выступлению готовиться, а ты разогрей себе там, на красной сковородке, я печёнку куриную пожарила...

— Разогрею, спасибо. И когда ты всё успеваешь? — восхищалась я.

А ведь успевала. И даже когда ей было под восемьдесят, если мы, уже здесь, в Мюнхене, договаривались встретиться в городе, как я ни старалась прийти первой, неизменно, подходя к условленному месту, видела сутулую, но элегантную малень-

кую фигурку под часами, показывающими на пять минут меньше договоренного времени.

Организованная девочка

При таких родителях, естественно, я научилась по-настоящему ценить время. Да и росла я в строгом режиме. У бабушки было жёсткое правило: в полдевятого девочек мыли — в наших условиях, без всяких удобств, это было сложно и требовало участия взрослых, — и в девять мы лежали в кроватях. Поднимали нас в раннем детстве в восемь, а когда в школу пошли, уже и в семь, и вставала я, по причине той же совинности, с большим трудом, но ведь вставала!

Ложилась, становясь старше, все позже и позже, продирала глаза по утрам, особенно зимой, когда за окном ночная темь, с огромным трудом, но ведь ни разу, ни единого раза за все десять лет школьного обучения, не опоздала на урок. Это представлялось невообразимым позором: как это, все сидят за партами, учитель на месте, и тут вдруг я захожу, и все на меня смотрят.. Ужас! Поэтому я вскакивала как ошпаренная — правда, на полчаса позже семи. В школу, понятно, неслась со всех ног, потому что выходила из дома на десять минут позже, чем следовало, однако звонок заставал меня за партой.

Уроки, разумеется, делала в последнюю очередь, после запойного чтения часами, после всех домашних дел, после писания собственных «произведений», иногда засиживаясь за полночь, но ведь делала же! И законность моих «пятёрок» опровергнуть невозможно.

Поступив в институт, где выполнение заданий не контролировалось ежедневно, я, конечно, изъела из обихода ежедневные занятия, но, спрашивается, кто из студентов не использовал последнюю ночь как единственную возможность подготовиться к экзамену? И мамыны заклинания: «Ну почему ты всегда откладываешь до последней минуты?!» я воспринимала как прямой наезд — в чём дело, я же прилично учусь?

К тому же после рождения ребёнка я приобрела право «свободного посещения занятий» — вдумайтесь: «свободного», а кто ж будет ходить, если можно не пойти?

Часть вторая

Да, действительно, однажды с недосыпу я забыла в автобусе курсовую работу, которую везла сдавать руководителю, естественно, в последний день, но это ничем иным, кроме как фатальным невезением, не объяснишь.

К слову сказать, я вообще невезучая. Иногда кажется, что меня просто преследуют неудачи. Бывает ужасно обидно — ведь, кажется, я сделала возможное и невозможное, чтобы всё кончилось хорошо, и вдруг опять облом.

Бумажное бедствие

К примеру, недавно на меня подали в суд. И счёт-то был пустяковый, но наросли штрафы за то, что не оплатила счёт вовремя, прибавились судебные издержки, отчего первоначальная сумма увеличилась почти втрое. Самое обидное, что я понимала важность бумажки и специально положила счёт так, чтобы ни в коем случае его не потерять, — в детектив, который в это время читала. Казалось бы, совершенно беспроигрышная ситуация, но беда в том, что, вкладывая листок, я приближалась к концу повествования, дочитав книгу, куда-то её сунула, и, естественно, забыла о счёте, требовавшем оплаты. По-моему, такое с каждым могло случиться — почему надо было сразу в суд подавать, ума не приложу. Ну да, это был не первый счёт, а счёт-напоминание, но ведь все же живые люди. Что это, как не невезенье?

Вообще бумаги — это, на мой взгляд, стихийное бедствие. Не моя вина, что я утопаю в этом бумажном потоке. Я как человек организованный сделала абсолютно всё для наведения порядка: купила нарядные скоросшиватели по числу учреждений, с которыми веду переписку, предусмотрительно добавила к ним ещё один для «разных» бумаг, аккуратно надписала красным фломастером этикетки и наклеила их на папки. Но невозможно же класть бумагу в папку непосредственно в момент получения, это просто нереально — я могу в момент прихода почты говорить по телефону, читать, писать, заниматься с собакой, да просто завтракать, в конце концов! Я же не робот.

Поэтому я складываю полученные письма на обеденном столе, а если пространство столешницы нужно освободить, переносю

шу стопочку накопившихся бумаг на письменный. Почему-то после этого очень трудно бывает найти нужное письмо, и попробуй ещё упомни — какое из полученных за эту неделю — самое нужное. И, спрашивается, в чём тут моя вина, если что-то иногда и затеряется без следа — ведь на письменном столе этих бумаг уже четыре стопки, каждая высотой с полметра. Папки с надписями у меня же есть — не хуже чем у любого немца, которые так кичатся своей организованностью. Я думаю, вся беда в том, что у меня нет почтового ящика и почтальон вбрасывает мою корреспонденцию в специальную щель в двери. Если бы письма клали в ящик, я выделила бы определенный час для получения почты и её сортировки, и никаких недоразумений не происходило бы. В конце концов, главное — правильно организовать своё время, а уж это я умею. Поэтому претензии, которые иногда предъявляются мне окружающими, я расцениваю просто как нелюбовь и неуважение ко мне.

Всё хорошо в меру

Какие, право, бывают странные люди: «Я вчера не могла к тебе дозвониться, ты что, весь вечер в Интернете просидела? Мы же договаривались!» Да, договаривались, и я исправно ждала звонка, буквально до половины девятого, но потом надо было проверить электронную почту, и я решила попутно посмотреть в Интернете новости, открыла один сайт, а там, оказывается, такое... Ну а после просто забыла выключить связь с Интернетом и как раз очень удивлялась — где же обещанный звонок. Ясно же, что это чистое недоразумение, и на что тут, я не понимаю, обижаться?

Я очень ценю пунктуальность, и в себе, и в других, но, как ни говори, всё хорошо в меру. Вот сразу после приезда я могла получить замечательную работу у американцев, с большим жалованием и почти по специальности. Руководитель учреждения назначил мне встречу. Я явилась в назначенное время, ну, опоздала, конечно, минут на пятнадцать — всё-таки незнакомый город, непривычный транспорт, ехать надо было на электричке, а у них, оказывается, интервалы двадцать минут — интересно знать, каким образом я могла это предвидеть. Он меня

Часть вторая

принял, хотя и скорчил недовольную мину, но на работу не взял. Секретарша мне сказала потом, что, даже опоздав на пять минут, я уже не могла бы рассчитывать быть принятой. На мой взгляд, это совершенный абсурд, я невероятно пунктуальный человек, это сразу видно — ну что такое какие-то пятнадцать минут, это же несерьёзно. Конечно, точность — вежливость королей, но мы-то простые смертные. Явный перегиб, совершенно неадекватная реакция — а может, американцы все такие бесчеловечные и, не побоюсь этого слова, ограниченные?

Немцы, надо сказать, иногда тоже бывают жестокими, даже циничными. Когда закончился мой контракт на «Радио Свобода», я отправилась становиться на учёт в Арбайтсамт. Да, я пришла на десять дней позже, чем следовало, но ведь видно же из документов, сколько времени я без работы, — неужели надо меня наказывать рублём за такое незначительное нарушение порядка? И ведь наказали — ужасное невезение.

А эти вечные претензии: «Я тебе неделю назад послал письмо, почему ты до сих пор не ответила?» Ну что такое неделя? Тем более при моей напряжённой жизни, при том, что у меня расписана буквально каждая минута? Да я несу на себе столько обязательств, что вообще непостижимо, как я всё это успеваю — другой бы на моём месте уже погряз в хаосе, и только моя безупречная организованность позволяет мне как-то выживать.

Цунами хаоса

Но даже при моей любви к порядку, я всего лишь человек и не всегда могу противостоять напору неблагоприятных обстоятельств, которые одолевают порой просто неизбежно. Недавно произошла совсем жуткая история. Готовый к отправке текст погиб в компьютере — невообразимо. Позже, с помощью понимающих людей, я выяснила, что, пожалуй, компьютер был вовсе не виноват в случившемся, просто я нажала не на ту кнопочку, но в тот момент я готова была разбить идиотскую машину вдребезги и, боюсь, саданула-таки пару раз по монитору кулаком. Само собой, только что написанный материал был совсем свеж в памяти, я легко могла бы восстановить

его, но на это потребовалось бы несколько часов, а их, как на грех, и не было — невозможно же было ожидать такой подлянки от собственного родного компьютера, ведь всё было сделано, как, впрочем, и всегда, вовремя, то есть прямо к вёрстке, чтобы успеть отправить. Я почувствовала себя в одном из тех кошмаров, которые преследовали меня все десять лет школьного обучения: вот я стою перед доской и не знаю урока, и все смотрят на меня с отвращением, а учитель брезгливо отворачивается. За десять лет этот кошмар ни разу не реализовался, а тут... И это при моей обязательности!

Ну разве это не кошмарное стечение обстоятельств? Разве это не цунами хаоса, захватывающего человека против воли, невзирая на его героические усилия по внесению структуры в свою жизнь? И после этого мне бросают упреки в неорганизованности, в хаотичности, в неумении распределять время. Каким образом это могло бы быть мне присуще, при моих-то генах, при воспитанной во мне с малолетства любви к порядку?

Нет, совершенно ясно — просто мне фатально, трагически не везёт.

ДУРАКОМ ПОМРЁШЬ?..

Рождаешься — и начинается... Учишься дышать лёгкими, потом — сосать молоко, потом — не писать в пелёнки, есть с ложки, надевать штанишки, ходить ногами по земле, собирать пирамидку, выговаривать слова, читать, писать, считать... И учит тебя мама, в прямой зависимости от того, как ты кряхтишь перед тем, как намочить пелёнку, и каким немыслимым сочетанием слогов ты обозначаешь собаку, тебя одного — персонально и индивидуально, — даже если в семье вас, детей, пятеро. А потом — первый раз в первый класс, и всё, попался.

«Пифагоровы штаны на все стороны равны»

Как же это так получается — сидят двадцать, а то и тридцать, а то и больше детишек, и все вместе учатся. И дети все

Часть вторая

разные — и по склонностям, и по способностям, и по темпераменту, нет и двух одинаковых, — а программа одна для всех. Посмотреть свежим взглядом — это же бред!

Делаются какие-то робкие попытки, вроде школы Монтессори, где обучение более индивидуализировано, но глобальная система, веками и материками принятая, — такова.

Зачем меня, прочитавшую к семи годам половину домашней, немаленькой, библиотеки, год учили читать по слогам? Это что — наплевательство или издевательство?

Зачем шесть лет из десяти мне впихивали в голову физику, химию, уравнения с двумя неизвестными? Что я помню из всего этого — H_2O ? А квадрат, плюс два АБ, плюс Б квадрат? Зачем мне это? Ведь видно было через полчаса, что ребёнок сугубо гуманитарный, и память хорошая, и интерес есть к гуманитарной сфере, — так, казалось бы, дай языки, дай историю мировой культуры, дай лингвистики хоть немного, так нет: «пифагоровы штаны на все стороны равны». Что это хотя бы значит?

Казалось бы, ну не учи, раз тебе это не надо, или учи как-нибудь, спустя рукава, только на троечку, и не трать зря время. Но я, к несчастью, была патологически добросовестная девочка, привыкшая с начальной школы получать «пятёрки», и перспектива выйти к доске с невыученным уроком была мне до того страшна, что я просиживала часами в старших классах с дурацкими, совершенно мне не нужными уравнениями и формулами, в то время как на подготовку «гуманитарных» заданий тратила по пятнадцать минут.

Как жалко этих часов, как обидно за ячейки памяти, забытые невостребованной информацией, напрочь забытой, но не впускающей теперь до зарезу нужную — немецкую лексику, например.

Шуршащие листья

В самом начале десятого класса — стояла ало-золотая осень — учительница литературы попросила меня проводить её домой.

— Что ты собираешься делать после школы? — спросила она, едва мы вышли из школьного двора.

— Не знаю, — ответила я, не потому, конечно, что не думала об этом, а потому что не могла заставить себя проартикулировать то, о чём говорить было не принято.

Но Анна Степановна заговорила сама.

— Ты, конечно, должна была бы идти в Литинститут или на журфак. Но в Литинститут без стажа или гуманитарного образования не принимают, может, когда-нибудь потом, а на журфак... Не поступишь ты, наверное, в МГУ с твоей фамилией и анкетой, даже если получишь медаль. Если только на вечерний?..

— Я не хочу на вечерний.

Я и вправду не хотела. У меня в голове гвоздём сидела идея получить «полноценное» образование, компенсировать упущенное, недополученное в школе, хотя, надо сказать, Анна Степановна, человек одарённый и незаурядный, дала нам максимум возможного в рамках прокрустова ложа школьной программы по литературе.

— Тогда что же, филфак в педагогическом? Там неплохая подготовка, но педагог из тебя... Не думаю.

— Я тоже не думаю, — пробормотала я, загребая ногами вороха пёстрых шуршащих листьев.

Шуршание этих листьев вспоминала я потом много раз, когда выяснилось, что, может быть, педагогика и была единственным для меня способом социально реализоваться.

— А то вот есть такой ещё историко-архивный, знаешь?

— Знаю.

— Туда, говорят, принимают таких, как ты...

Лавры Андроникова

Идею историко-архивного института моя мама восприняла с неожиданным энтузиазмом — ей мерещились для меня лавры Андроникова, докторская степень и пыль веков на ветхих документах, которые я стану разгребать, обнаруживая бесценные сокровища, чем и прославлю своё имя.

Лавры Андроникова меня совершенно не привлекали, пыль веков интересовала ещё меньше, но история мне легко давалась, и всё-таки это был гуманитарный вуз, причём, как ока-

Часть вторая

залось, туда почему-то действительно принимали «таких, как я» — непостижимые гримасы развитого антисемитизма.

Требовалось только, сдав три экзамена — историю, сочинение, и устный по русскому языку и литературе, — набрать четырнадцать баллов. Я, с трудом оторвавшись от первого в жизни серьёзного романа, как-то машинально сдала всё на «пятёрки», что составило в сумме пятнадцать.

Став студенткой, я с недоумением обнаружила, что из меня никто не собирается делать на худой конец историка, а делают специалиста «по историческим и прочим архивам», что предполагало, кроме источниковедения, палеографии, древнерусского языка и прочих довольно занятных дисциплин, курс, например, делопроизводства, технических архивов и других вещей в таком же роде, усвоить которые я не то что была не в состоянии, а просто активно не желала. Мало разве меня терзали в школе химиями и физиками, чтобы теперь снова лезть из кожи вон, запоминая ненужное и неинтересное?

Десятилетний школьный перфекционизм слетел с меня с лёгкостью необыкновенной, и я превратилась в обычную студентку-халтурщицу, которой по барабану все премудрости, лишь бы со стипендии не слететь.

Гранёный живот

Не слететь со стипендии человеку с гуманитарными наклонностями, обучающемуся в гуманитарном вузе, — проще простого.

Во-первых, если ходить на лекции, то хочешь не хочешь запоминается основная часть лекционного курса, даже при условии, что больше половины времени треплешься с подругами или флиртуешь с мальчиками.

Во-вторых, есть такое замечательное изобретение мирового студенчества, как шпартгалка. Тут, конечно, всё индивидуально: можно на листочках, можно «гармошкой», а можно книжечкой. Я предпочитала книжечки. Сшиваются мелко исписанные листочки в тетрадку, в полпальца величиной, складываются по порядку в кармашек, подшитый изнутри к специальному «экзаменационному» сарафану с огромными проймами — носили

такие в 60-е годы, — а на экзамене запускаешь, словно невзначай, руку в пройму, нащупываешь книжечку, соответствующую твоему билету, держишь её в ладони и спокойно списываешь. Ну, положим, не совсем спокойно, а скорее с замирающим сердцем, но результат тот же.

На втором курсе, будучи уже несколько беременной, я, недооценив размеров своего новообретённого живота, привычно уложила толстенькие миниатюрные книжечки рядком в потайной карман сарафана и в таком виде явилась на экзамен. Милейший старый холостяк, который вёл у нас источниковедение, в ужасе уставился на мой живот: само по себе зрелище беременной второкурсницы, может быть, и не ввергло бы его в такую панику — тем более что на правой моей руке сверкало обручальное кольцо в полтора сантиметра шириной, — но этот живот имел почему-то форму гранёного стакана!

— Вы... вы вообще хорошо себя чувствуете? — пролепетал бедный дяденька. — То есть, я хочу сказать, в вашем состоянии... Может быть... Если я вам просто поставлю «четвёрку», вы не обидитесь?

Я не обиделась.

Как сдавать экзамены

В общем, учёба в институте меня не очень напрягала, тем более что после рождения ребёнка мне дали так называемое «свободное посещение». Я расценила это таким образом, что хочешь — ходишь, не хочешь — не ходишь. А кто ж хочет?

Преподаватели, проводившие в нашей группе семинары в течение семестра, а то и двух, очень удивлялись во время сессии, обнаружив в аудитории совершенно незнакомую личность.

Но зачёты и экзамены я сдавала благополучно, обнаружив, что в принципе можно подготовиться прямо в коридоре перед экзаменом. Система была простая: внимательно читаешь вводную главу учебника, чтобы уяснить себе, какой круг проблем охватывает сдаваемая дисциплина. Затем изучаешь оглавление, чтобы понять, по какой логике построен курс. Просматриваешь библиографию, запоминая несколько фамилий самых известных авторов, и наконец пролистываешь подстраничные

Часть вторая

примечания, чтобы можно было блеснуть тонким знанием подробностей. Ну а всё остальное есть в программе, разложенной по столам.

Естественно, через час после успешной сдачи в голове не остаётся ровно ничего. А, собственно, зачем? Зачем опять ячейки забивать?

Может быть, если бы обучение велось не по школьной классической системе, а так, как это происходит в Германии, когда ты сам выбираешь курсы лекций и семинары, я бы как-то набрала себе комплекс предметов, хотя бы частично покрывающий круг моих интересов, но у меня было ощущение той же самой принудительной кормёжки, что и в течение предыдущих десяти лет, и мой перекормленный организм отвергал всё чохом.

Теперь жалко. Не получила за пять лет профессии, да и не могла получить, потому что не моя была профессия, но хоть бы «для общего развития»...

«Не то» образование

Закончив институт и покрутившись несколько лет в социуме, пытаясь совместить несовместимое, то есть зарабатывать хоть какие-то деньги и одновременно освободить максимум времени для писания «в стол», я обнаружила странную вещь: вокруг меня оказалась уйма людей, так же, как и я, получивших «не то» образование.

Самым распространённым был вариант типичного гуманитария с дипломом технического вуза — ведь гуманитарные науки не кормят, а инженер никогда с голоду не умрёт.

Были жертвы династических традиций — родители врачи, ну и дитя автоматически туда же, а он от природы вообще художник и больные с их болячками ему отвратительны.

Попадались, наоборот, отпрыски художественных в широком смысле семей, обречённые на пожизненную муку сценой или живописью, без грамма таланта, уныло тянущие свою ненавистную ляжку и гнёт родительской славы.

Не говоря уже о таких, как я, инвалидах пятого пункта, которые отправлялись после школы получать высшее образование по принципу — куда берут.

Вообще складывалось такое впечатление, что нас всех перетасовали и разбросали по институтам совершенно произвольно, без всякого учёта природных склонностей. Люди, попавшие именно туда, куда им следовало, составляли незначительное меньшинство.

Может быть, этим объяснялось повальное и даже несколько патологическое распространение всевозможных хобби у людей моего поколения? Писали стихи, разводили цветы, рисовали картинки, обжигали керамику, реставрировали старинные часы, резали по дереву — увлекались чем угодно, кроме основной профессии, а работали — только время отбыть.

Что такое счастье

Уже во время перестройки, когда меня вдруг начали печатать, в разговоре с милым и компетентным человеком из журналистской тусовки я однажды посетовала, что не удалось мне получить правильного образования.

— Да ладно, — сказал он, — зато ты не подверглась совковой деформации — не мыслишь штампами, не пишешь штампами, ты свободна, не так, как мы, понимаешь?

Утешение, конечно, было слабенькое.

Когда мы приехали в Германию и моя юная подружка, не получившая высшего образования в Москве, как говорится, по не зависящим от неё причинам, заметалась по факультетам Мюнхенского университета, пытаюсь рассчитать, на какой диплом будет реальный спрос через шесть-семь лет, я её спросила, а чего же на самом деле её душеньке угодно? Душеньке, оказывается, было угодно искусствоведение, но ведь оно не кормит...

— Иди, — сказала я, вместо того чтобы как старший товарищ оказать отрезвляющее и рационализирующее влияние, — иди на своё идиотское искусствоведение, понять бы ещё, что это такое, и не смей ни на какие компьютеры. Иди, и плевать на всё.

Она и пошла. Занимается в основном церковной архитектурой, набрала себе по этому безумно актуальному направлению кучу семинаров, обнюхала каждую заваливающую церковку по всей Европе, и никакой работы по специальности после за-

Часть вторая

щиты диплома, скорее всего, не получит. Зато счастлива. И душой не помрёт.

И всем бы так.

В ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ

Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, — кто бы спорил, тем более что здоровье и богатство как нельзя более тесно взаимосвязаны. Откуда деньги, если их без конца на врачей, на лекарства, на диетическое питание...

Вообще лучше бы врачей в глаза никогда не видеть.

К сожалению, этот тезис, даже в теории, даже как самая радужная мечта, может существовать лишь для мужчин. А для женщины рано или поздно наступает момент, когда несёшься к врачу с радостью и бегом, как к самому важному человеку, и тащишь своё едва наметившееся пузцо, чтобы пощупал, послушал — всё ли в порядке. И потом все долгие месяцы до родов — у врача, как на коротком поводке. А уж в тот самый день...

«Аборт будем делать?»

Была тогда в Москве мода — рожать в собственной ванне, а принимал чтобы собственный муж, передоверив всё, так сказать, матери-природе, но это было уж совсем для крутых, да и кончалось не всегда хорошо. Мне бы и вообще в голову не пришло. Я, как умная Маша, лишь только выяснилось, что в моём организме происходит что-то необычное, тут же бросилась в женскую консультацию.

Гинекологическое кресло не произвело на меня ожидаемого шокового воздействия (до той поры я его в глаза не видела), потому что шок, не отходя от кресла, устроила мне «старая опытная гинеколог».

— Ну что, аборт будем делать?

Вопрос прозвучал совершенно риторически.

— Почему аборт? — ужаснулась я. — У меня что-то не в порядке?

— Да нет, вроде в порядке. Так ведь вам лет-то сколько?

— Восемнадцать... уже девятнадцать скоро.

— А-а... Ну, хотите — рожайте.

— Но почему вы сказали «аборт», если всё в порядке, у меня же первая беременность, это разве можно?

— Почему же нельзя, все делают. Да вы рожайте, рожайте. Сейчас я вас на учет поставлю...

Каждые несколько недель я приходила в кабинет, «старая опытная» тыкала меня фонендоскопом в живот, меланхолично повторяла: «Вроде всё в порядке...» — и отпускала меня с миром. На все мои вопросы у неё было два варианта ответа: «Это пройдёт» и «Это так надо». Надо сказать, чрезвычайно успокаивало — если врач считает, что всё хорошо (вроде!), мне-то что волноваться?

«Идите, женщина»

Весь сентябрь я сдавала досрочно зимнюю сессию, чтобы не брать академический отпуск и спокойно посидеть с ребёнком до лета. Сдав последний экзамен, решила всерьёз взяться за подготовку к родам и, на неделю раньше очередного срока, отправилась в женскую консультацию, тем более что меня уже пару дней кое-что беспокоило.

— Вроде всё в порядке... — как записанная на плёнку, повторила мой гинеколог.

— А вот скажите, пожалуйста, у меня такое странное чувство, что весь живот словно напряжён, это ничего?

— Это так надо, это пройдёт, — щедро выдала она мне аж два стандартных ответа разом.

— А не может так быть, что оно уже хочет родиться? А то мне как-то странно.

Что мне подсказало такой вопрос, до сих пор не пойму. Опыта, понятно, у меня было ноль, специальных знаний — ненамного больше, приходится списать на материнский инстинкт или на генную память.

— С чего это — родиться? У вас какой срок родов написан? Второе ноября. А сегодня двадцать седьмое сентября. Идите, женщина, придёте через две недели.

Часть вторая

Совершенно умиротворённая, я с лёгким сердцем отправилась домой.

Блаженство — сессия сдана, с ребёночком всё в порядке, буду наслаждаться жизнью и закалять соски, бабушка сказала, непременно жёстким полотенцем, за месяц как раз успею...

Заболит — пройдёт

Это было в пятницу. В воскресенье вернулась свекровь из командировки в Среднюю Азию, привезла три дыни гомерических размеров — одну им со свекром, другую нам с мужем, а третью мы вчетвером незаметно уговорили за ужином, причём боюсь, что съела я отнюдь не четверть, а как бы не половину.

В понедельник я проснулась часов в восемь, хотя планировали отсыпаться по меньшей мере до десяти — у мужа был в институте свободный день, а мы с ним остались в квартире одни. Мама моя, в преддверии хлопот с ребёнком, решила отдохнуть напоследок и улетела в субботу в Крым.

Сна не было ни в одном глазу, к тому же словно слегка побаливал живот. Лежать стало скучно, и я потерела спящего мужа.

— Володь, а у меня живот болит. Может, я рожаю? — предположила я, исключительно из желания пообщаться.

— Ой, — простонал муж, — дай выспаться раз в жизни, как ты можешь рожать, когда тебе врач русским языком сказала — через месяц!

Мужа стало жалко, я замолкла, тем более что живот болеть перестал. Минут через десять опять заболел. Я приложила руку к животу. Ребёнок, который всё время нашего с ним знакомства вёл у меня в животе чрезвычайно бурный образ жизни, как-то подозрительно притих. Мне стало тревожно. Выбралась из кровати и позвонила бабушке.

— Ты соски закаляешь? — спросила она сразу.

— Сейчас буду. Бабуль, представляешь, у меня живот болит, я, наверное, дыни обожралась вчера.

— С чего это у тебя живот болит? — насторожилась бабушка, как-никак два раза рожавшая.

— Да он не сильно болит. Заболит — потом пройдёт..

— Как «заболит — пройдёт»?! — заорала вдруг диким голо-
сом моя кроткая бабушка. — Да это же схватки, вызывай не-
медленно «скорую»!

— Какую ещё «скорую», — возразила я с достоинством, —
мне рожать только через месяц!

Бабушка швырнула трубку.

Мимо Бабушкинского парка...

«Скорая», вызванная бабушкой, приехала, оправдав своё
название, по прошествии не более чем часа.

За это время я успела осознать, что происходит что-то се-
рьёзное, но поверить до конца не смогла и отстранённо наблю-
дала метания мужа, лихорадочно сующего в пакет одеколон,
вату, маникюрный набор, нижнее бельё, томик Блока и запис-
ную книжку — то есть всё, без чего, по его понятиям, я никак
не могла обойтись в роддоме.

Его колотила дрожь, меня же более всего угнетала дурацкая
мысль о дыне, которую мне явно не суждено было съесть. И во-
обще я готовилась к смерти, поскольку было ясно, что всё идёт
неправильно.

В дверь позвонили. Вошла тётка в грязном халате, с нео-
быкновенно злым лицом и почему-то довольно сильно бере-
менная, кинула беглый взгляд на мой живот, буркнула «пош-
ли» и вышла прочь. Я потрусилась следом, муж, схватив никчём-
ный пакет, — за мной.

Тётка довольно бесцеремонно подпихнула меня в раскры-
тые дверцы «скорой», бросила мужу «А ты ещё куда?», захлоп-
нула двери, и мы поехали.

Мимо родимой улицы, мимо Бабушкинского парка куль-
туры и отдыха, мимо кинотеатра... «В последний раз всё это
вижу», — подумала я с тоской и, заискивая, обратилась к тётке:

— Простите, пожалуйста, а может быть, надо всё-таки по-
смотреть, мне вообще-то рожать ещё не сейчас...

— Чего тут смотреть. Через сколько схватки?

— Схватки? Не знаю. Живот болит раз в пять минут пример-
но. А это точно схватки?

Часть вторая

Тётка безмолвно облила меня презрением и отвернулась. На меня нахлынуло жуткое чувство сиротства и брошенности. «Ничего, — успокаивала я себя, — сейчас приеду в роддом, там врачи, они разберутся, помогут, если что не так, она же, наверное, не врач...»

Может, спасут

Когда мы подъехали к роддому, у дверей обнаружился мой муж, обогнавший нас на такси. Дрожащими руками он совал мне пакет и приговаривал:

— Ты только не волнуйся, волноваться вредно, ну и что, немножко раньше, у нас же медицина какая, и тебя спасут, и ребёнка.

«Может, правда, спасут», — обречённо подумала я и встрепенулась:

— Маме телеграмму дай!

— Дам, дам, — зашёлестел муж, — я тут посижу, а потом и дам. Я тут буду, рядышком! Вещи, вещи возьми...

— Какие ещё вещи, каким ещё рядышком, — вмешалась тётка, — сегодня вообще санитарный день, приёмный покой закрыт. Вы скажите спасибо, что привезли. А ну, пошли, быстро!

И захлопнула дверь перед носом мужа, отрезав меня от мира.

Меня раздели догола, выдали мини-рубашечку в жутких коричневых пятнах и ткнули в руки гигантские ржавые ножницы, вроде секатора.

— Стриги ногти!

— Но у меня короткие, «под корень»...

— Всё равно стриги!

Остальные подробности санитарной обработки опускаю, жалея читателя... и себя.

«Чего орёшь?»

В предродовой палате нас было двенадцать. Стадии родового процесса у всех были, понятно, разные, поэтому одни орали, как оглашенные, другие недоумённо смотрели на них расширенными от страха глазами.

Я довольно быстро перешла из второй группы в первую и принялась надрывно умолять, чтобы ко мне кто-нибудь подошёл и хотя бы глянул одним глазком, что же всё-таки со мной делается.

Примерно через полчаса, когда я уже слегка охрипла, ко мне подошла молодая милая женщина и нежным голосом спросила:

— Чего ты орёшь, ... твою мать?

— Мне очень больно, я не могу.. правда, не могу.. Может быть, можно что-то сделать? Пожалуйста, ну, пожалуйста, ну хоть посмотрите меня, мне ещё рожать не пора..

— Какого ... не пора, когда ты уже рожаеть? — пропела она.

— А долго это? Может, всё-таки как-то посмотрите?..

— Чего там ещё смотреть, первородящая — значит, сутки. Кончай орать. И так сегодня санитарный день, повезли вас здесь.

Повернулась и ушла. И больше я её никогда в жизни не видела. (Позже, из разговоров в палате, выяснилось, что это был мой врач, отвечавший, так сказать, за меня «в преддродовой период».)

«Сутки, — думала я, — сутки я не выдержу ни за что, что же делать, почему я тут совсем одна, Господи, что делать, зачем мама уехала, она бы что-нибудь сделала, нет, маму не пустили бы, Господи, страшно, ну, пусть кто-нибудь подойдёт, хоть за руку подержит, врачей нет, вот нянечка, она старенькая, наверное, добрая...»

— Нянечка... — позвала я.

— Чего тебе?

— Пожалуйста, побудьте со мной, мне страшно.

— А ... не страшно было? — ответствовала добрая старушка, выдернула из-под меня намокшую вдруг простыню и ушла, тоже навсегда.

Тайна сия велика есть

Существо, называвшееся прежде моим именем, отупевшее от страха и боли, хрипело на высокой кровати без простыни ещё часа два. Боль уже нельзя было назвать болью, теперь какая-то гигантская сила скручивала меня, как простыню после стирки. Смерть давно уже не страшила, мучил только ди-

Часть вторая

кий страх за ребёнка, с которым неизвестно что могло произойти. Помощи я больше не ждала и ни на что не надеялась.

И тут явилось чудо в лице лысого дядьки в не менее замызганном, чем у других, халате и о двух перстнях на правой руке. Он, проходя мимо по каким-то своим делам, небрежно заглянул мне под рубашку и вдруг рывкнул:

— Ты что, сука, здесь рожать, что ли собралась?! Вон, головка уже! Вставай быстро, иди в родилку!

— А где?.. А куда?..

— За мной иди!

Я, непонятно как, слезла с кровати и поплелась за ним на третий этаж. Как дошла — не понимаю. Почему не изувечила ребёнка — не понимаю тоже. Отчего он не выпал прямо на кафельный пол — совершенная загадка. Велики и неподвластны человеческому уму чудеса Божьи.

В родилке, на наскоро вытертом от кровавых пятен столе, под аккомпанемент густейшего мата, негодования о порушенном санитарном дне и возмущения по поводу ненормальных первородящих, я за несколько минут родила моего сына.

Ребёнка мгновенно куда-то уволокли, не дав мне не только до него дотронуться, но даже толком рассмотреть. Меня же вывезли на каталке в коридор, где я пролежала одна-одинёшенька ещё часа два, потом зашивали разрывы без всякого наркоза, поливая опять же отборным матом, словно я себе их сама специально устроила, но это мне, естественно, было уже по барабану.

Следующие трое суток, пока мне не дали кормить ребёнка, меня волновала только одна мысль — где мой сын и что с ним. Я заливалась молоком, слонялась под дверьми детской палаты, хватала за руки всех врачей и медсестер, умоляла ответить, почему его не приносят.

— Когда надо будет, тогда и принесут, — был ответ.

Почему здоровой молодой женщине нельзя дать покормить собственного здорового ребёнка?.. Тайна сия велика есть.

Не верю!

В Германии на моих глазах готовились к родам и рожали четыре женщины — три немки и одна русская, из Питера. И все

они пытались вкручивать мне неизвестно какую чепуху. Думали, я дура или не рожала, что ли.

Занятия специальные перед родами, объясняют, как рожать, как дышать, как уменьшить боль? Да врите больше.

Показывают заранее больницу, объясняют, где какая палата, на каком этапе где лежать? Знакомят с персоналом? Ещё чего.

В своей одежде тудаходишь, а там тебе отдельная комната, и муж при тебе? Враньё.

И специальная сестра рядом с тобой сидит, следит, а если что, сразу врача зовёт? Ага, разбежались.

И при сильных болях наркоз... чего, через позвоночник? Вот сейчас-то.

А ребёнка, как родится, сразу к тебе на грудь кладут? Ну да, знаем.

И потом он всё время при тебе, прямо рядом, в маленькой кроватке? Ну и загнули!

Да, была я у них, сама ходила, навещала, видела, даже на руки ребёночков брала. Ну и что? Всё равно не верю. Лапша на уши, потёмкинские деревни и наглое очковительство.

Небось сразу, как я ушла от подруги из палаты, ребёночка из комбинезончика красивого вынули, спеленали и, как бревно, на общую каталку, как моего возили, — и в детскую палату, чтоб орал там.

И про мужа, что за руку держал, врут, и про медсестру отдельную, а про наркоз тем более. Всё врут. Я-то знаю, меня не проведёшь, сама рожала.

ХОТЯ БЫ МИЛЛИОН!

Не феминистка я. Ну что ж поделать. Меня уже за это много раз помидорами забрасывали. По мне — наше место у очага, и, так сказать, три «К» — церковь, детки и стряпня, а тащить мамонта в дом, как и всё остальное взаимодействие с внешним миром, — сугубо мужское дело.

Часть вторая

Поэтому для настоящей женщины самый надёжный способ разбогатеть — найти такого добытчика, чтобы мамонт был предельно упитанный.

С другой стороны, человек я как бы интеллигентный, что предполагает несмешивание мух со сметаной — другими словами, безоговорочное отделение тонких лирических отношений от пошлых меркантильных соображений.

Налицо серьёзный внутренний конфликт.

Оргия в «Лире»

На заре туманной юности, когда наши финансовые возможности ограничивались рублём, я постоянно впадала в этот самый неразрешимый конфликт, отправляясь с мальчиком в кино. Юный рыцарь рвался со своим рублём к кассе, я же хватала его за рукав, пытаюсь всучить собственные пятьдесят копеек. Борьба заканчивалась с переменным успехом, однако мальчик, потерпевший поражение, естественным образом вызывал раздражение у победительницы, и роман увядал на корню.

Парой лет позже один довольно настойчивый ухажёр, блиставший стабильным безденежьем, впрочем, вовсе не исключительным среди нас, каждое свидание водил меня по бульварам, упорно восхищаясь красотами городской природы, я же втихомолку мечтала о модном, только что открывшемся кафе на Пушкинской площади. И вот наконец какими-то неведомыми мне правдами и неправдами поклоннику удалось добыть энную сумму, и он торжественно пригласил меня в «Лиру». Я надела мамину кофточку, и мы отправились.

Душе хотелось разгула, представлялось что-то туманное и невыносимо заманчивое, себя я ощущала роскошной содержанкой, отправлявшейся прямёхонько в притон разврата. У гардероба я небрежно сбросила на руки спутнику болоньевую курточку, села за столик, надменно встряхнула волосами и сдержанно воскликнула: «Шампанского!»

— Шампанского? — жалобно переспросил ухажёр. — Э-э... по-моему, шампанское — вульгарно, выпьем лучше белого сухого, а?

— Хорошо, — тут же согласилась я, — действительно, шампанское...

— И можно ещё сыра взять, — приободрился юноша, — хочешь сыра? Швейцарского!

— Сыра? Ну да, к сухому вину, разумеется, — согласилась я с видом знатока.

Подошёл официант.

— Два бокала сухого, — сказал мой спутник, — и пятьдесят граммов сыра, только свежего.

Официант выразительно глянул на нас, ничего не записав в блокнотик, повернулся и отошёл.

Полчаса ожидания заказа мы просидели молча, с прямыми спинами. Картины невероятного разврата и разгула тихо умирали в моём сознании. В самом деле, трудно было предположить, что на три рубля, видимо, лежащие в кармане молодого человека, нам удастся бить зеркала, мазать официантов горчицей, слушать цыган ночь напролёт и танцевать на столах. Мы смиренно выпили своё вино, съели по два тонких ломтика сыра и отправились восвояси.

Как-то мне не захотелось после этой дикой оргии встречаться с молодым человеком ещё раз — впрочем, скорее всего, дело было в том, что он мне и до этого не очень нравился. А в подкорке незаметно, но настойчиво, всё же запечатлелось, что содержанка из меня, очевидно, аховая.

Авоська американских сигарет

В те незапамятные времена было совершенно естественным, что дети, смолоду заведшие семью — а происходило это нередко, — садятся на шею родителям. Поэтому меня совершенно не удручало то, как мне теперь представляется, совершенно противоестественное обстоятельство, что мы с мужем и ребёнком оказались на иждивении моей мамы — ну и родители мужа порой что-то подбрасывали. Молодой муж, очевидно, был более адекватен, поэтому, когда нашему сыну исполнилось два года, он записался в стройотряд — была тогда такая возможность заработать деньги в экстремальных условиях.

Часть вторая

— Заработаю, — мечтал глава семьи, — купим ребёнку комбинезон, импортный, тебе пальто и мне ботинки — сами купим, на свои деньги!

Самое смешное, что, похудев на семь кило и заработав привычный вывих лодыжки, он действительно привёз в дом сумму, превышавшую наши две стипендии, и торжественно вручил мне купюры.

Чувствуя себя миллиардершей, на следующий же день я отправилась на охоту — по тем временам куда труднее было раздобыть приличные тряпки, чем даже заработать на них денег. Разумеется, нигде ничего не было — ни пальто, ни ботинок, ни тем более детского комбинезона, да ещё импортного. Зато в «Смоленском» гастрономе, в честь открытия очередного партийного съезда, вдруг «выбросили» американские сигареты — в Москве начала семидесятых это выглядело примерно так, как если бы с неба щедро просыпалась манна небесная. И даже очередь не сразу образовалась — народ так опешил, что просто не въехал в происходящее чудо. Я, не веря в реальность случившегося, купила по три блока «Кэмела», «Мальборо» и «Кента» и блок «Салема», запихла всё это невиданное великолепие в авоську и бросилась домой. За мной бежала небольшая толпа с криками: «Где дают?!»

Когда муж вернулся из института, я, мучимая нестерпимыми угрызениями совести, ревела на кухне, наполненной ароматным дымом.

— Что случилось? — испугался он. — Деньги потеряла?

— Нет, — прорыдала я, — сигареты американские купила. Не могла удержаться.

— И плачешь? — возмутился мой некурящий муж. — Да купила — и купила! Что ж я, своей родной жене на сигареты не заработаю?

Комфорт, который я в тот момент испытала, просто не описать словами — вот она, правильная, настоящая жизнь: муж приносит в дом деньги, а я их трачу!

«А ты кто такой?»

К сожалению, такие светлые моменты выдавались в моей жизни нечасто. С возрастом я всё прочнее укреплялась в теоре-

тической уверенности, что мужик должен содержать свою даму, и всё глубже утверждалась в полной невозможности каким-то образом упрочить своё финансовое положение за счёт представителя противоположного пола.

Был у меня приятель, очень славный человек, немец, превосходно владеющий русским языком, милый и интеллигентный, но впавший в некоторое заблуждение относительно моего места в русской литературе. По его мнению, дело выглядело так, что непозволительно мне тратить время и силы на случайные заработки, тем более заниматься, так сказать, неквалифицированным трудом, а надлежит, не заботясь о бренном, безмятежно ваять нетленку. С этой целью он решил из своих личных средств назначить мне стипендию. Когда он озвучил эту идею, я страшно возмутилась — как, деньги, мне? Да как он смеет? Да кто он такой?

Несколько месяцев мы грызлись с милым человеком, как дворовые собаки — он настаивал, я негодовала; я заслужила клеймо «эгоцентрика, который не в состоянии подняться над своими мелкими предрассудками», он — обвинение в принадлежности к пошлой буржуазии, благоговееющей перед властью денег, и наконец благополучно испортили отношения.

Когда, позже, остыв, я попробовала отразить свой праведный гнев, вырисовалась забавная картина: во-первых, оказалось, что, будь он женщиной, я бы предлагаемую стипендию прекрасно взяла, и глазом бы не моргнула, во-вторых, трамвайное «А ты кто такой?», звучавшее в моих устах рефреном в течение всех наших бурных разборок, навело меня на невесёлые размышления. Выходило, что, если бы нас связывали более тесные узы, нежели нежная дружба, предложение материальной помощи меня не оскорбило бы столь безоговорочно. Стало быть, давая нечто невещественное взамен, я готова уже и деньги взять? Это кто же я получаюсь после этого?! Глубина моего презрения к себе оказалась столь бездонной, что я как-то упустила из виду свои незыблемые убеждения по поводу того, что доблесть мужчины — в его способности оградить женщину от внешнего мира, то есть попросту достойно её содержать, а женщине положено с кроткой улыбкой принимать дары.

Часть вторая

«Или ты феминистка?»

С кроткой улыбкой у меня вообще по жизни большая напрядёнка. Как-то ухаживал за мной довольно достойный дядечка, даже и не дурак вовсе, да и собой недурен. Единственным его недостатком было то, что он как-то очень уж резко принялся обозначать готовность разделить бремя моих материальных забот. Провожая меня домой, останавливался у витрин бутиков и деловито прикидывал:

— А вот такой костюмчик тебе, мне кажется, пошёл бы. Давай завтра зайдём, померим?

— Фу, — говорила я презрительно, — ничего хорошего. — И тащила спутника прочь от витрины.

Однажды были мы на концерте, проголодались, а зайти куда-то поужинать я не могла по причине оставленной дома собаки. Дома у меня, как обычно, кроме йогуртов и сыра, только собачья овсянка.

— Сейчас закажем из ресторана, — сообразил цивилизованный абориген.

Принесли еду через десять минут. Кавалер хотел расплатиться бумажкой в двести незабвенных марок — не тут-то было, у мальчика из ресторана нет сдачи. Ну, а у меня-то пятьдесят марок, к счастью, было. Как только закрылась дверь за посыльным, дядечка стал всовывать мне двухсотмарковую купюру.

— Пятьдесят, — сказала я, даже с некоторой кротостью, что мне тоже нелегко далось.

— Нету пятидесяти, а ты купи себе свитерок, что мы видели в субботу.

— Что?! Да как ты смеешь...

Ну и далее по тексту, включая «А ты кто такой?». И сделала такое лицо, типа у меня этих купюр вон полно по квартире валяется, не знаю уже, куда от них деваться.

Дядечка оказался на диво эмоционально устойчивым и осмысленно спросил:

— А что ты, собственно, имеешь против того, чтобы я сделал тебе подарок? И почему я не могу просто дать тебе денег? Они у меня что, заразные? Или ворованные? Или ты феминистка?

Услышав такое страшное обвинение, я ненадолго онемела, но быстро собралась и объяснила ему наконец всё: и про уважение к личности, и про понятие «интеллигентности», которого он не может воспринять по определению, поскольку в немецком языке даже понятия такого нету, и даже, боюсь, про загадочную русскую душу..

Честно говоря, жалко дядечку до сих пор.

Сколько мы стоим?

Был как-то у меня девичник — сидели мы с двумя подружками, мило так проводили время, говорили друг другу приятное, взаимно утверждаясь в своих несомненных достоинствах. Такие симпатичные, уютные посиделки. И одна из подружек рассказала о фильме, который недавно посмотрела. О чём там речь шла, не помню, но как-то из сюжета плавно нарисовался вопрос: может ли женщина выйти замуж без любви, если этот брак принесёт ей десять миллионов долларов. И одна из нас вдруг спросила другую:

— А ты могла бы?

Ответ не замедлил ни на минуту:

— За десять миллионов? Конечно! А ты?

— И я!

Третья эхом отозвалась:

— И я тоже!

И все трое озадаченно посмотрели друг на друга.

Получалась какая-то странная картина: только что сидели три порядочные интеллигентные женщины, правда, испытывающие некоторые финансовые затруднения, и вдруг..

И кто-то из нас додумался спросить:

— А за девять?

А люди-то мы честные...

— Да. А ты?

— И я.

И я говорю:

— Я тоже...

Тут мы вошли в азарт и начали сбавлять по миллиону сначала, чтобы не так страшно было, а потом и по два. И всё — да,

Часть вторая

да, да. Дошли до миллиона. И тогда та подружка, что помладше и поразумнее, говорит:

— Девочки, давайте дальше не будем, а? А то получится, что мы вообще дешёвые шлюхи!

Этот случай страшно поколебал мою самооценку. До того получалось, что по большому счёту, если не считать каких-то туманных подкорковых помыслов по поводу стипендии от милого слависта, человек я абсолютно независимый и совершенно неподкупный. Да, считаю, что мужик должен приносить в дом деньги, да, приятно было, когда изредка так оно и складывалось, но это ж так, скорее теоретически, а сама-то я — вся белая и пушистая. А вышло, что меня прекрасно можно купить, просто настоящей цены никто ни разу не давал — вот ведь что обидно! Может, оттого я так и возмущалась? Ну что это, право, — двести марок, свитерок, стипендия там какая-то. Нет, уж разбогатеть, так сразу на десять миллионов! Ну или хотя бы на миллион...

«РАБОТА ЕСТЬ РАБОТА, РАБОТА ЕСТЬ ВСЕГДА...»

Беда — окончить неправильный институт. Хороший институт — Историко-архивный, и подготовку даёт хорошую, но — для архивистов, а я не архивист, даже в душе. Мама думала, что я стану Ираклием Андрониковым, а я стала человеком с дипломом о высшем образовании и без профессии.

Опять зарплата?..

Впрочем, с солидным гуманитарным дипломом вполне можно было пристроиться в какой-нибудь главк, даже в министерство и попробовать сделать карьеру, да беда в том, что делать карьеру мне совершенно не хотелось. Прямой путь для человека, который не хотел делать карьеру в советских структурах, а хотел чего-нибудь интересенького, лежал на «Мосфильм». Я пришла туда «с улицы», поработала месяца два бесплатно, затем меня взяли на картину хорошего режиссёра Виктора Тито-

ва, где я была сначала помрежем, а спустя недолгое время «выросла» до ассистента режиссёра по актёрам.

Разнообразия в кино хоть отбавляй, скучать не приходилось, а знаменитости при ближайшем рассмотрении оказались совершенно заурядными людьми, отнюдь не поголовно алкоголиками и Казановами, что отчасти разочаровывало. Единственное, что оправдывало ожидания необычайного, был густой мат, вырывавшийся, как клубы дыма, из любой приоткрытой двери, но, пользуясь расхожим определением, на нём там не ругались, на нём разговаривали. Будучи человеком свежим, да и имея за плечами всего двадцать два года, я отчаянно краснела, слышав родные каждому российскому сердцу звуки, за что приобрела кощунственную кличку Богородица.

Платили мне там сумасшедшие деньги — сто пять рублей, но среди киношной кутерьмы время проходило так быстро, что я каждый раз удивлялась — что, опять зарплата? Единственный, но серьёзный недостаток работы в кино заключался, на мой взгляд, в том, что процесс довлел над результатом, поскольку «Андрея Рублёва» Титов ни разу не снял, хотя и был крепким профессионалом. К тому же мой сын пошёл в школу, что исключало поездки в экспедиции, без которых работа на «Мосфильме» была невозможна, и я с довольно лёгким сердцем уволилась.

Гарем в Минэнерго

Дальше за меня взялся мой отец. Решив положить конец моим несерьёзным и бесперспективным, с точки зрения номенклатурного работника, киноприключениям, он засунул-таки меня в Министерство энергетики, где я с первого дня подверглась совершенно людоедской травле всего отдела.

Дело в том, что в отдел я была принята двенадцатой по счёту дамой, тринадцатым же был начальник отдела. Естественным образом рабочий коллектив рассматривался им как личный гарем, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Надо сказать, сотрудницы уживались между собой относительно мирно, что было обусловлено жёсткой и логичной последовательностью смены фавориток, и некоторым

Часть вторая

даже целомудрием шефа, который никогда не позволял себе осчастливить своим вниманием двух подчинённых одновременно. Моё появление грозило внести хаос в стройный и налаженный порядок, а мои попытки проартикулировать, что я нимало не претендую на расположение вожака стаи, воспринимались как грязная клевета на безупречный нравственный климат отдела, поскольку, как известно, что не названо, то и не существует. К тому же против меня было выдвинуто чудовищное и совершенно неопровержимое обвинение, а именно — что я каждый день мою голову. Искупить такой позор было невозможно, пришлось увольняться. Заявление моё об уходе начальник отдела продержал под сукном три месяца, что утвердило коллег в их подозрениях, а я рассудила, что моя жизнь теперь подвергается непосредственной опасности, и перестала ходить на службу, дождавшись получения трудовой книжки по почте.

Обнажённая натура

Не желая, чтобы мой ребёнок ходил в школу с ключом на шее, я устроилась страховым агентом — это сулило перспективы свободного распределения рабочего времени и неплохого заработка, но карьера не получилась: к несчастью, я сообразила, что при мощной скрытой инфляции все виды страхования — суть замаскированный грабёж, и это мешало мне убеждать трудящихся в необходимости приобретения страховок с достаточной уверенностью и апломбом.

Некоторым оазисом была работа моделью в художественных мастерских — это относительно хорошо оплачивалось и оставляло много времени для моих писаний, но вскоре, как на грех, у меня поменялся муж, а установки нового мужа не позволяли ему торговать телом жены, даже в такой возвышенной и безобидной форме.

Килограмм рублей

Потом неожиданно кончилась советская власть, что переменяло мою жизнь до неузнаваемости: меня внезапно начали печатать, а для заработка подвернулась должность

редактора культурных программ в так называемом социально-культурном центре «Народный дом». Мы организовали Пушкинскую выставку в Манеже, провели Булгаковский праздник на Патриарших прудах и вообще вовсю резвились в перестроенной Москве, и даже, как ни смешно, зарабатывали какие-то деньги. Начальник был милейшим пройдохой, коллеги — симпатичными, как на подбор, словом, не служба, а именины сердца.

Я бегала по городу по делам «Народного дома», брала интервью для газеты, по ночам писала своё, редактировала чудовищные переводные детективы и совершенно не заметила, как впервые в жизни начала много зарабатывать — жаль только, что рубли в это время почти ничего уже не стоили.

Рост заработков опережал начавшуюся инфляцию, а поскольку муж тоже существовал в нескольких ипостасях, пачки обесценивающихся дензнаков, на которые нечего было купить, лежали по всему дому, мы никогда не знали, сколько в доме денег, и тратили их в основном на такси и импортные сигареты, а «еду» — никто уже не дифференцировал, какую именно, — муж приносил в баночках из огоньковской столовой.

По следам Марины Влади

Оказавшись в Мюнхене и убедившись, к своему глубокому разочарованию, что место редактора на «Радио Свобода» для меня не зарезервировано, — «раньше надо было приезжать, голубушка, раньше!» — я стала прикидывать возможности реального трудоустройства.

(Замечу в скобках, что меньше всего я хотела бы недооценить преимущества проживания в одном городе с радио, особенно заметные теперь, когда — увы! — его здесь больше нет. Возможность подработать — писать журналистские материалы, поработать годик по контракту, если повезёт, а иногда и сделать собственную передачу — это, конечно, прекрасно, но такие потери можно пережить и чем-то компенсировать, а вот постоянный источник полной и достоверной информации и замечательная тусовка — утраты невозполнимые. Не тот стал Мюнхен без «Радио Свобода», ох, не тот!)

Часть вторая

Работа наша такая

Закончив Гёте-институт и трезво оценив свой немецкий, я поняла, что передо мной всего две возможности: отправляться с протянутой рукой в социаламт или идти физически мыть посуду — ту самую посуду, о которой, по утверждению Довлатова, столь аппетитно разглагольствуют будущие эмигранты на родине, ни на секунду, впрочем, не допуская такой возможности, оказавшись «в стране пребывания». Идти в социаламт очень не хотелось, что такое на самом деле мытье посуды, я представляла себе плохо — боюсь, что в моём сознании возникал образ Марины Влади в прелестной косыночке и ярких резиновых перчатках, играючи перебивающей в белоснежной раковине несколько тарелок после семейного обеда — как же назывался этот фильм? — но по прежнему опыту я считала себя человеком последовательным и никакой работы не боящимся, поэтому отправилась в рейд по близлежащим точкам общепита.

Уже в третьем кафе — это было кафе-мороженое, а они в Мюнхене все сплошь принадлежат итальянцам — хозяйка, терпеливо выслушав заготовленную со словарем речь о том, что я ищу работу и согласна на любую, вплоть до мытья посуды, кивнула и лаконично сказала: «Каждый день, без выходных, с двух часов дня до двенадцати ночи, об оплате договоримся. Сейчас июль, работать до ноября, а на зиму мы уезжаем в Италию, вернёмся весной». Я поспешно согласилась.

1,666... ДМ в час и мороженое по ночам

На улице стояла жара, в кафе было не только жарко, но и душно — старомодный вентилятор еле двигал густой воздух, — а возле огромной посудомоечной машины, из которой надо было доставать чистую посуду, чтобы немедленно загрузить грязную, температура была, по моим ощущениям, градусов сто. Поднос с массивными керамическими плошками был такой тяжёлый, а проклятые клиенты с такой немислимой скоростью жрали своё мороженое, что уже через час после начала рабочего дня я сбивалась со счёта, сколько рейдов к окаянной машине я уже совершила, и не могла разогнуться, заполнив её очередной порцией керамики.

Зато, доплетаясь домой, я начинала засыпать уже в душе, забыв о бессоннице, а домашние нетерпеливо ждали моего возвращения, потому что в полночь хозяйка щедрой рукой неизменно накладывала мне в самый большой картонный стакан десять шариков восхитительного, настоящего итальянского мороженого — по два на каждого члена семьи.

К концу летнего сезона я похудела на пять килограммов — что неплохо — и заработала две тысячи марок, что было уже хуже, так как при несложном подсчёте получалось, что, работая по десять часов в день, семь дней в неделю, я в месяц зарабатывала по пятьсот марок, то есть примерно по 1,666... (бесконечная дробь) в час. Однако две тысячи марок были тогда для нас гигантской суммой, а полезный урок я извлекла: никогда больше не приступала к работе на условиях «о цене договоримся».

Битье яиц с высшим образованием

Следующее рабочее место было огромным скачком в моей немецкой карьере: по большому благу меня устроили в роскошный «Кауфхоф» помощником продавца продовольственного отдела — работа, для которой моего тогдашнего языкового уровня, честно говоря, было явно недостаточно. Ведь покупателям более или менее наплевать, как называется твоя должность, продавец ты или помощник, а ответь им немедленно, куда запропастился сегодня их любимый — один из двухсот — сорт сыра? Если учесть, что во времена моего отъезда из Москвы никто и не думал делить сыр на сорта, а назывался продукт просто и незамысловато — «сыр», да мало того, что надо выучить двести названий и где какой лежит, нужно ведь ещё и понять, о чём, собственно, тебя спрашивают...

К тому же вскоре я обнаружила, что в моей самооценке всю предыдущую жизнь был явный перекосяк: я считала себя довольно ловкой и подвижной, а на поверку оказалась совершенно «безрукой» и неуклюжей. Моя начальница, обрадовавшаяся мне поначалу, через неделю отказывалась понять, что в моих действиях отсутствует злой умысел. Я била яйца, раскладывая их по коробкам, роняла на пол йогурты, врезалась тележкой, наполненной пакетами молока, в стойку с маслом,

Часть вторая

ущерб от чего был неописуем, и если пыталась расставлять товары так же быстро, как начальница, то на витрине образовывался невероятный хаос, а если так же аккуратно, то — вчетверо медленней. Надо сказать, моё вполне высшее образование нисколько мне не помогало. И если бедная тётка не стала из-за меня антисемиткой, то только потому, что я боялась тратить время на надевание кофты при входе в помещение холодильника, откуда доставлялись продукты в торговый зал, и вскоре свалилась с каким-то невиданным бронхитом с температурой под сорок.

Послужной список

Потом была работа по контракту на «Радио Свобода», тот самый год, в течение которого я не переставала себя спрашивать — хорошо это или плохо, что мне не удалось получить на радио постоянную работу? С одной стороны, работаешь с милыми людьми и — о счастье! — по-русски, с другой — в Германии ты при этом как бы и не живёшь, а живёшь, словно в гетто, пусть в гетто очень симпатичном. Такой вроде «Остров Крым», которого ведь на самом деле нету...

Вопрос решился сам собой — «Радио Свобода» перевели в Прагу, а я нашла место сиделки у когда-то знаменитой преподавательницы музыки с болезнью Альцгеймера. Это грустная и длинная история, длиною почти в пять лет, взявшая у меня много сил и нервов и давшая мне взамен опыт печали и сострадания и один, кажется, неплохой, рассказ.

Уборка квартир, бэби-ситтерство, сверка цифр в переводах технической документации (на сами переводы языка до сих пор не хватает), уроки русского языка (редкое везенье), присмотр за подъездом на время отъезда управдома, сортировка историй болезни во врачебном кабинете, редактирование графоманских рукописей (денег до сих пор не заплатили) — далеко не полный мой послужной список.

Оглядываясь на десять лет эмиграции и на предыдущие срок два московских года, я понимаю, что все мои доэмигрантские работы — детские игры в песочнице по сравнению с тем, чем и как мне пришлось заниматься в Германии.

«Хватило б только пота на все мои года...»

Смешной вывод, который следовало сделать, вероятно, гораздо раньше: оказывается, работа — это вовсе не то, что доставляет тебе удовольствие или, в крайнем случае, не мешает тебе жить в своё удовольствие. Работа — это то, за что платят деньги. Ни больше и ни меньше. В радость — если ты можешь эту работу достойно выполнять. Не бить яиц и не ронять йогуртов. Не заставлять клиентов сидеть перед грязной посудой, а мгновенно убирать её со стола. И до блеска отдраивать кафель в чужой ванной. И выдрессировать тупую студентку, чтобы она сдала таки свой экзамен. И дать напоследок хоть горсточку радости человеку с угасающим со дня на день сознанием. И получить за это деньги.

Так устроен мир. И, наверное, устроен он правильно.

«АХ, ЛЕТО КРАСНОЕ...»

Ненавижу зиму! всю жизнь ненавидела. В детстве ещё было ничего — лыжи, санки, игра в снежки, — а когда подросла, осознала: нет, это не жизнь. Ну что это, в самом деле: каждый выход на улицу как в открытый космос: закутываешься, заматываешься, и, как под обстрелом, короткими перебежками...

Странно, ведь родилась и всю жизнь прожила в «средней полосе», где зима — полгода в году. Гены, наверное, сказываются — гены-то к теплу привыкли, там ведь жара у нас, на Красном море.

«В Москве прохладно...»

Ну, конечно, настоящая жизнь — это лето. Когда все вокруг живое, зелёное, когда, как дома сидела в сарафанчике, так на улицу и пошла — пространство едино, открыто и дружелюбно. Каждый год с трепетом ждала, когда же оно наконец наступит. А в Москве обычно так: ждёшь его, ждёшь, а потом — неделя жары, две недели — более или менее, а всё остальное время — дождь, сырость и ветер холодный, и, глядишь, оно уж и прошло.

Часть вторая

Каждый год с трепетом надеялась — вдруг лето будет по-настоящему жаркое? Отчаивалась, выслушивая в очередной раз в «сводке погоды» обычное: «В Москве прохладно, 15—17 градусов, временами небольшой дождь». И, если наступала всё-таки жара, искренне блаженствовала, даже если зашкаливало сильно за тридцать и окружающие начинали тихо помирать от зноя.

Одно лето запомнилось отдельно. Было начало 70-х. Москву постигло некоторое стихийное бедствие: пришла жара — да так и осталась. И тридцать градусов, и за тридцать, а потом чуть ли не под сорок... Листва пожухла, подмосковные огороды выгорели, начали тлеть торфяные болота за городом. Народ изнемогал, на улицах без конца выли сирены «скорой», обмороки в транспорте стали делом обыденным — одна я, свеженькая и счастливая, носилась по раскаленному городу, наслаждаясь солнцем. Не лето — рай!

«Упал — очнулся — гипс»

А тут ещё получилось так, что вся семья отправилась к морю, меня же «неотложные литературные дела» держали в городе. Я проводила домашних и вернулась в пустую квартиру, предвкушая радости зноя: хождение по дому голышом, прохладный душ пять раз в день, освежающие поездки на водохранилище и долгие неспешные вечерние прогулки, когда воздух как парное молоко, деревья тихонько шуршат, отдыхая от солнца, и звёзды словно излучают тепло.

Вернувшись, вспомнила, что забыла купить сигарет, влезла на табуретку, чтобы достать со шкафа заначку, у табуретки подвернулась алюминиевая ножка, я рухнула на пол и уронила на ногу тяжёлый керамический кувшин, в котором хранились сигареты про запас.

К утру ступня чудовищно распухла, я кое-как добралась до больницы, получила там диагноз «перелом плюсны», гипс до колена, костыли и заверение в том, что, если не дам ноге полный покой, останусь хромой на всю жизнь.

Температура воздуха в Москве была в тот день 37 градусов. Я шкандыбала по дому на костылях и делала любопытные открытия: например, если хочешь принять душ, надо, сидя в ванне,

вывешивать загипсованную ногу за её край, иначе навернёшься и сломаешь ещё одну конечность. Если нужно принести из кухни в комнату стакан воды, следует запихивать его за пазуху, потому как на костылях — руки заняты, а если прыгать на одной ноге, расплескивается вода. Телефон надо постоянно иметь подле себя, потому что иначе ни у кого не хватает терпения дождаться, пока я до него доберусь. А та часть моего организма, которая оказалась в сорокаградусную жару под гипсом, ведёт себя совершенно автономно, проще говоря, свербит невыносимо, и нет против этого никаких мыслимых средств, кроме как залить под гипс воды, отчего он несомненно размякнет, что чревато пожизненной хромотой...

«Кончилось лето жаркое...»

Жара стояла над Москвой ещё месяц. Друзья, изнывающие от зноя, редко добирались до моей окраины. Продукты приносила добрая соседка. Сойдя однажды с третьего этажа на костылях, я поняла, что в следующий раз повторю этот подвиг только в случае пожара, да и прогулки под палящим солнцем с пудовой ножищей вовсе не были так уж заманчивы.

Я перечитала весь имеющийся в доме печатный текст, включая старые газеты, выучила наизусть невыносимо скучный чешский детективный сериал, каждая серия которого показывалась дважды — вечером и утром, и написала два рассказа, воспевающие прелести лета и настоящей жары.

К исходу третьей недели заточения меня впервые посетила крамольная мысль, что лето, да ещё такое жаркое, пожалуй, не столь уж безусловная ценность, как мне представлялось, и что в прохладе и мелком дождике есть определённые преимущества, которых я до сих пор не замечала.

Просидев взаперти месяц, я освободилась наконец от гипсовой повязки и радостная выскочила из больницы, предчувствуя праздник лета со здоровой ногой. Над Москвой собирались тучи. Начались проливные дожди. Лето кончилось.

Не по погоде, а по сезону

Собираясь в Мюнхен, я как неоспоримое преимущество учитывала то обстоятельство, что он находится на географи-

Часть вторая

ческой широте Днепропетровска, который, по моим понятиям, отличается жарким, едва ли не тропическим климатом. При сборах я укладывала в чемодан самые лёгкие и открытые платья, предполагая, что стабильные двадцать пять — двадцать семь градусов мне уж всяко будут обеспечены.

Выйдя из самолёта пятого мая, я обнаружила яркое солнце, довольно сильный ветер и температуру около двенадцати градусов. «Ну ничего, — подумала я, — должно быть, случайно выпал прохладный день. Бывает».

Через несколько дней, изрядно замерзнув, я уже бегала по магазинам в поисках дешевого плаща или хотя бы куртки, потому как температура стабильно оставалась вокруг двенадцати — четырнадцати, и ожидаемой тропической жары ничто не предвещало. Куртка с тёплой байковой подкладкой была куплена на фломаркте, я застёгивала её доверху и чувствовала себя более или менее сносно.

Несколько удивляло, что аборигены шеголяли в маечках, сарафанах и топиках и вели себя так, словно воздух прогрелся градусов до тридцати. Много позже я уяснила для себя, что народ здесь дисциплинированный и одевается не по погоде, а по сезону: сказано — лето, стало быть, лето, и нечего мудрствовать лукаво, надел майку, да и пошёл, хоть меньше десяти градусов на улице, что, к слову сказать, бывает летом не так уж редко.

Вообще же местные погодные условия исчерпывающе описываются баварской поговоркой: «Если вам не нравится мюнхенский климат, подождите четверть часа — он переменится».

«В Мюнхене — прохладно...»

Прожив в альпийской лощине несколько лет, я поймала себя на том, что каждую весну трепещу в ожидании — ну придёт наконец по-настоящему жаркое лето? Или опять буду одна на весь город кутаться в куртку и прислушиваться к телевизионным новостям в тщетной надежде, а мне оттуда: «В Мюнхене завтра прохладно, небольшой дождь...»

Нет, опять я в неправильный климат угодила. Гены просят тепла, а где его взять? Не иначе, надо хотя бы на лето туда, от-

куда гены, — на Красное море. Там вот сегодня тридцать четыре, а у нас-то снова пятнадцать — разве ж это лето?

Единственное утешение — собака моя со мной категорически не согласна, она как раз плохо переносит жару. Если выпадет неделька по-настоящему жаркая и я блаженствую под солншком, у него — язык наружу, и задыхается. Так что мне теперь любая погода в радость: жарко — я немного порадуюсь, холод — собаке легче. Философски смотрю на вещи: главное — чтоб лето было, а уж холодное, жаркое — как получится.

РОСКОШЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Что такое вкус? Способность приводить доступную нам часть зримого мира вокруг себя в некоторую гармонию, а себя — в гармонию с миром. И как же можно этому научиться? Это, наверное, в генах. Как живописный или музыкальный талант.

Белый верх — чёрный низ

Дикарская любовь ко всему яркому, блестящему, пёстрому появилась на свет, очевидно, вместе со мной. Может быть, потому, что наш быт был скорее аскетичен, не столько по убеждению, сколько по бедности, граничившей с нищетой.

Железная кровать с продавленной сеткой, хромоногий стол, под ножку которого запихивалась для устойчивости сложенная в несколько раз картонка, шкаф с треснувшей дверцей, абажур из куска собственноручно раскрашенной мамой ткани. Посудную полку на кухне бабушка украшала бумагой, затейливо вырезанной фестонами, таким бумажным кружевом — и меня научила.

Всё моё раннее детство маму я помню в одном и том же наряде: чёрная юбка, клетчатая чёрно-красная блузка и серая кофточка. Пальто у неё было одно, драповое, тёмно-синее. Зимой под него надевался стёганый ватник. В этой своей вечной униформе мама, как я теперь понимаю, выглядела даже элегантно — если, конечно, зимой не приходилось снимать пальто на людях.

Часть вторая

Мне сейчас сложно себе представить, какими трудами меня-то ухитрялись одевать — как ни крути, а обновки требовались регулярно, я ведь росла. Сколько помнится, мне постоянно что-то из чего-то переделывали, перешивали, перелицовывали: из бабушкиного халата в горошек выкраивалось летнее платье, из тенниски троюродного брата — «белый верх» для пионерской формы, из перелицованной маминой юбки, той самой, из моего детства, «чёрный низ» для неё же, и даже на первом курсе института я щеголяла в пуловере, изобретательно переделанном из тёткиной кофты — обтрепавшиеся края сострочили, получилась очень милый полосатый свитерок.

«В этой чёрной-пречёрной комнате...»

Невероятными мамиными и бабушкиными стараниями выглядела я вполне прилично — во всяком случае, всё на мне было «под цвет», настиранное и наглаженное, — но мне-то виделись атласные туалеты, пушистые боа, жемчужные диадемы... Когда мне было лет восемнадцать, мама превратилась из юрисконсульта с зарплатой в шестьдесят пять рублей в адвоката с четверо большим доходом. Учитывая мамин жизненный принцип «всё лучшее — детям», можно представить, как изменился мой обиход. Надо признать, я взяла у жизни неплохой реванш. С атласными туалетами, боа и жемчугами в Москве рубежа 60–70-х годов было туговато, но кое-какие предметы роскоши для удовлетворения моего изысканного вкуса оказались доступны.

Из блестящего чёрного сатина мне был пошит длинный халат, с талией в рюмочку, рукавами-крыльями и огромным декольте. Из этого же сатина смастерили восемь диванных подушек, которые я разложила по полу в своей комнате, вынеся оттуда все стулья. Я покрасила чёрной краской оконные переплеты, дверную коробку и книжные полки, повесила тёмно-вишнёвые шторы и навсегда повернула абажуром к стене красную настольную лампу.

В этой «чёрной-пречёрной комнате» я в своём черном халате напоминала то ли ведьму, первой прибывшую на шабаш, то ли сотрудницу не очень дорогого борделя. Во всяком случае, посетители, впервые входившие в мою комнату, ощутимо вздрагивали.

«Что это за р-р-роковая женщина?!»

Свой облик для выхода на люди я тоже привела в соответствие с моими представлениями о прекрасном. На мне был парик (последний крик моды!) платинового цвета, весь в локонах, как у маркизы, губы покрывала бледно-розовая, почти белая, помада, глаза оттенялись ярко-чёрными стрелками, а платье... Но платье, собственно, было неважно, потому что я была с ног до головы задрапирована в гигантскую чёрную шаль с кудрявой бахромой и вышитыми на углах декадентскими лилиями, купленную по невероятно счастливому случаю в комиссионке на Герцена.

Приобреталось всё это великолепие, понятно, постепенно, и, увидев меня, так сказать, в завершённой форме, мама на некоторое время лишилась дара речи, потом прошептала:

— Доченька, ты же похожа на привидение. Если помаду хотя бы... или парик... или, может быть, тогда уж без шали?..

— Зато оригинально! — надменно заявила я.

— Оригинально... Это — да, — подтвердила бедная мама.

В таком вызывающе роскошном виде я явилась на следующий день в Театр им. Моссовета, в архиве которого мне предстояло проходить практику в наступившем семестре. Вахтёр, выписывавший мне временный пропуск, взглянул на меня такими безумными глазами, а все встреченные мной в служебном фойе и в коридорах театра настолько пристально меня оглядывали, что я осталась вполне удовлетворена.

Всё шло прекрасно, пока в служебном буфете меня не приметила Фаина Георгиевна Раневская. Я-то заметила её гораздо раньше — ещё бы, сама Раневская! — а она меня — погода, но, заметив, немедленно всплеснула руками и вскричала трубным басом: «О, кто эта женщина?! Что это за р-р-роковая женщина?!»

В туалете я, обливаясь слезами обиды, сдёрнула парик, смыла помаду и смяла в комок свою великолепную шаль.

Жупел Лили Брик

Не сказать, однако, чтобы урок, преподанный великой актрисой, пошёл мне сильно впрок. Платиновый парик я, прав-

Часть вторая

да, больше не надевала и с белыми губами на улицу не выходила, но сохранила пристрастие к стилю модерн начала века и так и норовила нацепить огромные серьги из яркожёлтой латуни с пацифистской символикой, которые, по моему мнению, очень удачно сочетались с прабабкиной цепочкой из старого золота. Из-за этих серёг мне пришлось расстаться с возлюбленным. Я не смогла ему простить сказанного на выдохе «Сними, умоляю, сними!» при встрече в дождливый день на Маяковке.

А время идёт. «У тебя слишком строгий вкус, — говорят мне друзья, — отчего бы тебе не одеваться в более смелом стиле?» Это у меня-то — строгий вкус! Нету. В том-то и дело. Просто — время...

Девочка в двадцать лет, если она недурна собой, может позволить себе всё что угодно. Женщина в тридцать — если не всё, то многое. Ну и так далее, по убывающей.

Но наступает момент, когда надо иметь безупречный вкус, чтобы позволять себе определённые вольности и в то же время не выглядеть смешной. Иначе возникает Лиля Брик — восьмидесятилетняя красотка с рыжей косичкой и с брюликами в пятак величиной на высохших куриных лапках. Царствие ей небесное, вечный покой, бедненькая, конечно, она была в своём беспомощном нежелании примириться с возрастом, но, на мой взгляд, это всё-таки безнадежный мажор и для меня — самый страшный жупел.

Если вкус — это приведение себя в гармонию с реальностью — со своим статусом, социальным положением, обществом, в котором ты живёшь, то уж, конечно, и с возрастом тоже. Любое несоответствие — неприятно и смешно. А поди угадай его, это соответствие. В чёрных джинсах и чёрном пуловере или майке я, по крайней мере, уж точно не рискую на смешить людей.

А девочек с разноцветными волосами, увешанных цветными стекляшками, в башмаках на платформе с кулак толщиной, я, разумеется, провожаю завистливым взглядом. Ну нету вкуса — где ж его взять?

НАЙДИ СЕБЯ

«Покажи мне, как ты живёшь, и я скажу тебе, кто ты». Разве нет такой мудрости? Странно. А надо бы. Стерильная нищета дома в Подмоскowie, где я родилась, хлипкое изящество нашей с мамой однокомнатной квартирki, полированное убожество роскошных — 27 метров полезной площади! — апартаментов, в которых вырос мой сын и которые не шутя называет своим родовым гнездом... Как я теперь понимаю, владея знаковой системой считывания сути интерьера, в каждом из них можно было вычислить индивидуальность и менталитет жильцов, и совершенно безошибочно.

Шкаф торцом к стене

Вычислялась моя бабушка, с её приверженностью к патриархальному уюту и упорядоченному быту, моя мама, с её патологической чистоплотностью — отчего соседи сравнивали мамину квартиру с музеем-квартирой Ленина в Кремле — вроде как настоящее жилище, но вылизанное и оттого явно нежилое, — вычислялась и я, с моими юношескими задвигами и стремлением превратить квартиру в театральную декорацию к сверхмодерной пьесе.

Когда издержки возрастного сумасбродства изжились, оказалось, что для удовлетворения своих дизайнерских потребностей я располагаю комнатой размером в 15 метров, вытянутой, как кишка, таким же кишкообразным коридорчиком, пятиметровой кухней и ванной, в которой проблема габаритов пользователя стояла чрезвычайно остро: прибавив пару килограммов, я рисковала тем, что ванная комната окажется мне узка в бёдрах. (Очевидно, эта угроза на всю жизнь привила мне пристальное отношение к контролю веса и объёма.)

Вторая комната, в 12 метров, зато квадратная, принадлежала моему сыну и представляла собой табуированную территорию — вторжение в его частное пространство было недопустимым, и я ограничивалась еженедельной уборкой, при которой не рекомендовалось дотрагиваться до отдельных предметов, в каком бы странном порядке и месте они ни располагались.

Часть вторая

Загадочным для меня образом ребёнок действительно знал, где у него что лежит, и малейшее вторжение в первозданный хаос оборачивалось отчаянным воплем: «Где у меня вот эта штучка?! Она лежала у ножки стола, а теперь её там нет!» Пришлось принять ситуацию, как она есть, и при уборке священнодействовать, не сдвигая ни на миллиметр наполнение пространства.

«Большую» комнату, оставшуюся в полном моём распоряжении, я подвергала регулярным атакам с целью превратить её убранство в *интерьер*. И все перемены, происходившие в моих эстетических предпочтениях, взглядах на жизнь и просто в настроении, немедленно сказывались на обстановке — благо мебелишка была утлая, и двигать её не представляло особого труда. Ну, я и двигала. Примерно раз в месяц. Причём сквозная задача оставалась неизменной и невыполнимой: сделать так, чтобы комнатёнка не совпадала по пропорциям с купе поезда или паровой каютой. Чего я только не перепробовала — даже ставила шкаф торцом к стенке.

Движимая стремлением к переменам, я порывалась то превратить помещение в стилизованную избу, застелив все полы домоткаными дорожками, обив этими же дорожками стены, застелив ими же тахту и заняв все плоскости хохломскими и лубяными изделиями, то воспроизвести европейский, в моём понимании, дизайн, оклеив стены обоями наизнанку и завесив их эстампами, приобретенными незадолго в художественном салоне.

Муж как решение проблемы дизайнера

Ничего не получалось. Комната выдавала меня с головой: в ней жила взбалмошная баба, не обладающая выраженными вкусовыми пристрастиями и ничего не умеющая довести до конца — это становилось ясно буквально с порога. Видимо, поняв всю тщету своих стараний, я бессознательно подошла к единственно возможному решению: если я сама не обладаю талантом дизайнера, необходимо подключить кого-то к процессу. И вышла замуж. А потом — ещё раз. И снова. И мгновенно забыла о проблемах, связанных с интерьером, — отныне все решалось как-то само собой.

Один из мужей обладал сверхъестественным талантом решать проблему недостающего пространства: он составил мебель в два этажа, водрузив книжные шкафы на платяные, отчего комната стала казаться много просторней. Единственный недостаток состоял в том, что приходилось ежеутренне контролировать устойчивость конструкции. Книжный шкаф, падая из-под потолка, способен, как оказалось, причинить немалые разрушения.

Другой был помешан на звукозаписывающей аппаратуре, что решало проблему дизайнера раз и навсегда — оставалась только одна проблема: как разместить в пятнадцатиметровой комнате три магнитофона, два проигрывателя, шесть гигантских колонок и ещё умудриться как-то в этом пространстве жить. К аппаратуре прилагалась светомызыка, так что, по крайней мере при погашенном свете, комната приобретала чрезвычайно облагороженный и своеобразный вид — то ли дискотека, то ли новогодний праздник в доме культуры средней руки.

Следующий, происходя из семьи, имеющей отношение к искусству, страдал ярко выраженными художественными пристрастиями, и каждый сантиметр пространства оказался заполнен скульптурами и изысканными дизайнерскими вазами — всё опять решилось как-то без моего участия. Единственное осложнение состояло в том, что в тех же габаритах пришлось разместить, вдобавок к немаленькой моей, ещё и его солидную библиотеку, отчего книги заполнили весь объём между мебелью и потолком, и комната приобрела уже окончательно шизофренический облик. Зато теперь никто не смог бы сказать, что наше жилище лишено индивидуальности.

Проблема дизайна ванной решалась и решается мной по сей день абсолютно автоматически: я никогда ничего не выбрасываю, кроме пустых тюбиков от зубной пасты, — ну, мылы моему сердцу баночки от использованных несколько лет назад кремов и флакончики от закончившихся духов. В результате ванная приобретает сходство с парфюмерным магазином, что, по моему разумению, придаёт ей необычайный уют и колорит. Если к тому же изредка получать в подарок пену для ванны в красивых флакончиках, а мыться исключительно под душем, то вот она и дизайнерская находка — все поверхности намёртво за-

Часть вторая

крыты, из чего, соответственно, следует, что и мыть их надо не слишком часто.

«Мыслитель» с фитилем

Оказавшись в Мюнхене, я сразу заинтересовалась тем, как аборигены решают проблемы интерьера — в моём сознании жило представление о некой «западной квартире», которая, очевидно, по уюту и комфорту должна была превзойти все до сих пор мной виденное. С этой же познавательной целью я полюбила заглядывать в низко расположенные окна, с целью подсмотреть и разгадать тайну местного жилища.

К моему удивлению, оказалось, что мои вуайеристские изыскания, равно как и визиты, наносимые туземцам, всего лишь подтверждают немудрящую мыслишку: жилище — зеркало души хозяина. Квартиры были до такой степени разные и друг на друга решительно непохожие, что образ абстрактной «западной квартиры» с треском рухнул и до сих пор не имеет никаких шансов на реставрацию.

Одна знакомая оказалась двинута на свечках. В её двухкомнатной, стильной и чудесно пахнувшей квартирке я насчитала около восьмидесяти экземпляров, сбилась и плюнула. Знакомая выглядела и вела себя как женщина властная, решительная и даже жестковатая — её жилище, дробящееся на бесчисленные восковые загогулилки, опровергало это впечатление начисто. Свечки были ароматические, цветные, фигурные, в стиле ретро, в стиле модерн, и ещё Бог знает какие. Когда в дальнем углу гостиной обнаружилась свеча в полметра высотой, формами повторяющая роденовского «Мыслителя», с фитилем в башке, я посочувствовала приятельнице, заодно отметив про себя, что с ней у меня никогда не будет проблем с подарком на день рождения — свечку, что же ещё!

Сосед по дому, изысканный интеллеktуал, философ по профессии, оказался владельцем совершенно девических апартаментов, с розовыми прозрачными шторами, бронзой на белом дереве и бесчисленными хрустальными светильниками. Надо сказать, побывав у него дома, я про него тоже кое-что поняла, что позже и подтвердилось в процессе общения.

Чрезвычайно холёная и стильная девица проживала в настолько захлавленной и запущенной квартире, что казалось невероятным, каким образом она ухитряется выходить из неё «с иголки». Стулья шатались, дверцы шкафов болтались, все поверхности были завалены одеждой и банановыми шкурками, а посуда производила впечатление подобранной на помойке. Другу, приведшему меня в гости к даме сердца, я на обратном пути сказала робко: «Слушай, не женись на ней, а?» — и немедленно ощутила себя последней сволочью, предающей профессиональную женскую солидарность. «Из-за того, что она свинья? — бодро отозвался друг. — Подумаешь, наплевать, я уборщицу возьму». «Ну-ну», — подумала я и не стала спорить.

Охота за синевой

Начинать новую жизнь всегда интересно, хотя и стрёмно, а начинать новую жизнь в новой квартире — это просто как второе рождение. Мне однажды такое выпало. Особых дизайнерских амбиций у меня в этот раз не было, мебель кое-какая имелась, предметы обихода в общем тоже. Хорошо, подумала я, пока как-нибудь размещусь, а там видно будет, не понравится, можно будет всё поменять, мебель переставить, в конце концов. И машинально посмотрела на пол своей новой гостиной, отметив, что по синему ворсистому ковровому покрытию, застилающему пол сплошь, мебель, пожалуй, особенно не подвигаешь, не то что по лысому линолеуму московской квартиры. Взглянув мельком на синий пол, я и не предполагала, что ему суждено определить моё существование на все обозримое будущее.

В одну из первых недель новой жизни, едва разобрав вещи, я отправилась знакомиться с кварталом. Всё необходимое было довольно близко, а на углу располагался чудный, очень стильный посудный магазинчик. Я зашла туда мимоходом, чтобы прикупить солонку, которую никак не могла найти в полураспакованных вещах, — и тут-то и началось.

Красивые затейливые солонки стоили недорого и были в нескольких цветах: оранжевые, белые, зелёные и синие.

— Мне вот эту, — ткнула я в синюю почти машинально.

Часть вторая

— Интересуетесь синим цветом? — живо отозвался продавец. — У меня как раз сейчас чудный синий сервиз уценён, вам как соседке ещё четверть цены скину, хотите?

В мои ближайшие планы вообще-то не входило покупать посуду, но стеклянный сервиз был совершенно прелестный и просто за смешную цену, к тому же я как-то вдруг сообразила, что он по цвету идеально подходит к моему ковру..

Спустя неделю в продовольственном магазине среди «сопутствующих товаров» обнаружили декоративные керамические шары разного диаметра. В сущности, они мне были как бы и не нужны, но ведь синие — как не взять.

Синее покрывало на диван я уже искала совершенно целенаправленно и ощутила вспышку острого счастья, обнаружив его в недорогом магазине, и именно такое, какое требовалось, — глубокого тёмно-синего цвета, с густым ворсом. Потом мне невероятно повезло: на распродаже появились синие с мягким узором пледы, по размеру как раз подходившие к моим креслам.

К этому моменту друзья и знакомые выявили направление моего умопомешательства, и синие вазочки, пепельницы и прочие предметы первой необходимости посыпались, как из рога изобилия. Очень способствовали дворовые фломаркты, которые проводятся в моём районе регулярно, — там можно нарвать такие дивные синие подсвечники, стеклянные, опять же синие, пробки к бутылкам и кучу других предметов, не имеющих целевого назначения, но покоряющих синевой, что, приперев домой полную сумку барахла за сущие копейки, две недели чувствуешь себя счастливой.

Синее счастье

Но апогей наступил, когда в витрине дорогущего мебельного магазина среди аксессуаров я увидела настольную лампу. Со стройным синим фарфоровым телом, с синим изящным колпаком. Возле лампы стоял чётко прописанный ценник с запредельной цифрой. Меня охватило отчаяние. Отныне жизнь без этой лампы теряла всякую цену, а будущее представлялось совершенно безрадостным. Именно она, и только она могла бы

собрать в фокус весь интерьер, создав в центре комнаты, на письменном столе, истинный цветовой стержень. Но за такие деньги... И думать нечего. И, движимая инстинктом самосохранения, я стала избегать мучительной витрины, обходя её третьей дорогой.

Когда несколько недель спустя я случайно оказалась у знакомого магазина, ценник возле лампы оказался перечёркнут красным, а новая цена, ровно вдвое уменьшенная, заставила моё сердце бурно забиться от восторга — это вполне можно было себе позволить. Я влетела в магазин, чуть не сшибла с ног продавца и, получив надёжно упакованную, в роскошном фирменном пакете, лампу, понеслась домой, испытывая подлинный экстаз и боясь на этом свете только одного — не прохнуть бы по дороге драгоценный предмет.

С тех пор меня неоднократно постигали радостные неожиданности — синий настенный термометр, такой же декоративный календарь, а ёлка у меня стоит, разумеется, под синим шпилем и с синими же шарами. Дошло до того, что я стала присматриваться к синеньким свитерочкам и шапочкам, хотя знаю, что мне не идёт этот цвет и носить я его не стану, — просто инерция.

Но вот что примечательно: ни разу с момента переезда меня не охватывало желание переставить мебель — как стоит, так и стоит, вполне даже уютно и удобно. И, разумеется, ни за какие коврижки я не согласилась бы ещё раз выйти замуж — а если человек не любит синего и надумает, сохрани Бог, что-то менять в моём интерьере?

Никто не знает, где его подстерегает гармония и мир с самим собой, — мне, к примеру, для этого понадобился синий ковёр на полу. Или наоборот?..

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МЁД, ИЛИ КАК Я ПОТЕРЯЛА НОВЫЙ ГОД

И всё-таки советская власть не была всесильна. Наши маленькие человеческие жизни отнять у нас она не смогла. Мы прятались от

Часть вторая

неё, зарывались, как ребёнок под одеяло, в свои компании, книги, амурные приключения, праздники. Праздник, собственно, был один — Новый год. Не считать же, в самом деле, октябрьский переворот или мартовский, по половому признаку. Были ещё дни рождения, но это — у каждого свой, а Новый год — общий.

Мифология из той жизни

Уже в конце ноября начинались новогодние пересуды — кто с кем встречает, кто кому что дарит, кто что себе шьёт, где что достать... Весь декабрь посвящался этому пресловутому «доставанию». Прежде всего, конечно, шампанское. Сухое, полусухое, сладкое, полусладкое — это в относительно благополучные времена, а если совсем пусто на прилавках, то любое, но во что бы то ни стало. Без него — никак. Как-то надо было исхитриться и с продуктами — ведь новогодний стол должен ломиться, иначе год будет скудным.

Новогодняя мифология была совершенно определённой и категоричной. Что-то новое, ненадёванное нужно было непременно припасти на праздник: не платье — так серьги, не рубашку — так галстук. Хоть трусики. Потом возникли восточные календари: год Крысы, год Змеи, год Тигра — обязательно раздобыть серое, змеиное, полосатое. В таких сложных хлопотах проходил декабрь, а тут уже и ёлка. Гигантские очереди на ёлочных базарах, деловитые пьяницы, продающие тощие деревца по сакральной цене — два восемьдесят семь, три шестьдесят две, четыре двенадцать. Запах хвои в метро, в автобусе, в подъезде...

На повороте

Достаются из кладовок деревянные кресты, коробки из пожелтевшего картона, где в слежавшейся многолетней вате, усеянной иголками ушедших ёлок, блестят игрушки — дедушкины-бабушкины, мамины-папины и свои, из детства. Домики с заснеженной крышей в блёстках, картонные котики и собачки с умильными мордами, лыжники в полёте, жарптицы с переливающимися хвостами, стеклянные бусы, гирлянды, мишура... И вот ёлка уже сверкает, ватные сугробы

маскируют крестовину, на них разложены подарки, неловко и любовно упакованные в гофрированную бумагу, в нижних ветвях притаились Дед Мороз со Снегурочкой, на верхушке серебристый шпиль. Шампанское в холодильнике, благоухание хвои и мандаринов, «Ирония судьбы...» по телевизору, новогодний стол, увенчанный размазанной по стеклянной розетке горсточкой икры. Клубы пара из открытой форточки, разгорячённые лица, аромат польских духов «Быть может» и прелестная полька на экране, делающаяся моложе год от года, оттого что сами — старше.

Атмосфера волшебства, ожидание чуда. «Всё я жду, что с ёлки мне тебя подарят...» И жизнь сделает поворот и потечёт в сказочную страну, где небывалые острова и невероятные берега. Только бы дождаться боя курантов. А на экране телевизора уже появился циферблат. Лихорадочно сдирается фольга с горлышка пузатой бутылки, пена в потолок. Скорее загадать желание, написать на клочке бумаги, разжевать под бой курантов, проглотить и запить шампанским. Поди попробуй. Или просто на каждый удар курантов по одному желанию — так щедро, у меня никогда столько не набиралось. Последний, двенадцатый удар — звон бокалов, «Ур-ра-а!». И сразу говор, и шумно, и поспешное разграбление закусок, и сияние улыбок, словно чудо уже свершилось.

Не верь календарю

В Германию мы приехали весной. Время прошло незаметно, в хлопотах о документах, о жилье, в растерянности, надеждах и разочарованиях первых шагов эмиграции. И уже декабрь. Повсюду, буквально на каждом шагу, появились ёлочные базары, без очередей, с ёлками всех возможных размеров и пород: тёмно-зелёные, светло-зелёные, голубоватые, с длинными мягкими и короткими колючими иголками — миллионы ёлок, не иначе как по десятку на каждого мюнхенца, включая младенцев и стариков. И такая невидаль: каждая купленная ёлочка протаскивается продавцом через жестяное жерло и оказывается окутанной нейлоновой сеткой — и нести удобно, и за прохожих не цепляешься, это вместо наших-то бечёвок.

Часть вторая

Открылись рождественские киоски с пряниками и глинтвейном, засияли радужными огоньками витрины, каждое второе окно обвелось по периметру цветными лампочками, зажглись лампочки и на елях, растущих непременно в палисаднике каждого особнячка на окраине города, и даже голые сучья деревьев вдруг расцвели разноцветными огнями. Появились в витринах невиданные нами прежде вертепы с младенцем Христом среди милых животных, рождественские звёзды повисли над улицами, указывая путь к празднику.. Подарки, подарки, невообразимой красоты обёрточная бумага с ангелами, звёздами, снежинками, в блёстках и глянце, сверкающие ленты и пышные банты, радостные толпы в магазинах и на улицах.

Мы бродили среди этого великолепия как потерянные. Мы даже не сразу сообразили, что готовится вовсе не встреча Нового года, что город ждёт Рождества, идут рождественские «адвенты». Кто-то из немецких друзей подарил нарядный хвойный венок, увитый лентами, с воткнутыми в него четырьмя свечками. В первый же приход гостей, где-то в середине декабря, мы зажгли разом все четыре — что было с бедными немцами!

Опростоволосились мы и с ёлкой: купим попозже, решили мы, расслабившись от ёлочного изобилия, да и дешёвых игрушек в магазинах пруд пруди. Утром двадцать шестого декабря от роскошных ёлочных базаров не осталось и следа — даже иголки подмели. Мы кинулись в магазины, решив на худой конец купить хотя бы искусственную — не тут-то было. Тихие торговые залы, меланхоличные, уставшие продавщицы, и ни единой ёлочки, ни одного захудалого шарика. Улицы пусты, редкие сонные прохожие, свободные места для парковки — немыслимое дело, остатки праздничного мусора на тротуарах. Кончился праздник, кончился, как не бывал.

Вечером двадцать седьмого, выйдя с пакетом к контейнеру для мусора, я обнаружила там две прелестные, совершенно свежие ёлочки, прислонённые к мусоросборнику. Не выбирая, я схватила одну из них и, озираясь, в страхе встретить кого-нибудь из соседей, потащила её домой. Игрушки подарили всё те же немецкие друзья, смекнув, что налицо некая мен-

тальная несовместимость или очередная тайна загадочной русской (даром что еврейской) души.

Поддержанное чудо

К тридцать первому декабрю в доме стояла чудная ёлочка, увешанная диковинными игрушками, с гирляндой расписных лампочек. Ствол был опущен в специальную, нарочно тяжёлую подставку, наполненную водой. Ёлочке было хорошо, несмотря на то что была она в некотором роде «б/у».

Хорошо было и нам: первый Новый год в Германии пришла встречать с нами новая, но уже любимая подруга-врач, лечившая и опекавшая нас с самого приезда. Было, правда, некоторое недоумение по этому поводу: как же она на Новый год, от живой-то семьи, но, поразмыслив, мы решили, что такая самоотверженность объясняется заботой о нас, о том, чтобы мы не чувствовали себя сиротливо на чужбине. Когда в начале застолья она мимоходом сказала, что дочки встречают Новый год каждая в своей компании, а муж отправился в пивную, где у него с друзьями постоянный столик, недоумение возобновилось и невольно подумалось, что в семье не всё ладно, — мы понятия не имели, что Новый год здесь вовсе не семейный праздник, и каждый развлекается на свой манер.

Когда под окном взорвалась первая ракета, все (исключая подругу-немку) вздрогнули, а собака метнулась под диван. Следом раздалась ещё серия взрывов. «Что это?» — прошептала я. «Как, разве у вас не устраивают фейерверк на Сильвестр?» — поразила подруга. Фейерверк, о Господи! Это был девяносто первый год, наступал девяносто второй.

Ирония судьбы

С тех пор прошло много лет. По-прежнему дивно хорошеет город, готовясь к Рождеству, ломятся магазины, бродят от киоска к киоску весёлые толпы, лакомясь пряниками, сверкают витрины, раскачиваются над улицами вифлеемские звёзды, безмятежно спит в яслях Божественный Младенец, аромат хвои и горячего вина витает над улицами. Только я брожу, угрюмая, среди общего праздника, я так и не привыкла к нему,

Часть вторая

мне он — в чужом пиру похмелье, и главная моя забота — не забыть запастись всем необходимым на долгие праздничные дни, когда не работает ни один магазин. Чудесно, красиво, уютно — да, но непривычное и чужое, а главное — не вовремя. «Неправильный мёд и неправильные пчёлы», как говорил Винни Пух.

А на Новый год — ёлки на помойках, безумные фейерверки, от которых я до сих пор вздрагиваю, и никакого праздника, никакого волшебства. Однажды попробовали с друзьями устроить Новый год «как раньше». Всё сделали: и ёлочку нарядили, и стол с шампанским накрыли, и салат «оливье» не забыли, и пирожков напекли, и даже «Иронию судьбы...» зарядили в видеомагнитофон. И ничего не вышло. Нельзя, оказалось, устроить Новый год в одной, отдельно взятой квартире. Его празднуют все — или никто.

Так оно и вышло: Нового года я лишилась, а Рождества не приобрела. И вот снова Рождество, Рождество... Новый год, где ты?

БРОСИМ КУРИТЬ?

Было это давно, в белокаменной Москве. Живот болел ужасно. Просто каждую минуту казалось, что от такой боли придётся ровно в эту минуту помереть. Не помогала ни но-шпа, ни фосфалюгель, ни самое надёжное и проверенное средство — разваренная геркулесовая каша. Наконец наступил момент, когда немедленная смерть перестала страшить и начала представляться желанным избавлением. Тут я поняла, что пора вызывать «скорую».

«А что с вами делать?»

— Сколько лет? — строго спросила телефонная девушка, снявшая трубку всего лишь с пятой попытки, через каких-нибудь пятнадцать минут.

— Тридцать, — сказала я, лихорадочно пытаюсь сообразить, не делаю ли ошибки, признаваясь по-честному.

— А, ну тогда ладно, приедем, ждите. — Трубка была положена.

В течение следующих двух часов я сперва извивалась на диване, ощущая себя в застенках гестапо, потом притихла и стала лежать смиренно, поскольку опытным путём установила, что от любых телодвижений становится только хуже. Через два часа в дверь позвонили. Дяденька в пятнистом халате, сопровождаемый пухленькой девушкой, в руках у которой был пузатый баул, споро прошёл в комнату, приблизился к моему ложу пыток, приподнял край майки, потыкал пальцем в живот и деловито сообщил:

— Ну что, тут у нас перитонит. В больницу поедем.

— А... может, посмотрите ещё?

— А чего тут смотреть? Пока я буду смотреть, вы помрёте. Собирайтесь.

Я поглядела на девушкин баул, надеясь, что, может быть, от его содержимого придёт спасение, но доктор небрежно махнул соратнице рукой, и она выскользнула за дверь.

Двигаясь в полусогнутом состоянии, я кое-как пошвыряла в сумку туалетные принадлежности и пару смен белья, дрожащими руками натянула на себя одежду и предоставила своё помирающее тело заботам медицины.

В больнице, куда меня доставила «скорая», мест не было. Вообще никаких, ни в палате, ни в коридоре. Поэтому меня, не тревожа осмотрами, оставили лежать в приёмном покое, где за занавеской врачаха с двумя медсёстрами уютно пили чай.

Я подождала с полчаса, подумав, что мне же будет лучше, если мной займётся сытый человек, потом робко подала голос:

— Простите, может, вы меня посмотрите! Или уколете что-нибудь? А то очень больно...

— Погодите, — ответил строгий врачебный голос, — освобожусь и подойду.

Прошло ещё полчаса. Наконец наевшаяся и напившаяся докторица подошла ко мне. Вонзив пальцы мне в живот, отчего я взвизгнула довольно громко, она пробурчала тот же самый «перитонит» и добавила что-то невнятное, обращаясь к медсестре. Через минуту в меня вонзился шприц, я закрыла глаза и стала нетерпеливо ждать желанного облегчения. Облегчение всё не наступало, более того, появилось ощущение, что в живо-

Часть вторая

те поселился зверь, который яростно выгрызает мои внутренности.

— Вы знаете, а мне почему-то не лучше. А что со мной будут делать? — промолвила я, переждав очередную чашку чая.

— А что с вами делать? Сейчас освободится место в хирургии, положим вас, ночь понаблюдаем, утром придёт заведованием, он и решит, — лениво ответила дочь Гиппократа.

«Болит? Ну хорошо»

В палате, куда меня ночью привели, лежало всего восемь человек. Форточка была наглухо задраена, воздух можно было резать ножом. Поскольку ночной сон мне так или иначе не угрожал, я не решилась намекнуть сопалатницам, что во сне мы можем и угореть, решив, что если я не сдохну от непрекращающейся боли, то уж спёртую атмосферу как-нибудь переживу.

На соседней койке лежала весьма пожилая женщина, её дыхание было тяжёлым и неровным, при каждом вдохе она словно бы немного всхлипывала. Когда всхлипывания перешли во внятные стоны, я с трудом села и потрогала соседку за руку.

— Вам плохо?

— Ох... Да.

— Позвать врача?

— Да какой врач ночью.

— Но должен же быть дежурный?

— Да они взаперти в ординаторской сидят. Ох...

— Ну я пойду хоть попробую.

Я сползла с койки. Боль была по-прежнему жуткая, но тенька так страшно охала, что страх за неё оказался сильнее.

Ординаторская действительно была заперта намёртво. Стучать в дверь я не решилась и побрела по вымершему отделению в поисках кого-нибудь в белом халате. В процедурном кабинете обнаружила медсестру с книжкой в руках.

— Там, в шестой палате, женщине плохо, — что мне самой не очень хорошо, я постыдилась упоминать.

— Какой?

— Пожилая такая, на первой от двери койке.

— А, эта... Достала уже. И чего ей не спится. Ладно, сейчас подойду.

Я вернулась в палату и, приняв позу зародыша, попыталась составить в уме фразу, которая, отнюдь не посягая на досуг сестрички, даст ей как-то понять, что меня вроде бы обещали «понаблюдать», а может, повезёт, и лекарство какое-нибудь даст...

Не прошло и получаса, как медработник возникла в дверях, включила верхний свет, отчего остальные больные заворочались и заворчали, и подошла к моей соседке. Постояла в ногах её койки, послушала стоны и спросила:

— Ну и что у вас?

— Плохо, доченька, болит...

— А... Ну хорошо.

Мне ужасно хотелось спросить, что же тут хорошего, но я побоялась злить источник возможного исцеления для нас обеих и промолчала.

Сестра достала из кармана халата квадратную упаковку в фольге, оторвала от неё полоску, из полоски извлекла таблетку и протянула соседке:

— Вот, выпейте.

Я подала старушке стакан с водой, стоявший на нашей общей тумбочке, с немалыми трудами та села на кровати и проглотила лекарство.

— Сестра, — выдавила я из себя, — знаете, мне тоже очень больно, нехорошо вообще. Может, вы что-нибудь... Говорили, перитонит, а это ведь, наверное, опасно...

Сестра молча протянула мне остаток серебристой полоски с оставшейся там таблеткой. Доставая вожделенную панацею, я скользнула взглядом по серебристой бумажке: на обрывке упаковки стояли буквы «...медрол». «Что бы это могло быть?» — подумала я. Но мне предстояло ещё добыть воды, а для этого требовалось добраться до туалета — задача такой сложности, что мне было уже не до логических и лингвистических построений.

Димедрол на ночь

Приняв таблетку, я впала в какое-то странное забытье — боль я чувствовать не перестала, но зато ничего, кроме боли,

Часть вторая

уже не ощущала: где я, что со мной — стало более-менее второстепенным.

Утром я пришла в себя от решительного звонкого голоса:

— Рубаху поднять! Руки вдоль туловища!

— Здравствуйте, доктор! — обрадовалась я.

— Здравствуйте, здравствуйте. Ну и где же тут перитонит? — это, ощупывая мой живот и, надо сказать, довольно пристально, обратился он ко мне, словно бы даже с претензией.

— Я не знаю... А что, нету перитонита?

— Нету. Вообще, непонятно, что это у вас. Здесь болит?

— Ой!

— А здесь?

— Ой-ой!

— Ну, не знаю, с чего это у вас везде болит. Обследовать надо. Запишите её на рентген, — это он уже не мне, а небольшой свите в белых халатах.

— А скоро рентген? Больно очень.

— На следующей неделе сделаем. Очередь большая.

— А пока что же делать?

— Ну, но-шпу ей назначьте. А что это у вас? — он взял с моей тумбочки обрывок фольги. — А, димедрол. Хорошо, на ночь димедрол пусть пьёт.

И ушёл.

Принесли завтрак.

С соседней кровати на меня с сочувствием смотрела ночная страдаллица.

— Вам сегодня лучше? — попыталась я быть любезной.

— Да что уж лучше... Вторую неделю лежу. Вот, сказали, в таком возрасте чего же и ждать. Так оно и правильно. Тебя-то жалко — молоденькая. Где болит-то?

— Да весь живот болит. И не первый раз. Раньше проходило от лекарств. Ладно, слава Богу, вроде перитонита нет, и то хорошо.

— Ну, ничего, полечат, может, вылечат.

М-да, полечат, подумала я. Димедролом.

— Зато у нас, слава Богу, медицина бесплатная, — продолжала бабуля. — представляешь, каково-то им, бедным, в каком-

нибудь Нью-Йорке, там, поди, нас и лечить бы не стали — нету денег, и ступай себе помирай.

Действительно, подумала я, всё-таки бесплатно. Всё бесплатно: палата-душегубка, туалет, заваленный использованными бинтами, несъедобная еда, сестричка-пофигистка, лечащая все болезни по принципу: «усни, и лучше навсегда», рентген через неделю для хирургических больных... Счастливые мы, в сущности, люди.

Рентген был сделан в рекордные сроки, всего через пять дней.

— А я ничего не вижу, — сказала палатный врач, рассматривая снимки на просвет. — Язвы тут нет, не знаю, что у вас.

Впечатление складывалось такое, что ей не только недосуг заниматься моими неправильными болячками, но я словно бы назойливая попрошайка, которая всё пристаёт и пристаёт к ней, непонятно почему и на каком основании.

Живот к тому времени подуспокоился, и я, отчаявшись получить хоть какое-то подобие реальной помощи, решила пойти ва-банк и выложить все свои накопившиеся страдания — ну, выпишут, так и пусть.

— А чего вы от нас хотите? — спросила она, выслушав меня, как бы даже с некоторым недоумением. — У нас бесплатная медицина. Вот вы забесплатно всё, что полагается, и получаете. Вы что думаете, медсестра за девяносто рублей будет тут всю ночь с вами бегать? А санитарка за свои гроши туалеты драить? Или я за мои... а-а-а! — и махнула рукой.

Болезнь — накладно

К слову сказать, язва у меня всё-таки была. Когда меня по дикому благу положили несколько лет спустя в клинику Первого Меда, её обнаружили на третий день. Вылечить, правда, не вылечили. Избавиться от неё мне удалось только в Германии, буквально за три недели. Впрочем, таких лекарств, которые мне помогли, не было в то время не только в России, но и в Европе.

Но речь не о прогрессе в медицине. Речь, собственно говоря, о том, может ли существовать медицина, которая ничего не

Часть вторая

стоит пациентам или стоит очень мало. И даже не так: может ли эта медицина быть полноценной.

Многие «наши» немецкой медициной недовольны. Речь не обо мне — мне представляется, что медицина вполне удовлетворительна, и как система, и «в лице отдельных её представителей», да, не всё идеально, но идеального на этом свете, как известно, не бывает ничего, это уже только «там», или, если угодно, на другом глобусе. Ну, будем считать, что мне случайно повезло, а на самом деле медицина — просто из рук вон. И почему? Много лет мы слышим вопли страховых компаний о пустых кассах — это что, вы полагаете, фигура речи? Нет, денег действительно нет.

Выходов тут ровно два: или медицинские учреждения будут постепенно нищать и больницы превратятся в светлой памяти московскую больницу номер сорок, о которой шла речь в первой части повествования (а, смею думать, на территории СССР это было не худшее медицинское заведение — всё-таки столица), или — нам придётся раскошелиться. Ясное дело, приятного тут ничего нет. Но и оснований для паники тоже негусто. Ведь совершенно очевидно: умирать без медицинской помощи вряд ли кого оставят — чтобы до такой степени демонтировать социальное государство, потребны многие годы и такие переломы в общественном сознании, к которым Германия на сегодняшний день, по всей видимости, не готова.

Кроме того, пока речь не идёт — и вряд ли зайдёт — о том, чтобы мы расплачивались наличными деньгами за каждую врачебную манипуляцию в полном объёме. Кассы пытаются переложить на нас только небольшую часть расходов, чтобы, с миру по нитке, хоть немного заткнуть дыры в своём бюджете. А их бюджет — это, между прочим, наше здоровье. С какой бы стати болеть было удовольствием, пусть даже в финансовом плане? Это всегда и нервно, и хлопотно, и накладно. И повсюду в мире так — в том числе в помянутом приснославном Нью-Йорке. Порасспрашивайте своих знакомых, живущих в Америке, сколько они платят, к примеру, за визит к зубному врачу? Как сказано у Булгакова: «Вы ужаснётесь!» Ещё проще: во что обходится нынче поболеть в России — об этом вообще лучше не думать.

Собственно, такая вот лафа существовала в течение всего нескольких десятилетий на очень ограниченной части земной поверхности — только в нескольких странах Европы. Было. Теперь не получается. И что делать?

Отношения с реальностью

Есть старая-престарая молитва: «Господи, дай мне сил изменить то, что я могу изменить. Дай мне мужества, Господи, чтобы примириться с тем, чего я изменить не могу. И дай мне, Господи, мудрости, чтобы я мог отличить одно от другого». Давайте будем мудрыми: мы не можем влиять на реформу здравоохранения, как не можем влиять на статистику безработицы, как не можем, к примеру, влиять на изменение климата. Это такая реальность.

Собственно, есть только два способа отношений с реальностью: приятие — и бунт. (Есть, разумеется, ещё возможность выстраивать параллельную реальность, если существующая чем-то нас не устраивает, но это скорее из области психиатрии.) Бунтовать можно долго, бурно, с полной отдачей, умерщвляя всё живое в радиусе ста километров, но, к сожалению, бесплодно — всегда. Реальности, увы, абсолютно по фигу — бунтуем мы против неё или нет. Более того, любой бунт, как правило, приводит к самым неприятным последствиям для нас же самих. Это и на личном уровне так, и на социальном. Что такое бунт — революция, к примеру, — и каковы его последствия, мы имели счастье убедиться на собственном опыте. Негоже это дело.

Стало быть, принять и постараться найти наиболее рациональное решение сложившейся ситуации. Увы, придётся заплатить десять евро за визит к врачу, выложить десять процентов за лекарства и за массажи и самому раскошелиться на такси до врача, если очень уж подопрёт. И много чего ещё придётся — страховку протезирования, например, оплачивать. Больничные кассы обещают нам взамен лучшее обслуживание и даже, может быть, сокращение взносов в лучезарном будущем. Вдруг да не соврут? Вы же считаете, что местная медицина могла бы быть лучше? Поучаствуйте!

Часть вторая

А деньги на новые неприятные расходы придётся, очевидно, на чём-то сэкономить. Ну, например, бросить курить! По моему, прекрасная идея.

БРАЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ: «ИЩУ УЧИТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА...»

Иностранец из села Тасеево

В незапамятные времена, в Москве 70-х годов, я вышла замуж за литовца. Без сантиметра два метра, светло-русая борода, голубые глаза и мягкий акцент. Одно слово — иностранец.

Правда, в паспорте, в графе «место рождения» у иностранца стояло: Красноярский край, село Тасеево. Эшелоны, грохочущие на Восток, набитые растерянными, отчаявшимися людьми, разграбленные дома и магазины и тысячи расстрелянных во рву под Каунасом литовских офицеров, дисциплинированно явившихся по приказу «для регистрации» — вот что возникло из этой строчки.

Родители Аудрюса, каждый — чудом уцелев, встретились на лесоповале, поженились, родили голубоглазого мальчика и как зеницу ока хранили в семье литовский язык. Он стал для ребёнка родным, а русский, состоявший в селе Тасеево, как можно предположить, наполовину из ненормативной лексики, — языком улицы. Впрочем, говорил он на нём совершенно свободно, лишь изредка испытывая трудности с согласованиями. Я даже не сразу осознала при сближении, что человек-то — иноязычный.

И только диковинное словечко «йофана!», вырвавшееся внезапно у него при падении с плиты кастрюли с горячим супом, холодком пробежало по моему позвоночнику. «Что ты сказал?» — допытывалась я. «Ну, знаешь, это — если какая-то неожиданность, когда что-то случается...» — «А это прилично?» — «Конечно, а почему ты спрашиваешь?» А спрашивала я просто потому, что русский адекват в такой ситуации, несомненно, был бы неприличен.

С этого вечера я начала учить литовский. «Как будет — хлеб? А вода? Небо? Жизнь? Смерть?» Непривычные певучие слова ложились в память без зазора и запоминались с первого, максимум со второго раза. Литовский звучал на кухне, на прогулке с собакой, в машине и во всех остальных ситуациях супружеского общения. Через месяц мы начали перебрасываться литовскими фразами, если хотели что-то скрыть от моего десятилетнего сына. Надо, впрочем, отдать ему должное: ещё через несколько недель обнаружилось, что он почти всё понимает. Язык учился настолько легко, что меня самое это озадачивало.

Партия — наш рулевой

Подлинным триумфом обернулись мои необременительные уроки литовского, когда в первый год супружества мы на всё лето поехали в Каунас. Родители мужа, обретя в невестке такое лингвистическое чудо, пришли в восторг и, не ограничившись многочисленной родней, стали приглашать посмотреть на меня знакомых, а потом и вовсе малознакомых людей. Я послушно говорила «лаба дьена»¹, поддерживала разговор на общие темы, а тем временем собирала новые словечки, намазывала идиомы и оттачивала произношение. К концу лета я переходила на литовский машинально, выходя на улицу или переступая порог незнакомого дома.

Как я теперь понимаю, условия обучения были фантастически комфортными: в любой момент, не обнаружив в своём лексиконе нужного слова, я могла спросить по-русски, как будет то-то, и мгновенно получала ответ. Ведь в Литве в то время все литовцы прекрасно знали русский язык, тогда как русские, прожившие в стране по десять, двадцать и тридцать лет, гордо демонстрировали полное незнание литовского. Для меня это навсегда осталось загадкой. То есть политический пафос вполне понятен: ещё не хватало оккупантам учить язык побеждённой страны, пусть они наш учат. Они-то выучили... Но чисто практически — не понимать восемьдесят процентов того, что говорится на улице или в магазине, зачем же обрекать себя на глухоту?

¹ Добрый день (*лит.*).

Часть вторая

Видимо, чтобы избавить местных русских от дискомфорта, в семидесятых началась энергичная русификация Литвы. Всё большая часть радиопередач и телевизионных программ велась по-русски, увеличивались тиражи русскоязычных изданий (разумеется, за счёт литовских), в детских садах принимали на работу только русских воспитательниц, что естественным образом вынуждало детей говорить по-русски с младых ногтей. Замечательной была метаморфоза так называемой наглядной агитации на улицах и в учреждениях: сначала лозунги были двуязычными, причём сверху шёл литовский текст, а русский дублировал его нижней строкой, затем строки поменялись местами, а ещё через год литовский перевод как корова языком слизала. Отныне местные русские могли в полное своё удовольствие узнавать, что «партия — наш рулевой», на чистейшем русском языке, без сопровождения всей этой литовской тарабарщины. Такое размазывание по стенке языка и культуры маленькой страны не могло, разумеется, не возыметь далеко идущих последствий, но это уже совсем другая история.

Haende hoch!

— Как же ты будешь с языком? — спрашивали меня друзья перед отъездом в Германию.

— А что с языком? В языковой среде — да не выучить язык! Уж за год как-нибудь осилю, — самонадеянно отвечала я, памятуя о том, как в своё время играючи овладела литовским.

И вот я в Мюнхене. Мой словарный запас составляли «Haende hoch», «nicht schiessen», «Hitler kaputt» и ещё парочка таких же леденящих душу возгласов из военных фильмов. Первое ощущение, когда я вдруг обнаружила себя ясным майским днём в весёлой толпе на Мариен-плац, — заложило уши. Белый шум. Господи, я ни слова не понимаю, что же со мной будет? Самым поразительным было, что по-немецки болтали даже дети, они-то как ухитрились его выучить?

Паника отступила, только когда начались занятия в Гёте-институте. Нас нянчили там восемь месяцев, объясняя путём актерского показа разницу между «huebsch», «schoen» и «nett», вывозя на экскурсии, выводя всем стадом в кафе (видимо, что-

бы мы приучались прилично вести себя в общественном месте) и объясняя, что по-немецки «нет» значит «нет». Это был такой «лягушатник», шлюз перед выходом в открытый космос.

Потом началась реальная жизнь: в магазине ещё полбеды — набираешь товары в тележку и безмолвно предъявляешь кассиру, но объясниться в учреждении, сформулировать свои жалобы врачу, договориться с квартирным маклером, да просто ответить разговорчивой соседке в метро... Первое время я предупреждала на пороге, чтобы со мной говорили попроще и помедленней, но время, проведенное в Германии, шло, язык прогрессировал очень туго, а сознаваться, что я живу здесь четыре, пять, шесть лет и всё ещё нахожусь в лингвистическом отношении на уровне трёхлетнего ребёнка, становилось всё неудобнее.

Как это ни парадоксально, дурную услугу оказала мне грамматика, намертво вбитая в голову в благословенном Гётеинституте: слыша мою псевдограмотную речь, перенасыщенную сослагательным наклонением, с правильным порядком слов в придаточном предложении, мои немецкие собеседники уверяются, что я прилично владею немецким, и уже совершенно перестают адаптировать обращенные ко мне тексты, как они, несомненно, поступали бы, общайся я с помощью одних инфинитивов. А что запас слов у меня поистине куриный, они не догадываются, потому что я за эти годы приобрела виртуозную способность обходить неизвестные мне слова с помощью известных — в результате я постоянно попадаю в трагикомические ситуации, когда собеседник прекрасно понимает меня, а я даже наполовину не понимаю его.

Самое ужасное испытание — поход к моему врачу: ему присуще заблуждение, что я — интеллигентный человек, поэтому он говорит со мной на роскошном «Hochdeutsch», насыщая его элитарными оборотами, а я киваю с умным видом, озабоченная лишь одним — не пропустить момента, когда он задаст какой-то вопрос, чтобы вовремя переспросить «bitte» и попытаться понять, чего ему от меня, собственно, нужно. Разумеется, недостатки своих языковых возможностей я пытаюсь компенсировать невербальными способами коммуникации — подчёркнутой мимикой и неумеренной жестикуляцией, словно в меня

Часть вторая

вселилась душа моей прабабушки-одесситки. К сожалению, от этого мой немецкий не становится лучше, зато у общающихся со мной немцев складывается определённый стереотип восприятия москвичей, как в известном анекдоте о нью-йоркском таксисте, который был уверен, что русские — это такие чернявые и с длинным носом.

Где взять немца?

Почему, ну почему я не могу выучить этот проклятый немецкий с такой же лёгкостью, как когда-то, больше двадцати лет назад, невзначай выучила литовский? Перешла ли я за это время, незаметно для себя, какой-то возрастной рубеж, после которого резко упал КПД моих лингвистических стараний? Сказывается ли отсутствие эмоционального фона солидарности с маленькой поработенной страной — ведь Германия такая сильная и независимая? Или просто всё дело в объективной невозможности обрести в качестве учителя немца с голубыми глазами и светло-русой бородой — ведь общеизвестно, что немецкий язык эмигранток, связанных с аборигенами брачными или иными интимными узами, совершенствуется прямо-таки с чудовищной быстротой.

Замечу напоследок, что литовский мой язык за эти годы незаметно и безболезненно атрофировался. Что и к лучшему — было бы очень обидно жить в Германии с вполне эмбриональным немецким языком и очень приличным литовским.

Никакущий в хлам

И остался у меня на самом деле единственный, хотя и великий и могучий, зато такой милый, родной и удобный русский язык. Я не сразу заметила, что с ним, моим бедным сокровищем, стало происходить что-то неладное.

Признаться, я всегда была равнодушна к сленгу: модные словечки словно само собой надувало в уши, может быть, они были вульгарны, зато придавали речи живость и объём. Приехав в Германию, я, естественно, продолжала говорить в тусовочной манере образца 91-го года. Прошло несколько лет, и как-то, в разговоре с подругой, приехавшей ко мне из Мо-

сквы, я вдруг поняла, что некоторых выражений я совсем не знаю, а другие, видимо, стали употребляться в новом значении. Я попыталась ввести в свой словарь новые обороты, и сразу стало ясно, что они не прививаются, мой язык их не усваивает. Пришлось срочно изгнать из лексикона все «классно» и «клёво», ибо нет ничего пошлее позавчерашнего сленга. А новый откуда же взять?

Язык, живой и растущий, жадно впитывает всё, что ни есть в почве, на которой он растёт: всё вкусное и полезное, и нужное, и всякую дрянь тоже, а потом — что-то усвоит, а что-то выбросит, а из чего-то пойдёт новая веточка. В изоляции же от языковой среды вместо живого языка остаются консервы. Русский язык в томатном соусе. Ощущение потери было гораздо отчётливей пресловутой утраты родины.

Я опустилась до того, что, общаясь с «носителями языка», принималась записывать в книжечку все «прибамбасы» и «никакендры», выискивала в Интернете пёструю лингвистическую атрибутику «новых русских», обмениваясь по телефону с тремя-четырьмя такими же русско-помешанными, затерянными на бескрайних германских просторах, бесценными находками, типа «никакущий в хлам» или «пресс зелени»... Пока мне не пришла в голову простая тихая мысль: может быть, живя в отрыве от сиюминутной языковой ситуации, имеет смысл попробовать говорить и писать на классическом русском языке? Не хватать с жадностью свежие клейкие побеги, из которых неизвестно ещё, что вырастёт, а пробираться вверх по основному крепкому стволу. Просто, просто по-русски. Как Бунин.

МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ

Как страшен мир! Наводнения, землетрясения, автомобильные и прочие аварии, сексуальные маньяки и кирпичи, падающие на голову... Куда бежать, где скрыться? Только у себя, в своей пещере, хижине, чуме, вигваме, короче, у себя дома. Это — единственное прибежище.

Часть вторая

Вигвам в 28 квадратных метров

Моя московская квартира тем уже была хороша, что — квартира. То есть отдельное жильё для отдельно взятой семьи, а не комната в коммуналке. Дальше начинался шаткий баланс плюсов и минусов, создающий оценку, меняющуюся в зависимости от погоды, времени суток и моего настроения.

Пятиэтажная «хрущоба» с потолком, висящим на голове, — конечно, ужасно, но хотя бы не панельная, а кирпичная. Двадцать восемь метров так называемой «полезной площади» — в самый раз для кроликов, но всё-таки комнаты изолированные. Газовая колонка — шумно, опасно и вечно пахнет газом, зато летом, когда по всей Москве на два месяца отключают горячую воду, все друзья бегают ко мне мыться. Кухня — пять метров, но иначе было бы невозможно, не вставая с места, снять сковородку с плиты, достать тарелку из шкафа, масло из холодильника и тут же сковородку сунуть в раковину, да ещё и воду пустить. И балкончик, где, правда, вдвоём не поместиться, но по одному можно и воздухом подышать, всё же есть. Район, конечно, более чем отдалённый, но всё-таки не Строгино, а значит, хотя бы можно свой дом опознать без ошибки.

Откройте, милиция!

Одним словом, какой ни есть, а дом, и чём не крепость — размышляла я вечером, с привычной ловкостью принимая душ в «сидячей» ванне, в которой в придачу стоял таз с замоченным бельём и над которой сушилось бельё уже выстиранное. В это время раздаётся звонок в дверь. Я хватаю халат, выскакиваю из ванной-она-же-туалет и бросаюсь к двери.

— Кто?

— Откройте, милиция!

— А в чём дело? Сейчас больше двенадцати, есть у вас постановление или разрешение?

— Будете много разговаривать — дверь взломаем.

Открываю. Входят два бравых молодца, требуют документы. Я машинально лезу в карман халата. Поднятый с постели муж спросонья хлопает себя по трусам. Наконец вручаем паспорта.

Пристально читают, дотошно сверяют фотографии с оригиналами. Потом вопрос:

— Что у вас происходит?

— Что происходит? Муж спит, а я вот ложусь.

— А почему в кухне свет горит? Вам что, утром на работу не надо? Почему не спите до сих пор?

— А что, уже отбой объявили? — спрашивает проснувшийся наконец муж. Я в панике наступаю ему на ногу и, заискивая, начинаю объяснять:

— Вы понимаете, я пишу вот, а днём времени нет, а когда все ложатся, я как раз могу..

— Что пишете?

— Ну, рассказы, повесть вот.. (Заискивающе) Показать?

— Не надо, — высокомерно говорит один из молодых, — а что за стук у вас?

— Какой стук? Нет никакого стука!

— Поступил сигнал, значит, есть стук.

— Послушайте, это опять снизу соседка, поймите, она же больна, это у неё в голове стучит — склероз, я уже объяснение вам писала...

— В голове или не в голове, это мы не знаем, а поступил сигнал, мы обязаны проверить.

— Проверяйте, — говорю я обреченно и не спрашиваю уже, есть ли у них постановление об обыске, знаю, что нету, да и слава Богу, если однажды придут с постановлением по всей форме, тогда совсем дело дрянь.

Начинается обыск, надо сказать, довольно поверхностный. Заглядывают под кровати, открывают дверцы шкафов, лезут на антресоли, а там старая обувь навалом... Как неудобно...

— Вы хоть знаете, что ищите? — спрашивает муж.

— Станок, — уверенно отвечает тот, что постарше.

— Какой станок?

— Антиквариат производите — сигнал поступил.

— Как то есть антиквариат? Ведь антиквариат... Это что же — машина времени?

— Вы мне зубы не заговаривайте и не очень-то тут острите, на вас и так уже дело есть.

Часть вторая

Производство антиквариата и отравленный кефир

Дело действительно было, я его видела. Пухлая папка, полная заявлений, написанных шатким мелким почерком. И на каждое заявление я писала объяснение. И про то, что я «мою янтарь» (из песка, типа как золото) в ванной, и от этого во всём подъезде засоряется канализация, и про то, что моя собака (французский бульдог, сорок сантиметров в холке) съедает в день три килограмма мяса, причитающиеся, очевидно, всем жильцам нашего подъезда, отчего те остаются голодными, и снова о пресловутом станке, «производящем антиквариат», который, после завершения производственного процесса я, естественно, разбираю на части и прячу по углам, почему и найти его невозможно...

Я писала и писала бесчисленные объяснения на бесконечные заявления, а «дело» всё росло, и милиционеры навешали нас по ночам, ни разу не извинившись перед уходом, а днём приходили «представители общественности», тоже без лишних формальностей, осматривавшие в квартире каждый угол и каждую тряпку, и я понимала, что конца этому не будет никогда. Если же потребовать наконец какого-то юридического обоснования длящегося террора или попробовать сопротивляться вторжению и не пустить очередную «проверку» за порог, то сразу станет ясно, что я действительно преступница, ибо честному человеку чего же бояться и что скрывать?

Так оно и шло, и «Процесс» Кафки сделался моей настольной книгой, а спасло меня чудо: моя соседка снизу, автор разоблачающих заявлений, сошла однажды с ума окончательно. Она пришла в местный универсам с железным прутом и, крича, что враги отравили кефир, перебила все имеющиеся в наличии бутылки с кисломолочным продуктом, залив им пол, прилавки и покупателей и угрожая ржавой железякой продавцам магазина и явившимся по вызову сотрудникам скорой психиатрической помощи. Освидетельствование выявило давнишнюю паранойю, бред преследования и целый букет прочих прелестей, после чего несчастную тётку упрятали в «психушку» на полгода. Вышла она оттуда кроткой, безмятежной и утратившей всякий вкус к сочинению любых бумаг. Остальные продолжаю-

шие тихо ненавидеть меня соседки, оставшись без лидера, не сумели достойным образом сомкнуть ряды, и моё существование в доме стало почти сносным. Не считать же, в самом деле, преследованиями поименование моего французского бульдога «жидёнышем» или осмотр сумок с продуктами перед входом в подъезд, с привлечением участкового милиционера, на предмет выявления импортных сигарет.

«Вон из Москвы!»

И вот настало утро, когда я, прихватив чемодан, сумку через плечо и собаку, в последний раз закрыла за собой дверь квартиры и отдала ключи подруге. Я навсегда прощалась с Москвой, участковым Петром Афанасьевичем и бдительными соседками. Мой путь лежал на Запад. Я понимала, что где-то мне придётся жить, а значит, скорее всего, что-то снимать, неизвестно где, как и за сколько, но после двадцати лет, проведённых в моей квартире, меня это как-то не очень пугало. Представления о ситуации с жильём в мире развитого капитализма у меня были совершенно отчётливые: жилья на рынке полно, и речь идёт только о цене — есть у тебя деньги, снимаешь роскошный дом, беден — находишь квартиру поплоче.

Того, что ожидало меня в Мюнхене, я никак не предполагала. Тогда, в девяносто первом году, квартирная реальность в Мюнхене была примерно такой же, как сейчас: свободных квартир не было, то есть буквально никаких и ни для кого — ни дорогих, ни дешёвых, ни для немцев, ни для иностранцев, ни хороших, ни плохих и ни за какие деньги. Только через друзей. А друзей у нас в Мюнхене было — раз, два и обчёлся, тем более с «квартирными» связями.

Диван под алтарём

Основную часть моей семьи поселили в социальный пансион, исключив тем самым воплощение в жизнь строк «Цыгане шумною толпой...». Без крова остались только мы с мужем и собакой, причём именно из-за собаки, которую, понятно, в пансион и на порог не пускали. После трёх недель скитаний, бесплодных поисков квартиры, ночевок у друзей, у полузнако-

Часть вторая

мых и почти незнакомых добрых людей мы поняли, что нам прямая дорога на главную площадь, на скамеечку, да и с плакатом: «Остались без крыши над головой! Помогите!» Может быть, и пошли бы, что было бы даже интересно в смысле социального эксперимента, но тут, в порядке чистого чуда, муж познакомился с человеком, уезжавшим работать в Штутгарт и согласившимся сдать нам на два месяца остававшуюся за ним на этот срок квартиру. Два месяца казались нам вечностью — мы неделю отсыпались, неделю устраивались, а всё остальное время азартно принимали гостей, чувствуя себя наконец прекрасно устроенными в новой жизни.

Вдруг, как-то даже неожиданно для нас, блаженные восемь недель истекли, и мы оказались на исходной точке, да ещё покруче, чем до того: если первые три недели бездомья мы кочевали по городу с пластиковыми пакетами, оставив чемоданы у родных в социальном пансионе, что наводило на мысли о том, как мало человеку на самом деле надо, и размышления о тщете всяческого имущества, то теперь, благодаря щедрости нашего хозяина, мы оказались ещё владельцами некоторого количества мебели и посуды.

Не знаю, что бы мы делали — с мебелью и на площади-то не усядешься — если бы не подоспело очередное чудо: священник маленькой церкви согласился за сто марок в месяц пустить нас жить в подвал. «Удобств» там не было никаких, кроме едва сочащейся из крана струйки воды, но это была всё же крыша над головой, а наш дареный диван располагался прямо под алтарём, то есть более благодатного места и вообразить было невозможно. Кроме того, за сто марок в Мюнхене можно снять, как тогда, так и теперь, разве что собачью будку. Сад при церкви был чудесный, район — из лучших в городе. Увы, с приходом холодов со стен начало течь, и я, неблагоприятная, заболела-таки воспалением лёгких.

Надо было срочно эвакуироваться из подвального, но на этот раз дело пошло легче, мы обзавелись какими-то знакомствами, подучили язык, и, хотя эмигранты с собакой в принципе не вызывали восторга у домовладельцев, сменив несколько квартир, обосновались в дивном старом доме на

окраине Швабинга, самого уютного и приветливого района Мюнхена.

Утраченный рай

Дом на Вормзер-штрассе, в котором я прожила шесть эмигрантских лет, — единственное место на Земле, которое вызывает у меня ностальгию. Он был построен в 1909 году, чудом уцелел при бомбёжках, подъезд, сверкающий мрамором и хрусталём, вызывал ассоциации с московским метро, а у знающих людей — с Лувром, кафель в ванной, ровесник дома — без единой трещинки. Лепнина на потолке была выдержана в стиле модерн начала века, а окна выходили в закрытый зелёный дворик, скорее, даже крошечный парк, где жило семейство дроздов, доверчиво разгуливающих по нашему балкону, который, к слову сказать, годился для велосипедных прогулок. Входная дверь была резная, двустворчатая, кухонную украшали цветные витражи, дубовый паркет выложен замысловатым узором... Но стоило это всё столько, что к концу каждого месяца я переставала восхищаться «неужели я здесь живу?» и с ужасом думала: «И зачем я живу здесь?» Через пару лет, с помощью общества квартиросъёмщиков, удалось снизить квартирную плату на двести марок, но цена всё ещё оставалась запредельной, даже для Мюнхена — что ж, объективно говоря, квартира того стоила.

Когда мне пришлось с ней расстаться, я поймала себя на том, что жалею не о дубовом паркете, не о гигантском балконе и даже не о лилиях на потолке. Грустнее всего было расставаться с милыми, дружелюбными соседями, которые таскали нам подарки, высмотрев при переезде, что имущество наше скудно, решительно приняли нашу сторону в расприх с квартирной хозяйкой, поставили под дверь в первый мой день рождения на новом месте горшок с гортензиями и неловко топтались на пороге, не решаясь войти в поздний час, когда по нашему недосмотру на балконе засорилась сточная труба, и два этажа под нами залило водой. Они приглашали нас на все вечеринки, дружили с нашей собакой, к каждому празднику бросали в наш почтовый ящик поздравительные открытки... Где я теперь найду таких соседей?

Часть вторая

* * *

Теперь я живу в очень славной квартирке в любимом мною Швабинге. У меня нормальные, среднестатистические соседи — я их не трогаю, и они меня не трогают, мило здороваемся при встрече, некоторые даже гладят мою собаку, но той неповторимой атмосферы, что была в прежнем доме, нет и, наверное, никогда уже не будет.

Да, конечно, мир неуютен, и так хочется закрыть за собой дверь и спрятаться в своей квартире, и какая, казалось бы, разница, кто там за соседними дверями? Да, конечно, мой дом — моя крепость, плохо только, если крепость эта — осаждённая.

ДУША ВЕЩЕЙ

Поверни алмаз...

«Этот чудодейственный алмаз возвращает зрение, — сказала Фея, — надень шапочку и осторожно поверни алмаз справа налево. Алмаз надавливает шишку на голове — про эту шишку никто не знает, — и глаза открываются. Ты сейчас же начинаешь видеть то, что заключают в себе различные предметы, например, душу хлеба, вина, перца — ты начинаешь видеть душу вещей...»

Маленький Тильтиль из «Синей птицы» получает от Феи шапочку с волшебным алмазом, и мир вокруг него преобразается: души животных говорят с ним на человеческом языке, из очага вырывается дерзкая Душа Огня, плаксивая Душа Воды выходит из крана, Душа Света блистает несравненной красотой... Хлеб, часы, молоко — все привычные, обыденные предметы, имеют душу и могут говорить, нужно только суметь их услышать, а для этого, оказывается, следует надавить шишку на голове.

Весеннее чудо

Наверное, эта загадочная шишка на голове у меня от рождения воспалена. Для меня никогда не подлежало сомнению,

что не только у людей есть душа. Ну, с животными вообще всё ясно. У иной собаки столько души, что не во всяком человеке поместится. А растения?

Под моим окном растёт одно-единственное дерево — не знаю его имени, в России таких не было. Оно вечнозелёное. Когда наступила весна и с голыми ветками деревьев и кустарников в нашем сквере начало происходить ежегодное чудо воскресения, я выглянула в окно и подумала: «Бедное деревце, как скучно, что оно одинаковое зимой и летом, от него совсем нечего ждать».

На следующий день, выйдя из дому, я случайно повернула голову и вдруг заметила, что дерево, которое я привыкла видеть в окне в тёмно-зелёной, жёсткой, чуть не звенящей на ветру листве, выпустило под каждым старым пыльным листом нежный светлый листочек. Деревце переливалось на солнце праздничным двухцветием и смотрело на меня торжествуя, радостно и даже с некоторым злорадством: «Ага, ты думала, что я вовсе безнадёжное, а я, вот видишь!..»

Ладно, растения, что ни говори, живые — они растут, в них бродят соки, они могут заболеть и даже умереть, если им не хватает солнца, влаги или любви, но вещи, предметы?

Расставание с вещами

Нет сомнения, что новенькая вещь, только что купленная в магазине, неодушевлённая, она ещё не живая. Но стоит ей какое-то время провести возле вас, стать привычной, нужной, необходимой, как она начинает впитывать вашу эманацию, встраивается в жизнь дома, становится почти членом семьи. Вещь приобретает душу. С ней можно разговаривать, ей можно попенять, можно ей пожаловаться, можно сказать ей: «А помнишь?..»

Моя московская квартира была заполнена старыми вещами — я никогда ничего не выбрасывала. Платье, сшитое для выпускного вечера, с тех давних пор ни разу не надёванное; распашонки моего уже взрослого сына; зажигалка, забытая некогда моим первым возлюбленным; старинный чернильный прибор, подаренный человеком, которого давно уже нет на

Часть вторая

свете; чернёный серебряный браслетик, купленный бабушкой к восемнадцатилетию, — как я ему радовалась... Все было спрятано по укромным уголкам и иной раз доставалось на свет, чтобы вспомнить милых сердцу людей, ушедшие времена.

Когда я собиралась в эмиграцию (а на сборы у меня было ровным счётом три часа), швыряла в заведомо единственный чемодан первые попавшиеся под руку одёжки, — вещи, оставляемые мною на произвол судьбы, шептали, вопили, стонали на разные голоса: «Возьми нас с собой, не бросай здесь, в пустой квартире, тебе будет плохо без нас!» Но много ли унесёшь в одном, пусть даже большом, чемодане? Громче всех кричали книги. Ведь книги — это почти что люди. «Ты с ума сошла, как ты будешь без нас жить, кому мы теперь достанемся, никто не сможет любить нас так, как ты, возьми хотя бы меня! И меня, и меня...» Я сняла с полки растрёпанный однотомник Цветаевой, сунула его в чемодан и трусливо отвернулась от родных корешков.

Наконец чемодан был собран. Квартиру я оставляла чужим людям, моё барахло, конечно, будет выброшено на помойку или перекочет в безразличные руки, которые покрутят равнодушно мои бесценные сувениры и засунут их навеки в темноту антресоли. Я схватила большую картонную коробку и начала поспешно складывать туда все, что попадалось на глаза: бабушкину шкатулку для рукоделия, прадедушкин кожаный стаканчик для карандашей, старинный набор фруктовых ножей, давно затупившихся и годных лишь на то, чтобы вытирать с них пыль и пытаться представить себе дом моей одесской прабабушки, где за стол садились каждый день тринадцать человек, отчего все дети выросли принципиально несусеверными...

«Пожалуйста, — сказала я, чуть не плача, подруге, приехавшей, чтобы провести со мной последнюю ночь перед отъездом, — пожалуйста, как-нибудь, ну, найди способ, переправь мне эти вещи потом, хоть по одной, хоть когда-нибудь, я не могу их здесь бросить».

Резная шкатулка

Прошло почти десять лет. Резная деревянная шкатулка для рукоделия, принадлежавшая моей бабушке и доставшаяся ей

от её мамы, которую я не помню, стоит на письменном столе в моей мюнхенской квартире. Я храню в ней письма, те письма, которые невозможно просто сунуть куда-то и забыть о них, которые хочется всё время иметь под рукой, то и дело перечитывать, прокручивая в памяти прежнюю жизнь, ту, что ушла навсегда и больше не вернётся. Бирюзовый атлас, которым подбита шкатулка изнутри, немного посёкся, крышка сломалась при пересылке, пришлось подклеивать потемневшее от времени дерево специальным клеем, но места поломки почти не видно.

Я поглаживаю сложный узор на крышке, обвожу пальцем бронзовые шляпочки декоративных гвоздей, и отчётливо слышу, как шкатулка шепчет мне: «Помнишь, помнишь, как ты прибежала подежурить возле своей умирающей бабки, которая уже не вставала. И застала её с этой шкатулкой возле кровати, энергично подшивающей кружевное жабо к синему платью. «Бабка, что ты делаешь, — закричала ты, — тебе же надо лежать спокойно, ты сейчас опять начнёшь задыхаться!» «Ещё чего, — сказала она, преодолевая одышку, — у меня ни одного приличного платья нет, что ж ты хочешь, чтобы я в гробу лежала в чём попало? И, кстати, ты не боишься покойников? Сможешь меня нарумянить немного, и губы чуть-чуть?...» И ты поняла, что спорить с ней бесполезно и сказала тихо, хотя это шло совершенно вразрез с твоими представлениями о смерти и о том, как подобает о ней говорить: «Ладно, бабка, я не боюсь, я всё сделаю».

В гробу моя бабка лежала юной маркизой. Мне ничего не пришлось делать: умерла она в больнице, и там, в морге, её одели в синее нарядное платье с пышными кружевами у шеи, сделали макияж и аккуратно причесали вьющиеся, изголубаседые волосы. «Какая она у вас красивая, ухоженная, — восхищалась служительница, — ногти на руках и на ногах, как у девочки, право, как у девочки...»

Вернувшись первой после похорон в бабкину комнату, я слонялась из угла в угол, поджидая отца и дядьку с семьёй, и вдруг заметила, что под каждым предметом, стоящим на столе или на подоконнике, под рамкой каждой картины и фото-

Часть вторая

графии на стене торчит бумажный уголок. Я развернула одну из записок — на ней стояло имя моего отца. На другой — дядьки. Я выдернула бумажку из-под крышки шкатулки с рукоделием. «Иринке» — было написано затейливым бабкиным почерком. Когда бабка успела написать и разложить все эти записочки, ведь последние несколько недель она не вставала с постели и кто-то из нас постоянно был при ней?

Когда собрались остальные, мы долго бродили по комнате, читая записки с нашими именами и передавая друг другу фотографии, шкатулки, старинные пудреницы, коробки со столовыми приборами, древние кофейные чашки — это было похоже на какую-то странную бесприигрышную лотерею.

Запах отца

Бабкина шкатулка рассказывает длинные истории о своей хозяйке, о её самозабвенной любви к моему деду, о ревности, которая мучила её и после смерти мужа, о том, как в чёрные времена она ночь напролёт спускала в унитаз порванные в мелкие кусочки свои дворянские грамоты — бумага была плотной, и обрывки документов упорно плавали сверху, — о том, как она, в семнадцать лет выйдя замуж за еврея, по имени Абрам, назвала сыновей, разумеется, Исаак и Яков, сделала мальчикам обрезание и выучила, в угоду свёкру и свекрови, идиш и иврит, как она, а не моя еврейская бабушка, пела мне ласковые песенки на идиш...

Отцовская коробка для сигарет, палехская, с потрескавшимся лаком, с тройкой лихих коней на крышке, говорит о моём надменном красавце-отце, о его необычайной одарённости, отданной на службу системе, сжиравшей всякую незаурядность, как амеба обволакивает любую крупинку, поглощая её без следа, о его страшной растерянности, когда рухнула советская власть, о том, как он лихорадочно повторял, имитируя былую невозмутимость: «Я был марксистом и остаюсь им», как он не мог никуда себя пристроить, уйдя в семьдесят два года на пенсию, и вставал по-прежнему каждый день в шесть утра, совершал пробежку и становился под ледяной душ, а потом захворал, вроде и неопасно, и слёг, и за три недели его не стало, исчез, словно никогда и не было... Внутри шкатулки, в тре-

шинках алого лака, ещё сохранился его запах — аромат хороших сигарет и английской туалетной воды.

Ящик комода

У меня в комодe есть ящик, который я стараюсь не открывать. Зато если уж открою, сижу перед ним часами. Перламутровый театральный бинокль, вышитый очечник, крошечная записная книжечка, потёртое кожаное портмоне с чеками на давние покупки, деревянная резная ручка, позолоченный футлярчик с остатками бледно-розовой помады, а главное, чёрная сумочка без ремешка, из тех, что носят под мышкой, с пузырьками под крокодиловую кожу — всё это до того мамины вещи, что почти что — мама. От этих бедных вещичек поднимается облако любви, защищавшее меня от мира почти пятьдесят лет, они разговаривают со мной маминым голосом, кто посмеет сказать, что у них нет души?

Бинокль подарил маме её возлюбленный, театрал и денди, заменивший мне отца, когда отношения мои с родным отцом на долгие годы зашли в тупик. Деревянную ручку прислал мамин подзащитный из лагеря, где заключённые мастерили такие штуки, в благодарность за то, что маме удалось скостить ему срок почти вдвое, а он и виноват-то не был. Очечник мама купила в Латвии, куда каждый год возила отдыхать моего сына и где покупала ему всё обмундирование и кучу игрушек, а себе, кажется, за все годы — только этот очечник. Чёрной сумочкой мама очень гордилась — купила её уже в Мюнхене, на распродаже, подделка «под крокодила» была такой искусной, что и впрямь не отличишь, мама всюду с ней ходила, не выпускала из рук даже у меня на кухне. «Что, украдут?» — посмеивалась я. А она то пудреницу достанет, то расчёску, то губы подкрасит слегка — старая школа, теперь так никто не делает. Закрыть, скорее закрыть этот ящик!

Как собираться в эмиграцию

Десять лет эмиграции научили многому. Я теперь знаю, например, как надо собираться в отъезд. Повторяю каждому, кто собирается оставить насиженное место: помните, никаких тря-

Часть вторая

пок, никаких «ценностей», никаких дурацких фотоаппаратов, сковородок, швейных машин, никаких янтарных ожерелий. Всё это прах и пыль и будет выброшено в первый же год после приезда. Только книги, семейные фотографии и старые вещи.

Первые башмачки вашего ребёнка, флакончики из-под бабушкиных духов, ещё хранящие воспоминание о запахе, дедушкина трость, школьные тетрадки, исписанные вашим почерком, — все эти ненужные вещи бесценны, в них есть душа, частица вашей души, без них вы будете сиротой. А эмиграция — не сахар, иной раз так припрёт... Тогда просто наденьте шапочку, поверните волшебный алмаз справа налево, он надавит на шишку на голове, ваши глаза откроются, и вещи заговорят с вами языком вашего прошлого.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Любви моей ты боялся зря,
Не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть тебя,
Встречать улыбку твою.

А если ты уходил к другой
Иль просто был неизвестно где,
Мне было довольно того, что твой
Плащ висел на гвозде...

...Помните? Бесподобная песенка Новеллы Матвеевой. Героине не нужно от любимого — ничего. Нет плаща, так хоть гвоздь из-под плаща, не станет гвоздя, так хоть след от него... Просто — чтобы Он был, существовал. Такая песня об экзистенциальной любви.

Он так меня любил

Наверное, способность к такой абсолютной, не нуждающейся в ответном импульсе любви демонстрирует нешуточ-

ный уровень души. Талант. Не всем дано. Мне — нет. Какой-то внутренний дефект. Мне всегда нужен был встречный поток, общее поле. В пустоту я любить не умела. Просто интерес — любой, амурный, дружеский — пересыхал у источника, не встретив резонанса. В некотором роде это очень удобно — страдания неразделённой любви наверняка не сахар. С другой стороны, ощущаешь определённую ущербность, не познав бескорыстного чувства — получить любовь в ответ на любовь, конечно же, корысть, и немалая. И чем больше получаешь в ответ на свою единицу любви, тем в большей ты прибыли.

В этом смысле самое выгодное вложение капитала — собаки. Когда умер мой Даня, я отчётливо почувствовала умаление своей значимости в мире. Двенадцать лет я жила в ощущении своего божественного статуса. Каждое утро, просыпаясь, я встречала обожающий взгляд круглых коричневых глаз. Он так задыхался от восторга, когда я возвращалась домой, так счастлив был по вечерам, забираясь под кресло, чтобы непременно прикоснуться к моей туфле, так блаженно вздыхал, устраиваясь на ночь у меня в ногах, так судорожно, жажда ласки, подсовывал круглую голову под мою ладонь... Он так меня любил.

Он, прожив девять лет почти безвыездно в родном доме, отважно сел со мной в самолёт и отправился в неизвестность, он мужественно переезжал вместе с нами семь раз, пока мы не нашли постоянное пристанище, и приобрёл привычку, как только приезжала машина для перевозки вещей, торопливо прыгать в кабину — боялся, дурачок, что его забудут. Ему, кажется, вообще всё было всё равно — лишь бы быть рядом со мной.

И вот его не стало. Выкопали яму в лесочке, за городом, подстелили мою куртку, на которой он любил лежать, когда меня не было дома, чтобы чувствовать мой запах, опустили на неё маленькое тело, положили рядом любимый полосатый мячик и засыпали землёй. И всё. Вернулись домой, а там лежит холодная подстилка и висит на вешалке ненужный поводок.

Охота за белым щенком

Собаку никогда больше не заведу, поняла я. Такого больше не будет, а другого мне не надо. А тоска становилась всё острее,

Часть вторая

и квартира казалась всё более пустой, а возвращаться по вечерам домой и вовсе стало мукой.

— Тебе собака нужна, — сказал наш наблюдательный друг. Выслушал мои нервные аргументы, ни слова не возразил и ушёл.

Вернулся назавтра, ведя на поводке нечто, похожее на пухлого розово-палевого младенца, улыбчивого и душистого.

— Это кто же? — взвизгнула я.

— Мопс это. У друзей одолжил. Хочешь такого? Или всё-таки французского бульдога, как Данечка был?

Приветливый мопсик облизал меня узким язычком. Я обняла его, облила слезами и почувствовала, что ледяная кора, сковавшая меня после Даниной смерти, растаяла.

— Тогда бульдога, — сказала я, — но только белого, с чёрными пятнами, чтобы точно как Даня, и назову тогда тоже Даней. Только здесь же их почти нет — где мы его возьмём?

— А это не твоя забота, — сказал последовательный немец. — Твоё дело будет — правильно выбрать щенка.

Следующие два месяца были посвящены охоте на белого щенка французского бульдога. Мы изъездили полстраны, познакомились с кучей очаровательных сумасшедших, помешанных на «французах», были даже в настоящем замке у настоящей принцессы, где разводили бульдогов с начала XIX века и где им была посвящена отдельная зала, с целой галереей собачьих фамильных портретов, живописных и скульптурных, а число живых особей превышало две дюжины. Не везло. Там — в помёте вообще не было белых щенков, там — белый был для кого-то забронирован ещё до рождения, а у бульдожьей принцессы обещанный нам белый малыш заболел какой-то хроникой, и всё отложилось на несколько месяцев...

— Всё, хватит, — сказал наш друг, когда очередной, уже твёрдо закреплённый за нами белый щенок погиб на четвёртый день жизни от врожденной кишечной непроходимости, — хорошо ещё, что мы его не видели. — Хватит. Надо брать чёрного, и всё. Привыкнешь через неделю и будешь думать, что так и надо.

И назавтра мы поехали в глубину Баварии.

Чёрный аутсайдер с белой манишкой

В доме жили: две огромные собаки неведомой породы, три кошки, полуметровый попугай, идеально имитирующий телефонный звонок, так что хозяева без конца бегали к телефону, и супружеская пара французских бульдогов — Ромео и Джульетта (то есть, разумеется, Юлия). Щенков было восемь. Они ползали по маме, тыкались слепыми ещё мордочками в соски и немислимо тонко пищали. Один был явный аутсайдер — чёрный, с белой манишкой, поменьше и похудее остальных, он никак не мог приладиться к маминой сиське, более проворные братья и сёстры всё время отпихивали его. В конце концов он вздохнул глубоко и обречённо положил голову на лапки. Я наклонилась и заглянула в щенячье лицо — мутные голубые глазки смотрели печально и обиженно.

— Вот этого, — сказала я. — Этого возьму, можно?

— Он слабенький, — неуверенно сказала заводчица, — я бы вам не советовала. Пока взяты только двое, выберите посильнее, хотите вот этого, рыженького?

— Нет, я вот этого...

— Ну хорошо. Как его будут звать?

— Даниэль, — сказала я, — Даниэль второй.

— Даниэль дер цвайте, — повторила хозяйка. — Ну и отлично. Так и запишем. Я постараюсь его подкормить за эти недели.

Забирали мы чёрного Данечку вместе с ветеринаршей из Мюнхена, которая как раз выбрала себе толстого рыжего щенка. Она вела машину, а мы с мужем на заднем сиденье держали щенят: муж — рыжего Бориса, названного в честь Ельцина, а я — худенького Даню. Первые полчаса пути маленькие пищали, тянулись друг к другу, ища знакомый запах, потом пригрелись, затихли и заснули. Мокрый холодный носик уткнулся мне в шею, и я снова почувствовала полноту жизни.

Дома новый жилец довольно быстро дал нам понять, кто в доме хозяин. Все попытки отгородить ему угол встречали бешеное сопротивление, до того громкое, что просто невозможно было ожидать такого количества децибел от совсем крохотной собачки. Успокоился он только тогда, когда обковылял на ещё не очень послушных лапках всю квартиру и выбрал себе уют-

Часть вторая

ный угол в спальне. Там ему и положили новенькую щёгольскую подстилку.

Обучению и дрессировке Даня поддавался плохо. Не то чтобы не понимал, что от него требуется, — просто не хотел. Не желал — и всё. И плевать ему было на все наши команды. А вдруг каприз придёт — и всё отлично выполнит. Ну и ладно, подумала я, мне ж с ним не в цирке выступать. Мне — чтоб любил.

Совсем не Даня

Довольно скоро выяснилось, что если пёсик кого вообще и любит, то уж всяко не меня. К «папе» он испытывал явный пиетет, с некоторой даже примесью подхалимажа — признавал в нём вожака, — а со мной не на шутку сражался за второе место в стае. Как только хозяин возвращался домой, щенок устраивался рядом с ним на диване и предупреждающе вскидывал голову при любом моём перемещении в направлении места отдыха.

Когда я вечером возвращалась из душа, Даня немедленно прыгивал с кровати, где укладывался у папы в ногах, и, явно недовольный, плюхался на пол. Я хорошо знаю повадки французских бульдогов — по преданию, это постельная собака французских королей: четыре такие штучки ложились по углам необъятной кровати, и проникшему в спальню злоумышленнику не стоило завидовать. Атавизм у собаки, решили мы, не иначе. Надо сказать, было обидно.

Но ещё обидней было то, что щенок решительно пресекал все мои попытки его приласкать. Погладить ещё — туда-сюда, с горем пополам, но вот лежит он в кресле, свернувшись клубочком, маленький, невыразимо трогательный, ритмично посапывает, наклоняешься и хочешь поцеловать шёлковую чёрную мордочку, а он маленькими острыми зубками за нос тебя — цап!

Когда такое произошло впервые, я прямо взвела: «За что?!» Так это было дико, так нелепо — чтобы собственный щенок меня, можно сказать, родную мать... Потом привыкла и всякий раз ругала только себя, что снова поддалась припадку нежности и забыла про суровый нрав собачки. А потом и вовсе перестала лезть к нему с поцелуями — ну, не нравится животному, что ж тут сделаешь. Гладила по головке только — когда позволял.

Однако восторг и умиление он у меня вызывал стабильно, невзирая ни на что. Независимый, упрямый, умный, выразительный — очень привлекательное существо. Только... совсем не Даня, никакой, и даже не второй. Ничего общего. Просто — другое дерево. Много раз я про себя пожалела, что назвала его привычным, родным именем — сказать об этом вслух мне почему-то было невозможно.

«Я его люблю»

Всё-таки с возрастом Даня ко мне по привычке. Не то чтобы полюбил, но словно бы оценил как старательный обслуживающий персонал. Охотно бежал ко мне, собираясь на прогулку, выжидающе посматривал, обнаружив пустую миску. Даже стал иногда укладываться рядом со мной, если я сидела на диванчике в кухне. Вот тут-то, в кухне, всё и произошло. Он улёгся у меня под боком и сладко заснул. Я гладила, гладила тёплый лобик — лобик крутой, высокий, мы звали его «маленький Ленин», ещё называли «Чёрной Мырдой», как-то везло ему на политические прозвища, — а он так славно посапывал, я вконец разнежилась, растаяла от любви и нагнулась, чтобы чмокнуть любимую собаку между ушами. Пёс молниеносно вскинул голову и тяпнул меня за подбородок.

Кровь хлынула потоком. Я вскочила и бросилась к зеркалу, с мыслью: «Всё, я навсегда изуродована». Зеркало подтвердило мою правоту — вся нижняя часть лица была располосована, подбородок, губа висели клочьями. И то сказать, это был уже не щенок с острыми, но маленькими зубками, которыми можно максимум оцарапать. У взрослого бульдога зубы изрядные.

Собака в ужасе забилась под стол и там описалась с перепугу, чего с ней никогда прежде не случалось. Я переоделась, зажав лицо комом бумажных полотенец, и мы с мужем выскочили за дверь. Напоследок муж прошипел скорчившемуся под столом Дане: «А эту собаку надо усыпить!»

В больнице мне тщательно зашили раны, заклеили пластырем швы, сделали укол от столбняка и, успокоив, что следов почти не останется, отпустили домой. Когда мы вернулись, Даня всё ещё сидел под столом. Просидел он там больше су-

Часть вторая

ток, выходил только на прогулку, дрожа и спотыкаясь, совсем не ел.

Наутро я проснулась с отчётливым ощущением случившегося несчастья. Было чувство, что произошло непоправимое — кто-то умер или предал кто-то, очень близкий.

— Ну и что мы будем делать с этой собакой? — спросил муж за завтраком.

— А что ты предлагаешь?

— Но ты понимаешь, что он опасен, его нельзя держать в доме? Надо отдать в приют.

— Нет! — заорала я.

— Что — нет? Оставишь его здесь? А если он тебе нос откусит? Или ещё кому-нибудь?

— Ты же знаешь, что он никого, кроме меня, никогда не кусал, он же неагрессивный. И меня-то, только когда я его целую, а я больше не буду, честное слово.

— Смотри, как знаешь. — Муж помолчал и спросил: — А почему ты не хочешь с ним расстаться? Тебе его просто жалко?

— Нет, — сказала я. — Я его люблю.

— Любишь? Да он тебя за всю жизнь ни разу не лизнул!

— Ну и не надо.

Хэппи-энд

Приглашённый на дом собачий психолог за двести марок нас успокоил: собака совершенно нормальна, вовсе не агрессивна, и намерений покалечить меня у неё не было — просто я наклонилась сверху, чего животные вообще не любят, и Даня, спросонья не разобрав, что к чему, огрызнулся.

— Впрочем, — добавил нехотя знаток собачьих душ, — любви большой он к вам не испытывает, иначе ему инстинкт не позволил бы вас цапнуть.

Но мне это было уже как-то всё равно. Я ничего от него больше не хотела — только чтобы он был, и был со мной.

А потом мы остались с Даней вдвоём. Наверное, он почувствовал себя как ребёнок, навсегда брошенный на домработницу, — словно бы и не чужой человек, но безразличный, и где же милый папочка? Полгода спустя шестилетняя собака впер-

вые в жизни вспрыгнула ко мне на колени и неуверенно лизнула в щёку. Ещё через пару месяцев, проснувшись, я обнаружила у себя в ногах свернувшееся чёрное тельце — до этого пёс упорно ложился на пол у кровати. Когда я возвращаюсь домой, Даня, задыхаясь от восторга, носится опрометью по квартире с игрушкой в зубах, а сейчас лежит сзади меня в кресле и пылко и добросовестно лижет мой локоть.

«Жизнь диктует нам свои суровые законы, — думает собака, — ничего не поделаешь, кого-то ведь любить надо?»

А я теперь знаю гораздо больше про любовь и про себя: и про то, что любовь — сама себе награда, и про то, что нет такой крепости, которую не взяли бы большевики, — если долго любить, можно пролюбить любую преграду. Знаю и ещё одно: Даня — последняя собака в моей жизни, потому что человек, живущий один, да ещё, если ему не двадцать и не тридцать лет, не имеет права заводить щенка, так что надо нам любить друг друга изо всей мочи. Мы и любим.

УМЕТЬ БОЛЕТЬ

Вот так живёшь себе, ни шатко ни валко, день за днём, заботы и радости, неприятности и маленькие удовольствия — вроде это и есть жизнь, и даже не подозреваешь, что где-то совсем рядом простирается другое пространство, другая реальность. Пока вдруг не разорвётся завеса и не попадёшь в зазеркалье, которое, оказывается, совсем рядом, за тоненькой плёнкой.

«Коньки отбросишь, дура!»

Подлянка зрела во мне довольно долго, только я не подозревала, что это хирургическое заболевание, пока она окончательно меня не допекла и не отправилась я к врачу. Уселась в приёмной, а сама думаю: сейчас он меня посмотрит, скажет — ну, пустяки, помажьте мазью, и пойду домой, а дома дел-то невпроворот... и уже погрузилась в обыденные мысли. Только я не знала, что из этой уютной приёмной уже начался путь в другое измерение.

Часть вторая

Хирург оказался славным седым дядькой с чернушими бровями. Он даже произнёс по-русски пару слов — вполне обычный набор, типа «здравствуйте» и «на здоровье». Предъявила свою болячку.

— Та-а-ак, — сказал дяденька, — ну что, немедленно в больницу. Сейчас вызываю машину.

— В какую больницу, — засмеялась я, — у меня в пустой квартире собака заперта, да и вообще работы полно. Не могу я в больницу, давайте так как-нибудь полечим.

— Нечего тут лечить. Нужна срочная операция. Немедленно. Тут я слегка испугалась.

— Да я правда не могу..

Вдруг дядька вытаращил глаза под угольными бровями и зарорал на меня так, что я подпрыгнула и решила, что у меня от стресса съехала крыша.

— Коньки отбросишь, дура! — это было выкрикнуто на чистейшем русском языке, даже почти без акцента.

Должна заметить, что этот эффект Валаамовой ослицы — немецкий врач, оперирующий русским сленгом, — произвёл на меня почти волшебное действие. Я как-то сразу поверила, что дело дрянь, гораздо быстрее, чем если бы он душил меня медицинскими терминами и убедительными уговорами.

Сторговались на том, что машину он вызывать не станет и отпустит меня под честное слово, а я обязуюсь сегодня же отправиться в клинику и по меньшей мере договориться об операции на завтра. Подозреваю, что коварный эскулап понимал — не выпустят меня из больницы ни до какого завтра.

Между двух реальностей

Пришла я домой совершенно растерянная и начала метаться: что же делать с собакой? Собака у меня специальная: везти её никуда нельзя, есть только один вариант — посадить с ней кого-то жить на всё время моего лечения, а где возьмёшь такого человека? Надо заметить, что в тот момент я всё ещё предполагала, что речь пойдёт об одном-двух днях, но всё равно решение проблемы было возможным только в порядке чуда. Чудо и случилось. Подруга, у которой своих забот и проблем полон

рот, на мой робкий вопрос — не останешься ли с ним, тихо ответила: «Куда ж я денусь...» — и через час уже была у меня.

Приятель подъехал к дверям и посигналил. Я поцеловала собаку и шагнула за порог. Почему-то мы долго не могли найти подъезда к больнице — одни улицы были с односторонним движением, другие перерывы. Мы крутились по городу, а я тихо радовалась — момент окончательного решения оттягивался, я как бы зависла между двух реальностей, и мне хотелось, чтобы этот шлюз длился бесконечно. Но и он закончился.

В приёмном отделении меня определили в задёрнутый занавесками бокс и принялись постепенно вовлекать в процесс обследования: температура, давление, а теперь, пожалуйста, давайте возьмём кровь по дождём результатов экспресс-анализа... Я лежала за занавесками, смотрела на белый потолок и чувствовала себя вовсе не так уж плохо, даже попыталась сесть на топчане, но медсестра живо навела порядок: больной должен лежать. А почему? На всякий случай. Я покорно улеглась. Только очень хотелось курить. Попробовала намекнуть на это девочке в белом костюмчике, но получила такой выразительный ответный взгляд, словно я потребовала косячок гашиша или рюмку водки. А мне так хотелось хотя бы на пять минут сбежать в туалет и получить последнюю передышку перед явственно надвигающимся новым существованием. Попить тоже не дали: если потребуется срочная операция, не надо жидкости в желудке. Тут я начала осознавать, что я, собственно, не принадлежу уже себе — жизнь потекла по другим законам, законам болезни.

Молоденький врач, с нежным пушком над верхней губой, обследовал меня чрезвычайно обстоятельно. Решение было однозначным — на стол, и немедленно.

— Как, вот прямо сейчас? А может, утром... — заикнулась было я.

Ответ был эквивалентен воплю моего бровастого хирурга: коньки отбросишь, дура. Правда, по-немецки и в корректной форме такого неизгладимого впечатления на меня не произвёл. Но, как бы это ни прозвучало, а дверь между мной и моей прежней жизнью захлопнулась.

Часть вторая

«...как совершенны / Дела Твои...»

Меня переодели в голубую рубашу, запахивающуюся на спине, всё барахло, включая одежду и обувь, загрузили в большой пакет с надписью «Имущество пациента» и куда-то унесли. Я осталась гол как сокол, без привычного панциря, который образует привычная одежда и сумка в руках — разве можно без всего этого прожить хотя бы минуту? Топчан подо мной оказался на колесиках, и не успела я оглянуться, как уже оказалась влекомой, причём вперёд ногами, что меня неприятно поразило, по нескончаемым коридорам клиники. Лампы под потолком проплывали надо мной, а у меня крутилось в голове пастернаковское: «О Господи, как совершенны Дела Твои, — думал больной...»

Ввезли в операционную.

— Вы не бойтесь, — улыбнулась под маской врач-анестезиолог, — мы ж с вами уже знакомы. — Она действительно приходила ко мне в бокс за занавеску и задавала массу всяких вопросов, включая насущнейший вопрос о состоянии зубов, но впопыхах я её как-то не зафиксировала в памяти. — Операция будет, очевидно, небольшая и не тяжёлая. Скоро проснётесь — и всё позади.

Дальше не помню — помню только мысль: ну что ж, если не проснусь, так тому и быть, прости мне тогда все грехи мои, Господи.

Потом осознала себя снова куда-то едушей, а голос надо мной неторопливо и добросовестно рассказывал, что операция оказалась куда более серьёзной, чем предполагалось вначале, длилась два часа, что сделано то и это, зашито одно и другое... Зачем мне так срочно нужна была столь подробная информация, когда я ещё и глаза не могла разлепить, по сию пору не понимаю, но немцы — народ ответственный: сделали — надо отчитаться.

Операция началась в два часа ночи, длилась, стало быть, до четырёх, а ровно в семь утра надо мной склонилась палатная сестра и радостно сообщила, что настало утро и пора идти умываться. «Так, тётка сошла с ума», — констатировала я. Внутренности разрывались от боли, голову кружило и ломило, и встать, или хотя бы сесть, как мне представлялось, я могла бы, может

быть, под пистолетом, но и то — очень-очень вряд ли. Я попыталась донести до собеседницы чистую правду, что двигаться мне никак невозможно, но неугомонная сестричка подхватила меня под мышки и потащила с кровати. Я заорала. Её это несколько не переубедило. Успокоилась она только тогда, когда я, вопя при каждом движении, что-то такое себе помыла и почистила зубы, после чего была оттащена обратно в койку.

Если очень плохо — уже не страшно

На протяжении последующих двух суток изверги в белых халатах истязали меня вставанием по три раза в день — если не могла справиться одна палатная сестра, она звала на помощь напарницу. В придачу дважды в день приходила ещё одна садистка, пытавшая меня массажем спины и дыхательной гимнастикой — дабы не случилось каких неприятностей в лёгких. Потом мне объяснили сведущие люди, что всё это было новейшей прогрессивной методикой выхаживания послеоперационных больных и что именно она позволяет избежать многих осложнений и способствует скорейшей реабилитации. Мне, честно говоря, всё это было по барабану — я хотела одного: чтобы меня оставили в покое.

Даже телефон, поставленный в первое утро у кровати по моей же просьбе, казался мне мучителем: бесконечные звонки вырывали меня из забытья, в которое я погружалась сразу, если не было внешних раздражителей, — там, на дне, мне было спокойно и неплохо, боль переставала терзать, и возвращаться наружу совсем не хотелось.

Тогда же, в первые двое суток после операции, я сделала любопытное открытие: оказывается, если человеку очень плохо, то ему уже не страшно — и это относится даже к таким мнительным и тревожным субъектам, как я. Очевидно, не хватает сил и объёма внимания на оценку своего состояния и мысли по поводу — а опасно ли это, и что теперь со мной будет. Вообще ни о чём не думаешь — просто уплываешь в туман, и только бы тебя не трогали.

Когда туман стал рассеиваться, я обнаружила, что, оказывается, представляю собой в некотором роде зверя, попавше-

Часть вторая

го в капкан: с одной стороны, я подключена торчащим из руки шлангом к капельнице, с другой стороны, из моего живота свисают два дренажа — так что, если допустить на минуту, что я пожелала бы покинуть палату, это было бы ещё более невозможно, чем зверьку, прищемлённому за ногу, — дренажи-то не перегрызёшь, не нога чай. На осознание полной невозможности распоряжаться своим телом по собственной воле у меня ушло ещё два дня.

Бесценный опыт

Попутно я успела понять ещё одну истину — даже не понять, поскольку это как бы вполне общее место, а проникнуться ею в полном объёме, что мне до того ни разу не удавалось: против лома нет приёма, попал под ситуацию, ну и смирись — а то мне, в лучших традициях русской и советской литературы, всё казалось, что человек создан для счастья, как птица для полёта, и человеческий разум и воля могут всё. Ни фига они, оказываются, не могут; смирение — вот лучшее учение.

На шестой день меня отцепили от капельницы, и я, влоча за собой дренаж, поползла курить на балкон. Деревья за перилами балкона казались нестерпимо зелёными, воздух был неправдоподобно вкусен, а сигарета показалась лучшей в жизни.

На восьмой день я оказалась дома с располосованным животом и грузом бесценного опыта, настойчиво требующего осмысления — ведь что, в самом деле, получается? Умереть, не боля, мало кому удаётся, да и то неизвестно ещё — благо ли это. Значит, надо уметь болеть. Надо уметь и лечиться. И в больнице лежать надо уметь. А как научишься, не попробовав? Стало быть, мне крупно повезло — если... если вот такой относительно малой кровью всё это обойдётся... обошлось, быть может?

И я добросовестно осмысливаю опыт, при этом заискивающе заглядывая в небеса: ну да, просто здорово, что я уже попробовала, вот ведь, многое поняла, ну правда, поняла уже, так что, может быть, больше пока не надо, а? А небеса молчат.

ПУСТЬ ВСЁ БУДЕТ КАК ВСЕГДА!

Когда-то Новый год был надеждой, восторженным и тревожным ожиданием до замирания сердца — что наступит? Счастье?! Потом — промежутком, островком во времени, чтобы остановиться, оглянуться: что сделано, что сбылось, что получилось? И, наконец, одна только благодарность: ну, вот ещё год прожит, его уж не отнимешь, он был! Может, это мудрость пришла?

Где взять ёлку?

Всё уходит. Меняются времена, сменяются места. Канули в прошлое многолюдные новогодние праздники моей юности, когда, замкнутые в герметичную капсулу своей московской тусовки, мы предавались лихорадочному веселью, стараясь не думать о том, что за дверями, снаружи. Ушли, миновали тихие семейные посиделки в уютном Мюнхене, с домашним пирогом, с ощущением покоя, стабильности, уверенности в том, что наступающий год укрепит и упрочит наш маленький мирок посреди дружелюбного чужеземья.

Жизнь совершает очередной немислимый вираж, и вот под Новый год я оказываюсь одна-одинешенька в новой, не обжитой ещё толком квартире. И ни ко мне никто — у всех своя жизнь, ни я — никуда, потому что напуганная переездом и переменами собака наотрез отказывается оставаться без меня в пустом доме.

Что же делать? Новый год надо же как-то встречать? Нельзя не встречать! Так, надо собраться, надо сосредоточиться. Прежде всего, конечно, ёлка. Где её взять? Где вообще в этом районе ёлочный базар? На прежней квартире был прямо возле дома, да не один, а целых три. А здесь? Я же тут ничего не знаю.

И вдруг сюрприз: выхожу утром с собакой и вижу, что сквер, по периметру которого мы совершаем ежедневную прогулку, перегороден высокими решётками на две неравных части, и в меньшей его части возникло невероятное ёлочное великолепие — голубые, зелёные, бирюзовые, стройные, раскидистые, трёхметровые и совсем малютки, ёлочки на любой вкус, и на мой тоже!

Часть вторая

Я схватила недогулянную собаку и бросилась домой за деньгами. Наличности хватило впритык, и через полчаса тёмно-пушистая девочка-ёлка, ростом мне по плечо, уже нежилась в моей ванне.

Полдня ушло на поиски среди нераспакованных коробок подставки для ёлки и ёлочных игрушек, весь вечер — на обряжение красавицы. К ночи я включила ёлочную гирлянду, погасила верхний свет и, любуясь разноцветными бликами от лампочек на потолке, поняла, что Новый год у меня всё-таки будет.

Шампанское для синглов

Теперь следовало позаботиться о новогоднем столе. С едой всё было в порядке: подруга-немка из Касселя, подозревавшая, очевидно, что в новых условиях жизни я могу и поголаживать, прислала за неделю до Рождества посылочку с «продуктами питания» — колбаса, ветчина, рыбные консервы и даже немецкая икра, которую я до той поры ни разу не пробовала. То-то, должно быть, удивились на почте, если заглянули: посылать еду из Германии в Германию — такую благотворительность не назовёшь общепринятой.

А шампанское? Покупать бутылку шампанского, чтобы выпить бокал, а остальное куда? Собака у меня спиртного ведь не пьёт. К моему радостному изумлению, оказалось, что в нашем «Пенни» целая полка уставлена двухсотграммовыми «мерзавчиками» шампанского, самого настоящего, сухого, и с завинчивающейся пробкой, что снимало ещё одну серьёзную проблему — за всю жизнь ни одной бутылки своими руками не открыла и даже не очень представляла, как это делается.

Что было особенно приятно, обилие микробутылочек с шампанским наводило на мысль, что не одна я собираюсь встречать Новый год в единственном числе. Да и то сказать, по статистике Швабинг, богемный и «левоинтеллигентский» район Мюнхена, на семьдесят процентов населён синглами, то есть одиночками, и, может быть, отнюдь не все они намерены в праздничную ночь сбиваться в кучки, а уж как есть, так и есть — один я, так и буду один, что плохого?

Немецкий кaviар

Наступило тридцать первое декабря. Я заставила стол благотворительной кассельской снедью, водрузила посреди тарелок свой «мерзавчик», а на почётное место поставила баночку с немецкой икрой — и я не хуже людей, деликатесы ем в праздник.

Стрелки часов приближались к двенадцати, когда я вдруг спохватилась, что чокаться мне не с кем, стало быть, звона бокалов не будет, а без него что же за Новый год? Сообразила достать второй бокал, с боем часов разлила шампанское в оба, взяла их в руки, чокнулась сама с собой и выпила один за другим. Новый год наступил.

Икру я ела ложкой — красиво жить не запретишь. Вкус у неё был странный — возникали какие-то туманные ассоциации: лесная школа под Москвой... Неужели нас там кормили икрой? Вряд ли. Что-то другое... Ага, рыбий жир, который надо было в принудительном порядке выпивать перед входом в столовую. Ну что ж, икра ведь тоже из рыбы, и чего, собственно, ждать, баночка стоит, кажется, около пяти марок.

Оприходовав все пятьдесят граммов икры и насладившись сполна роскошью, я случайно глянула в зеркало и ужаснулась: губы и зубы были у меня совершенно чёрные — чистый вурдалак из ужастика. Половина новогодней ночи ушла на отчаянные попытки отчистить полость рта от проклятого немецкого деликатеса — кто же знал, что он окрашивает организм серьёзной всякого гуталина. Что ж, за всё надо платить, а икра с шампанским в Новый год, как ни говори, это круто!

Чтобы было красиво

Приехав десять лет назад в Германию и обнаружив, что настоящий зимний праздник, поэтичный, торжественный, трогательный, здесь не Новый год, а Рождество, при том, что Сильвестр — всего лишь повод выпить в дружеской компании, я, помню, очень растерялась. Было чувство, что меня обокрали. Станным казалось праздновать всерьёз и от души то, к чему все окружающие относятся как бы слегка небрежно. А Рождество на первых порах и вовсе было — в чужом пиру похмелье.

Часть вторая

Потом привыкла. Потом понравилось. Начала чувствовать прелесть и трогательность зимнего праздника, наполненного не только значительностью перехода из одного временного отрезка в другой, но ещё и глубоким религиозным смыслом. И тогда исчезли растерянность и обида, и промежуток между Рождеством и Новым годом превратился словно в сплошную цепочку праздничных дней.

Собственно говоря, праздник начинается за несколько недель до самого праздника. Уже с конца ноября хозяева маленьких магазинчиков начинают принаряжать свои витрины, за стеклом возникают ангелы, яркие вертепы, огромные блестящие снежинки, миниатюрные ёлочки. Окна квартир тоже сияют: цветные лампочки обводят оконные проёмы, горят электрические свечи ритуальными треугольниками. Двери украшают рождественские венки, предмет особого щегольства — у кого самый нарядный и стильный, а впрочем, очень классным считается, если венок старый, с историей.

— Зачем ты так изукрасил свои окна, — спросила я как-то под Рождество у приятеля, — посмотри, у тебя и лампочки, и свечи горят, и ангелы, да ещё подсвеченные. Это ты что, так выпендриваешься? В смысле, твои окна всех красивее?

— Да нет, — ответил он недоумённо, — это чтобы на улице красиво было.

Честно сказать, поверила я ему не до конца. Думаю, некоторый элемент соревновательности тут всё же есть. Но и солидарность, «чтобы на улице красиво», тоже, несомненно, присутствует. А ведь и впрямь — красиво!

От праздника к празднику

А пройдут Рождество и Новый год, Мюнхен отдохнёт, встряхнётся и примется готовиться к Фашингу, карнавалу, аналогу нашей Масленицы — он здесь празднуется с большим размахом. На улицах появятся весело размалёванные дети, да и взрослые, половина по меньшей мере, раскрасят лица и оденутся в немыслимые костюмы.

А там уж и до Пасхи недалеко — зайчики, всевозможных размеров яйца — от с ноготок величиной до трехметровых в витринах больших магазинов, гнёздышки из травы...

И так весь год — от праздника к празднику.

Не сказать, чтобы лёгкий путь прошла Европа за последние две тысячи лет. Висела на волоске над пропастью, словно бы уже и катилась в неё. И всё-таки как-то выжила, уцелела. И создалась цивилизация. Надёжная, стабильная, с традициями, с установками, с доминантой гуманистических ценностей, за которые большой кровью было заплачено. Со старинными праздниками, милыми, уютными, в которых так славно каждому отдельно взятому человечку. Ведь подоплёка их в том, что они были, есть и всегда будут. Нас не станет, а наши правнуки будут вдыхать запах хвои под Рождество и открывать шампанское в новогоднюю ночь. И всё это так прочно.

Было. До 11 сентября.

Будут ли у нас правнуки?

Боюсь, что Новый год в этом году уже случился. А новое столетие, наоборот, пришло с запозданием, этого же, проклятого 11 сентября. И новое тысячелетие. Новая эра наступила. Может быть, мы это ещё не до конца осознали.

Мы потеряли уверенность. Не в своём завтрашнем дне — человек ведь, как известно, не просто смертен, он ещё и внезапно смертен, — мы потеряли уверенность в завтрашнем дне своих детей. Мы не знаем, будут ли у нас правнуки, станут ли они праздновать Рождество, Новый год, Пасху, или по разгромленной и вымершей от эпидемий Европе будут бродить случайно уцелевшие, изуродованные и голодные мутанты, забывшие счисление времени.

Раз можно было за четверть часа, не говоря худого слова, уничтожить три тысячи ещё свеженьких после утреннего душа американских «яппи», значит, можно всё. По-русски это называется — беспредел. Мы это уже проходили. В Германии был свой такой пахан, у нас — свой. Разница в технических возможностях. И в задачах. И очень большая разница. У тех была задача — мир себе подчинить, у этих, новых, — его уничтожить. Чтобы не было Европы, не было Америки, не было рождественских ёлок, американской индейки в День благодарения, травяных гнёздышек с яичками на Пасху — чтобы всего этого мира не стало.

Часть вторая

Не бойся!

Но смысл террора вовсе не в том, чтобы убить всех до единого. Террор на то и террор, чтобы, убивая навскидку кого попало, запугать остальных до потери личности, до потери личностных ценностей, а общество — до потери ценностей социальных. Вот мира-то и не станет. Того, за который такой кровью плачено.

Им надо, чтобы мы боялись вскрывать письма, боялись садиться в самолёт, чтобы мы шарахались от людей в чалме, чтобы нам было не до праздников, а чтобы сидели все тихонько по домам и проверяли свои индивидуальные противогазы.

Наверное, есть единственный способ противостоять террору: подавить в себе страх. Наплевать на всё, положиться на милость Божию и жить, как прежде. Не гладить каждое письмо через влажную тряпочку, летать в самолёте, кому нравится (я-то, как всю жизнь не летала, так и сейчас бы лучше не надо), выстраивать в уме нарушенную было длинную цепочку из своих отдалённых потомков на сто лет вперёд. И не пугаться людей в чалме. А то стыдно. И чего же стоят иначе все наши пострадавшие гуманистические ценности?

И обязательно праздновать все праздники. И Рождество, и Новый год, и украшать ёлки, и толкаться на рождественских базарах, пить глинтвейн, грызть засахаренные орешки и верить, что все люди — братья.

«На здоровье!»

А в тот Новый год, когда я чокалась шампанским сама с собой, отодрав кое-как от зубов вредоносную немецкую икру, я подумала, что не сидеть же всю праздничную ночь одной дома, взяла собаку и вышла в скверик, где ёлочный базар. Там бурлило веселье. С грохотом рвались ракеты, шипели бенгальские огни, плескалось шампанское.

Нас с собакой окружила какая-то развесёлая компания, выяснили, что я из Москвы, выдали весь классический немецкий набор «русских» словесных оборотов — «На здоровье!», «Перестройка» и «Досвиданье», — напоили шампанским, угостили мандаринами и конфетами, и гуляли мы с ними душа в душу

Разноцветные картинки

в скверике, а потом дома у милого юноши на соседней улице, до позднего зимнего рассвета. Так что я и забыла совсем, что я сингл, то есть сама по себе, — очень уж были мы все вместе.

В этом году, в новогоднюю ночь, ЕБЖ («если буду жив», как непременно добавлял, строя планы, Лев Николаевич), обязательно пойду в скверик. Пусть там взрываются ракеты, которые я, по правде сказать, терпеть не могу, но пусть будут, как всегда, и шампанское, и весёлые компании, и очарование для немцев необязательного, не такого, как Рождество, но радостного и привычного праздника. Пусть всё будет, как всегда. Ну пожалуйста!

Часть третья

Месяц за месяцем вкруг

В этом разделе собраны материалы из календарной полосы «От и до. Люди во времени», которую я вела в газете «Русская Германия» под псевдонимом Влада Лялинская. Это тексты, посвящённые литераторам. Здесь те, кого я всю жизнь читаю, помню и люблю, кто составляет в некотором роде круг дорогих и важных для меня людей, — вот такой мой собственный «круглый год».

ЯНВАРЬ

«ИМЯ ГРОМКОЕ КОЗЬМЫ!»

Козьма Прутков

13 января 1863 года, в два и три четверти часа пополудни, скончался Козьма Петрович Прутков, директор Пробирной Палатки, действительный статский советник, кавалер ордена Св. Станислава 1-й степени, знаменитый литератор.

Смерть настигла Козьму Петровича на рабочем месте, можно сказать, он сгорел на работе, что и неудивительно при его выдающемся служебном рвении и усердии. Некролог по поводу его безвременной кончины был опубликован в журнале «Свисток» и вышибал из читателя искреннюю слезу. Было горько, что полюбившийся публике автор не сможет в дальнейшем радовать её своими меткими афоризмами, выдающимися драматическими произведениями и философскими баснями.

«Козьма Петрович Прутков родился 11 апреля 1803 года в деревне Тентелевой Сольвычегодского уезда, входившего в то время в Вологодскую губернию. К. Прутков происходил из незнатного, но весьма замечательного дворянского рода. Замечательного тем, что почти весь он занимался литературой. К. П. Прутков доказал это, опубликовав в годы своей творческой зрелости выдержки из записок своего деда, отставного премьер-майора и кавалера Федота Кузьмича Пруткова, а также кое-что из сочинений своего отца Петра Федотыча Пруткова. Родитель Козьмы Прут-

Часть третья

кова по тогдашнему времени считался между своими соседями человеком богатым. Маленький Кузька получил прекрасное домашнее образование. Рано развернувшиеся в нём литературные силы подстрекали его к занятиям и избавляли от пагубных увлечений юности. В 1820 году он вступил в военную службу, только для мундира, и пробыл в этой службе всего два года с небольшим, в гусарах. На двадцать пятом году жизни, будучи ещё в малых чинах, К. П. Прутков влюбился. Её звали Антонидой Платоновной Проклеветантовой. К. П. Прутков, вступив в Пробирную Палатку в 1823 году, оставался там до смерти, то есть до 13 января 1863 года. Как известно, начальство отличало и награждало его. Здесь, в этой Палатке, он удостоился получить все гражданские чины, до действительного статского советника включительно, и в 1841 году ему досталась вакансия начальника Пробирной Палатки, а потом — и орден Св. Станислава 1-й степени, который всегда прельщал его, как это видно из басни „Звезда и брюхо“. Но ни служба, ни составление проектов, открывавших ему широкий путь к почестям и повышениям, не уменьшали в нём страсти к поэзии. И как бы ни были велики его служебные успехи и достоинства, они одни не доставили бы ему даже сотой доли той славы, какую он приобрёл литературною своею деятельностью» — вот, собственно, то, что пожелал сообщить о себе, так сказать, посмертно, прославленный литератор.

Но и это далеко не всё. К примеру, нельзя обойти вниманием тот факт, что любое своё сочинение Козьма Прутков датировал 11-м числом. Ошибочно считать, что таким образом он фиксировал внимание на дате своего появления на свет, — нет, это творилось во славу и память судьбоносного сна, привидевшегося Пруткову в канун очередного дня рождения и носившего смысл несомненно мистический, хотя не вполне ясно, какой именно: во сне ему явился генерал, в эполетах, но абсолютно нагой. Разумеется, пытливый ум Козьмы Петровича не мог оставить сей примечательный факт без внимания, и он увековечил событие неизменным «11-м», проставляемым на всех без исключения своих произведениях.

Произведениям же этим несть числа. Не говоря уже о баснях, вошедших в сокровищницу русской поэзии, перу Прут-

кова принадлежат афоризмы, которые с чистой совестью можно назвать бессмертными хотя бы потому, что индекс их цитирования, будучи сочтённым, грозит превзойти любого классика, и только к чести автора можно добавить, что, цитируя, далеко не все могут уверенно указать автора жемчужины мудрости. К примеру, повторяя «Усердие всё преодолагает», «Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану», «Специалист подобен флюсу...», «Единожды солгавши, кто тебе поверит», или просто восклицая: «Бди!» — говорящий или пишущий зачастую не только не делает отсылки к Козьме Пруткову, но даже не вспоминает о нём. Это ли не бессмертие?

Если же говорить об общественной деятельности Козьмы Петровича, в первую очередь следует обратить внимание на проект «О введении единомыслия в России» — сочинение необыкновенно глубокое, точное, проникнутое духом бескомпромиссной принципиальности и жгучей любовью к отечеству. Многие из его положений сохраняют несомненную актуальность по сей день, доказывая ещё раз: истинная мудрость не устаревает. Вот, например, предложение Пруткова: «Велеть всем редакторам частных печатных органов перепечатывать руководящие статьи из официального органа, дозволяя себе только их повторение и развитие», — разве это не прозорливо, в контексте сегодняшней российской ситуации?

Словом, Козьма Прутков стал выдающимся явлением в русской литературе и истории общественной мысли, и наивные доводы А. К. Толстого и его кузенов Александра, Алексея и Владимира Жемчужниковых (а к тому же и П. Ершова, который здесь вообще непонятно каким боком) о том, что Козьма Прутков — не более чем коллективный плод их литературных забав и, в некотором роде всего лишь кукла, марионетка, не выдерживают никакой критики. Да, возможно, эти молодые и, нельзя отрицать, талантливые литераторы, озорая, сочинили (невольнo!) огромное количество нетленных произведений, подписав их именем, вошедшим в анналы русской поэзии, но невозможно сомневаться, что процесс кажущейся мистификации уже в самом начале получил характер метафизический, и за спинами молодых людей незримо выросла фигура вполне

Часть третья

реального Козьмы Пруткова, водившая их перьями, глаголавшая их устами и нашёптывающая им свои бессмертные тексты.

В пользу этого утверждения свидетельствует и то, что образ Козьмы Пруткова остался непоколебленным минувшими веками и поныне тревожит ума и сердца не только читателей, но и многочисленных авторов, которые, порой довольно удачно, порой весьма беспомощно сочиняют басни и стихи от имени самого великого Пруткова, его потомков и его последователей. Это неоспоримо доказывает, что Прутков вечен и будет жить, пока жива русская словесность.

«НЕУЖЕЛИ Я НАСТОЯЩИЙ?..»

Осип Мандельштам

15 января 1891 года в Варшаве в еврейской семье родился мальчик, которому было суждено до неузнаваемости изменить судьбу и лик русской литературы.

Семья Мандельштамов, нормальная добропорядочная семья, отнюдь не была отмечена печатью, предвещающей появление в ней гения: отец был не слишком удачливым коммерсантом, скверно говорившим по-русски и разве что странной склонностью к доморощенной философии обозначившим некоторую неординарность. Мать, происходившая из интеллигентной вильненской семьи, была довольно образованна и даже играла на рояле, однако же и она не блистала особыми талантами. Двое братьев Осипа получились обычными, средними порядочными людьми, и как случилось, что невидимые лучи, сойдясь на первенце Мандельштамов, собрали в фокус всю предыдущую русскую поэзию, так навсегда и останется неизвестным, как, впрочем, и всегда непонятно и непредсказуемо явление Поэта.

Биография Мандельштама до определенного момента тоже была вполне заурядной: Тенишевская школа, потом Сорбонна, Гейдельбергский университет — почти неизбежный путь для российского еврея с некоторыми средствами, желающего полу-

чить образование. В 1911 году Мандельштам принял крещение в методистской церкви. После этого смог учиться на историко-филологическом факультете Петербургского университета.

Но всё это, в сущности, неважно. Важно то, что в августе 1910 года в девятом номере «Аполлона» выходит подборка из пяти стихотворений начинающего поэта по имени Осип Мандельштам, и каждому, кто хоть что-то понимает в поэзии, становится ясно, что весь дальнейший ход событий, весь жизненный путь этого человека имеет значение лишь постольку, поскольку происходящее с ним порождает стихи, — циничная и безжалостная, но неумолимая правда поэзии.

Собственно, поэт, как ни трагично это звучит и выглядит, всего лишь транслятор, приёмник, предназначенный для воплощения, передачи уже существующих в информационном поле строчек. Каждый из поэтов имеет свой диапазон приёма, настроен на определённую волну, и его роль в процессе трансляции абсолютно пассивна, чтобы не сказать — незначительна. Он просто — Поэт.

Поэтому же лишены всякого смысла пылкие дискуссии — ощущал ли, например, Мандельштам себя евреем или отстранялся от иудейства как от чего-то чуждого и едва ли не враждебного, находился ли он в активной оппозиции к сталинскому режиму или был просто беспомощной жертвой террора, чем были инициированы его «просталинские» стихи — осмысленной попыткой спастись от гибели или полубессознательным конформизмом, как он на самом деле отнёсся к революции и любил ли по-настоящему свою жену... Всё это совершенно несущественно. Как несущественно — вызвано ли его умение принимать помощь от друзей полной безысходностью или же бесцеремонностью в осознании собственной исключительности — существует ведь и такое суждение.

Впрочем, последнее, пожалуй, небезразлично. Гениальные «репродукторы», обладающие способностью воспроизводить пратексты, вылавливая их обрывки из хаоса звуков, почти, как правило, наделены способностью осознавать свою уникальную функцию и пониманием своей отличности от окружающих. У каждого из них, начиная с Пушкина, можно найти строчки,

Часть третья

указывающие на тайное знание о своей миссии: на обыденном языке это именуется нескромностью, при истинном вчитывании — отзывается жутью неизбежной отмеченности и предначертанности.

Как был предначертан весь путь Осипа Манделштама, от обычного рождения в варшавской еврейской семье до мучительной смерти на «Второй речке» Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря НКВД 27 декабря 1938 года — тоже, как ни страшно говорить об этом, вполне обычной. Только это были рождение и смерть великого поэта — всего-навсего.

ПОД ГОЛУБОЙ ОБЛОЖКОЙ «Новый мир»

80 лет назад, 18 января 1925 года вышел из печати первый номер журнала «Новый мир».

Собственно, это был не первый журнал с таким названием: за три года до того, «под общей редакцией А. Серафимовича» появился первый, ставший и последним, номер «журнала художественной литературы, науки, искусства и публицистики» — но ребёнок оказался мертворождённым, бренд не прижился, и именно 1925-й следует считать годом рождения «Нового мира», пережившего вместе со страной все этапы её судьбы и испытывавшего на собственной шкуре все «колебания линии партии».

Первыми редакторами «Нового мира» стали А. Луначарский, Ю. Стеклов и И. Скворцов-Степанов — имена настолько же известные, сколь одиозные. Концепция журнала предусматривала отнюдь не обслуживание какого-то определённого течения в литературе, а предполагала отбор текстов исключительно по художественным приоритетам. Естественно, сия декларация в условиях диктатуры пролетариата была совершенно нереализуемой, что с самого начала наметило конфликт, определивший судьбу издания на долгие десятилетия вперёд.

Уже в 30-е годы журнал вызывал нарекания за «неразборчивость», в результате которой, наряду с такими «идеологически

чистыми» именами, как Л. Леонов, Ф. Гладков, А. Новиков-Прибой и т. п., на страницах «Нового мира» появлялись тексты авторов «сомнительных»: публикации Б. Пильняка и А. Платонова исходно считались нежелательными и рассматривались как «срывы» в редакционной политике. Журналу то и дело инкриминировались «формализм», «идеализм», «импрессионизм» (страшное обвинение!) и даже «затушёвывание классово-вой борьбы». Редакция принималась поспешно исправлять недочёты, прикрываясь такими безупречными именами, как, например, А. Толстой, — солидной фигурой «советского графа» действительно многое можно было прикрыть.

После войны в редакции наступило время лихорадочных перемен: журнал возглавил Симонов, его сменил Твардовский — в тот первый приход не успевший ещё в полном объёме себя проявить, как его отстранили, вновь вернув бразды правления Симонову. В 50-х годах в верхах царил некоторая неразбериха: вроде бы отказ от сталинских репрессий, возвращение к ленинским нормам — а что за нормы, Бог ведаёт — то ли тащить и не пущать, то ли позволить всё-таки некоторые послабления. На волне этого недоумения в 1958 году у руля «Нового мира» вновь встал А. Твардовский, и началась самая славная и печальная эпоха в долгой жизни журнала.

Твардовский, человек талантливый, мощный, имевший внятное представление как о литературе, так и о её роли, которая в условиях тоталитарной диктатуры просто обязана была выходить за рамки чистого искусства, поскольку становилась едва ли не единственной формой оппонирования власти и воздействия на общественное сознание. В то же время главный редактор, будучи не только достаточно лояльным членом КПСС, но и большим реалистом, очень хорошо представлял себе рамки своих возможностей. В этом прокрустовом ложе реальности он и пытался уместиться, печатая вещи, которые должны были сказать правду, но не в такой форме, чтобы вызвать скандал и повлечь за собой уже не умеренные пени, а жёсткие репрессии по отношению к журналу. Понятно было, что столь шаткое и рискованное равновесие не может продолжаться бесконечно. Однако до поры до времени удавалось печатать Г. Владимова,

Часть третья

Ф. Искандера, А. Кузнецова, В. Войновича и В. Некрасова — литературу нелгушую и истинную.

Публикация солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича», хоть и «пробитая» непосредственно через Хрущёва, стала камнем, вызвавшим сход лавины. Твардовский продержался ещё несколько лет, потом Хрущёва сменил наш дорогой Леонид Ильич и настала пора медленного удушения журнала, вместе, понятно, с его главным редактором.

Смещение Твардовского в 1970 году знаменовало конец эпохи заигрывания власти с интеллигенцией и обозначило водораздел, после которого полулегальное диссидентство на страницах официального издания исчерпало свои ресурсы.

Сегодняшний «Новый мир», всё под той же нежно-голубой обложкой, ведёт мирную, может быть, чуть скучноватую жизнь «толстого» литературного журнала, печатая вполне достойные вещи и обслуживая потребности очень незначительной части населения — «читающей публики». Возможно, чтобы увидеть его истинное лицо, потребны катаклизмы, которых не стоит желать стране, потому что периоды, когда литература становится единственной отдушиной совести и порядочности, слишком дорого обходятся, в том числе и самой литературе.

«КОГДА Я ОТПОЮ И ОТЫГРАЮ...»

Владимир Высоцкий

25 января 1938 года в Москве родился Владимир Семёнович Высоцкий.

Отец был кадровым военным, мать — переводчиком с немецкого. Анализировать склад личности обоих родителей — занятие щекотливое и неблагодарное, важно то, что Семён Владимирович и Нина Максимовна развелись, а мальчик остался с отцом и его второй женой. Даже не опираясь на Фрейдя, легко понять, что такая ситуация вовсе не прибавила ребёнку внутренней устойчивости и уверенности в себе — даже при самом благоприятном психологическом раскладе неизбежно было

ощущение предательства матери. Надо отдать должное Высоцкому — он не педалировал этот аспект семейной истории и, похоже, не упрекал никого в том, что рос, по сути дела, полусиротой.

Впрочем, явных свидетельств неблагополучия тогда и не было, если не считать того, что лет с тринадцати Володя понемногу начал манкировать учёбой, предпочитая урокам игру в карты у школьного товарища, — но такое поведение присуще многим подросткам и само по себе почти ни о чём не говорит. Школа тем не менее была окончена, и Владимир поступил в инженерно-строительный институт — настолько «не его», что он проучился в МИСИ всего один семестр, забрал документы и начал готовиться в театральный. Первый сценический опыт он получил в драмкружке, руководимом артистом Художественного театра, и, возможно, именно поэтому сдавал экзамены в школу-студию МХАТ. Поступил без сучка и задоринки, несмотря на огромный конкурс, — то есть недюжинные актёрские способности были уже тогда вполне очевидны.

После окончания школы-студии новоиспечённый артист долгое время оставался на столичных подмостках практически незаметным и никому не известным: эпизоды в кино, эпизоды на сцене, и нельзя исключить, что этим всё и ограничилось бы — получился бы средний актёр с незадействованным мощным потенциалом, — мало ли таких, тем более пьющих? — если бы он не начал писать свои песни. В Театр на Таганке он тоже пришёл благодаря им: на встречу с Любимовым Высоцкий принёс гитару, и, к чести Юрия Петровича, он мигом понял, что перед ним беспрецедентное явление. К этому моменту песни были уже не усредненно-подражательными, а-ля блатной фольклор, а отчётливо индивидуальными.

Необходимо отдавать себе отчёт, что феномен Высоцкого — порождение не только бесспорного и яркого таланта, но и политической реальности. Трудно ответить на вопрос, насколько значительной была бы роль Высоцкого, если бы, предположим, Россия находилась в это время в состоянии духовной свободы, — возможно, что и не такой уж малой, всё-таки талант был мощный, — но несомненно, что покорить поголов-

Часть третья

но всё население страны ему бы в этом случае вряд ли удалось. А ведь он покори́л-таки. Его известность совпала с распространением звукозаписывающей техники: в нишей стране иметь магнитофон стало почти необходимым, это была одна из немногих доступных свобод, человек приобретал вдруг возможность иметь у себя информацию, не прошедшую цензуру. Песни же Высоцкого пройти цензуру не могли даже теоретически: он воссоздавал реальность, не искаженную идеологическими клише, — этот творческий концепт был для властей неприемлемым. Его хриплое рычание, не имеющее ничего общего со сладкими и пафосными микрофонными тенорами, было столь покоряюще искренним, а тексты такими пронзительными, что вскоре оказалось: в каждом доме есть записи его песен, они на слуху едва ли не у любого жителя державы, и популярность Высоцкого далеко опередила всех назойливо тиражируемых по радио и телевидению кумиров. Какой Кобзон, какой Магомаев? Им даже рядом нечего было делать.

Исповедальная интонация и напряжённая эмоциональность баллад Высоцкого создавали у слушателей полную иллюзию его непосредственной причастности к материалу, и множество из них были свято уверены, что автор — сидел, воевал, занимался спортом, водил грузовики, и так далее, и тому подобное. Слухи и мифы, которыми наполнилось информационное пространство в отсутствие достоверных сведений, создавали ему дополнительный ореол — часть же из них, основанная как раз на реальности, о безудержном пьянстве, делали его уже безоговорочно своим на всех просторах Руси, для которой отродясь «веселие есть пити». Трагично, что болезнь, происходящая от глубокого душевного неблагополучия и, вероятно, от неблагополучия генетического, снискавшая ему изрядную дополнительную порцию народной любви, неотвратимо подрывала основы его существования. Да, он был в этом несчастье не одинок, но чем талантливей человек, тем крупнее масштаб потери.

Какую роль сыграл в алкоголизме Высоцкого политический режим — трудно определить. Несомненно, что никаким диссидентом, даже, пожалуй, и пассивным, он не был, и рядить

Месяц за месяцем вокруг

его в тогу борца с режимом вовсе неуместно, хотя как человек адекватный и здравомыслящий он не мог не видеть окружающего его безобразия, что, конечно, не способствовало душевному равновесию. Скорее всего, впрочем, он хотел от властей всего лишь навсегда свободного доступа к слушателю — этого он не получил.

Если говорить о личности Владимира Семёновича, попытавшись вычленив истину из наслоения бесчисленных сплетен и легенд, то получится, что был он человеком порядочным, мужественным и вполне достойным, отличным профессионалом и большим трудягой. Конечно, изрядным мачо, как и большинство его современников и соотечественников, и его женщинам, включая заморскую птицу Марину Влади, приходилось с ним нелегко, а дети и вовсе не были избалованы отцовским вниманием. Но в любом человеке, тем более наделённом талантом (что почти неизбежно деформирует личность), можно найти множество пороков, а масштаб дарования Высоцкого совершенно несомненен, и то, что он остался далеко не в полной мере реализованным из-за столь ранней смерти, — горько и бесконечно обидно.

ФЕВРАЛЬ

НЕГРОМКИЙ ГОЛОС ПРАВДЫ

Лидия Чуковская

7 февраля 1996 года умерла Лидия Корнеевна Чуковская — одна из самых значительных фигур в советской культуре и истории.

Присущее ей отсутствие пафоса и амбиций при её жизни сковывало уста современников и не давало произнести вслух то, что было бесспорной истиной: маленькая женщина, с абсолютным бесстрашием противостоявшая злу и лицемерию, царившим в стране, не занимая никакого конкретного места в структуре сопротивления, олицетворяла притягательную и жутковатую по тем временам и местам возможность «жить не по лжи», создавала моральный эталон, до которого мало кому удалось дотянуться.

Лидия Корнеевна родилась в семье Корнея Чуковского, к моменту рождения дочери занимавшего уже вполне солидную нишу в русской литературе и культуре и ставшего, не без некоторых осечек на старте, живым классиком советской литературы. Цена компромиссов, заплаченная им за этот статус, была известна ему одному, впрочем, возможно, что он, человек с высочайшим уровнем рефлексии, так и не позволил себе додумать до конца мысль — «что почём» обошлось ему на этой зловещей ярмарке.

Каким образом Лидия Корнеевна с молодых ногтей обнаружила не то что неспособность к компромиссам, но и полное их

неприятие, с некоторой даже безмятежностью игнорируя самое возможное торговлю, — осталось за кадром. Приходится предполагать, что, поскольку она была истинной дочерью своего отца, причём дочерью не только любимой, но и нежно любящей, и преданной, потенциал истинности Корнея Чуковского был много выше, нежели это следует из его официальной биографии.

Ту атрофию конформизма, которой неярко блистала всю жизнь Лидия Корнеевна, она обнаружила ещё девятнадцатилетней студенткой, «удостоившись» в 1926 году трёхлетней ссылки в Саратов.хлопотами отца срок был сведён к 11 месяцам.

Получив прекрасное образование, пройдя выучку у таких столпов культуры, как Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, В. Жирмунский, Лидия Чуковская принялась за литературный труд. Её литературно-критические очерки, как и книги для детей, как и её редакторские работы, отмечены не только талантом, но и всё тем же спокойным отсутствием лукавства. Искренность и ответственность за слово выглядели не вызовом, а органической потребностью — как и годы спустя.

Когда по семье Лидии Корнеевны прошла махина репрессий — её муж, талантливый физик М. Бронштейн был осужден «на десять лет без права переписки», — это не осталось для неё личной трагедией, как не послужило поводом затаиться, «прикинуться дохлой кошкой», дабы уцелеть самой, но стало основанием, чтобы отрефлексировать произошедшее тем единственным способом, который доступен пишущему человеку, — в слове. В ситуации, когда каждый «гражданин Страны Советов» чувствовал себя живущим в доме со стеклянными стенами, в обстановке тотальной и круговой взаимной слежки, она начинает писать повесть о репрессиях — и это было единственным литературным произведением, созданным «здесь и сейчас» (все остальные, не менее значительные саги о терроре были тем не менее созданы после, вслед), о том, что под бравурную музыку и не менее бравурные литературные камлания свершалось в СССР. Повесть написана от лица «среднего человека», осмысливающего события только через призму собственной судьбы, и, может быть, именно благодаря этому производит ошеломляющее впечатление.

Часть третья

Все последующие годы Лидия Корнеевна, с поражающей последовательностью и всё тем же полным отсутствием пафоса, продолжала делать, говорить и писать то, что соответствовало истине, — героизмом подобало бы назвать такое поведение, если бы не полная нестыковка громкого термина с самооценкой и душевным строем действующего лица: Чуковская не усматривала в своих действиях ничего выдающегося, поскольку, будучи человеком насквозь правдивым, полагала необходимость адекватной оценки реальности столь же необходимой и малозначительной процедурой, как чистка зубов.

Её литературные произведения («Спуск под воду», «Про черк») должны, конечно же, издаваться под одной обложкой с открытыми письмами в защиту Даниэля и Синявского, Солженицына и Сахарова, с книгой «Процесс исключения» — это всего лишь различные стороны проявления уникальной личности человека, жившего в зазеркалье, но упорно отказывавшегося путать «лево» и «право».

«Записки об Анне Ахматовой», создаваемые долгие годы (1938–1941 и 1952–1962), могут заткнуть за пояс любого Эккермана: собирая жемчужины, обронённые опальным гением, Лидия Корнеевна попутно создала не только свой портрет — волнующий и исполненный бесконечного обаяния, но и портрет страны — пропитанной страхом и ложью.

Всё созданное Чуковской может послужить мощнейшим аргументом в споре о допустимом удельном весе личности автора в его произведениях: в этом отношении тексты Лидии Корнеевны должны быть приравнены к поэзии, где авторское «я» служит материалом стиха в той же, если не в большей мере, что и породившие его всполохи реальности.

Слава Богу, Лидии Корнеевне удалось прожить долгую жизнь и застать тот недолгий период, когда в России смогло прозвучать слово «из-под спуда», — и её слово было произнесено. Её жизнь — редчайший образец скромного достоинства человека, органически не приемлющего лжи, образец негромкого голоса правды, не нуждающегося в мощных децибелах, чтобы быть услышанным.

«СЛУШАЙТЕ РЕВОЛЮЦИЮ!»

Александр Блок

10 февраля Александр Блок завершил поэму «Двенадцать». Поставив последнюю точку, поэт записал в дневнике: «Сегодня я — гений». Так оно и было.

Эта вещь была логическим завершением всего творчества Блока и в некотором роде его вершиной. Что не опровергает суждения о поэме как о произведении страшном и трагическом. Если внимательно проследить в текстах динамику отношения Блока к таким понятиям, как «народ», «родина», «Россия», становится ясно, что только такие строки поэт мог и должен был написать в восемнадцатом году, когда хаос накрыл страну с головой. Гимн хаосу — так можно было бы назвать «Двенадцать».

Возмущение либеральной интеллигенции блоковской поэмой не имеет под собой разумного обоснования. Поэт в каком-то смысле лишь отражение реальности — да, разумеется, сквозь призму собственного восприятия, да, проговаривающий её своим неповторимым голосом, — но отстраниться от этой реальности ему не дано, если он настоящий поэт, то есть, в сущности, мембрана мира. Негодование, которое так внятно обозначила Зинаида Гиппиус, да и многие другие, объявившие Блоку настоящий бойкот, было обескураживающе наивным. Ведь если бы Россию настиг, скажем, невероятной мощи ураган и поэт рассказал о нём со свойственной ему поэтической силой, было бы странно утверждать, что он является певцом недоброй стихии и приветствует гибель, принесённую природным катаклизмом. Точно так же странно было бы доказывать — а такого рода обвинения звучали, — что Блок вдруг написал «заказуху», пытаясь снискать благосклонность новой власти, — для этого надо было вовсе не знать не только Блока, человека, совершенно чуждого мелким практическим расчётам, но и поэта вообще, для которого доминантой является потребность высказать себя, то есть то, что слышится ему в воздухе времени, а отнюдь не прагматические соображения.

Часть третья

Поэма, построенная на противоречиях и противопоставлениях, созданная на острие возможностей языка, невероятно эмоционально мощная и вместе с тем безупречно выверенная, как по музыке, так и по смысловым пластам, производила, конечно, шокирующее впечатление — но это удел любого произведения, срывающего с реальности флёр приближительности и «поэтичности» — то есть не оставляющего места обману и ставящего читателя лицом к лицу с истиной, которая редко бывает утешительной. Чтобы согласиться с тем, что Россия отдалась наконец во власть хаоса, к которому издавна тяготела, нужно было немалое мужество — Блок в себе его нашёл, — читатель, на тот момент, — не смог. Кстати, и по сей день «Двенадцать» вызывает разноречивых мнений, от оценки её как «истинно христианского произведения, обещающего России защиту высших сил», до «воспевания Антихриста и апологии сатанинских игрищ». На самом деле это ни то и ни другое — просто голая, неприкрытая правда, которая не всякому по плечу.

Конечно, просматривается печальный парадокс в том, что страшная правда о России была произнесена человеком, порождённым тем лучшим, что было в этой стране: культурой, традицией, негромким аристократизмом духа. Происхождение Александра Блока, его воспитание, образование — всё это ставило его в ряд немногих, несущих в себе зерно позитива и представлявших собой светлую сторону лика российского Януса. Но, быть может, именно поэтому тёмный хаос, зреющий в стране не один день, и стал для него так внятен и очевиден.

Блок изначально был необыкновенно чувствителен к тенденциям этого надвигающегося хаоса:

*На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне —*

это было написано в 1911 году, а

*Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу! —*

ещё в 1908-м. Иллюзии Блоку никогда не были свойственны. Другое дело, что, истово любя родину, он вынашивал надежду: Россия победит распад и станет... Какой она станет — с этим он так и не определился до «событий». А в разгаре их — оставалось надеяться лишь на призрак Христа, идущего впереди колонны двенадцати разбойников-апостолов и ведущего неведомо куда. В принципе, православных критиков, негодующих по поводу помещения «впереди — с кровавым флагом» фигуры Спасителя, вполне можно понять — однако, увы, это было правдой, да и сегодня не становится ложью.

Следует помнить, что Блок, будучи человеком бесспорно верующим, никогда не был близок к православной церкви, и его религиозность носила скорее характер некоего мистического озарения. На замечание же людей, далёких от веры, откуда, мол, там взялся Христос, он отвечал дословно: «Мне тоже не нравится конец „Двенадцати“». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я глядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда же я записал у себя: к сожалению, Христос» — вот даже так — «к сожалению!» Но поэту не дано отменять реальность или модифицировать её согласно своим личным, человеческим представлениям.

Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, что поэту, да, собственно, и любому человеку, свойственно очаровываться любой мощью — если вернуться к началу — мощью налетевшего урагана. Это волнует, это захватывает, это чарует. Отсюда и высказывания Блока той поры: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».

Интересно сопоставить «Двенадцать» и такого рода, как вышеприведённое, суждения Александра Блока с оценками тех же событий его современников и «сопластников» — хотя бы с «Окаянными днями» Бунина и мемуарами Зинаиды Гиппиус. Несомненно, два последних документа гораздо более адекватны происходящему — по внешнему слою, и чисто формально более точны: если там и можно говорить о музыке револю-

Часть третья

ции, то звучит она отвратительной, оглушающей какофонией, о высшей же гармонии и говорить не приходится. Но на то гений и есть гений, что он улавливает высшие связи явлений. Органичность для России происходившего в ней слома, неумолимую логичность революции ни Бунин, ни Гиппиус осознать не могли — они брали точкой отсчёта привычный для них прежний уклад, казавшийся им нормой русской жизни.

Сегодня, дискутируя вопрос о «навязанности» России «чуждых» ей большевистских ценностей, имеет смысл перечитать «Двенадцать» — в общем-то, там всё сказано.

«МАЛЕНЬКАЯ ЩЕДРАЯ ЖИЗНЬ»

Александр Володин

10 февраля 1919 года в Минске родился Александр Моисеевич Лившиц — драматург и писатель Александр Володин.

Ещё недостаточно далёк от нас по времени уход Володина из этого мира — он умер 17 декабря 2001 года, — и пока трудно оценить его масштаб и прогнозировать долгосрочность существования его произведений, но значение его личности, его уникальность следует установить именно сегодня, по сравнительно свежим ещё следам. Впрочем, это и делалось, и делается, поскольку ценителям Володина-литератора и Александра Моисеевича — человека несть числа.

Неоспоримо крупный драматург, пожалуй, самый крупный — во всяком случае, уж точно самый подлинный — в советском театре, Володин как писатель раскрылся лишь в последние годы — и это было, странным образом, и открытие личностное, поскольку его лирический герой вплотную примыкал, почти сливался с самим Александром Моисеевичем — такой же фантастически, до неловкости свидетелей, открытый, ребячески чувствительный, с такой же вибрирующей совестью, неправдоподобно чистой душой и освежающе-горьким юмором. Володин обладал поразительным свойством: реанимировать девальвированные понятия — такие как честность, скром-

ность, доброта, порядочность, интеллигентность. При общении с ним было неловко произносить выпревшие, пусть даже вполне искренние похвалы его работам — он снижал любой пафос своей неподдельной уверенностью в том, что делает-то он всё «пустяки». Это могло бы показаться кокетством, если бы Володин и кокетство не были столь несомненно несовместимы. В жёстких рамках советского искусства его пьесы и сценарии, такие как «Осенний марафон», «Пять вечеров», «С любимыми не расставайтесь», «Фокусник», «Старшая сестра», были на диво человечными и «человеческими» и в этом смысле крошили изнутри убойный идеологический стержень, на который должно было быть нанизанным любому произведению, созданному в СССР. Тем не менее, даже при огромном володинском таланте, государственная давилка деформировала его тексты, и нам остаётся только гадать, какой театр создал бы Володин, окажись он в расцвете своего таланта избавленным от идеологического прессы.

Хочется верить, что с годами истинный гуманизм и талантливость его произведений зазвучат громче, осиливая время и невозможная инакость эпохи.

«ТЕКСТ — ЭТО ЧЕЛОВЕК»

Юрий Лотман

28 февраля 1922 года в Петрограде, вскоре ставшем Ленинградом, родился Юрий Михайлович Лотман.

Семья, перебравшаяся в город на Неве из Одессы, была по-настоящему интеллигентной и, в почти утраченном уже смысле слова, — культурной. Поэтому дети росли в обстановке уважения к знаниям и, что, быть может, ещё важнее, к этическим ценностям. Можно уверенно сказать, что установки, полученные дома, определили многое в личности Лотмана. Не меньшую роль сыграла и атмосфера научного Ленинграда 30-х годов: учёба на филфаке ЛГУ давала возможность не только получить прекрасное образование в смысле суммы знаний, но

Часть третья

и приобрести навыки истинно научного подхода к предмету. Если же учесть, что учителями Лотмана были В. Ф. Шишмарев, Л. В. Щерба, В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский и другие, не менее блестящие учёные, то становится понятно, где взяли начало лотмановские научные установки. Юрий Михайлович учился на филфаке в 1939—1940 годах, после чего был призван в армию. Прошёл всю войну, которая началась для него в городе Пинске, а закончилась в Берлине, занимаясь установлением и восстановлением телефонной связи, что сулило мало спокойных минут, а если они всё-таки выдавались, доставал книгу — это было базовой потребностью. Лотман никогда и ни при каких обстоятельствах не спекулировал и не бравировал своим фронтовым прошлым, хотя в эту ловушку попадались многие, вполне достойные люди.

Возобновив в 1946 году учёбу в университете, Лотман быстро наверстал перерыв в занятиях и к моменту получения диплома — разумеется, «красного» — был уже вполне сформировавшимся филологом, готовым как к углубленным научным занятиям, так и к квалифицированному преподаванию. Увы, ни в том, ни в другом качестве еврей-филолог востребован быть не мог. На дворе стоял пятидесятый год, кампания борьбы с космополитами была в самом разгаре, так что Лотману не приходилось даже мечтать не только об аспирантуре, но и о скромном месте учителя литературы в какой-нибудь из ленинградских школ. В такой ситуации переезд в провинцию был единственным спасением от гарантированной безработицы, которая сама по себе была чревата немедленными неприятностями. Каким-то чудом этой «провинцией» оказался Тарту. Нельзя сказать, чтобы тартуские власти так уж страстно любили евреев, но, во всяком случае, накал борьбы с вредоносными космополитами в Эстонии далеко не достигал уровня Северной Пальмиры, что позволило Лотману практически беспрепятственно устроиться сперва преподавателем на кафедру русского языка и литературы Тартуского учительского института, а вскоре и возглавить её, защитив в 1952 году кандидатскую диссертацию.

В 1954 году последовало приглашение в Тартуский университет на должность доцента — и это событие определило всю

дальнейшую судьбу не только самого Лотмана, но и университета, и самого маленького городка в Эстонии, который отныне начал приобретать значение самого мощного центра филологической мысли в СССР, постепенно становясь неким странным заповедником на задворках тиранической империи. В шестидесятые годы о Тартуском университете знали только специалисты или люди, получившие информацию чисто случайно, к середине семидесятых Тарту уже стал Меккой для филологов и вождельным плодом для абитуриентов и студентов, тяготеющих к филологии, но не казенно-советской, представлявшей собой, в сущности, некоторый незатейливый набор клише, а живой и развивающейся. К этому времени быть студентом Тартуского университета, учеником Лотмана — для гуманитария означало почти статус небожителя.

Надо сказать, и для самого Юрия Михайловича Тарту оказался не только прибежищем и убежищем, но и истинным домом; для ученого масштаба Лотмана дом — это прежде всего место, где можно полноценно работать. Он и работал необыкновенно продуктивно, публикуя иногда десятки работ в год, читая курсы лекций, на которые сбегались не только студенты, но и почти все интеллигентные горожане, и масса приезжих: культурная аура Лотмана была столь мощной, что заставляла, затаив дыхание, следить за его чуть заикающейся речью людей, даже весьма далёких от узконаучных филологических интересов, — насыщение происходило не только за счёт безусловно ценнейшей информации, сообщаемой лектором, но и вследствие совершенно ренессансной атмосферы, царившей в аудитории.

В Тарту были написаны лотмановские безоговорочно блистательные «Роман А. С. Пушкина „Евгений Онегин“: Комментарий. Пособие для учителя» и «Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. Пособие для учащихся» — книги со скучными «школьными» названиями, читающиеся как захватывающий детектив. В Тарту Лотман занялся семиотикой и структурализмом, тогда ещё почти не обозначенными в советской филологии. Властям все эти странные изыскания с непонятными грифами представлялись некоей духовной крамо-

Часть третья

лой, и они не оставляли Лотмана заботами — не преследуя его напрямую, но давая понять, что присмотр осуществляется: чему, как не этому, мог служить обыск, произведённый КГБ у тихого профессора? Что они рассчитывали найти на его книжных полках, какую бомбу?

Личность Лотмана, что бы ни говорилось теперь, после его смерти, была безупречной как этически, так и эстетически. Вполне естественно стремление «разрушить миф» Лотмана, обозначив его именно как миф, — но не получается. В укоризну исследователям, формулирующим не только общее восприятие окружающих, но и вполне объективные характеристики Лотмана, ставится идилличность рисуемого ими портрета, но, кроме пафоса «этого не может быть, потому что не может быть никогда» противопоставить в общем-то нечего. Хочешь не хочешь, получается, что — да, жил-был такой учёный, нёсший в себе не только глубину знаний, блестящую эрудицию, цепкий и неожиданный ум, запредельную добросовестность, но и истинную интеллигентность, подлинную порядочность, неподдельную простоту и доброту и недюжинное мужество. В последнем, кстати, имели возможность убедиться ближние и дальние, когда, пораженный тяжёлой болезнью, Лотман продолжал работать, уже не только вопреки обстоятельствам, но прямо-таки назло здравому смыслу.

Феномен Лотмана и лотмановского Тарту уникален для истории советской науки и ещё ждёт своих исследователей, которые, прежде всего в лице его учеников, уже начали появляться и перед которыми непочатый край работы. Архив Лотмана после многих перипетий остался в Тарту, так что все возможности для работы «на месте» есть. Хотелось бы, конечно, взять в руки биографию Лотмана, написанную так, как умел делать это он, — быть может, в будущем нас и ожидает эта радость.

МАРТ

ПЕВЕЦ АТЛАНТИДЫ

Шолом-Алейхем

2 марта 1859 года в украинском Переяславле родился Соломон Нохумович Рабинович, вошедший в мировую литературу под именем Шолом-Алейхем.

Получив образование в хедере и Переяславском уездном училище, в двадцать лет Шолом-Алейхем начал печататься — сперва на иврите. Первые произведения на идиш вышли в свет в 1883 году. Заявка была сделана сразу — талант писателя виден даже в этих, несколько ещё сыроватых вещах, но полностью обрёл он себя в последующие годы, опубликовав «Степению», «Йоселе-соловей» и «Менахем-Мендл». Стало ясно, что черта оседлости обрела голос, которым отныне она, доселе почти безмолвная, расскажет о себе всякому, кто захочет её услышать.

Проза Шолом-Алейхема, диковинная, словно бы чересчур приподнятая, в то же время вовлекающая читателя в интимный диалог, воссоздаёт ныне исчезнувший мир, особенный своей полной замкнутостью, которая не была его собственным выбором, но в результате создала невиданную концентрацию страстей, энергии, боли и радости — как в кипящем котле под герметичной крышкой. Книги его стоит иллюстрировать картинами Шагала — только в них можно найти тот дух устремлённой

Часть третья

к небесам романтики, замешанной на густом быте и приобретающей от этого невероятную убедительность и истинность.

Биография писателя, слава Богу, оказалась относительно благополучной. Когда в России начались погромы, он с семьёй немедленно уехал в Европу, а при начале Первой мировой переправился в Америку. То есть поступил, сообразуясь с инстинктом самосохранения, что в свете последующих событий, право же, представляется не слабодушием, а мудростью.

Та же мудрость удержала его от того, чтобы в своих произведениях взывать к социальным бурям, хотя судьба «маленького человека» волновала его и заботила как истинного демократа. Какое-то природное чувство гармонии не позволило Шолом-Алейхему перешагнуть грань, отделяющую гуманизм от «революционности», — уберегло от накатанной дороги, на которую скатились многие.

Судьба Шолом-Алейхема, в сущности, довольно типична — не менее типична, чем принятый нынче за шаблон, с лёгкой руки Солженицына, «уход евреев в революцию». Если учесть, что в начале XX века в мире насчитывалось около двадцати миллионов евреев, а добрая половина из них проживала на территории Российской империи, то не стоит забывать, что ещё до начала грозных событий половина от этой половины покинула негостеприимную землю. Так что писатель разделил судьбу довольно большой части своего народа.

Главное, конечно, не в этом — а в том, что этот народ Шолом-Алейхем обессмертил, навсегда сохранив для человечества атмосферу, печаль, юмор, говор — лицо этой ушедшей на дно Атлантиды — канувшего в Лету местечкового еврейства.

**«Я, ПАНОВА ВЕРА ФЁДОРОВНА,
УМЕРЛА 20 ИЮНЯ 1967 ГОДА...»**

Вера Панова

3 марта 1973 года в Ленинграде умерла писательница Вера Панова.

Впрочем, если обратиться к переизданию, уже без купюр, её книги «Моё и только моё», вышедшей в свет в оригинальном виде к столетию Пановой, в прошлом году, мы узнаем оттуда, что датой своей настоящей смерти Вера Фёдоровна просила считать 20 июня 1967 года, когда её «поразил инсульт, лишивший... возможности ходить и владеть левой рукой». Читать последнюю главу, из которой взята цитата и которая называется «Последнее слово», грустно, но она создаёт ощущение истинности и законченности облика достойного человека, не сдавшегося и не погибшего душевно, хотя все предпосылки к этому были.

Вера Панова была одним из немногих официальных советских писателей, о ком никто не может сказать худого слова и которому нечего (или, скажем так, почти нечего) поставить в вину. Пройдя через нелёгкие этапы жизни, пережив гибель репрессированного мужа, спецкора «Комсомолки», войну, преодолев тяготы существования вдовы с тремя детьми, добравшись до устойчивого положения признанной писательницы, материального благополучия и радости стабильного, полноценного брака, она каким-то образом ухитрилась не сделать ни одной подлости, не пройти ни по одному трупу — всякий, кто имеет представление о тогдашних условиях, не колеблясь, поставит ей это в немалую заслугу.

Проза Пановой, не пафосная и не истерически-революционная, хоть и вполне укладывавшаяся в рамки социалистического реализма, добротна, профессиональна, а в некоторых вещах (в замечательном «Серёже», например) — и просто тонка, точна и хороша. Нет сомнения, что, будь Панова свободна от официальной идеологии, она писала бы гораздо лучше и глубже — но это пусть останется не на её творческой совести, а на совести проводников этой идеологии. То, что её нереализованный потенциал был достаточно велик, видно из тех же мемуаров и странным образом вытекает из судьбы её сына, талантливого, рано умершего литератора Бориса Вахтина, который втиснуться в предписанные официозом рамки уже не смог.

Очень может быть, что в силу всё-таки изрядной деформации, которой подвергся талант Пановой, её проза окажется от-

Часть третья

теснена на обочину читательского внимания, — и это очень жаль. Вера Панова писала хорошие книги.

«БУДЬ СЧАСТЛИВ!»

Анна Франк

12 марта 1945 года в концентрационном лагере Берген-Бельзен, не дожив нескольких недель до прихода английских войск, менее двух месяцев до окончания войны и ровно трёх месяцев до своего шестнадцатилетия, умерла от тифа Анна Франк, девочка, чьё имя стало символом духовного сопротивления фашизму.

Родившись во Франкфурте-на-Майне, Анна большую часть жизни провела в Амстердаме — семья Франк в 1933 году, казалось бы, предусмотрительно и своевременно покинула ставшую враждебной Германию и была вполне адаптирована в новой стране. Во всяком случае, существование семьи было безбедным и мирным до 1940 года, когда Гитлер оккупировал Нидерланды, и Франкам снова пришлось вспомнить, что они — евреи.

В июле 1942 года, когда преследования стали неотступными, Франки вместе с семьёй ван Даанов и ещё одним евреем, по имени Дуссель, укрылись в задней потайной части дома, заслонённой книжным шкафом, в конторе акционерного общества, где прежде работал Отто Франк, по адресу Принстенграхт, 263. Там, регламентируя каждый шаг и шорох, каждый кусок хлеба, тайно приносимый друзьями-голландцами, восемь человек просидели два года, надеясь уцелеть.

4 августа 1944 года гестаповский патруль ворвался в убежище. После того как семью Франк увезли в сборный лагерь Вестерборк, на полу тайника остались валяться книги, газеты и клетчатая тетрадка, которую подобрали друзья, вручив её после конца войны чудом уцелевшему в Освенциме отцу Анны.

Анна вела дневник с тринадцати лет — тетрадку подарили ей на день рождения. Страдая от подросткового экзистенциального одиночества, она адресовала свои записи вымышленной подруге Китти, которой поверяла всё, чем не могла поде-

литься ни с родителями, отчуждаясь от них, как обычно бывает в таком возрасте, ни с сестрой.

Если отстраниться от того, где и когда происходит действие, дневник может показаться довольно заурядным — разве что девочка для своего возраста очень умная и весьма склонная к грамотной рефлексии, — но забыть реальные обстоятельства невозможно, и читатель оказывается раздираем противоречивыми чувствами: ненавистью и ужасом перед злом, охватившим мир, и восторгом перед невероятным торжеством добра, излучаемого каждой строчкой текста.

То, что ребёнок, запёртый в изоляции и мучимый ежеминутным страхом, способен осмысливать мир, людей и себя, находя во всём свет и радость, представляется почти невыносимым, но вот во вторник, 7 марта 1944 года, Анна, анализируя свою жизнь и предаваясь переживаниям первой влюблённости, записывает: «...Пытайся найти счастье в себе, в Боге. Думай о том прекрасном, что творится в твоей душе и вокруг тебя, и будь счастлив» — это как завещание.

ВСЕГО ЛИШЬ ЛЮБОВЬ

Антон Макаренко

13 марта 1888 года в Белополье Харьковской губернии, в семье рабочего родился Антон Семёнович Макаренко.

Отец был старшим маляром железнодорожных мастерских, достаток в доме был небольшой, и родители, видя, что мальчик растёт смышленным и толковым, мечтали дать ему возможность получить образование и «выбиться в люди» — белопольская школа, затем Кременчугское четырёхклассное училище, годичные специальные педагогические курсы — и вот Антон Макаренко уже учитель железнодорожного училища посада Крюков. Довольно быстро выяснилось, что молодой преподаватель не только получает море удовольствия от своей деятельности, но и умеет вовлекать в контакт учеников таким образом, что они, исправно усваивая знания, самым искренним образом привя-

Часть третья

зываются к наставнику. Так что несомненный педагогический талант Макаренко, основанный на том единственном, что обеспечивает его реализацию, — на любви к ребёнку, выказал себя буквально с первых шагов его карьеры.

Вскоре наступил октябрь 1917 года, который посулил молодому, но довольно уже опытному к тому времени педагогу новые масштабы деятельности: и действительно, вскоре он уже директор 10-й полтавской трудовой школы, а в 1920 году получает новое назначение — возглавить Полтавскую колонию для правонарушителей. Тут-то всё и началось. Если судить по первым главам «Педагогической поэмы», начало это было адом кромешным. Абсолютно люмпенизированные подростки, потерявшие во время своих беспризорных скитаний всякое представление о жизни в нормальном социуме, были совершенно неуправляемыми, и можно посчитать за чудо или за истинный педагогический подвиг, что Макаренко удалось слепить из них хотя бы некоторое подобие нормальных людей. Колония разрасталась, проблемы не переводились, но нарабатывался и навык, благодаря которому успехи становились всё более осязаемыми.

Сегодняшняя оценка Макаренко, предполагающая в нём апологета сталинизма и адепта муштры, конечно же, неверна. Заклинания социалистическими лозунгами были не только неотъемлемым признаком времени, но и жёстким условием существования организации, а «производство», кормившее колонию, не на шутку подпитывая при этом государство, можно было бы даже рассматривать как некоторую альтернативу «соцтуду», поскольку оно напоминало более акционерное общество с равноправными участниками, нежели «стройку социализма», с присущим ей полным отчуждением работника от средств производства.

Словом, Макаренко, поднимаемый на щит советской педагогикой, был далеко не так однозначен, как это может показаться, и с блеском подтвердил тот тезис, что талантливая педагогика, держащаяся отнюдь не на идеологических заклинаниях, а на истинной любви к детям, достигает результата при любом устройстве общества, а иногда и вопреки ему.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Лидия Гинзбург

18 марта 1902 года в Одессе родилась Лидия Яковлевна Гинзбург, филолог и писатель.

Странная судьба. Принадлежа ко второму поколению формалистов, ученица Тынянова и Эйхенбаума, выпускница ленинградского Института истории искусств, Гинзбург пережила разгром формальной школы в самом начале своей творческой биографии, и это обстоятельство, казалось бы, навсегда, вытеснило её на обочину литературы. Однако реально угрожавшая ей более страшная, чем профессиональная дискриминация, участь, свелась всего лишь к двум неделям ареста — немалая удача.

Второй раз её жизнь и свобода оказались под угрозой в 1953 году, в разгар антисемитской кампании, когда допросы уверенно обещали тюрьму и гибель, но тут умер Сталин, и власти, слава Богу, потеряли интерес к неприметному филологу — и это тоже иначе как сказочным везеньем не назовёшь.

Биографии Лидии Гинзбург как красочного и бурного жизненного пути, собственно говоря, почти не существует. В 1930—1934 годах она преподавала на рабфаке, в 1940-м защитила кандидатскую диссертацию «Творческий путь Лермонтова», изданную в том же году отдельной книгой, пережила в Ленинграде всю блокаду, работая на радио редактором военно-патриотических передач, в 1947—1950 годах была доцентом Карело-Финского университета в Петрозаводске, в 1958 году защитила докторскую. По сравнению с потрясениями, выпавшими на долю современников и коллег, её жизнеописание выглядит довольно обыденно.

Между тем женщина с невыразительной биографией была одним из самых значительных и оригинальных русских писателей XX века, и её проза, которую она всю жизнь писала «в стол», будучи изданной в начале перестройки, стала событием для подлинно читающей публики. И Гинзбург до этого дождала, подтвердив тем самым старую истину, что в России поэт должен жить долго — только тогда у него появляется шанс обрести прижизненное признание.

Часть третья

Её изумительные книги «Человек за письменным столом», «Записки блокадного человека» и «Записные книжки», давно известные в кругу нонконформистов, в андеграунде, оказались доступными широкому читателю и даже принесли ей, на излёте советской власти, Государственную премию СССР.

Не написав ни одного «сюжетного» произведения, Гинзбург смогла открыть в русской литературе советского периода, да и в мировой литературе, совершенно неизведанный пласт, сочетая в своих текстах беспощадную психологическую точность с поразительным тактом и целомудрием в отношениях с реальностью и героями. Юмор и блистательный скепсис, которые излучают её книги, никогда не опускались до сатиры и мизантропии, а каким образом ей удавалось соблюсти эту грань — так и остаётся загадкой, особенно учитывая обстоятельства, в которых Лидия Яковлевна прожила свою долгую, 88-летнюю жизнь.

Ни в одной строчке её записей, представляющих, в сущности, одно огромное целое, нельзя найти ни тени того надрыва и душевного стриптиза, которые, с лёгкой руки Достоевского, считаются почти обязательными для русского литератора, — Гинзбург словно бы появилась на свет для того, чтобы продемонстрировать, что у русской культуры был и другой, в сущности, не освоенный ею путь.

Жанр её произведений трудно поддаётся определению. Сама Гинзбург дефинировала его как «промежуточную прозу». Однако по значимости и масштабу проза её гораздо более «основная», чем огромное большинство вполне классически устроенных сочинений, а вот жизнь её, полностью впитавшуюся в тексты, наверное, действительно можно назвать промежуточной — её столетний юбилей, ознаменовавшийся несколькими негромкими публикациями, никак не соотносился с местом Гинзбург в русской литературе. Зато издательство «Искусство-СПБ» выпустило чудесный том «Записные книжки. Воспоминания. Эссе» — и книга говорит сама за себя.

«ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ...»?

Максим Горький

28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде родился Алексей Максимович Пешков — великий пролетарский писатель Максим Горький, одна из самых значительных и противоречивых фигур русской советской литературы.

Обстоятельства детства Горького были, несомненно, не самыми благоприятными для полноценного развития личности — почти полное отсутствие материнской любви, ранняя смерть родителей, — скорее всего, именно этим объясняются многочисленные комплексы писателя и его стремление сыграть в жизни максимально значительную роль, не будучи при этом слишком разборчивым в средствах достижения цели. К тому же дедушка, в доме которого рос Алёша, был человеком жёстким, и у мальчика выработалась модель поведения, согласно которой стоящий сверху — хозяин и властелин. В своё время это сыграло печальную роль.

Отправившись в самостоятельное жизненное плавание, юноша нахлебался трудностей и беды по самое некуда — тут официальные биографии не врут: он работал посыльным при обувном магазине, посудником на пароходах, и Бог знает кем только «не» — основная функция была — мальчик на побегушках. Понятно, такая социальная роль для очень молодого человека отнюдь не способствовала развитию самоуважения и тем самым компенсаторно возвращала в его душе гигантские амбиции.

При таком течении событий бунт против окружающего мира, тем более что он и на самом деле был далёк от совершенства, был вполне обеспечен, а дорога «в революцию» стала почти фатально предначертанной. Четыре года провёл Горький в странствиях по России, зарабатывая чем придётся и всё ближе подходя к революционному движению. К этому же времени относятся его первые литературные опыты, представлявшие собой причудливый сплав точных и живых зарисовок и довольно худосочных романтических фантазий. С 1892 года Горький, по сути дела, уже позиционирует себя как профессиональный

Часть третья

литератор, а выход в свет «Очерков и рассказов» довольно быстро выдвигает его в ряды видных русских писателей.

Несправедливо и необедительно было бы отрицать у Горького несомненный литературный талант, который не умаляется даже тем, что в текстах довольно отчётливо прочитывается недостаток образования и культуры, отсутствие внятных мировоззренческих структур. Они несомненно обладают собственной, довольно мощной аурой, своеобразным, несколько варварским обаянием и определённо захватывают читателя в плен — что, собственно, и является основным признаком принадлежности их к Литературе с большой буквы.

Само собой, жившие в то время огромные и просто большие писатели, которых именно всегда и отличает радушие в случае появления достойного собрата, приняли его радостно и доброжелательно и оценили как минимум по достоинству, если не выше. Расположение было доказано не словами лишь, но поступками: когда по политическим мотивам было отменено избрание Горького почётным академиком, Короленко и Чехов немедленно вернули свои академические дипломы.

А объект сочувствия и защиты литераторов всё глубже увязал в революции и после не слишком жёстких репрессий покинул страну, разделив судьбу многих борцов против режима. Впрочем, после амнистии 1913 года вернулся в Россию, приобретая новый жизненный опыт и укрепившись в своих литературных амбициях, окончательно сформировав концепцию «революционности» своей прозы и драматургии. Дальше, закономерным образом, пришла революция, певцом которой ощущал себя Максим Горький, — принеся в биографию Горького некоторый довольно существенный парадокс. Восторженно приняв Февраль, он отшатнулся от Октябрьского переворота, проявив доселе не очень свойственный ему здравый смысл и опубликовав несколько на редкость адекватных текстов — «Несвоевременные мысли» — квинтэссенция того, что было им продумано и сказано в ту пору.

Неудивительно, что книга старательно пряталась от читателя в советские времена: слышать из уст «Буревестника», что большевизм — национальное бедствие, а Ленин — «раб догм»,

что долгожданная пролетарская революция — «кошмар... чисто русская нелепость и... идиотизм» — это ли не страшная крамола? Правда, оппозиция к режиму продолжалась для Горького недолго: сообразив, что большевики во главе с Лениным — это не всполох, не миг, а мощная власть надолго, писатель сник — то ли почувствовав хозяйскую руку, которую почитал с детства, то ли убоившись пойти против течения: как правило, певцы бунта, прославляющие человека — царя природы, человека — властелина и победителя, в реальных обстоятельствах поступают противно своим же словам — для того, чтобы противостоять злой силе, только лишь человеческих амбиций недостаточно, а другой духовной опоры у Горького никогда не было.

Нельзя, впрочем, отрицать, что при возможности Горький пытался ослабить тиски режима — для отдельно взятых, чем-то заслуживших его внимание людей — иногда успешно, иногда вовсе нет, но даже эти попытки следует зачислить ему в положительный баланс. Вообще личностные характеристики пролетарского классика были противоречивы донельзя: сентиментальный, лёгкий на слёзы, несомненно видевший в мире добро и умевший его осмыслить, он необыкновенно пластично принимал форму сосуда, воплощавшего зло в чистом виде, и нельзя даже сказать, чтобы это приспособление стоило ему жестоких моральных страданий. Его очерки о Соловках просто вопиют к небесам: столь беззаветную ложь надо ещё потрудиться отыскать даже в анналах насквозь лживой советской литературы и публицистики того периода.

После возвращения из Италии Горький начал играть роль памятника самому себе и справлялся с ней вполне успешно, продавая себя и внутри страны, и на Запад исправно и безоговорочно, так что все домыслы по поводу «устранения» Сталиным писателя, могущего разоблачить тайны режима, следует, вероятно, признать безосновательными. Да и кроме того, Горький был по-настоящему болен, так что его смерть от туберкулёза можно, очевидно, считать совершенно естественной.

По отношению к Горькому-писателю почти невозможно строить гипотезы, чем обернулся бы его талант, если бы не привязка к революции — он был порождением этой идеи и одно-

Часть третья

временно её творцом, и отделить писателя от неё не представляется возможным. Вероятно, именно в силу этого его творения — именно как литература — вряд ли переживут века, оставшись в истории скорее социальным феноменом.

В ТО ВРЕМЯ, В ТОМ МЕСТЕ...

Юрий Трифонов

28 марта 1981 года в Москве умер писатель Юрий Трифонов.

Умер не от неизлечимой роковой болезни, а чуть ли не от врачебного небрежения или ошибки, почти случайно. Во всяком случае, кажется, что умер не от физиологических причин, а от каких-то совершенно других. Ему было пятьдесят пять лет.

Начало литературной карьеры Трифопова было ранним и блестящим: повесть «Студенты», напечатанная в 1950 году в «Новом мире», получила Сталинскую премию, деликатно именуемую нынешними биографами Трифопова Государственной. Но была она именно Сталинской, и время было сталинским, и литература — тоже. Ничто другое просто не могло пройти через частое сито цензуры. Впоследствии Юрий Валентинович говорил о «Студентах» так: «Книга, которую написал не я». Конечно, не он — не тот Трифонов, который вошёл в историю русской литературы, зато тот самый, кто жил в это время и в этом месте. Книга не была подлой, не была бравурной, она была всего лишь не до конца правдивой, выглядела неталантливой, заурядной, стандартно-советской — и, казалось, обещала всего лишь появление ещё одного мастера соцреализма, на манер Бубенова и прочих любимцев вождя. Однако после получения Трифоновым «высокой награды» внимательному наблюдателю могло стать ясно, что Трифонов не следует традиционным фарватером советского писателя: вместо того чтобы «развить успех», быстренько опубликовав ещё полдюжины беспроегранных произведений, Трифонов, написав пару «правильных» пьес, отошёл в тень, занимался спортивной журналистикой и писал какой-то странный роман, под который

Твардовский даже не дал ему аванса. Но тому же внимательному наблюдателю уже после выхода в свет «Утоления жажды» было понятно, что в литературе появилась очень и очень значительная фигура, хотя манера Трифонова в этой книге была лишь намечена.

По-настоящему стал виден масштаб Трифонова после появления первой из «московских повестей» — «Обмена». Одновременно с масштабом обозначилось и трагическое несоответствие дара писателя всё тем же времени и месту, в которые занесла его случайность рождения: истинный талант не приемлет лжи, не способен даже на полуправду — и что же делать художнику в условиях «развитого социализма» и остервенелого идеологического и цензурного гнёта? Трифонов нашёл выход: умолчание. Не ложь и даже не компромисс с ложью, а пустотные паузы, говорившие читателю много больше длинных, красноречивых периодов. Трифонов утешал себя: «Чехов... открыл великую силу недосказанного», — писал он ещё в 1959 году, делая вид сам перед собою, что его манера — не от безысходности, не во имя спасения от молоха, а... ну вот просто стиль такой.

Цена трифоновских изумительных книг, разумеется, не снизилась от того, что он научился молчать так, что у читателя захватывает дух. Однако мы никогда не узнаем многого из того, что он хотел и мог нам сказать, и этого уже не поправить.

АПРЕЛЬ

«ТАИНСТВЕННЫЙ КАРЛА»

Николай Гоголь

1 апреля 1809 года в Великих Сорочинцах Миргородского уезда Полтавской губернии родился Николай Васильевич Гоголь.

Семья была не то чтобы сверхбогатой, но всё же достаточно зажиточной: владела более чем тысячей десятин земли и несколькими сотнями крепостных душ. Атмосфера в доме Гоголей была вполне интеллигентной: отец — завязтый театрал, актёр-любитель и автор водевилей. Впрочем, при столь светских увлечениях Василий Афанасьевич, так же как и жена, был человеком глубоко религиозным и не без склонности к мистике: даже его брак был, по его мнению, предначертан свыше, поскольку облик будущей супруги явился ему в пророческом сновидении. Мать Гоголя формировала в сыне приоритет духовных ценностей и весьма преуспела — во всяком случае, ещё ребёнком Николай Гоголь был убеждённым христианином, правда, как нередко случается в православных семьях, не без налёта язычества. Мальчик рос впечатлительным, болезненным, слышал «голоса» и с малолетства выказывал тенденцию к восприятию реальности в мрачном свете. Несправедливо и поверхностно было бы считать, что, переборщив с религиозным воспитанием, мать сформировала в нём склонность к депрессии, но, во всяком случае, ей, ве-

роятно, следовало бы быть осторожнее, щедро рисуя сверхчувствительному и не очень уравновешенному ребёнку жуткие картины Страшного суда и неотвратимого загробного возмездия за грехи.

Оказавшись в среде сверстников, в полтавском уездном училище, а затем в нежинской гимназии, Гоголь не достиг больших успехов в учёбе, кроме, разумеется, литературы, зато охотно и небезуспешно участвовал в работе самодеятельного театра и обнаружил явные драматургические способности, впрочем, пробовал себя и как поэт, и как прозаик. Нельзя сказать, чтобы он пользовался любовью однокашников, которые прозвали его «таинственным карлой», что было, очевидно, связано с уже тогда сформировавшимися безудержными амбициями Николая Васильевича. Каким-то странным образом христианское смирение сочеталось в нём с обострённым самолюбием и немалым самомнением. Впрочем, иногда это свойственно талантливым людям и является лишь следствием осознания своей действительной значимости.

Ударом по высокой самооценке стал откровенный неуспех «идиллии в картинах» «Ганц Кюхельгартен», опубликованной им в 1829 году, — Гоголь до того огорчился случившимся фиаско, что объехал все книжные лавки и скупил практически весь тираж, дабы предать его огню. Идея всеочищающего пламени и «горящих рукописей» овладела им, очевидно, уже тогда.

Карьера Гоголя, ни в качестве чиновника Департамента уделов, ни позднее как преподавателя университета, не сложилась, что и понятно: литература — дама ревнивая и не терпит рядом с собой даже самых робких конкуренток. Гоголь же, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки», всецело затмивших неудачный дебют и выведших его почти мгновенно в ряды лучших русских писателей, принадлежал литературе безраздельно и, надо отдать ему должное, относился к своему труду абсолютно ответственно и добросовестно. Другой вопрос — было ли равнозначно всё, написанное им. Но когда речь идёт не о чистом гении, у которого каждая строка вдохновлена свыше, а «всего лишь» о большом, пусть даже огромном таланте, каким Гоголь, без сомнения, был,

Часть третья

человеческая сущность не может не влиять на текст. Человеческая же сущность его была небыстречной — впрочем, безупречных людей на свете ещё меньше, чем талантливых писателей.

По сей день остаётся открытым вопрос: как, собственно, подобает относиться к поистине чудовищным по цинизму и человеконенавистничеству страницам, например, в «Тарасе Бульбе», посвящённым еврейскому погрому. Автор ни секунды не скрывает искренней радости, которую вызывает у него избивание людей. Полное отсутствие хотя бы тени сострадания и безмятежное веселье, с которым описаны абсолютно ужасные сцены, истинные эскизы Холокоста, наводят на мысль, что в душе Гоголя, несмотря на все его неустанные усилия по духовному совершенствованию, царило глубочайшее неблагополучие — столь безраздельное сочувствие бесспорному злу и твёрдое убеждение, что «хороший еврей — это мёртвый еврей», гораздо хуже монтируются с истинным христианством, чем, скажем, преданность половому разврату, в котором Гоголь как раз никоим образом не был повинен. Очевидно, формирование отношения к такого рода убеждениям, талантливо изложенным «в художественной форме», следует оставить на совести каждого читателя. Вопрос же о необходимости преподавания в школе, без должного комментария, столь одиозных произведений, в России, увы, решён раз и навсегда, что, безусловно, характеризует не столько писателя, сколько его родину.

С этой проблемой, несомненно, соседствует другая — наличие у Гоголя душевного расстройства. Оно, бесспорно, присутствовало, но о шизофрении, ограничивающей дееспособность и снимающей ответственность за сказанное и написанное, речь могла заходить только от незнания предмета. Николай Васильевич, как установлено компетентными медиками на основе серьёзного изучения документов и свидетельств современников, страдал маниакально-депрессивным психозом — заболеванием тяжким и мучительным, но отнюдь не снижающим вменяемость. Гоголю, конечно, можно искренне посочувствовать: гипомания, сопровождающаяся подъё-

мом, эйфорией, невероятной трудоспособностью, сменялась периодами депрессии, которая погружает человека на дно отчаяния и безнадежности, — и, конечно, усидеть на этих дьявольских качелях — задача почти невыполнимая. Гоголю не смогла помочь в этом даже его искренняя вера, и однажды он соскользнул за черту, которая отделяет тяжёлое, но ещё выносимое состояние от несовместимости с жизнью. Все разговоры о том, что Николай Васильевич «уморил себя голодом», то есть, в сущности, совершил самоубийство, не только недобросовестны, но, пожалуй, оскорбительны для его памяти: глубоко верующий христианин, которым, несмотря на все «но», он, несомненно, являлся, никогда на это не пойдёт. Трагический конец Гоголя, поставив точку на его человеческом пути, положил начало его литературному бессмертию, и его значительнейшее место в русской литературе навсегда останется за ним. А что касается его оголтелого жидоморства — что ж, какова страна, таковы и её писатели — даже великие.

ПОЭТ-МУЗА

Белла Ахмадулина

10 апреля 1937 года в Москве родилась Изабелла Ахатовна Ахмадулина.

Официальная биография поэтессы совсем коротка и укладывается в несколько строк: литобъединение... Литературный институт... сборники стихов (около тридцати)... премии... замужества... две дочери... Собственно, всё. О жизни Ахмадулиной и её значении в русской культуре и истории можно написать добротную нетонкую книгу. Надо надеяться, она ещё будет написана.

Если говорить о смысле, заложенном в понятии «поэт», придётся признать, что речь пойдёт не только о человеке, который пишет стихи, но об особой породе людей, вся жизнь которых подчинена этому занятию. И это не произвол сло-

Часть третья

варя, а истина, иногда оборачивающаяся печально, а подчас и трагически. Трагедия происходит с поэтами во времена, поэзии противопоказанные, — печали же они почти обречены. Попытка уклониться от судьбы поэта наказуема утратой дара.

Творчество Беллы Ахатовны может быть рассматриваемо под разными углами: есть (и преобладают) оценки восторженные, есть достаточно сдержанные, есть (хоть и немного) — вполне скептические. Но никто, ни один из читателей, к какому бы лагерю он ни относился, левому, правому, более того, ни один из поэтов, что уже совсем диковинно, ни разу не подверг сомнению, что Белла Ахмадулина — человек безупречно чистый, негромко бесстрашный, безоговорочно преданный стиху — а значит, истинный поэт. Вся прожитая до сих пор ею жизнь тому порукой — учитывая, что большая часть этой жизни пришлась на «года глухие», это дорогого стоит.

Во времена, когда она начинала свою поэтическую биографию, искус конъюнктуры был так силён, что её товарищи по цеху, даже самые близкие, не смогли устоять. Учитывая вышесказанное — не оттого, что были дурными людьми, а потому, что голос поэзии звучал в них не так мощно, как в ней. Даже её облик — невозможно поверить, что случайно, скорее, по замыслу, — воплощал поэзию: то ли она поэт — то ли муза. Огромноглазая поэтесса, безмятежно жертвовавшая регалиями, деньгами, тиражами, не слукавила ни разу, не написала ни одной строчки, кроме тех, которые диктовал ей дар, — и победила. Пройдя через печали, невзгоды, беды и болезни, она не утратила данного Богом, а быть может, и, как велено в Писании, умножила его — во всяком случае, её нынешние стихи вышли на некий новый уровень.

Разумеется, окончательные итоги подводятся поэзией спустя десятилетия и века, но бесспорно, что беспомощно приподнятый подбородок Ахмадулиной украсит собой галерею портретов русского литературного XX (и XXI!) века.

**ЖИТЬ НА ТАКОЙ ПЛАНЕТЕ —
ТОЛЬКО ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ**

Илья Ильф

13 апреля 1937 года, на сороковом году жизни, умер писатель Илья Ильф.

Биография его коротка, вполне прозрачна и удобно укладывается в среднеарифметические рамки жизненного пути советского писателя. Илья Арнольдович Файнзилбергер родился в Одессе, в семье банковского служащего, за год до начала Первой мировой войны окончил техническую школу и поступил на службу в чертёжное бюро. После 1917 года начал журналистскую карьеру в ЮгРОСТА, был редактором юмористических журнальчиков и даже стал членом Одесского союза поэтов. Его тогдашние стихи были странными, непривычными и, по оценке Семёна Кирсанова, предвосхищали сюрреализм.

В 1923 году Ильф приехал в Москву, куда в ту пору подтягивались практически все большие или меньшие литературные дарования, и поступил в газету «Гудок» — легендарное издание, стянувшее к себе мощные личности и имена. Там Ильф знакомится с Евгением Петровым, братом уже известного к тому времени писателя Валентина Катаева, и, то ли шутки ради, то ли пытаясь всерьёз взобраться на литературный Олимп, молодые люди затевают писать роман, идею которого, как гласит легенда, подал им Катаев.

Сотрудничество с самого начала было успешным — соавторы хорошо понимали друг друга и явно были настроены на одну волну, так что роман «Двенадцать стульев», опубликованный в 1928 году, явил собой произведение весьма цельное и законченное и, самое главное, уморительно смешное. Критика, в отличие от читателей, приняла его в штыки, оно и понятно: вместо того чтобы воспевать победы трудового народа, авторы поставили в центр повествования очаровательного и занятного, но явного проходимца. Рапповские эксперты обозвали роман «серенькой посредственностью» и фыркнули — не без оснований, впрочем, — что в нём не хватает «зарядки глубокой ненависти к классовому врагу», каковым, без сомнения, являл-

Часть третья

ся для них Остап Бендер. В некотором роде, выбрав жанр «плутовского романа», писатели поступили мудро и дальновидно — с такого героя меньше спроса, а взвесить на весах меру авторской отстранённости не удалось даже рапповцам, так что продолжение дилогии, «Золотой телёнок», проскочило, в общем, довольно успешно.

Обе книги вошли в классику советской литературы, выгодно отличаясь от многих её образцов раскованностью, смелостью и откровенным озорством, и хотя в более поздние времена вызывали нарекания в оплёвывании интеллигенции и ёрничестве на могилах, пожалуй, эти обвинения не имеют под собой реальной почвы — в конце концов, юмор Ильфа и Петрова был вполне достаточно чёрным, чтобы не выглядеть беззаботной пляской на костях.

В случаях столь тесного творческого альянса, разумеется, невозможно или почти невозможно вычленить вклад каждого из авторов, но трудно не заметить, что после первой публикации в 1957 году «Записных книжек» Ильфа возникло некоторое недоумение: из коротких записей выстраиваются не только основные образы обоих романов, не только, скажем, весь лексикон Элочки-Людоедки и «kozyрные» фразы Остапа, но и общий настрой и атмосфера повествования. В чём же тогда, собственно, состояла роль Петрова? Очевидно, это не нашего ума дело. Писатели решили, что они — коллективный автор, таковым они воспринимали себя и таким останутся для читателей.

Записные же книжки Ильфа — отдельное произведение, чтение грустное и захватывающее. Перед нами встаёт образ пронзительно умного, тонкого, проницательного и немного циничного человека, видевшего реальность во всей её неприкрытой абсурдности и тем не менее осознающего, что даже в том зазеркалье, где ему пришлось прожить свою недолгую жизнь, просверкивают лучи поэзии и гармонии.

Скорее всего, хотя этого нельзя сказать наверняка — судьёй станет время, — образу Остапа Бендера не угрожает забвение, уж больно хорош получился обаятельный мошенник, но в любом случае несомненно, что «Записные книжки» Ильфа, тихо и уверенно, вошли в золотой фонд русской литературы.

БРАТ-АЛХИМИК
Вениамин Каверин

19 апреля 1902 года в Пскове родился Вениамин Александрович Каверин (Зильбер).

Отец Вени, военный музыкант, капельмейстер, был не прочь пристроить сына поближе к музыке, но того влекло слово. Начав образование в Москве на историко-филологическом факультете МГУ, он быстро вошёл в литературную среду. Но вскоре, по совету Ю. Тынянова, перебрался в Петроград, став студентом философского факультета университета и одновременно поступив в Институт восточных языков, на арабистику. В 1921 году, не без непосредственного участия Каверина, образовалась литературная группа «Серапионовы братья» (с отсылкой к Гофману), ставшая для начинающего писателя первой школой ремесла и литературного братства, которое он всю жизнь ценил чрезвычайно высоко. Элемент игры, которым было наполнено объединение, не умалял серьёзности литературных исканий, а прозвища (Каверин — «брат-алхимик») не только создавали атмосферу карнавала и перформанса, но и отражали сущность каждого — Каверин, с его пристальным, даже, быть может, гипертрофированным вниманием к плоти слова, словно бы действительно в тигле выпаривал свои затейливые сочинения.

Группа, естественно, распалась, как только миновали времена некоторой анархии, прикидывающейся свободой, и надо сказать, что Каверин ещё легко отделался — много лет спустя главный литератор Советского Союза Жданов очень неласково помянул «Серапионовых братьев» в своём докладе, результатом чего явились запоздалые санкции против Слонимского, Тихонова и Зощенко.

Пережив юношеские метания, Каверин обрёл своё лицо в литературе, написал несколько чудесных книг — «Два капитана», к примеру, хоть и отмеченная Сталинской премией, отнюдь не грешила сталинской конъюнктурой, а его последние романы — чисты и глубоко на диво, — и не только не замарал себя ни разу участием в кампаниях травли коллег, но и не раз проявлял

Часть третья

редкостное бесстрашие, заступаясь за травимых. Талантливый и очень профессиональный писатель, человек безупречного достоинства, один из лучших людей эпохи, Каверин, несомненно, останется в истории русской советской литературы, правда, невольно играя роль некоторой индουλгенции для эпохи: вот, мол, можно же было и в те поры полноценно реализовать себя творчески — и сохранить личную порядочность. Грустная роль.

ПЕРВЫЙ БЕЗУМЕЦ РОССИИ

Пётр Чаадаев

26 апреля 1856 года в Москве умер Пётр Яковлевич Чаадаев, один из самых мощных и оригинальных российских философов, снискавший себе славу ненавистника России, опасного безумца и едва ли не первого «предателя родины».

Принадлежа по рождению к той части русской аристократии, которую уже тогда, в 1794 году, следовало бы назвать интеллигентской (если бы в то время существовал сам термин), Чаадаев получил университетское образование и смолоду сделал неплохую военную карьеру — он весьма достойно вёл себя во время кампании 1812 года, участвовал в битве при Бородине и был награждён орденом Св. Анны. Всё складывалось очень удачно: расположение двора и блестящие перспективы — так что определить, с какого момента успешный и честолюбивый аристократ впал в опасный крен, почти не представляется возможным, быть может, час икс наступил в момент его отставки, в 1821 году.

Чаадаев был близок с декабристами и посвящён в их планы, но предлагаемые ими перспективы, совершенно очевидно, его не захватили и не увлекли — идея насилия исходно была ему чужда, и трудно представить себе, чтобы человек с заведомо идеалистическим мышлением соблазнился механическим переустройством общества в целях воцарения гармонии. Возможно, именно в поисках иной концепции в 1823 году Чаадаев отправляется в путешествие по Европе: Англия, Франция, Германия, Швейцария, Италия. Гонимый внутренним беспокой-

ством, он ищет духовных наставников или, по крайней мере, единомышленников и находит их среди отнюдь не последних в ряду умов, включая Ф. Шеллинга.

Три года, проведённые в Европе, сформировали воззрения Чаадаева уже в достаточно чётких чертах, и, вернувшись в Россию, он постепенно приобретает репутацию мыслителя и философа, но — со странными взглядами. И хотя вёл он себя достаточно тихо, однако предубеждение против него зрело, и в 1833 году цензурный комитет решительно запретил публикацию представленной им книги.

Но человек, имеющий что сказать, всегда обураваем потребностью высказаться гласно, и в 1936 году в 15-м номере либерального журнала «Телескоп» выходит первое из чаадаевских «Философических писем». Масштаб реакции превзошёл все мыслимые ожидания. Такого потрясения общественная мысль России не испытала ни разу дотоле, и не будет преувеличением сказать — и впредь. Складывалось впечатление, что возмущение охватило все слои социальной структуры — даже не имеющие до этих пор никакого отношения к печатной продукции, тем паче к философской литературе.

Естественно, следующим этапом должен был стать донос, каковой не замедлил последовать: Ф. Вигель накатал письмо митрополиту Серафиму, митрополит довёл ценную бумагу до сведения Бенкендорфа, а тот припал к трону. Резолюция Николая I гласила: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной — смесь дерзкой бессмыслицы, достойной умалишённого», — ну и всё. Кто у нас лучший психиатр всех времён и народов? Понятно, властитель.

Журнал закрыли, редактор Н. Надеждин отправился куда Макар телят не гонял, а по поводу Чаадаева было вынесено решение: поскольку достойный гражданин явно рехнулся, то правительство, «в своей заботливости и отеческой попечительности», запрещает ему выходить из дома и обеспечивает его бесплатной медицинской помощью (равно как и постоянным полицейским надзором). Надо сказать, выход был найден довольно элегантный: спецпсихушек ещё не было, и гарантировать изоляцию «опасного сумасшедшего» возможно было только путём домаш-

Часть третья

него ареста — ну не сажать же безумца в тюрьму! Тогда следовало бы признать, что «Философические письма» — не бред маньяка, а точка зрения, подлежащая обсуждению, — ещё чего не хватало!

На самом деле никакой «ненависти к России», никакой «клеветы» и «оскорблений отечества» текст Чаадаева не содержал: это был всего лишь пусть довольно своеобразный, но аргументированный и не лишённый убедительности взгляд на историю, будущее и геополитическую ситуацию страны, но ужас состоял в том, что это был взгляд со стороны, взгляд объективного наблюдателя — а этого коллективное сознание России стерпеть никак не могло. Разве можно, к примеру, принять такое заявление: «Силлогизм Запада нам чужд. В лучших наших умах есть... легковесность». Скандал! Но, помилуйте, разве это не есть доведённый до парадокса тезис славянофилов об отвратительном практицизме Запада и, в противовес тому, «душевности», равно как и особой «задушевности» русского человека?

Полчив психически расстроенного Чаадаева надёжными методами, осенью 1837 года император распорядился: «Освободить от медицинского надзора под условием не сметь ничего писать». Налицо отеческая забота о душевном состоянии философа: писать — это же очень вредно! Философ же втихомолку кропал — правда, писания его были опубликованы только после его смерти и за границей. «Апология сумасшедшего» иногда воспринимается как попытка извинения, как сдача позиций, в то время как она была лишь уточнением системы взглядов Чаадаева и прояснением установок, изложенных в прерванной публикации. «Любовь к отечеству — вещь очень хорошая, но есть нечто повыше её: любовь к истине» — такой, казалось бы, неоспоримый постулат, почти общее место...

Тем не менее Чаадаев оставался в опале, как при жизни, так и после смерти, и, что любопытно, продолжал числиться опасной крамолкой при советской власти — хотя, казалось бы, критика «царской России» должна была вполне совпасть с линией партии. «Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать её, предпочитаю унижать её, только бы её не обманывать» — почему-то эта идея его родине ни при какой погоде не оказалась по нраву.

МАЙ

СОБСТВЕННОГО ПОЧЕРКА ПИСЬМО

Борис Слуцкий

7 мая 1919 года в Славянске, в семье мелкого служащего и учительницы музыки, родился советский поэт Борис Абрамович Слуцкий.

Борис Слуцкий — один из немногих настоящих поэтов, если не единственный, к поэзии которого можно приложить эпитет «советская» — не в осуждение и не обозначая её официальность, — просто этот этап истории страны впечатался в его стихи, проник в их плоть и заговорил голосом поэта.

Слуцкий отнюдь не был певцом социализма, он просто был при этом, жил в этой реальности и, оставаясь честным в своей поэзии, не пытался извернуться и сделать вид, что реальности нет, — никакой башни из слоновой кости Борис Абрамович так себе и не смастерил. Просто прожил свою жизнь так, как она жила, — «времена не выбирают».

Первая ипостась Слуцкого-поэта — фронтовая. И она наложила отпечаток на весь строй его поэзии: попав на фронт в двадцать два года, он влился в ряды этого поколения, честно воевавшего, оставившего на войне свою молодость и, что удалось понять не всем, вернувшегося оттуда духовно исчерпанным. Это не относилось к самому Слуцкому, но он не мог этого не видеть. Его стихи о войне, далёкие от казённого па-

Часть третья

фоса, неприглаженные и неприкрашенные, поразительно искренние, долгое время печатались очень ограниченно и избирательно, как, впрочем, и большинство его стихов. Получив определённую известность в 1953 году и выпустив первую книгу в 1957-м, издавая каждые несколько лет по сборнику, Слуцкий приобрёл странный статус: будучи вполне официальным «советским поэтом», основную массу стихов он писал «в стол», не рассчитывая на их публикацию и, как могло показаться на поверхностный взгляд, не особенно даже сокрушаясь по этому поводу. Но неопубликованные тексты разрушают пишущего изнутри, и, возможно, именно они положили начало его душевной болезни.

Внятной точкой отсчёта душевного неблагополучия Слуцкого стала история с Пастернаком, когда в разгар травли он вынужден был выступить с осуждением Бориса Леонидовича. История странная и показательная: его голос прозвучал в общем мощном и дружном хоре обрушившейся на Пастернака хулы, ничем не выделившись из него, — причём подавляющее большинство участников действия, произведя требуемые от них пассы, продолжали жить припеваючи, в полном внутреннем комфорте — очевидно, либо создав для себя неопровержимую систему доказательств невозможности поступить иначе, либо даже вовсе в оправданиях не нуждаясь. Слуцкий же сломался на этом месте непоправимо. Объяснение простое: в отличие от остальных, он обладал живой и действующей совестью — она, не умолкая, твердила ему вещи, слушать которые от себя самого небезопасно для душевного здоровья.

Горестно сложившиеся личные обстоятельства — смерть поздно обретённой и благоговейно любимой жены — добавили масла в огонь медленно разгоравшегося душевного недуга, и, написав после её ухода всего лишь за три месяца около восьмидесяти стихотворений, Слуцкий умолк навсегда. Он прожил после этого ещё девять лет, медленно погружаясь в душевное небытие, и ушёл не оценённым до конца почти никем, кроме немногочисленных знатоков поэзии и профессионалов, отдававших себе отчёт в мощном масштабе его творчества. Его поэзия, таившая в себе странную магию мнимой не поэтичности,

безусловно, останется в литературе, как и его судьба, искорёженная и изувеченная, но логичная и трагическая в своей предначертанности.

ПОЮЩАЯ ДУША

Булат Окуджава

9 мая нынешнего года¹ Булату Шалвовичу Окуджаве исполнилось бы 80 лет. Между тем, уже почти семь лет, как его нет на земле. По нынешним временам, 73 года — не возраст, чтобы умирать, да ещё так невыносимо обидно, от не смертельной, казалось бы, болезни.

Те, кто видел его на сцене в последние годы жизни, не могли не заметить, что Окуджава был в свои вокруг семидесяти непропорционально слабеньким и стареньким, словно тенью прежнего, и только когда брал гитару и вступала в силу магия волшебства, сопровождавшая его пение, возраст исчезал. После концерта оставалось двойственное чувство: горькое, оттого, что, казалось, исполнено и завершено его земное предназначение, и торжественное, оттого, что исполнено оно с невыносимым блеском.

Если иметь в виду творческую реализацию, Окуджава воплотил себя не на 100 процентов, а на все 200 — редко кому удаётся сказать всё, что хотел, и быть услышанным в каждом слове и каждой интонации. И при этом Окуджава ушёл, оставшись неразгаданным. Кто он был? Называют «великим поэтом». Это вряд ли. Тексты, прочитанные глазами, легки, умны, точны и благозвучны, но не поражают поэтическое чувство. О музыке нечего и говорить: мелодии, завораживающие в его собственном исполнении, мгновенно испаряются, воспроизведённые оркестром или хотя бы фортепьяно. Слово «бард» вообще звучит оскорбительным применительно к нему, в контексте бесчисленно расплодившихся последователей, пусть многократно «хороших и разных».

¹ Написано в 2004 г. — *Примеч. ред.*

Часть третья

Как назвать необъяснимое чародейство, совершавшееся всякий раз при соединении скромных аккордов, слабого, едва не срывающегося голоса и сентиментально-иронических строчек, проговариваемых без малейшего актёрского нажима? Феноменом Окуджавы? Уже сказано и ничего не объясняет. Такое впечатление, что воздействие происходило поверх нот и текста, на совершенно невербальном уровне, минуя сознание, непосредственно от души к душе, как ни пошло это звучит. Может быть, столь полная реализация тем и объясняется, что Окуджава нашёл в себе невероятную, оголтелую, почти неприличную смелость выговаривать себя один к одному, минуя «искус искусства» и пренебрегая всеми и всяческими «художественными законами»?

Именно в этом своём проявлении Окуджава был неприятен и опасен советской власти. Антисоветские аллюзии, обнаруживаемые слушателями в его песнях, за редкими исключениями, были их собственными переживаниями — политических песен Булат Шалвович никогда не писал, в открытую оппозицию к режиму вставал не более, чем любой приличный человек, и исходящая от него угроза правящей идеологии, которую отчётливо ощущали власти, периодически инспирируя против него нечто вроде лёгкой травли, состояла просто-напросто в том, что он искренне, ненарочито и неподчёркнуто игнорировал как идеологию, так и власть, выстраивая полную, богатую и живую альтернативную реальность. Каким образом невеликого роста и довольно субтильное «лицо кавказской национальности» ухитрилось противопоставить себя системе и выстроить в замордованной стране мощные ряды духовной оппозиции, в которые входили все, мурчащие себе под нос немудрёные песенки, — навсегда останется загадкой.

И даже «комиссары в пыльных шлемах», которых (и совершенно правильно) никому не приходит в голову поставить ему в вину как реверанс режиму, были совершенно не советскими, а некими романтически-виртуальными рыцарями, сражавшимися за некую отвлечённую романтическую же справедливость.

Отдельное и очень странное поле представляют собой военные песни Окуджавы. Абсолютно лишённые как патриотиче-

ского, так и любого другого пафоса, за исключением, пожалуй, лишь песни из «Белорусского вокзала» — но это уже и не вполне Окуджава, — они, особенно если рассматривать целиком весь корпус, рисуют «иную войну» и смыкаются в этом смысле, может быть, только с военной прозой Виктора Некрасова.

Так же нестандартно обстоит дело с религиозным наполнением окуджавовских песен. Далёкие от любой постулированной конфессиональной идеологии, они, бесспорно, проникнуты острым ощущением присутствия Творца и вызывают у слушателей подчас чисто религиозный трепет.

Нет никакой необходимости, говоря об Окуджаве, использовать цитаты из его песен: ассоциативный ряд работает в отношении него настолько мощно, что при одном упоминании имени начинает звучать голос, которому, вероятно, не суждено замолкнуть никогда — разве вы не слышите его сейчас?

ПОБЕГ ОТ СМЕРТИ

Венедикт Ерофеев

11 мая 1990 года в Москве от рака горла умер Венедикт Васильевич Ерофеев.

Ранжирование Ерофеева как литератора составляет немалую сложность: написано совсем немного, все тексты с большим трудом укладываются в жанровую структуру, а биография писателя вообще являет собой абсолютную фантазмагорию. И в то же время представляется совершенно неопровержимым, что наследие Ерофеева — необыкновенно значительно и важно для русской литературы, а «Москва — Петушки» — одно из самых важных произведений второй половины XX века.

Родившись в 1938 году за полярным кругом, на станции Полярконда, Ерофеев хлебнул сполна всех исторических перипетий, связанных с тем периодом истории страны: эвакуация, арест отца по «политической» статье, остракизм матери, которая, оставшись без работы и, соответственно, без куска хлеба, вынуждена была отдать детей в детский дом, чтобы спасти их от

Часть третья

голодной смерти. Тем не менее мальчик, который был определённо талантлив, прекрасно учился и, хотя ухитрился не состоять ни в октябрятах, ни в пионерах, ни в комсомоле, окончил школу с золотой медалью. Мало того, сумел, приехав из тьмутаракани, поступить в МГУ. Ну а там, конечно, началось.

Венедикт Ерофеев катастрофически не вписывался в советскую официальную реальность, поскольку неодолимо брезговал любым лицемерием, которое составляло ткань жизни, поэтому с младых ногтей ему была отведена роль аутсайдера. Из МГУ его, разумеется, выгнали, как исправно отчисляли и из других вузов — Владимирского и Орехово-Зуевского пединституты, — несмотря на то что Венедикт выказывал блестящие способности, и благодаря тому, что способности эти упорно не укладывались в рамки советского высшего образования и вообще советской идеологии. К тому же Ерофеев всеми правдами и неправдами стремился избежать неминуемого в его положении призыва в СА, испытывая к военной службе уже просто физиологическое отвращение. Результатом явились невообразимо запутанные бюрократические дела и заведомая обречённость на «неквалифицированную работу», где хотя бы не так подробно вчитывались в бумажки.

Трудовая книжка Венедикта Ерофеева читается как поэма абсурда и авантюрный роман одновременно: должности сменяются каждые несколько месяцев и выглядят порой довольно затейливо — рабочий глинистой станции, агент-кладовщик, стрелок ВОХР, машинист станции перекачки, кабельщик-спайщик и попроще — разнорабочий, просто рабочий, грузчик. География — вся страна. Словом, типичный «трудовой путь» бомжа. А он, собственно, им и был.

Человек с редкостным интеллектом и блистательной рефлексией, щедро наделённый даром слова, кочевал по огромной стране, пронизанной единым духом диктатуры, и являл собой оппозицию, по сути дела, в единственно возможной легальной форме — в форме тотального пьянства, разделяя этот протест со многими миллионами граждан СССР. Правда, в отличие от бесчисленных безъязыких собратьев, он был в состоянии этот протест осмыслить и вербализовать. Результатом явилась уни-

кальная книга «Москва — Петушки», представляющая собой поразительной эмоциональной и философской силы сочинение, практически не имеющее аналогов в русской литературе.

Книга, естественно, лежала «в столе», которого у писателя, собственно говоря, и не было, с 1970 года и вплоть до начавшихся изменений в СССР, когда, продолжая тот же жанр театра абсурда, была в 1988 году опубликована в журнале «Трезвость и культура», вызвав мощнейшую сенсацию, мгновенно выведшую Веничку Ерофеева в ряды самых значительных литературных и культовых фигур. Бывший бомж выступал на публике, показываясь на телеэкране — но признание почти запоздало: Ерофеев страдал тяжелой формой рака горла, а единственный шанс на спасение, связанный с поездкой во Францию на лечение, был отнят всё той же родимой бюрократией, «ввиду перерывов в трудовом стаже».

Предсмертный дневник Венички пропитан той же эмоциональной мощью и той же отчаянной горечью попытки и невозможности побега от жизни, как и «Москва — Петушки», — но это был уже побег от смерти. Только в этом, последнем, случае побег удался: книга читается и будет читаться — вероятно, очень долго.

СУДЬБА МАСТЕРА

Михаил Булгаков

15 мая 1891 года в Киеве, на Воздвиженской улице, дом 28, в семье преподавателя духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова и его жены Варвары Михайловны родился первенец — Михаил.

С этого дня прошло больше ста лет, но событие, во всех его подробностях, не утратило значимости, а может быть, ещё и набрало её с течением времени.

Детство Булгакова достаточно широко освещено в мемуарах и исследованиях, так же как и его студенческие годы. Собственно, это можно сказать обо всей биографии писателя, и это

Часть третья

замечательно, поскольку, почти не оставляя белых информационных пятен, позволяет свободно располагать сведениями для того, чтобы сделать выводы о векторе его судьбы, об изменениях в его личности, о совершенствовании его дара. Впрочем, в силу этого же обстоятельства — обилия и доступности материала — выводы всякий делает свои.

В любой жизни есть наиболее значимые точки, некие пункты-развилки, определившие судьбу и оставившие за скобками возможные варианты развития событий. В биографии Булгакова этих развилок несколько. Первая, конечно, поразительная история о том, как молодой человек, пристрастившись к морфию, нашёл в себе силы преодолеть зависимость — если бы не это, не было бы у нас великого писателя, а лишь туманное воспоминание (в лучшем случае) об одарённом молодом человеке, сгинувшем в результате пагубного пристрастия. Второй необыкновенно важный пункт — постигшая Булгакова болезнь, которая не дала ему отступить с белой армией, что он несомненно бы сделал, если бы не проклятый, воистину переломивший судьбу возвратный тиф. Неизвестно, как развивался бы талант Булгакова в эмиграции — собственно, нет оснований считать, что при отсутствии мощного цензурного пресса он не вырос бы до немыслимых высот, — но совершенно ясно, что человеческая судьба Михаила Афанасьевича сложилась бы несравненно благополучней и не обрушилась бы на голову писателя таких тяжких невзгод, как это неотменяемо произошло на родине. Ещё несколько беспомощных попыток Булгакова выехать за границу, о чём он даже умолял Сталина в личном письме, стоит, вероятно, причислить к этим поворотным пунктам потенциальных кардинальных перемен судьбы — несостоявшихся, увы.

Но, конечно, говоря о художнике, нельзя отслеживать его житейские перипетии, не отдавая себе отчёта, что, как бы цинично это ни звучало, судьба писателя — это прежде всего судьба его таланта и его книг. Если бы не скитания Булгакова по бурлящей, воюющей с самой собой стране, не было бы ни «Бега», ни «Дней Турбиных», ни многих страниц в «Мастере и Маргарите», не имеющих, казалось бы, прямой связи с Гражданской войной. И если бы не жизнь под недрёманным оком

ГПУ, где в списке Ягоды Булгаков числился под номером семь, никогда не смог бы родиться сам Роман, потому что существование в советском зазеркалье давало уникальный душевный опыт, претворившийся в гениальные страницы. Другой вопрос — какова цена этих страниц, да и не только булгаковских, написанных «из-под глыб» и пропитанных если не живой кровью, то душевной — уж точно. Стоило ли оно того? Окупились ли страдания раздавленных душ тем великим, что было создано в каземате диктатуры? На этот вопрос нет честного ответа.

Страдания Булгакова среди дробящих изображение кривых зеркал советской власти усугублялись тем, что как по рождению и воспитанию, так и по складу личности он тяготел к гармонии и упорядоченности существования, и его невероятно тяготил абсурдизм окружающей реальности. Об этом говорят его дневниковые записи и письма, и по ним видно, как формировалась и откуда брала начало его убийственная сатира, осуществившаяся в «Собачем сердце», «Роковых яйцах», в «Театральном романе», да, собственно, и в «Мастере» — просто другого спасения от действительности, кроме как её высмеять, не существовало.

Но булгаковская насмешка, естественно, не могла спасти его от сонма персонажей, на которые уже не хватало ни сатиры, ни терпения. Вокруг него творилась истинная фантазмагория, и, если почитать переписку официальных лиц, вплоть до самых высоких, касающуюся писателя и его произведений, создаётся впечатление, что перед нами материалы к ненаписанному роману Булгакова, который мог бы стать посильнее «Фауста» Гёте. К примеру, П. М. Керженцев в январе 1929 года шлёт в Политбюро ЦК ВКП(б) некое загадочное по жанру исследование, содержащее подробный разбор «Бега». Расписаны действующие лица («характеристика персонажей»), по винтикам разобрана фабула, проведён тщательный «анализ пьесы» и, разумеется, выявлено её «политическое значение». Становится ясно, что «„Бег“ — это апофеоз Врангеля и его ближайших помощников», что, естественно, влечёт за собой вывод: «Необходимо воспретить пьесу „Бег“ к постановке и предложить театру прекратить всякую предварительную работу над ней (беседы,

Часть третья

читка, изучение ролей и пр.)». Страшно представить себе, какова участь художника, обретшего столь заботливых «литературоведов в штатском».

И вот под этим гнётом Булгаков пишет роман о добре и зле, об истинной любви и о судьбе художника — да не сошёл ли он с ума? Причём писатель трезво отдаёт себе отчёт, что в обозримом будущем не видать ему ни публикаций, ни славы, на которую он вправе был надеяться, ничего, в сущности, кроме очень вероятных крупных неприятностей. Пишет потому, что это должно быть написано, потому, что знает правду и обязан перенести её на бумагу. Не есть ли это единственный верный импульс к творчеству?

Разумеется, значение и притягательность «Мастера и Маргариты» не исчерпываются, да и не определяются условиями его создания — но знание этих условий добавляет оптике читателя глубины и резкости. Сегодня, когда стало стильным ругать Булгакова, упрекая его Роман в поверхностности и нарочитости, вульгарности и небрежности, и ещё Бог знает в чём, имеет смысл просто раскрыть «Мастера» на любой странице и отдать непосредственному впечатлению. Если так поступить, даже самый предвзятый критик не сможет отрицать, что книга не просто мастерски сделана — в ней есть то непреодолимое обаяние, та мощная аура, которые отмечают только великие произведения. И если бы даже предположить, что, кроме Романа, Булгаков не написал больше ничего — хотя многие из его текстов воистину замечательны, — за ним неизбежно осталось бы в русской литературе место Мастера — его законное место.

ЮБИЛЕЙ ЯНУСА

Григорий Чхартишвили — Борис Акунин

20 мая исполняется пятьдесят лет Григорию Шалвовичу Чхартишвили — писателю, эссеисту, переводчику.

Чхартишвили — фигура весьма примечательная на современном русском литературном горизонте не только тем, что

создаёт изысканные и изящные тексты, но и тем (есть опасение — в первую очередь тем), что представляет собой в некотором роде матрёшку: внутри рафинированного япониста прячется автор детективных романов, тиражи которых исчисляются миллионами — Борис Акунин.

Феномен в мире небеспрецедентный, примером тому Честертон, но для России — странный и даже какой-то шокирующий, поскольку «поэт в России — больше, чем поэт», а в любви к низким жанрам для так называемой интеллигенции, признаваться традиционно не только не пристало, но и совершенно неприлично. Так что появление Чхартишвили в акунинской ипостаси — вызов отечественной ментальности.

Биография Чхартишвили до появления на свет его двойника вполне вписывалась в рамки, предназначенные для одарённого филолога, представителя литературной элиты. Грузин, рождённый в Грузии почти по чистой случайности, он, как по воспитанию, так и по типу личности — плоть от плоти московской интеллигенции. Историко-филологическое отделение Института стран Азии и Африки МГУ, журнал «Иностранная литература», переводы Юкио Мисима, Кэндзи Маруяма, Ясуси Иноуэ — знаки, понятные посвящённым и знаменующие совершенно конкретный образ мыслей и систему ценностей.

И на этом вполне однородном фоне — вдруг Эраст Фандорин, монахиня Пелагия, остросюжетные романы, предназначенные совершенно откровенно для массового читателя. Первая мысль, приходившая в читательскую, да и критическую голову после раскрытия псевдонима, которым Чхартишвили поморочил-таки голову публике и коллегам, была: надоела гордая филологическая нищета, решил срубить денег. По мере выхода в свет следующих детективов и более внимательного их прочтения, стало ясным, что с такой чисто прикладной целью смастерить столь многослойные и затейливые тексты было бы попросту невозможно. Начала закрадываться мысль о мистификации — уже не с простой игрой в имена, но имеющей более дальний прицел. Пожалуй, объяснение лежит очень близко: автор в нескольких интервью признался в любви к игре как таковой и в намерении заполнить лакуну, если не сказать дыру,

Часть третья

существующую в российском литературном поле на месте чистой и умной беллетристики. Эти попытки предпринимались и до него, достаточно вспомнить такую крупную фигуру, как Александр Кабаков — но всякий раз события развивались по одной и той же схеме: писатель-беллетрист, убедившись в востребованности своих произведений, как-то сразу вдруг вспоминал, что поэт в России... ну и так далее. Результатом чего являлось непреодолимое желание открыть миру истину — и тут уж становилось не до занимательности сюжета. А лакуна вновь начинала зиять.

До сих пор с Борисом Акуниным ничего подобного не произошло, хотя под его именем вышло уже прямо-таки неправдоподобное для шутки и мистификации количество произведений. Возможно, причина лежит в том, что «оттягиваться» в поисках истины автор с полным правом и успехом продолжает под своим родным именем, а Борис Акунин по-прежнему исходит из интересов и вкусов массового читателя. То есть обе ипостаси продолжают мирно сосуществовать в полной гармонии, радуя каждая свой «электорат». Ну, в таком случае к юбилю следует пожелать им обеим (ипостасям) здоровья и удачи — поскольку каждая из них по-своему нужна и ценна.

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

Василий Гроссман

23 мая 1960 года писатель Василий Гроссман, с одной стороны, и журнал «Знамя» — с другой, заключили договор, предусматривающий публикацию романа вышеуказанного автора «Жизнь и судьба».

Этот день стал роковым в жизни Гроссмана. Вообще-то, учитывая репутацию главного редактора «Знамени» Вадима Кожевникова, человека суперлояльного к властям, чтобы не сказать большего, отдавать рукопись в «Знамя» никак не следовало. Но Гроссман, находясь в некоей полуопале, проработав над книгой много лет и мечтая увидеть её напечатанной,

был не на шутку обижен на Александра Твардовского, редактора «Нового мира», в котором в 1952 году вышел роман «За правое дело», вызвавший волну озлобленной партийной критики: Твардовский, по мнению Гроссмана, не сумел защитить его детище. Чтобы противостоять инспирированной сверху травле, главному редактору журнала следовало быть не просто человеком достойным, а — героическим. Ни требовать, ни даже ожидать героизма никто ни от кого не вправе, но писатель, бывший человеком порядочным до наивности, не захотел вручить судьбу своего нового творения в «ненадёжные руки» — и очень ошибся.

Напечатать «Жизнь и судьбу» Твардовский, разумеется, не сумел бы, зато никогда не сделал бы того, что предпринял верноподанный Кожевников, ознакомившись с рукописью и обнаружив в ней очевидную «крамолу». Разумеется, нынче доказать это невозможно, но представляется несомненным: именно благодаря главному редактору «Знамени» роман попал «куда следует», что повлекло за собой обыск, произведённый КГБ в квартире писателя, и изъятие всех экземпляров текста, включая копии, находившиеся у машинисток, а также копирку и ленты от пишущей машинки.

В «Жизни и судьбе», собственно, особой крамолы не содержалось — книга вовсе не была направлена против советской власти как таковой, пафос романа был обращён против тоталитаризма, равно как в сталинском, так и в гитлеровском его воплощении, и, изымая рукопись, власть собственной рукой расписывалась в том, что является прямой наследницей Сталина и носителем тоталитарной идеи. Не слишком дальновидное и логичное деяние — но кто сказал, что правители вдохновляются в первую очередь логикой и здравым смыслом? Нелогично, по счастью, было ведь и то, что, арестовав роман, его создателя позабыли на свободе и даже оставили ему возможность хлопотать о репрессированной рукописи: Гроссман добрался аж до Михаила Сулова, главного идеолога страны, и услышал от него успокаивающее сообщение, что выемка книги произведена в интересах автора, дабы роман не «попал на Запад» и не принёс творцу ещё больших неприятностей.

Часть третья

На вопрос же, станет ли когда-нибудь возможной публикация на родине, Суслов прозорливо ответил, что, мол, не исключено — лет через двести.

Главный идеолог немного промахнулся: «Жизнь и судьба» вышла в СССР в 1988 году, четверть века спустя после смерти автора.

«МОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК»

Владислав Ходасевич

28 мая 1886 года в Москве родился Владислав Фелицианович Ходасевич.

Значение этого великого поэта всё ещё не оценено в полной мере, и остаётся надеяться, что его будущее — впереди.

Происхождение Ходасевича путано: отец был поляком, мать же — еврейкой-католичкой. Такого рода навороты не могут не сказаться на восприятии человека, наделённого поэтическим даром, но, быть может, невнятная самоидентификация именно таким натурам идёт не в минус, а во благо.

Печататься Ходасевич начал рано — первые его поэтические опыты были опубликованы в 1905 году, и хотя впоследствии он сам не слишком воспринимал их всерьёз, уже в этих, почти полудетских строках, звучал голос, ни на кого не похожий, совершенно индивидуальный и поразительно смелый по степени свободы от любых шаблонов и стандартов. Это и было тем главным, что отличало любой ходасевичевский текст — стихотворный ли, критический, — абсолютная независимость от всякого влияния и в то же время включённость в общий поток русской литературы — сочетание редкостное и ценнейшее.

Конечно, литературная судьба Ходасевича оказалась переломанной событиями, произошедшими в стране в 1917 году. Приняв поначалу революцию как свершившийся, а быть может, даже и благой факт, но затем, разглядев монстра вблизи, Ходасевич выбрал бегство. Выехав в 1922 году «по командировке» в Ригу, в сопровождении Нины Берберовой, став-

шей позднее его женой, он более не вернулся в Россию. Эмиграция для поэта может обернуться новым стимулом и новой энергией, а может перекрыть поток его жизни и стать преградой на пути к стихам. Похоже, с Ходасевичем произошло второе. С 1928 года он почти не писал стихов. Этих ненаписанных стихов не могут компенсировать ни его блестящие критические тексты, ни биография Державина, в которую он вложил столько труда, — это потеря невосполнимая. Цветаева, высочайшим образом ценившая его поэзию, гневно сокрушалась, что жизненные обстоятельства «из поэта делают прозаика, а из прозаика — покойника», и была, конечно, совершенно права.

Жилось Ходасевичу в Париже скудно, бедно и непросто, но дело не в этом, а в том, что каждый день его жизни, в который он снова и снова не записывал ни одной поэтической строки, был страшной утратой для русской литературы — в этом не сыщешь виноватых, и не на кого возложить ответственность, кроме разве безликой, безымянной и беспощадной истории, подминающей под себя всё, оказывающееся на её пути, тем более такую хрупкую субстанцию, как поэт.

Владислав Фелицианович умер в парижской больнице, после тяжёлой операции, не дожив до пятидесяти трёх лет.

«Я ПРОПАЛ, КАК ЗВЕРЬ В ЗАГОНЕ»

Борис Пастернак

30 мая 1960 года на 71-м году жизни умер Борис Пастернак, задуманный и созданный на долгий, может быть, столетний век, красивый, полный энергии, с необыкновенной аурой. Если называть вещи своими именами, не умер — а был сведён со света.

В «Докторе Живаго» главный герой говорит: «Это болезнь новейшего времени. Я думаю, её причины нравственного порядка... Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь...» Живаго вёл речь об инфаркте, который, к слову сказать, Пастернака не миновал. Некоторые медицинские авторитеты относят то же и к

Часть третья

раку, особенно к такому стремительному, скоротечному, который развился у Бориса Леонидовича.

Травля началась, когда, отчаявшись опубликовать в СССР роман, которому было отдано более 10 лет жизни, Пастернак передал рукопись итальянскому издателю Фельтринелли. Кроме мощного желания пишущего человека донести до людей то, что хочешь им сказать, кроме иллюзий, связанных с временным потеплением арктического советского климата, Пастернаком руководило, очевидно, свойственное ему идеалистическое простодушие — он всегда был в какой-то мере «не от мира сего».

Деловитость, с которой была организована кампания против поэта, вызывает, если посмотреть на неё отвлеченно, даже некоторую восхищенную оторопь. «Мне стало известно», — в лучших традициях жанра начинает свою записку в ЦК министр иностранных дел СССР Д. Т. Шепилов, и далее следует аккуратный донос о «Докторе Живаго», с употреблением выражений типа «злостный пасквиль» и туманными обещаниями «через друзей» предотвратить публикацию романа за рубежом. К доносу прилагается подробнейшее изложение содержания рукописи, сделанное отделом культуры ЦК, разумеется, с политическими комментариями.

В переписку вовлекается отдел по связям с иностранными компартиями, а по мере развития ситуации, ввиду возможности получения Пастернаком Нобелевской премии, и другие отделы ЦК, и наконец его всемогущий Президиум. Документы проходят под грифом «Строго секретно» и содержат, буквально по пунктам, точнейший план всех последующих событий, включая даже привлечение конкретных лиц к обработке «преступника» — словом, «продуман распорядок действий».

Пастернак, занявший вначале довольно жёсткую позицию, под давлением реальности начинает, как марионетка, выполнять всё, что от него требуют, — можно ли оказывать серьёзное сопротивление асфальтовому катку, да ещё обладая детской душой поэта? Он требует у Фельтринелли возврата рукописи, отказывается от Нобелевской премии, подписывает покаянные письма — то есть делает всё, чтобы «проявить себя противно

тому, что чувствуешь». И, что показательно, делает это совершенно напрасно, потому как механизм запущен, «и неотвратим конец пути».

Может быть, когда-то будет определена единица нервной и психической нагрузки и выяснено, сколько оскорбительных писем и публикаций в свой адрес можно прочесть, сколько злобных речей выслушать без ощутимого вреда для здоровья, да ещё с таким богатым образным рядом: «Иуда, предатель, растекающийся грязной лужей желчи, квакающая лягушка, белогвардеец, раздуватель холодной войны...» — вроде бы и убого, и смешно, только не тогда, когда все эти густые помои льются изо дня в день на голову человека, не склонного к открытым столкновениям и не ориентированного на конфронтацию со средой. А в придачу немалая часть поношений раздаётся из уст людей, которые не вовсе посторонние, а иной раз и приятели, а порой и друзья.

В результате, естественно, рак лёгких, три сосны над могилой, и на нескольких страницах подробнейшая «Информация отдела культуры ЦК КПСС о похоронах Б. Л. Пастернака» для секретарей ЦК, снова с добросовестным перечнем имён и стенограммой надгробных речей — так сказать, отчёт о проделанной работе.

ИЮНЬ

УЮТНЫЙ МИР ДОНЦОВОЙ

Дарья Донцова

7 июня 1952 года в Москве родилась Агриппина Аркадьевна Васильева, известная — даже скорее знаменитая — под именем Дарья Донцова.

Феномен Донцовой необъясним с точки зрения литературоведения и требует привлечения социально-психологических знаний. Появившись на книжном рынке в начале века, Донцова дебютировала необыкновенно резво и в считанные месяцы вышла в лидеры, как по количеству наименований сочинений, так и по совокупным тиражам, которые нынче уже подбираются к пятидесяти миллионам.

Жанр, в котором работает Донцова, именуется «ироническим детективом» — сей гриф как бы уменьшает степень ответственности за уровень текста, который тем самым выводится за рамки чистого жанра детектива и ставится в несколько особое положение. Надо сказать, тексту это просто необходимо: если подходить к нему со стандартными требованиями, предъявляемыми к криминальному роману, ни одна из книг не может преодолеть даже уровень «среднего приличия». Интрига закручена азартно, но крайне небрежно, хвосты сюжетных линий торчат во все стороны, концы с концами сводятся лишь благодаря бесчисленному количеству натяжек, которые автор вынужден

подробнейшим образом растолковывать в обширной заключительной части повествования — к этому моменту у читателя в голове царит такая каша, что он рад-радёшенек обрести хоть какие-то опорные пункты — пусть даже объяснение выходит далеко за пределы здравого смысла. Другими словами, Агата Кристи тут и близко не лежала, и по части сюжета и композиции автору, пожалуй, не помешал бы банальный ликбез.

Что касается языка, о нем, пожалуй, не стоит и говорить всерьёз: банальный сегодняшний сленг пересыпан канцеляризмами и речевыми штампами в духе худших образцов советских производственных романов. Кроме того, очевидно, на каком-то этапе литературного пути кто-то предупредил Донцову, что изобилие местоимений таит в себе опасность для языка произведения, и она настолько хорошо усвоила эту истину, что вычищает все местоимения на корню, вплоть до полной потери смысла фразы.

И тем не менее... Объективная реальность требует рационального объяснения, а такой невероятный взрыв популярности, к тому же стабильно длящийся уже несколько лет, вещь вполне объективная. И объяснение существует: если воспринять сочинения Донцовой как феномен внелитературный — всё мигом становится на свои места. В романах Донцовой, делящихся на четыре серии — в каждой действует своя сквозная героиня, и лишь в одной из серий — герой, — царит совершенно особая атмосфера. В них разлиты доброжелательность и оптимизм, полностью отсутствуют агрессия и ксенофобия, герои сбиваются в тесные дружные стаи, называемые семьёй, хотя это меньше всего семьи в строгом понимании этого слова: почти все дети приёмные, роль родителей, как правило, играют подруги (отнюдь не лесбиянки — из мира Донцовой любой секс вообще исключён, и, похоже, вполне преднамеренно), и человеческая близость строится в основном не на кровном родстве, а на взаимной привязанности, на свободном выборе объекта.

Картина мира, создаваемая Донцовой, хотя и построена на вполне адекватных реалиях современной Москвы, на несколько порядков симпатичнее, лучше, мягче, уютнее и безобид-

Часть третья

нее, чем настоящая жизнь, — в результате читатель погружается в сюжет, как в парное молоко, испытывая в этом слегка сдвинутом зазеркалье необыкновенный комфорт и расслабление. Собственно, это намерение открыто декларируется автором: «Донцова — не для нагрузки на мозги. Донцова — для отдыха», — сказала автор в одном из интервью. И вот эта задача выполняется с блеском. Как только читатель отчаивается уследить за ускользающей интригой и устаёт отслеживать языковые огрехи, он погружается в мир, сооружённый славной, беззлобной и весёлой тёткой, которая по терпимости и любви к ближним даст фору любому религиозному философу — и это необыкновенно притягательно.

Из своей личной жизни Донцова смастерила часть собственного пиара — и поступила на редкость грамотно, поскольку её биография отлично согласуется с образом «такой, как все», что опять же греет душу читателя и, кроме того, вызывает бесспорное уважение: побороть страшную болезнь, не пав духом и, более того, выйдя на новый уровень существования, затеяв сочинять буквально в реанимационной палате, — дорогого стоит для самого взыскательного критика, потому что, как мы ни тщимся, невозможно полностью отделить текст от его создателя.

Биография же Донцовой и впрямь не выходит за рамки средней, правда, с некоторыми поправками: Агриппина Аркадьевна родилась в семье, принадлежащей к советской «творческой элите», — её отец, писатель Аркадий Васильев, был прекрасно позиционирован и вполне успешен — отсюда и дача в Переделкине, и знакомства в литературных кругах. Впрочем, снобизма Донцова никак не обнаруживает, и это тоже играет ей на руку. Умеренно нескладная женская судьба, с парой разводов, но с отличным хеппи-эндом, в виде теперешнего, надежного и достойного мужа, Александра Донцова, троих детей, включая приёмного сына, и немереное количество домашних животных, которые занимают огромное место на страницах книг и выписаны с юмором и любовью, — всё это вселяет глубокую симпатию, особенно в женские сердца, и практически гарантирует Донцовой статус любимицы читателей.

Что же особенно обаятельно — полное отсутствие гонора и амбиций со стороны автора. Неизвестно, что она думает о себе в глубине души, но заявляет она себя неизменно как «литературную дворняжку» и постоянно подчёркивает, что ни в коей мере не претендует на место на литературном Олимпе. Поэтому, в соответствии с формулой «человек стоит столько, сколько он стоит, минус то, во что он себя оценивает» баланс выстраивается с огромным преимуществом для Донцовой, так что получается, славу свою она заслужила честно, и дай ей Бог наслаждаться лаврами как можно дольше.

«ДУШЕЧКА» АННА

Анна Достоевская

9 июня 1918 года в Ялте умерла Анна Григорьевна Достоевская, идеальная жена и вдова самого противоречивого и сложного из русских писателей, прошедшая свою нелёгкую судьбу с удивительным достоинством и мужеством.

Анна Сниткина, дочь мелкого чиновника (впрочем, человека образованного и интеллигентного, знавшего толк в литературе и зачитывавшегося Достоевским, что, конечно, предопределило судьбу дочери), была девочкой неглупой и одарённой. Гимназию она закончила с медалью и даже поступила на физико-математическое отделение Педагогических курсов, но учёба как-то не заладилась, и Анна начала обучаться стенографии у профессора П. Ольхина — и вот это уж точно стало прямым роком.

3 октября 1866 года наставник предложил ей немного подработать, стенографируя у Достоевского, и на следующий день, в половине двенадцатого, пунктуальная Аня Сниткина явилась к писателю. Первое впечатление от общения с домашним кумиром было довольно тягостным, в дневнике она записала: «Показался он мне очень странным: каким-то разбитым, убитым, изнеможенным, больным...» — словом, немолодой человек, снедаемый недугами и заботами. В первую встре-

Часть третья

чу диктовать он не смог и попросил явиться вечером — тут уже стал более разговорчив, расспросил девушку о ней, рассказал о себе, причём поразил какой-то болезненной и, казалось бы, неуместной откровенностью.

Начало общению и сближению было положено, а в течение последующих 26 дней, пока Достоевский, спеша и комкая текст, надиктовывал Анне «Игрока», стенографистка успела влюбиться по уши, что вполне объяснимо и понятно: при всех, мягко говоря, странностях Фёдора Михайловича гениальность была от него буквально лучами, и в несомненный плюс двадцатилетней девочке надо зачесть то, что она смогла почувствовать эту ауру и проникнуться ею.

Складывается ощущение, что Достоевский скорее ответил на чувство Анны, нежели инициировал его, во всяком случае, в одном из писем он фиксирует события довольно вяло: «...Я заметил, что стенографистка моя меня искренне любит... а мне она всё больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я ей предложил за меня выйти». Правда, нельзя забывать, что адресовано было письмо некогда страстно любимой Аполлинару Сусловой, так что, возможно, тут сказалось не только лукавство натуры, но и некоторый политес.

И, однако, никак нельзя сказать, что отношения супругов сложились по типу целующего и подставляющего щёку: брак длиною всего лишь в 14 лет, до относительно ранней смерти Достоевского, был, несомненно, супружеством вполне полноценным, союзом людей, понимающих друг друга, друг другу доверяющих, одинаково смотрящих на вещи и, что немаловажно, слиянием не только душ, но и тел — достаточно взглянуть на письма Фёдора Михайловича к жене, настолько простодушно-страстные, что их неловко читать.

Заслуга в этом, разумеется, в первую очередь принадлежит Анне Григорьевне: исхитриться ужиться с издёрганым, неуравновешенным, нездоровым и непредсказуемым человеком, вынося все его закидоны, включая дикие проигрыши в рулетку при полном отсутствии денег и вечных долгах, — задача не для слабонервных. Нервы у Достоевской и вправду были в полном

порядке. Мало того, при бесспорной душевной тонкости её отличала редкостная практическая хватка — сочетание нечастое. Ей удалось не только отвести семью от финансовой пропасти, куда гениальный муж так и норовил рухнуть, но и добиться некоторого достатка, при этом ведя хозяйство, продолжая прилежно служить Достоевскому стенографисткой и исправно рожая детей.

Примечательно, насколько Анна Григорьевна разделяла все взгляды и убеждения супруга и оправдывала любые его поступки, даже те, что представлялись довольно сомнительными, включая, например, братание с Победоносцевым. В этом отношении она предвосхитила появление одного из самых прелестных и трогательных женских литературных персонажей — чеховскую «Душечку». Лев Толстой, не без некоторой личной подоплёки, промолвил однажды: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского». Знал, очевидно, о чём говорил.

Но даже 14 лет безупречного служения живому мужу не превзошли 37 лет вдохновенного вдовства, посвящённые, по её собственным словам, сказанным в конце жизни, «памяти его, его работе, его детям, его внукам». Так что в Ялте, где в одиночестве умерла старая женщина, завершился путь человека, исполнившего свою жизненную задачу с честью, которой можно только позавидовать.

ДОБРО, ПОБЕЖДАЙ!

Чарльз Диккенс

9 июня 1870 года в Гэдсхилле от кровоизлияния в мозг скончался Чарльз Диккенс.

Здоровье писателя расстроилось уже за несколько лет до кончины, симптомы неблагополучия проявлялись не однажды — то немела половина тела, то вдруг он начинал нечётко выговаривать слова, иной раз Диккенс не мог встать с постели из-за жуткой слабости. Лечащий врач предупреждал своего пациента, что

Часть третья

ему необходимо снизить нагрузку и, прежде всего, отказаться от публичных выступлений. Но Диккенс, человек столь же мужественный, сколь и легкомысленный, а к тому же ещё и изрядно упрямый, стоял на своём: он будет выступать перед публикой с чтением своих произведений. Подоплёка столь настойчивого желания состояла не только в материальном интересе — авторские вечера приносили немалые деньги, — но и в чисто актёрской потребности в непосредственном контакте с залом: в юности Диккенс мечтал стать артистом, и только стечение обстоятельств воспрепятствовало его удаче на сцене. Надо сказать, и контакт получался отменный: зрители, становясь единым целым, ахали и вскрикивали в острых моментах, случались и обмороки, и писатель неподдельно наслаждался своей безграничной властью над аудиторией, вкладывая в декламацию весь недюжинный талант и невероятное количество энергии. Пульс его после чтений зашкаливал за сто двадцать ударов — в сущности, это было продлённое самоуничтожение. Однако, несмотря на многократные предостережения, с 1858 по 1870 год Диккенс выступил перед публикой четыреста двадцать три раза — и это не считая благотворительных вечеров, которых тоже было немало.

Кроме публичных выступлений, Диккенс с присущей ему полной самоотдачей писал по главам «Тайну Эдвина Друда», ну и общественных обязанностей знаменитого писателя тоже никто не отменял: незадолго до смерти он выступает на традиционном обеде печатников, 30 апреля произносит речь о литературе в Королевской академии — но это последнее публичное выступление Диккенса.

В мае королева выразила желание возвести Диккенса в дворянское достоинство — слава его была к тому моменту столь велика и неоспорима, что титула уже просто требовали приличия. И ничуть не бывало. Диккенс, не моргнув глазом, отказался от «сэра» и баронетства, и это отнюдь не означало, что его одолела скромность, — просто он слишком хорошо знал себе цену и не сомневался, что в будущем имя «Диккенс» будет значить много больше, чем любые геральдические побрякушки.

Манией величия, впрочем, Диккенс не страдал — его самооценка была на диво адекватной, а то, что он прекрасно ви-

дел недостатки своих текстов, подтверждается тем, что каждая следующая книга была лучше предыдущей. Речь не о критическом пафосе, которым были проникнуты его романы и который почти уже неумеренно сгушался в последних произведениях, а о чисто художественных достоинствах книг: о более чистой и ясной фабуле, освобождённой от излишних нагромождений, о языке, становившемся всё более прозрачным, о большей сдержанности в пользу отказа от чрезмерной сентиментальности. Впрочем, от последнего недостатка — если считать это недостатком, — Диккенс окончательно не освободился никогда. Его пристрастное отношение к героям и яростное желание счастья для них пересиливали требования безупречного вкуса, и любителям беспощадной «жизненной логики» нечего искать на его страницах.

Вероятно, жажда позитивного финала диктовалась его личным опытом: соприкоснувшись с нуждой, заботами и безвыходностью в столь раннем возрасте, как это произошло с Диккенсом, человек на всю жизнь заболевает острой жадой гармонии и покоя, которую естественным образом утоляет в подвластном ему мире своих героев. Лукавить, выписывая целиком идиллические судьбы, Диккенс не мог в силу масштаба таланта — трагичность жизни была открыта перед ним в истинной мере, и его герои испили горестей полной чашей, но хотя бы в финале... Пусть всё кончится хорошо! Пусть они станут счастливы! А зло пусть будет жестоко наказано. И автор, пренебрегая законами правдоподобия и даже логики, наспех связывая сюжетные линии, притягивал счастливые концы почти за уши — но право же, от этого его книги не становятся хуже.

Так, против всякой вероятности, малолетний бедолага Оливер Твист в конце повествования обретает любящую тётушку и названного отца, его жизнь наполняется радостью и покоем — один из коварных злодеев, Билл Сайкс, погибает, мучимый совестью, второй, нераскаянный Феджин, принимает казнь. Дэвид Копперфильд, второе «я» Диккенса, пережив невероятное количество невзгод, которые, по правде сказать, могли сломить волю к жизни и счастью даже не у такого чувствительного человека, каким был Дэвид, находит себя в литературе, преуспе-

Часть третья

вает, наконец-то удачно женится, и даже старая няня Пеготти успевает понянчить его детей, а мерзкий Урия Хип... ну, конечно, оказывается в тюрьме. Концовку «Больших надежд» Диккенс пытался выписать в строгом соответствии с законами жизни и судьбой героя и оставить Пипа одиноким холостяком, ограничившись дарами материального благополучия и чистой совести, но смалодушничал (или наоборот!) и послал ему навстречу надменную Эстеллу, которая, как мы успеваем понять из нескольких довольно поспешных строк, тоже многое пережила и научилась ценить преданность и чистоту героя. Рука об руку удаляются они в будущее, «не омрачённое тенью новой разлуки». Финал же «Пиквикского клуба» представляет собой по жанру абсолютную пастораль: Пиквик, счастливо выйдя из всех злоключений, поселяется в живописном тихом местечке, сопровождаемый преданными слугой и служанкой, которые, для полноты счастья, ещё и поженились...

Это почти навязчивое стремление автора непременно всё уладить, любой ценой выстроить благополучие героя, чтобы расстаться с ним без тревоги за его будущее, во-первых, выдают в Диккенсе истинного творца — мастера, для которого его персонажи не менее живые и реальные люди, чем окружающие его в жизни, — а ведь кто, будь это в его силах, не выстроил бы для своих близких безмятежного счастья? А во-вторых, гораздо нагляднее, чем любые заверения, обнаруживает истинную веру в победу добра, имеющую в основе Евангельские ценности, которые, право же, не девальвируются со временем. Возможно, именно поэтому тридцать томов диккенсовских сочинений уверенно входят и по сей день в золотой фонд мировой литературы.

НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН

Виссарион Белинский

11 июня 1811 года в Свеаборге (Финляндия), в семье флотского врача, ставшего вскоре уездным лекарем, родился Виссарион Григорьевич Белинский.

Отец, человек неглупый и небездарный, затянутый трясинной российской провинциальной жизни (когда Виссариону было пять лет, семья обосновалась в Чембаре Пензенской губернии), превратился в скучного и довольно ограниченного обывателя, а мать, по всей вероятности, такой была изначально. Так что в становлении Белинского, смолоду обнаружившего склонности к умственным занятиям и изящной словесности, заслуги семьи не было почти никакой — просто мальчик был щедро одарён от Бога. Впрочем, кроме детских и отроческих довольно любопытных литературных опытов, очевидных признаков гениальности он поначалу никаких не выказывал — гимназию бросил и решил, что подготовится к университету самостоятельно. Не без некоторого труда это ему удалось, и в 1829 году он стал студентом факультета словесности Московского университета.

Как многие и многие, в студенчестве он увлекался гораздо более тусовкой, нежели учёбой, и его отчисление из-за «слабого здоровья и ограниченности способностей» было не вовсе уж несправедливым. Здоровье действительно оставляло желать лучшего, а способности, разумеется, были прекрасные, так что это пустяки, но нельзя игнорировать тот факт, что студент, пишущий такие произведения, как драма «Дмитрий Калинин», сочинённая Белинским и даже представленная на суд университетской цензуре, на симпатии начальства рассчитывать никак не должен. Драма, несколько излишне пафосная, но весьма недурная, была направлена против крепостного права, стало быть, посягала на устои общества, что наказуемо и чего писать казённо-коштному студенту не следовало. То есть писать-то можно всё, но надо и быть готовым к соответствующей реакции властей предержавших, а вот к ней-то Белинский как раз оказался не готов: когда профессора, цензурировавшие рукопись, сочли её «безнравственной» и «бесчестящей университет», а автору пригрозили солдатчиной или Сибирью, юный борец за свободу крестьян впал в истинный шок и даже угодил в больницу. Это, кстати, характеризовало Белинского и впоследствии: поразительная, почти детская искренность реакций, доходящая до наивности — может быть, потому, что он попро-

Часть третья

сту не успел дожить до возраста, приносящего трезвость и здоровый цинизм.

Поскольку наследственного капитала у Белинского не было, ему очень рано пришлось думать о куске хлеба, и очень любопытно, что его публицистическая деятельность поначалу была в значительной мере инициирована именно желанием зарабатывать профессиональным трудом. В противном случае, вполне возможно, она была бы не столь интенсивной и менее систематической. Это уже наступала эпоха «интеллигентов», которые так тесно связывали литературную деятельность по призванию и насущные потребности, что зачастую сами не могли отличить — который стимул первее. Кстати, ничего дурного тут нет, и упрёки снобов здесь неуместны, а Белинский ещё и в этом смысле стал родоначальником «интеллигентского образа жизни», что стоит зачислить ему в немалую заслугу, поскольку эта группа людей в России сделала немало хорошего, хотя, разумеется, не отличалась безупречной святостью.

Таким образом Белинский начал сотрудничать с журналами Надеждина «Телескоп» и «Молва» и, начав с переводов с французского, вскоре стал помещать в них свои рецензии, а затем и концептуальные статьи, такие как «Литературные мечтания», «О русской повести и повестях г. Гоголя», «Ничто о ничём» и другие. Уже в это время его тексты привлекли внимание не только читающей публики, но и литературных кругов, и его репутация как критика стала расти просто на глазах. Статьи на самом деле были чрезвычайно интересны: не только умны и остры, но и необыкновенно эмоциональны, что сразу подкупало читателя и вызывало желание, в случае несогласия, столь же эмоционально оспорить точку зрения автора.

К тому же уже тогда, как и во всю недолгую творческую жизнь Белинского, он блистал уникальным умением увидеть текст не только как целое, но и разделить его на составляющие, досконально расчленив, и не обязательно в соответствии с намерениями автора, но и чуть ли против его замысла — талант анализа, не знавший до того аналогов в российской критике, начинателем которой Белинского можно считать с полным основанием, поскольку до тех пор рецензирование художественных

текстов в значительной мере сводилось к вкусовым оценкам, а «поверить алгеброй гармонию» почти никто и не пытался. Другое дело, что сам Белинский отнюдь не был беспристрастен по отношению к книгам и авторам, он всегда исходил из концепции, которую на тот момент исповедовал, а поскольку они у него по ходу жизни менялись, то иногда картина получалась несколько противоречивой во времени — но это всего лишь издержки всё той же русской страстности и пристрастности, которые, честно признаться, гораздо трогательней и симпатичней выглядят со стороны, нежели будучи направленными на тебя лично. Так что прозвище «неистовый Виссарион» — непонятно, то ли в хулу, то ли в похвалу, было Белинским вполне заслужено.

Возглавив в 1839 году отдел критики в «Отечественных записках» А. Краевского, Белинский уже окончательно утвердился на вершинах российского литературного Олимпа: даже и помыслить нельзя было до него, что критические статьи могут так властвовать умами и иметь столь грандиозную популярность — в этом тоже специфика неизменного российского пиетета к литературе. Аполлон Майков определял внедрение Белинского в литературный процесс так: «Налетела буря Белинского», — и был, несомненно, совершенно прав. Значение Белинского поистине трудно переоценить: он создал прецедент критики как самостоятельного направления в литературе, а кроме того, задал необыкновенно высокий исходный уровень, на который, пусть даже бессознательно, вынуждены были ориентироваться все последующие исследователи художественных произведений.

Советская, начиная с Ленина, трактовка Белинского как «предтечи революции», разумеется, слова доброго не стоит — идеологам русской революции свойственно было подвёрстывать под собственные нужды всё, что шевелится. Никаким певцом революции Белинский, разумеется, не был, придерживаясь, впрочем, вполне разумно-прогрессивных взглядов и всем сердцем желая назревших и необходимых для России реформ. Яркий, крупный и совершенно индивидуальный деятель русской литературы, сделавший для неё необычайно много, — таким он в ней и останется.

ОСТАТЬСЯ В ПАМЯТИ

Виктор Некрасов

17 июня 1911 года в Киеве родился Виктор Платонович Некрасов, прекрасный и честный писатель и человек безупречного достоинства.

Некрасов окончил архитектурный факультет Киевского строительного института, одновременно учился в театральной студии при театре русской драмы. Работал актёром и театральным художником в Киеве и других больших городах, а с началом войны отказался от брони и добровольцем ушёл на фронт. Прошёл через страшную мясорубку от Ростова до Сталинграда, а по возвращении домой написал книгу, которая по тем временам вполне могла и даже должна была пройти незамеченной, поскольку не содержала даже десятой части требуемых лозунгов и неперменных славословий, — но не прошла. И это было небольшое чудо. Проза Некрасова, совсем незамысловатая, графически точная и насквозь правдивая, неожиданно очаровала тех, кто вершил судьбы литературы, включая самого Сталина. Чем это объяснить, кроме власти истинного таланта, — непонятно. Результат — Сталинская премия и все прилагающиеся регалии.

Остаётся почти загадкой, каким образом Некрасов, причисленный к высшей литературной номенклатуре, ухитрился в те рабские времена сохранить честь и мужество, но случилось и это чудо, и уже в 60-х он стал для властей персоной нон грата. И неудивительно: кому, например, могло сойти с рук активное нежелание смириться с позорной судьбой Бабьего Яра и «дикие» слова, сказанные им на митинге в Киеве: «Ведь только евреев убивали за то, что они евреи», — когда и слова-то такого в приличном лексиконе не было — «еврей».

Вытесненный в эмиграцию и лишённый гражданства, он писал, не останавливаясь, и его книги, написанные во Франции, совсем иные, чем «В окопах Сталинграда», дышат тем не менее всё той же поразительной искренностью и жемчужной отобранностью каждого слова. Человек невероятного обаяния, редкостной доброты, безупречно порядочный и немного рез-

кий, он остался в нежной памяти всех, кто его знал, как останется в своих книгах — исподволь забирающих читателя в плен и удивительных по своей негромкой значительности.

«РАЗОБЛАЧЁННАЯ МОРОКА»

Марина Цветаева

65 лет назад, 18 июня 1939 года, на Ленинградский вокзал Москвы, вернувшись из эмиграции, прибыла Марина Ивановна Цветаева с сыном Георгием.

Вряд ли Марина Ивановна хотя бы приблизительно отдавала себе отчёт, куда, собственно, она приехала. Покинув Россию в 1922 году, она никогда не чувствовала себя комфортно в эмиграции, не только из-за вечного безденежья и бытовых неурядиц, но и из-за ощущения замкнутости русскоязычного пространства, которое, как ей казалось, лишало её читателя. Свою инакость и отдельность от большинства она за эти годы привыкла воспринимать как результат изоляции от России и хотя, кажется, не питала слишком уж розовых иллюзий, как её дочь и муж, за которыми она последовала в Москву, может быть, втайне лелеяла надежду, что на родине может состояться её возвращение в русскую литературу как поэта. Хотя и опасения тоже смущали её, и дурные предчувствия: «Если не смогу там писать — покончу с собой», — писала она перед отъездом из Парижа.

Сергей Эфрон и дочка Ариадна жили в подмосковном Болшеве, на даче, принадлежавшей тому же ведомству, у которого муж Цветаевой годами выслуживал возвращение домой, не останавливаясь ни перед чем, даже перед участием в «акциях устранения». Его нестерпимо мучила ностальгия, и всё казалось, что за «исправление ошибки», которой он почитал своё участие в белом движении, никакая цена не высока. Судей ему нет — он заплатил по всем счетам сполна.

Болшевская дача стала первым жилищем Марины Ивановны в СССР и последним, где семья была вместе, хоть и с «удоб-

Часть третья

ствами во дворе», хоть и с коммунальной кухней. В августе арестовали Алю, за ней забрали Сергея Яковлевича, потом пришли за семьёй соседей, Клепининых, и Марина Ивановна с Муром, в панике бежав с пепелища, начали скитания по враждебному и чуждому городу. Прежде чем они нашли более или менее долговременное пристанище на Покровском бульваре (разумеется — комната в коммуналке), Марина Ивановна успела убедиться, что число людей, на которых можно положиться, на хотя бы душевную поддержку которых можно надеяться, ничтожно мало. Парадоксальным образом их оказалось едва ли не меньше, чем в эмиграции, где всегда находились желающие распространять билеты на её вечера, добрые люди, подкидывавшие денег на квартирную плату, друзья, заботившиеся хотя бы о насущной одежке и обуви.

Прежние московские отношения истёрлись и оборвались от времени, новые знакомства заводились под знаком опасности общения с бывшей эмигранткой, да ещё окружённой кольцом репрессий — арестованы были не только муж и дочь Цветаевой, но (ещё до её приезда) и сестра. Даже Пастернак, связь с которым казалась столь мощной и незыблемой, убоился то ли жены, то ли властей, и на прямую просьбу об убежище в Переделкине ответил отказом. Но он хотя бы не отвернулся от неё окончательно — правда, и истинной опорой не стал. Его тоже не очень-то упрекнёшь, тем более что только его стараниями и щедростью позднее выжила в ссылке Аля.

Да и никого не упрекнешь. Скорее можно нежно и с восхищением вспомнить тех, кто, несмотря ни на что, подошёл близко к Цветаевой, может быть, осознавая её значение как поэта, а может, просто не дав страху побороть сострадание — это в то время и в том месте требовало если не героизма, то во всяком случае немало мужества. Семья Тагеров, семья Габричевских, Семён Липкин, Татьяна Кванина, Арсений Тарковский, Мария Белкина, ещё несколько имен — скудный список людей, не оставивших великого поэта, когда без денег и крова она скиталась по городу, который её предки «задали» и который отторгал её.

Совершенно непостижимым образом душевный капитал Марины Ивановны остался нерастраченным, и она, сохра-

няя потребность в любви и жажду привязанности, цеплялась за друзей как за соломинку. Но даже те, кто сумел преодолеть страх, не могли ответить ей на её уровне — они попросту были или стали другими: за прошедшие годы психология жителей России претерпела непоправимую деформацию. Сказывалось, конечно, и то, что Марина, в сущности, везде и всегда была чужой — ведь сама сказала, метче некуда: «В сём христианнейшем из миров поэты — жидаы» — и сама словно позабыла о сделанном открытии. Всё искала душевного пристанища, опоры.

Сынишка, находившийся в сложном возрасте и внутреннем статусе, перестрадавший вместе с матерью все беды, поддержкой быть никак не мог, тем более что Марина Ивановна, воспитывая в нём «себе подобного», немало потрудилась над тем, чтобы мальчик вырос с сознанием собственной исключительности.

Поэтому, когда грянула война и растерянная Цветаева приняла наконец решение об эвакуации, порвались и те хрупкие связи, что хоть как-то поддерживали её существование в Москве. Дальше, в сущности, всё было предрешено. Захолустная Елабуга, убогий угол в чужой избе, угроза голода, абсолютное равнодушие и холодность «писательской общественности» в Чистополе, куда она кинулась, надеясь на помощь, и петля, накинутая на гвоздь в сенах.

Говорят (и недаром) о пристальном внимании «органов», которое, возможно, подтолкнуло Марину Ивановну к краю. Может, так, а может, и нет. Собственно, в этом последнем толчке уже не было необходимости — сделанного системой было вполне достаточно.

История русской литературы ещё в большей степени, чем просто история, не знает и не допускает сослагательного наклонения. Но всё-таки — если бы. Если бы Сергей Яковлевич принял разлуку с Россией более адекватно. Если бы он не потянул за собой дочь. Если бы Цветаевы-Эфроны остались в Париже. Если бы они успели своевременно, ещё до оккупации Франции, сменить материк... Если бы. Конечно, не спокойная, беззаботная жизнь ждала бы эту семью, но, быть может, хотя бы более или менее сносное существование — всё-таки жизнь.

Часть третья

И во всяком случае не вышло бы так, что из всей семьи нормальная человеческая могила есть у одной Али: затерялось место захоронения Марины Ивановны на елабужском кладбище, где-то во рву лежит погибший на поле боя Мур, а что случилось с телом Сергея Яковлевича, не узнает никто и никогда. Если бы — тогда остались хотя бы могилы.

КЮХЛЯ САМ ПО СЕБЕ

Вильгельм Кюхельбекер

21 июня 1797 года, в Петербурге, в семье саксонского дворянина Карла Генриха Кюхельбекера, за несколько десятилетий до того перебравшегося в Россию, родился сын Вильгельм.

Мальчик, хоть и появившийся на свет в немецкой семье, не был даже билингвой — родным языком его был русский. В 1808 году он был отдан в частный пансион, а через три года — в Царскосельский лицей, что в значительной мере предопределило его дальнейшую судьбу. Компания, собравшаяся в лицее, была отборной, дети — умненькими, острыми и своеобразными, и странноватый, неуклюжий Вильгельм немало страдал от всеобщих насмешек, совершив даже однажды попытку самоубийства. Впрочем, проницательные мальчики спустя недолгое время оценили меру душевного своеобразия и неподдельного обаяния нескладного Кюхельбекера, и он занял вполне достойное место в компании, тем более что и человеческие характеристики были на объективной высоте: Вильгельм был редкостно добр, благороден, великодушен и честен. Стихосложением, которое было в лицейской тусовке в большой чести, Вильгельм владел довольно уверенно, и хотя, глядя беспристрастно, не нёс в себе большого поэтического дара, зато имел все свойства истинного поэта — высокий душевный настрой и внутренний камертон, отзывающийся на подлинную поэзию. Очевидно, этим, прежде всего, объясняется сложившаяся близость с Пушкиным, прошедшая через жизнь обоих. Так или иначе, Кюхельбекер позиционировал себя как поэт и был поэтом

в восприятии окружающих — феномен нередкий, но опасный, таящий в себе опасность разоблачения или, что ещё хуже, разочарования в самом себе. Но, слава Богу, эта чаша Вильгельма миновала.

Следуя веяниям времени, пылкий юноша страдал идеями либерализма, приведшими его, почти с полной неотвратимостью, в члены Северного общества декабристов. Произошло это незадолго до декабрьской трагедии, но он успел включиться в реализацию идей общества со всей отдачей, и на Сенатской площади стоял уже с пистолетом в руках, целясь в великого князя. Последовало более чем десятилетнее заключение в крепости, а затем ссылка. Жизнь была, собственно, разрушена, и пришлось складывать её из обломков в холодной Сибири. Чувствительный и чувственный, Кюхельбекер плохо переносил одиночество, на которое обрекла его сложившаяся судьба, поэтому приткнулся к женщине, чуждой ему как по интеллектуальному уровню, так и по душевному складу, — его брак с Дросидой Ивановной Артёмовой был, скорее всего, попыткой с неверными средствами — попыткой спрятаться от ощущения собственной ненужности и изгойства, тем более что близких людей всё меньше оставалось на земле, а те, кто был, — были так далеко...

Как бы то ни было, от этого брака родились дети, продолжившие род Кюхельбекеров, хотя, кажется, не воплотившие в себе ни благородства духа, ни высокого душевного настроения отца — впрочем, эти характеристики воспроизводятся нечасто.

Кюхельбекер — одна из самых симпатичных и обаятельных фигур в русской истории XIX века. Не прославившийся ни одним значительным художественным произведением, не совершивший ни одного самостоятельного оригинального поступка, он, тем не менее, не потерялся на блестящем фоне своих друзей, доказав своим существованием и посмертной славой сомнительный, казалось бы, тезис о том, что личность сама по себе, будучи воистину неординарной, завоёвывает себе место в мире и истории, не нуждаясь в наглядных, вещественных подтверждениях своего существования.

ЭПОХА РЕМАРКА

Эрих Мария Ремарк

22 июня 1898 года в Оснабрюке, в семье переплётчика Ремарка, родился мальчик, которого назвали Эрих Пауль. Фамилия была французской, унаследованной от прадеда Эриха, кузнеца, жившего на границе с Францией и женившегося на немке, положив начало роду немецких Ремарков.

Эрих был чувствительным ребёнком, абсолютно фиксированным на матери и привязанности к ней. Она же была поглощена заботой о втором сыне, тяжело больном и вскоре умершем, и дефицит материнской любви навсегда определил душевный склад Ремарка. Такие вещи влияют на личность гораздо сильнее, чем это кажется при поверхностной оценке и чем нам самим хотелось бы. Если под этим углом рассматривать жизненный путь и творчество Ремарка, многое становится ясным. Даже прославленное имя — Эрих Мария — возникло, составленное из данного при крещении и второго, взятого в память о матери, Анне Марии. Семья была католической, поэтому вполне естественным для юноши было получить образование в католическом педагогическом колледже, где, впрочем, давалась неплохая гуманитарная подготовка. Литературные склонности Ремарка проявились рано, и в юности, вступив в литературный «Кружок мечтаний», руководимый местным поэтом, бывшим маляром, похоже, графоманом, но зато истинно увлечённым поэзией, он смог в какой-то степени утвердиться в сделанном уже тогда выборе.

Разумеется, личность писателя формируют не только детские впечатления, но и повороты биографии, особенно происходящие смолоду. Необыкновенно важным событием стала для Ремарка Первая мировая война. На передовой он не сражался, но ранение всё же получил, и ужасов войны хлебнул немало — отныне его творческие приоритеты определились: пронзительная острота ощущений, порождаемая близостью смерти, насущная важность дружбы, единственной защиты и укрытия от страшного мира, значимость простых радостей, переживае-

мых экзистенциально, — и всё это прямолинейно, в лоб и без особых затей, зато искренне, один к одному.

«На Западном фронте без перемен» — бесспорно сильная книга, не нуждающаяся в объяснениях и обоснованиях. К сожалению, в этом качестве она осталась в творчестве Ремарка единственной. Остальные его вещи, даже знаменитейшие «Три товарища», «Триумфальная арка» и другие, не менее известные, требуют специальной призмы для сегодняшнего прочтения, поправки на время, на личность автора, на его видение действительности. Не случайно именно «На Западном фронте...» так вызверила нацистов — нагая правда о войне никак не вписывалась в высокопарную концепцию «героического немецкого воинства», побеждённого, но не сломленного.

После выхода в свет романа, в первый же год разошедшегося в полутора миллионах экземпляров, Ремарк просыпается знаменитым, и начинается испытание славой, которое, в большей или меньшей степени, продолжалось до самой смерти писателя, и которого он, по большому счёту, не выдержал — не являясь, впрочем, в этом отношении исключением. Быть может, в некоторой степени «исправило положение» насильственное изгнание — иначе, возможно, признание и благополучие создали бы для него режим внутренней стабильности, который, как ни цинично это звучит, губителен для творчества не в меньшей мере, чем лишения и непосильные испытания. Впрочем, непосильными, хотя бы чисто внешне, испытания Ремарка не стали: его эмиграция была относительно благополучной, недвижимость в Швейцарии подрессорила ему бегство из Германии, а в Америке он стал признанным мэтром, даже невзирая на оппозицию со стороны Томаса Манна.

Его запутанные и мучительные отношения с женщинами всю жизнь несли на себе отпечаток тоски по материнской привязанности, невольно воспроизводя ситуацию «недолюбленности», ставшую для него привычной и необходимой. Особенно «в точку», в этом отношении, попал роман с Марлен Дитрих — женщиной, совершенно не способной к построению ровной, устойчивой связи и тем самым удовлетворяющей тайные мазохистские потребности Ремарка. Впрочем, его послед-

Часть третья

няя жена, Полетт Годар, человек дельный, ясный и жизнеспособный, смогла в какой-то мере преодолеть и компенсировать комплексы и проблемы мужа и подарила ему хотя бы некоторый душевный комфорт.

Сегодня проза Ремарка, лишённая ауры времени, выглядит откровенно слабой, не в меру сентиментальной и прямолинейной до примитивности. Рассеялось очарование женских образов, кажущихся сегодняшнему читателю неумеренно слащавыми, исчезло обаяние культа дружбы, «преодолевающей все преграды», словом, страницы знаменитых некогда — ещё так недавно! — романов выцвели и пожелтели почти на глазах, превратившись в «золото эльфов», однако невозможно недооценить значение этих книг для эпохи, для нескольких поколений, читавших их, как Библию, клявшихся ими и разговаривавших цитатами из них. Невозможно предать эти поколения, признав Ремарка просто средним литератором и не принимая во внимание сыгранную им в мировой культуре роль, которая навсегда останется за ним, совершенно безотносительно к качеству его текстов.

БРАВО, БЫКОВ!

Дмитрий Быков

Три года назад, в июне 2004 года, была закончена книга Дмитрия Быкова «Борис Пастернак».

Вышедший в солидной и консервативной серии «Жизнь замечательных людей», «Борис Пастернак», в сущности, произвёл переворот в русской литературе, и нельзя сказать, чтобы это событие осталось незамеченным. Получив в прошлом году две подряд престижные премии — «Национальный бестселлер» и «Большая книга», произведение Быкова вызвало лавину рецензий, в основном хвалебных, но трудно было не заметить, что хвалы были хоть и искренними, однако словно бы какими-то неуверенными, будто авторы боялись перехвалить, переплатить, передать. И словно бы что-то мешало им назвать вещи своими именами.

Но сперва о самом Быкове. Мальчик из интеллигентной московской семьи, получивший вполне солидное университетское образование, Быков начинал как поэт и примыкал к тусовке куртуазных маньеристов, впрочем, уже тогда на голову превосходя сотусовщиков по масштабу дарования, что было братьями успешно не замечено. В московских поэтических кругах он проходил по разряду вундеркиндов, «подающих надежды», и то, что его юношеские стихи были ошеломляюще точны и глубоки, непропорционально общему потоку, не повысило его статус. Всё так же не выделяясь из общей массы, он писал стихи, потом занялся публицистикой, но его статьи, острые и яркие, вывели его, в лучшем случае, всего лишь в первую сотню российских журналистов. Совсем иначе стала выглядеть фигура Быкова с появлением его прозаических вещей. Если первые романы, включая даже «Эвакуатор», — это всего лишь отличная проза, если озорная «Орфография» может выглядеть занятой литературной викториной для сведущих, то «ЖД» — это уже книга-бомба. Написанный рвано и неровно, полный разящих попаданий, изобилующий совершенно гениальными прозрениями — в таком количестве они производят даже избыточное впечатление, — этот толстенный роман выглядит событием такого масштаба, что невольно хочется отстраниться и посмотреть на него из будущего, лет этак двадцать спустя, когда станут яснее очертания этого Монблана — лицом к лицу ведь...

Недостатки романа неоспоримы, но неоспоримо так же и то, что, если бы не эти недостатки, книга уверенно потянула бы на Нобелевскую премию. Отважно вводя в литературу ересь нового прочтения русской истории (да, сходные концепции разрабатывались несколькими учёными, но никогда до сих пор эта жуткая правда не вводилась в литературный обиход), Быков не шадит никого, раздавая всем сёстрам по серьгам, и читатель-еврей, увлекаемый потоком повествования, не раз вздрогнет, как расстреливаемый, оттого что быковские инвективы в адрес ЖДов по точности и безжалостности попадания могут быть сравнимы только с разрывными пулями. Впрочем, русскому читателю тоже не позавидуешь. Вообще, после хладнокровно-

Часть третья

го и изошрённого препарирования «национального вопроса», предпринятого автором, Солженицын, с его наивным прямолинейным пасквилем, может спокойно отдыхать. Другой вопрос, что за бесстрастным, казалось бы, анализом неизбывного противостояния «евреи — русские» чувствуется боль и жестокая тоска, и проницательному читателю становится ясно, что в душе автора происходит изрядный Армагеддончик, исход которого пока не предрешён.

«Еврейский вопрос» для Быкова, несомненно, один из самых больших. Герой «Орфографии», журналист Ять — «полужидок» (по авторскому определению), Пастернак — тоже полукровка, откровенно не любящий свою «еврейскую половинку», всеми силами отчуждающийся от неё, встречает в этом полное понимание биографа, и, вероятно, весьма примечательно, что одним из самых значительных писателей России сегодня стал человек, непосредственно и лично замешанный в этой каше, — может быть, именно ему суждено наконец разобраться в проблеме, долгие столетия висящей в воздухе и не находящей решения. Сегодняшняя позиция Быкова в этом отношении — «над схваткой» — пока чрезвычайно продуктивна в творческом отношении, но, вероятно, малоперспективна в личностном. Впрочем, эта сфера имеет право остаться за пределами нашего внимания.

Что же касается «Бориса Пастернака» — это тот случай, когда самые возвышенные эпитеты рискуют оказаться недостаточными. Книга не просто замечательна — это шедевр. Абсолютно цельная (в отличие от «ЖД»), написанная безупречным языком, она увлекает покруче любого детектива и заставляет работать над собой пристальней самого глубокого философского сочинения. Количество смыслов на единицу текста здесь столь велико, что дух захватывает, причём писатель не преподносит свои находки с понтом и пафосом, а швыряет их, словно невзначай, небрежными горстями: «Да пожалуйста, у меня тут ещё полно...» В результате читатель, участвуя в столь роскошном интеллектуальном пиршестве, вскрикивает вслух от снайперских смысловых попаданий и становится беспрерывно обуюн «смехом узнавания».

Разумеется, книга — не только точнейший, переполненный психологическими прозрениями, портрет Пастернака, это —

портрет эпохи. И остаётся только изумляться тому, что эту реконструкцию, по-настоящему полную, глубокую и снова совершенно беспощадную, смог предпринять человек, ухвативший, в сущности, только хвостик этой эпохи (Быков окончил школу в 1984 году — подумать только!). Или, быть может, только он и мог? Быть может, пережившие её свидетели, обуреваемые яростью, обидой, отчаянием, в лучшем случае, злой иронией, не в силах отстраниться до такой степени, чтобы увидеть время с высоты птичьего полёта, оценив его, в том числе эстетически, что так блестяще удалось совсем ещё юному Быкову. В части формы — полная свобода интонации, доходящая чуть ли не до разнузданности, уравнивается безукоризненным тактом и чувством слова почти физиологическим. Создаётся впечатление, что Быков просто не в состоянии употребить неточный эпитет или приблизительную метафору, словно в его писательский организм встроен орган, ведающий стилем. Трактовка же стихов истинно обескураживает: деловитым и бесхитростным их пересказом, иногда незамысловатым синонимом, иногда просто частицей, усиливающей логику строки, Быков добивается того, что смысл самых невнятных, самых «пастернаковских» текстов становится читателю ясен почти до неловкости. В общем, если называть вещи своими именами, Быков написал гениальную вещь, которой место на золотой полке русской литературы, и то, что написана она в солидном, но непримечательном жанре биографии, только подчёркивает её значение.

Сам же Дмитрий Быков, эпатажник и хулиган, ухитряющийся с неправдоподобной работоспособностью существовать в нескольких ипостасях — и как поэт (стихи пуше прежнего великолепны), и как колумнист в «Огоньке», и как автор ещё нескольких публицистических изданий, и как телеведущий, и, каким-то загадочным образом, как мощный писатель, — не только будоражит умы тем, что уже сделано, но заставляет волноваться при мысли о том, сколько и что он ещё натворит — для прозаика его возраст ведь просто младенческий. Даже если опасаться высоких слов и по-аптекарьски скупно взвешивать комплименты, нельзя не признать, что на сегодня Быков — «номер один» в русской литературе, и его будущее — это будущее литературы.

ИЮЛЬ

«ТИХАЯ ЖИЗНЬ» ВАРЛАМА ШАЛАМОВА

Варлам Шаламов

1 июля 1907 года, в Вологде, в семье священника, родился русский писатель Варлам Тихонович Шаламов.

Шаламов действительно был писателем от рождения, считал себя прозаиком с десяти лет — и был прав. Тем страшнее то, что сотворили с ним его судьба и его страна, сделавшие из него символ трагизма эпохи и не позволившие его дарованию стать таким, каким оно было задумано.

Начав учёбу ещё в 1914 году, в гимназии Александра Благословенного, Шаламов, в силу изменившихся обстоятельств, закончил её в вологодской школе второй ступени, не давшей ему ни настоящего образования, ни вкуса к знаниям. Впрочем, последнее — так же, как и писательский дар, или как следствие его, — было дано ему от природы. Молодой человек читал хаотично, но жадно, усваивая наследие предшественников на ходу, словно чувствуя, что такой возможности у него больше не будет. В 1926 году, поступив в МГУ, Шаламов был уже сложившимся литератором, с немалой эрудицией и довольно удачными поэтическими опытами. Однако кроме литературы его, к сожалению, интересовала общественная жизнь — к сожалению, потому что иначе, быть может, хотя бы начало его пути было бы менее зловещим. Шаламов, как и многие его ровес-

ники и единомышленники, полагал пропасть, в которую катилась страна, делом рук Сталина и видел его предшественника во вполне идиллических тонах, считая, что всё происходящее — лишь результат искажения благих намерений последнего. Демонстрация к десятилетию Октября, в которой принял участие двадцатилетний Шаламов, проходила под лозунгами: «Долой Сталина!» и «Выполним завещание Ленина!». 19 февраля 1929 года, за распространение этого самого завещания, Шаламов был арестован и впервые осуждён на три года, которые отбывал на Северном Урале, в Вишерском лагере. Восприняв случившееся как «первое истинное испытание», Шаламов вряд ли предполагал, что тем самым был чётко обозначен эскиз его судьбы.

Между первым и вторым (12 января 1937 года) арестом Шаламов успевает опубликовать свои первые прозаические произведения — следующая публикация состоялась только через двадцать лет. Эти следующие двадцать лет страданий отнюдь не были чем-то исключительным в бесконечном ряду арестов, отсидок и погибели, заполнивших страну до отказа, — примечательным было то, что в лице Шаламова весь этот крестный путь проходил человек, щедро наделённый даром слова и предназначенный, как любой настоящий писатель, возродить заново всё, произошедшее с ним, заставить свой мир родиться ещё раз — на бумаге.

Осуждённый сначала «всего» на пять лет, Шаламов дважды получал новые сроки, вторично — за крамольное заявление, что Бунина следует считать классиком русской литературы, — и это необыкновенно показательно: трудно представить себе, чтобы зека, едва справляющегося с ежедневным мучительным существованием, в принципе интересовал вопрос об иерархии писателей — неактуальный это предмет для лагеря уничтожения. Однако человек, созданный для литературы и живущий ею, продолжает ею жить и в пространстве земного ада.

Опыт, вынесенный Шаламовым из этого ада, резко отличается от опыта, осмысленного людьми со сходными судьбами и оформленного ими в виде литературных произведений. Шаламов был, очевидно, единственным, кто не пошёл на по-

Часть третья

воду у советских, а если копнуть глубже, у русских стереотипов о ценности страдания, о драгоценности любого, самого трагического переживания. Он однозначно и последовательно утверждал, что страдание уничтожает и разлагает душу, умерщвляет личность, что пережитое им и его товарищами по несчастью не несёт в себе ничего, кроме крошечного зла. Быть может, только и именно его писательский дар был до доньшка честен и потому чужд всяческим иллюзиям и абсолютно беспощаден.

«Колымские рассказы» — чтение невыносимое, мучительное, и, по сути, не чтение вовсе, а погружение вместе с автором в ту пучину мрака, откуда невозможно выйти, сохранив душу живую. Отсюда и средства, которыми создана проза Шаламова: для него не существуют литературные красоты, текст предельно лапидарен и, возможно, именно поэтому несёт в себе окончательную правду, не размываемую навязчивой дидактикой и языковыми изысками, как у официально признанного зека России номер один. Кстати, отношения между Шаламовым и Солженицыным были, мягко говоря, натянутыми. Солженицын поторопился объявить о смерти Шаламова, с присущей ему категоричностью и уверенностью в единоличном праве на абсолютную истину, осудив Варлама Тихоновича за письмо в «Литературную газету» в 1972 году, в котором Шаламов протестовал против публикации его разрозненных текстов на Западе. Шаламов в ответ потребовал, чтобы Солженицын и Ко не дотрагивались до его архивов. Это противостояние заслуживает, впрочем, отдельного анализа, хотя суть его ясна: Солженицын в своей литературе ставил во главу угла собственное право выносить оценки и создавать теории, делая пережитое материалом для глобальных обобщений, — Шаламов же сухо и деловито доносил до читателя сам «материал», почитая его не средством, а целью.

Когда мемуаристы нынче запальчиво повествуют о том, каким нелёгким человеком был Шаламов — эгоистичным, желчным, неблагодарным, и прочая, и прочая, — они словно забывают, что пафос всего, написанного им, сводится именно к тому, что лагерь выжигает в человеке всё человеческое, — он

провозглашал это правилом, и сам вовсе не претендовал на исключение.

Лагерь, действительно, изрядно покалечил Шаламова, деформировав характер, лишив здоровья, надломив психику. Единственное, с чем не справилось абсолютное зло, был его творческий дар. И в этом отношении писатель в некоторой степени опроверг самого себя, как ни цинично это звучит. Однако ещё циничней и кощунственней выглядит расхожее представление о том, что своей великой прозой Шаламов обязан испытаниям, составившим плоть его судьбы, — можно только гадать, какого масштаба достиг бы его талант, если бы жизнь была проведена не в аду.

Последние годы Шаламова были поистине страшны: совершенно одинокий, в советском доме престарелых — никем доселе не описанный, ещё один круг ада, — с угасающим сознанием, отданный во власть людей, далёких от милосердия и хотя бы минимального осознания значительности личности полусумасшедшего старика, которого приходилось привязывать к койке...

Так завершился путь одного из самых крупных русских писателей XX века, написавшего в конце жизни, с последней надеждой: «Смерть — это тихая жизнь на другом берегу, надо доплыть, додышать...»

ЛЮБОПЫТНОЙ ВАРВАРЕ...

Исаак Бабель

13 июля 1894 года в Одессе родился Исаак Эммануилович Бабель.

Семья была не только достаточно обеспеченной, но и вполне культурной — во всяком случае, культ образования в доме определённо присутствовал, впрочем, как и во многих еврейских семьях, так что мальчик не только вникал в Талмуд и Тору, свободно владея ивритом, но и поступил в Одесское коммерческое училище имени императора Николая I. Там ему изрядно повезло с преподавателями, и если английский и немецкий он

Часть третья

выучил «в рамках программы», то французский, благодаря чудесному учителю Вадону, стал для Исаака, по его заверениям, чуть ли не родным — и даже первые его литературные опыты состоялись именно на этом языке. К сожалению, они не дошли до нас, и трудно судить, было ли абсолютное владение французским легендой, порождённой неточной самооценкой, или соответствовало реальности.

О поступлении в университет и речи не шло — еврей, не закончивший гимназии, рассчитывать на это не мог, — и поступление в Коммерческий институт в Киеве стало немалой удачей. Не получив классического гуманитарного образования, Бабель обзавёлся тем не менее вполне добротным дипломом, который, впрочем, не пошёл ему впрок, поскольку черта оседлости продолжала ещё существовать и рассчитывать, скажем, на работу в Петрограде было невозможно. Но Бабеля к тому времени коммерческая стезя уже вовсе не интересовала, ему стало ясно, что его призвание — литература.

Как и многих начинающих, его пригласил Горький, любивший опекать молодые дарования, и при первых же публикациях стало ясно, что у молодого писателя есть собственный голос, хотя, разумеется, ещё вовсе не тот, которым Бабель заговорил в своих поздних произведениях. Пока Исаак Эммануилович входил в литературу, случилась революция, страна изменилась, изменилась и литература. Глядя правде в глаза, необходимо отметить, что Бабеля происходящее невероятно увлекло. С его любопытством и жадной новизны и событий — любых! — совершающийся на глазах катаклизм обладал необыкновенной притягательностью и, что ещё хуже, так и провоцировал не только на пристальное и азартное наблюдение над событиями, но и на непосредственное в них участие. Бабель, например, в 1918 году, по его собственному утверждению («Автобиография»), «служил... в продовольственных экспедициях» — а что это были за «продовольственные экспедиции», легко себе представить — спасибо, если там занимались только конфискацией «излишков», а не пристреливали тех, кого обрали. Увы, следует отметить, что как тогда, так и позже, ни особой щепетильностью, ни повышенной брезгливостью он не

отличался. Впрочем, укорять его за это — как ставить в вину курице страсть к склёвыванию зёрен: жизненные впечатления были необходимы ему совершенно насущно, а упрёки в неразборчивости были бы им просто не поняты, поскольку в структуре личности Исаака Эммануиловича отсутствовал стержень, способный заставить его хотя бы минимально отделять зёрна от плевел. По его собственному выражению, для занятий литературой «нужны цепкие пальцы и верёвочные нервы» — и этими, по его мнению, необходимыми атрибутами он старательно обзаводился.

Движимый всё той же неуёмной любознательностью, он окунулся с головой в приключения Конармии — приключения кровавые и попросту зверские, причём тексты, созданные в результате этого кровавого купания, не содержат даже намёка на этическую оценку, более того, создаётся впечатление, что автор получает удовольствие от жутких перипетий, увиденных и пережитых им. Впрочем, это чисто теоретический вопрос — несёт ли литература моральные обязательства перед читателем и Творцом или её функция сводится к талантливому отображению реальности. Если второе — то книга Бабеля — просто шедевр. Если первое... Но кто судьи?

Кстати, любопытно, что легендарный Будённый с остревением выступал против бабелевской «Конармии» — а зря, в сущности. Именно отсутствие этических оценок сделало конармейцев в книге из разнuzданных садистов, каковыми они, в сущности, являлись, персонажами даже несколько мифологическими, чуть ли не героями древнего эпоса, а их «деяния» приобрели масштабность и размах, которые должны были бы скорее польстить длинноусому командарму, будь он хоть чуть поумнее.

Всё тот же исследовательский интерес, по-видимому, влёт Бабеля позже к чекистским палачам — ну интересно же, как у них в головах и в душах, если таковые наличествуют, всё это устроено — ведь инженер же человеческих душ! Опять-таки непонятно, где граница, за которой объяснимое писательское любопытство превращается в бесчеловечность и нечистоплотность. Вполне возможно, Бабель по натуре не был ни бесчеловечным, ни нечистоплотным, однако тут сработал принци-

Часть третья

пиальный моральный релятивизм, созданный тезисом: «Всё то хорошо, что полезно для дела (революции)». Жертвой этого релятивизма пал не один Бабель, так что нет резона предъявлять ему персональные претензии.

Хорошо уже и то, что, отличаясь недюжинным умом и трезвостью мышления, Бабель, похоже, не питал особых иллюзий ни по поводу Отца народов, ни в отношении происходившего в тридцатые годы. Другое дело, что, по свидетельству некоторых современников, как представляется, достойных доверия, он искренне рассчитывал на то, что его «связи» среди исполнителей приговоров дают ему как бы некоторую гарантию неприкосновенности. Ошибся ужасно, и жаль его, конечно, безумно. Естественно, за ним «пришли», а рукописи, вопреки якобы свойственной им несгораемости, канули в небытие или в подвалы Лубянки, что, в сущности, одно и то же.

Его книги, написанные виртуозным, поистине ювелирно выверенным стилем, населённые необыкновенно выпуклыми, совершенно живыми персонажами, яркие, фантастически колоритные, безусловно талантливы, такими и останутся, но стать настоящим классиком, думается, Бабель не сможет, оттого что отстраненность от оценки, независимо даже от масштаба таланта, всё же играет дурную шутку с автором, делая его произведения всего лишь отражением реальности в зеркале. Несправедливо было бы сказать, что у Бабеля нет вещей, наполненных живым чувством, но «История моей голубятни» и ещё несколько рассказов отчётливо выбиваются из общего ряда написанных им страниц, хотя, быть может, именно и только они и обессмертят его имя.

«ДЕТИ — ЭТО ГЛАВНОЕ»

Януш Корчак

22 июля 1878 года в семье варшавского адвоката родился Генрик Гольдшмидт, вошедший в историю под именем Януша Корчака.

Легенда об Учителе, прошедшем со своими детьми до конца последний путь, останется навсегда, вызывая восхищение,

преклонение и изумление. Последнее, впрочем, как ни странно это звучит, не имеет под собой оснований — если всмотреться в историю Корчака, которая началась задолго до эшелона, отстукивающего последние такты жизни двухсот детей и их Учителя.

Талант педагога встречается едва ли не реже, чем музыкальный гений, художественное дарование или литературное призвание. Это характеристика не только творческая, но и в первую очередь личностная. Гений и злодейство могут быть совмещены на какой угодно созидательной почве, но быть великим педагогом и обладать средненькими человеческими качествами не получится никак — чистота души и самоотверженность входят в набор необходимых элементов педагогики не как питательная среда, но как структурная составляющая. Пример Корчака доказывает это неопровержимо.

Генрик Гольдшмидт получил медицинское образование на рубеже веков и тогда же начал публиковать свои публицистические, а потом и литературные произведения под псевдонимом Януш Корчак. Столь разные сферы деятельности с самого начала сходились в одной точке: писал он о детях и работал после окончания университета в детских больницах — дети стали смыслом его жизни с ранней юности. Иначе как предназначением это объяснить невозможно.

Поразительные книги Корчака, весёлые, живые, трогательные и необыкновенно искренние, создают странное впечатление, что писались они ребёнком, вдруг обретшим способность говорить на «взрослом» языке — воспринимать мир столь выпукло, ярко и непосредственно взрослые, в сущности, не умеют.

Его врачебная деятельность тоже выбивалась из стандартного круга непосредственных медицинских обязанностей. То, что он бесплатно лечил детей неимущих родителей, в конце концов характеризовало всего лишь банальную порядочность, но его удивительная способность подключиться к умирающему ребёнку и быть с ним рядом до последнего мига, лишь бы скрасить ему последние минуты и не отдать его во власть предсмертному одиночеству, вызывала у коллег даже некоторый испуг: не всякому по силам «смотреть, как умирают дети».

Часть третья

Организовав и возглавив свой Дом сирот — а это произошло за 30 лет до того, что называют «подвигом Корчака», — Учитель уже тогда сделал свой выбор и определил то, что случилось десятилетия спустя. Отныне его врачебные знания и несомненный литературный талант были подчинены единственной цели: сделать жизнь своих детей радостной и полноценной — ведь «те, у кого не было безмятежного, настоящего детства, страдают всю жизнь». Ни о какой собственной семье речь не шла: «Сыном своим я выбрал служение ребёнку», — написал он незадолго до конца.

Мирок, построенный Корчаком в Доме сирот, был моделью общества, основанного на справедливости, доброте, терпимости и понимании, воплощающего основы, которые не могли реализоваться в «большом мире». И эта модель работала, пусть в микроскопическом масштабе, пусть в «отдельно взятом» приюте — до тех пор, пока процессы, происходившие в большом мире, не вторглись в созданную Корчаком микрореальность.

В 1940 году Дом сирот, где воспитывались еврейские дети, оказался в Варшавском гетто. С этого момента Корчаку пришлось не только работать над созданием доброго и справедливого детского мира, но и оборонять его от жесточайших опасностей, подстерегающих снаружи. Холод, голод и болезни, с помощью которых планомерно и методично убивались польские евреи перед последним, окончательным уничтожением, подступали к порогу приюта, и Корчак был счастлив, если ему удавалось раздобыть для детей мешок подгнивших овощей.

В это время ему не раз предлагалось спасение — бежать с зачумлённой территории, уже и документы для него были готовы, но эта возможность была настолько неприемлемой для Учителя, что он и обсуждать её отказывался. И продолжал воспитывать своих детей: читать им книги, ставить спектакли, развивать их души и лечить их тела.

Дневники Януша Корчака, найденные после войны, полны света и доброты, в них ни на секунду не возникает мотив озлобления и ненависти, даже к людям, обрекшим его самого и — что было гораздо важнее — его детей на очевидную уже гибель. Об эсэсовце, несущем службу в гетто, он пишет: «...Мо-

жет быть, он не знает даже, как всё на самом деле? Он мог приехать только вчера, издалека...» — слова, обнаруживающие невероятную душевную щедрость и удивительную духовную высоту.

Никто не знает, что сказал детям Корчак накануне «выселения на Восток», как называлась отправка евреев из Варшавского гетто в лагерь уничтожения, — ни один ребёнок из Дома сирот не уцелел. Поведал правду? Но разве по силам детским душам, которым он посвятил жизнь, такая правда? Обманул, что их всего лишь переселяют в иное место? Но ведь он никогда не лгал детям... Неизвестно, что происходило на Крохмальной улице, в доме 92, накануне отъезда, 4 августа 1942 года, но на следующий день детский дом в полном составе, построенный в колонны по четыре, в полном спокойствии и порядке появился на пункте сбора Гданьского вокзала. Первым шёл Корчак, неся на руках одного ребёнка и ведя за руку другого, за ним развевалось зелёное знамя Дома сирот, а следом шли чистенькие и аккуратно причёсанные дети.

Эта картина произвела ошеломляющее впечатление даже на роботов, осуществлявших Холокост, и комендант сборного пункта растерянно спросил: «Что это?» Услышав фамилию Корчака, сообразил, что это автор читанной им в детстве книги и, против всякой логики, промолвил, уже вслед, в ещё открытую дверь эшелона: «Вы можете остаться, доктор». «А дети?» — спросил Корчак. «Дети поедут». «Нет. Дети — это главное», — ответил Учитель и захлопнул дверь изнутри.

«НА ПОРОГЕ КАК БЫ ДВОЙНОГО БЫТИЯ»

Фёдор Тютчев

27 июля 1873 года в Царском Селе умер Фёдор Иванович Тютчев.

В последнее время Фёдор Иванович тяжело болел, в начале года перенёс тяжёлый инсульт — парализовало левую половину тела, и полгода он провёл уже в беспомощности и понимании близкого конца. В эти месяцы он несколько раз причащался и, совершенно очевидно, готовился к смерти. При его

Часть третья

глубоком философском восприятии действительности он, очевидно, в полной мере осознал значительность приближающейся черты, но только Бог знает, что удалось ему узнать. Самые серьёзные разговоры вёл он в эту пору с монахиней, дежурившей возле него по ночам, и бесконечно жаль, что содержание этих разговоров до нас не дошло.

Тютчеву было что осмысливать и обдумать у последнего порога — жизнь его, при кажущейся относительной гладкости, простой не назовёшь.

Родившись в хорошей дворянской семье, которую, если пренебречь социальным наполнением слова, вполне можно назвать в высшей степени интеллигентной, Тютчев получил прекрасное образование, и его недюжинные способности приобрели необыкновенно раннее развитие. Уже в двенадцать лет мальчик блестяще переводил Горация, а в четырнадцать, когда известный учёный Мерзляков в Обществе любителей российской словесности прочёл его стихотворение «Вельможа», имя вундеркинда стало известно в литературных кругах. Впрочем, известность эта была мимолётной и не означала, как и впоследствии, прихода славы — с ней Тютчев при жизни разминулся — отчасти, впрочем, и по собственной вине.

В шестнадцать лет юноша становится студентом Московского университета: занимается теорией словесности, историей русской литературы и изящных искусств, археологией. На семейном совете было решено, что стезёй Фёдора Ивановича должна стать дипломатия, и в 1822 году он отправляется в Мюнхен в качестве «сверхштатного чиновника русской дипломатической миссии» в Баварии. Должно быть, он не предполагал, что судьба свяжет его с этим городом на долгие годы. Надо сказать, что несмотря на некоторые взлёты, настоящей яркой карьеры Тютчев не сделал, тем более учитывая провал на несколько лет, когда за дисциплинарное нарушение он был уволен со службы вчистую. Потом удалось вновь влиться в ряды дипломатического корпуса, но было, очевидно, в Тютчеве нечто, что мешало ему стать настоящей звездой дипломатии, к чему он был вполне пригоден по степени одарённости, образованию и личным качествам. Блестящий, светский,

остроумный, прекрасный собеседник, мыслящий афористично и подчас парадоксально, он всё же чем-то неуловимым отличался от своих собратьев по цеху — однако если бы ему сказали, что поэтический дар мешает ему вполне соответствовать окружению, он, должно быть, очень удивился бы и вряд ли согласился.

Странным образом, Тютчев вовсе не считал поэзию своим главным предназначением — или, во всяком случае, ничем этого не обнаруживал, а поскольку чужая душа — потёмки, то приходится верить свидетельствам современников и близких поэта и его собственным высказываниям. Дело выглядело так, что свои стихи Тютчев воспринимал как некое безобидное хобби, не придавал им ни малейшего значения, записывая пришедшие в голову строфы на первом подвернувшемся клочке бумаги, зачастую теряя их и не слишком сокрушаясь об утрате. Создаётся впечатление, что его целью было — протранслировать найденные (или услышанные) строки, а их дальнейшая судьба его вовсе не волновала. Может быть, это и есть суть поэта в чистом виде. Хотя, конечно, вызывает недоумение — как же можно столь беспечно относиться к своему дару, да ещё дару столь мощного масштаба.

Впрочем, уровень дарования Тютчева оставался неясным не только для него самого, но и для современников, исключая, пожалуй, самых чувствительных к поэзии и самых проницательных. Сперва его редкие публикации случались в малочитаемых литературных журналах, таких как «Уrania» или «Галатея» — вполне забытые ныне названия. И только в 1836 году, причём совершенно без всякого участия автора, подборка стихотворений была передана Пушкину, который начал их публикацию в «Современнике» под инициалами «Ф. Т.». Затем идёт долгий период молчания, которое, конечно же, отнюдь не означало, что стихи не писались, они писались, и совершенно дивные, — но не печатались. И только стараниями Некрасова в 1854 году вышел первый сборник, который сразу дал понять квалифицированному читателю, что он имеет дело с поэтом гигантского масштаба. Увы, людей, которые смогли это понять, можно перечесть по пальцам — среди них, впрочем, ока-

Часть третья

зались Лев Толстой, Тургенев, Аксаков, но «широкая публика» проявила удивительную индифферентность. И что поразительно — нет внешних примет того, что Тютчева это сильно удручало — впрочем, снова: чужая душа — потёмки.

Внешне выглядит так, что Тютчева гораздо больше занимали перипетии его личной жизни — натурой он был пламенной и за долгую жизнь не раз отдавался страстям, которым мы должны быть вечно признательны за волшебные стихи, посвящённые женщинам, любимым поэтом. Особняком, конечно, стоит Елена Александровна Денисьева, короткая и несчастливая жизнь которой стала навеки бессмертной, потому что тютчевский «Денисьевский цикл» — бесспорная вершина русской поэзии и должен быть отнесён к шедеврам, остающимся непревзойдёнными в русской лирике.

Глубина же философских стихотворений Тютчева по сей день не исчерпана ни читателями, ни, рискну предположить, исследователями — мысль поэта шла гораздо дальше предела, достигнутого сегодня в постижении мира, и ей предстоит ещё долгий путь до полного понимания.

Парадоксальным образом восприятие Тютчевым политической и геополитической реальности вступало в отчаянное противоречие с его видением Вселенной и мироустройства и смыкалось с идеями славянофилов самого посконного и домотканого разбора. Впрочем, и под этой, довольно беспомощной, в сущности, концепцией была проложена подкладка мощного таланта и душевного своеобразия, делавшая его идеи не столько ксенофобскими, сколько (да ещё учитывая его, мягко говоря, довольно приблизительное знание предмета — то есть России, поскольку двадцать два года Тютчев прожил за границей) трогательно-наивными и по-детски идеалистичными.

Завершив свой земной путь, Тютчев перешёл в иное бытие — в вечную жизнь в русской литературе, и этот путь его стал поистине триумфальным, хотя и нешумным, без фанфар, однако значение его поэзии спокойно и неуклонно возрастает с течением времени, и, быть может, уже скоро достигнет своей истинной — гигантской — величины.

АВГУСТ

ПОБЕЖДЁННЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

Михаил Зощенко

10 августа 1894 года в Петербурге родился Михаил Михайлович Зощенко.

Отец Зошенко, Михаил Иванович, был художником-передвижником, так сказать, малого калибра, и числился «младшим художником мозаического отделения при Императорской Академии художеств». Не подлежало никакому сомнению, что сыну положено получить хорошее образование, но, очевидно, в силу причин, о которых разговор ниже, с учёбой у младшего Михаила катастрофически не заладилось, и мальчик, явно способный и даже писавший стихи чуть ли не с шести лет, оказался совершенно не в состоянии пройти гимназический курс без сбоев. Мало того, что не удавалось постичь точные науки, так ведь получил единицу на выпускном сочинении — чёрный день, который едва не стал для Зошенко последним, потому что девятнадцатилетний юноша, решив, что жизнь теперь погибла, отравился сулемой. По всей вероятности, это событие имело под собой ту же основу, что и поразительная неуспешность в обучении.

Теперь о причинах: говоря о Зошенко и его судьбе, необходимо начать с того, что с малолетства, а точнее, от рождения, Михаил Михайлович страдал депрессией. Болезнь эта, как из-

Часть третья

вестно, многолика, и необходимо отличать бытовое понятие «депрессия» — как подавленное состояние, вызванное неблагоприятными жизненными обстоятельствами, — от медицинского диагноза. В последнем случае течение болезни очень незначительно коррелирует с существующими реалиями и подчиняется закономерностям, которые по сей день не выявлены и почти не поддаются объяснению. Следует сказать об этом «на берегу», поскольку распространённое суждение о том, что преследования властей «загнали писателя в депрессию», в общем-то, почти не имеет отношения к истине. Это вовсе не обеляет советскую власть с её присными — они действительно травили Зощенко по полной программе — ну, скажем, почти по полной, поскольку тюрьма, в отличие от сумы, его всё же миновала, — и, разумеется, травля не шла на пользу его психическому здоровью, но искать причину его заболевания в притеснениях не приходится — она кроется в процессах, суть которых по сей день остаётся таинственной.

Другой вопрос, что, несмотря на тяжёлое заболевание, несмотря на невзгоды, постигшие писателя и, без сомнения, усугублявшие течение болезни, он бесконечно мужественно боролся со своим недугом, сражаясь с ним своим профессиональным оружием — мыслью и текстом, и, хотя не вышел победителем из этой неравной схватки, однако показал своим собратьям по депрессии пример того, что можно пытаться остаться человеком, — и даже указал пути, на которых брезжит если не спасение, то хотя бы облегчение. Если бы даже Зощенко не был великим писателем, создавшим тем более чудовищный, что совершенно правдивый, «портрет советского человека» и выявившим тем самым суть и подоплёку советской власти, он вошёл бы в историю как пример отваги и достоинства в борьбе с болезнью, которая поражает с каждым днём все большее количество жертв и которую сегодня уже назвали «чумой XXI века».

Зощенко, прекрасно сознававший своё душевное нездоровье, надо отдать ему должное, никогда не позволял себе «инвалидизироваться» и не делал себе поблажек: работал, где приходилось, писал в полную мощь и даже в предвоенные годы до-

бился фантастически высокого положения — стал «юмористом Страны Советов номер один», что, конечно, было глобальным недоразумением. Слава Богу ещё, что у читающей публики не хватало рефлексии, чтобы понять, что фактически писатель раздевает эту самую публику догола, выставляя напоказ все язвы и уродства, таящиеся под одеянием, именуемым «эх, хорошо в стране советской жить». Монстры, выходявшие из-под его пера, были уже даже не смешны, а трагичны в своей дикости и нелепости — однако загадочным образом, под отчаянием художника, обречённого на такую натуру, под отвращением, которое вызывали у него рисуемые им портреты, таилась подлинная жалость к изуродованным людям и какая-то истинно христианская любовь к этим чудовищам. Вероятно, именно эта обречённая и горькая любовь и придала произведениям Зощенко тот второй план, ту глубину, которые сделали его тексты живущими в веках — в противном случае он так и остался бы «юмористом довоенной эпохи».

В отличие от читателей, власть имущие оказались более проницательными — если и не сразу, то довольно быстро они поняли, что проза Зощенко «оскорбительна для государства рабочих и крестьян» и представляет собой «злую карикатуру на советского человека» — ну, ведь так оно в сущности и было. «Перед заходом солнца», книга, посвящённая всё той же депрессии, но копнувшая ещё глубже, в те пласты, где закладывается базовый конфликт человека с обществом, вообще застряла у них как кость в горле — глубина и проницательность психологического анализа категорически не лезли ни в какие ворота, поскольку всякая рефлексия homo советикусу по определению должна быть чужда и вполне заменяется лозунгами партии и цитатами из классиков марксизма-ленинизма.

К тому же Зощенко, отнюдь не по недомыслию или чрезмерной наивности — в чём обвиняла его Анна Ахматова, — а по честности души и ума никак не хотел принять правил игры, в которой участвовало всё население СССР. Это поразительным образом обнаружило себя во время встречи с английскими студентами, происходившей в мае 1954 года. От Зощенко, как и от Ахматовой, требовалось только одно: произнести клятву

Часть третья

на верность партии и правительству, «признать ошибки», зафиксированные постановлением 1946 года, обратившим писателя и поэта в изгоев, и тем самым дать себе шанс, старательно покаявшись, снова «влииться в строй трудящихся». Ахматова пошла на это, сформулировав «согласие с политикой партии» на кондовом новоязе, Зощенко — нет. Он беспомощно, сбиваясь, говорил о том, что сначала не согласился с постановлением, но потом... немножко и согласился... а в общем — наотрез отказался признать себя «подонком от литературы», чем, по сути дела, подписал себе приговор. Другое дело, что Зощенко должен был спасти лишь собственную жизнь, ради чего он не смог поступиться честью и покривить душой — за спиной же Ахматовой была жизнь её единственного сына — стимул гораздо более мощный, нежели просто инстинкт самосохранения.

Дальше были бесчисленные унижения и издевательства, попытки зарабатывать в какой-то артели, взятие денег в долг без отдачи (и слава Богу, и честь им великая, что находились столь великодушные заимодавцы!), робкие надежды и закономерные разочарования — и болезнь, подступавшая всё ближе.

Похоронить Зощенко в Ленинграде не разрешили, пришлось везти тело после гражданской панихиды, едва не обернувшейся скандалом, в Сестрорецк, на похороны нагнали жуткое количество милиции, как будто мёртвый писатель мог ещё набезобразничать. Поспешно закопали — и успокоились. И успокоились совершенно напрасно — тексты Зощенко оказались бессмертными и говорят, теперь уже потомкам, ту страшную правду о стране и времени, от которой никуда не деться.

«ВСЕ ВО МНЕ, И Я ВО ВСЕХ»

Максимилиан Волошин

11 августа 1932 года в Коктебеле, в возрасте 55 лет, умер Максимилиан Волошин.

Смерть его была вполне естественной — давняя астма, воспаление лёгких. Пенять вроде было не на кого. И всё-таки у тех,

кто знал Макса, как его называли близкие и дальние, осталось ощущение глубокой горечи — словно поэта сжили со света.

Натура Волошина, почти с детства, была такова, что его влекло всё, связанное с поисками гармонии. Пройдя через юношеское увлечение революционной романтикой, Макс довольно рано понял, что путь к познанию мира пролегает вовсе не через политические авантюры, а через искусство, историю культуры и духовный поиск. Его заносило то в символизм, то в теософию, то в импрессионизм — натура была разносторонняя и несколько хаотичная, но во всех своих метаниях он сохранял индивидуальность и поразительную искренность. Яркий артистизм и почти детская игровая модель поведения подчас порождали недоброжелателей, подозревавших Волошина в фиглярстве и неискренности, в то время как в основе его лицедейства лежала простодушная страсть сложить жизненную мозаику позатейливей.

Когда мирные времена кончились и Макс понял, что все игры — с путешествиями, с салонным общением, с литературными мистификациями и весёлыми розыгрышами — ушли навсегда, тут-то и обнаружился стержень этого лёгкого, азартного и шаловливого эпикурейца. Проявилась истинная сущность его жизненной позиции, которая не принимала насилия ни в каком виде, не делала различия между людьми ни по какому признаку, признавая лишь бесценность человеческой жизни и всемирное братство людей, со временем начавшее казаться совсем иллюзорным. В сущности, его взгляды были истинно гуманистическими, в классическом понимании слова, и основывались на идеалах, мало применимых в повседневной жизни, зато единственных, делающих эту жизнь хотя бы относительно возможной.

В своём «Доме поэта», бывшем прежде пристанищем изысканной богемы, он принимал любого, нуждающегося в крове, пряча белых от красных, красных от белых, и доказывая не на словах лишь — хотя и на словах, в стихах, ставших с той поры глубже и мощнее — прекрасную в своей беззащитности идею единства человечества: «Все во мне, и я во всех».

Когда отшумели первые бури и начала устанавливаться дурная и тревожная стабильность, Волошин честно и наивно пы-

Часть третья

тался ужиться с новой властью — во всяком случае, не совершил ни единого движения, поставившего бы его в оппозицию, — и с детской обидой воспринимал нападки, не замедлившие последовать. Думается, что Макс, с его обширной эрудицией, неискоренимыми артистическими повадками и безмятежной свободой, просто-напросто раздражал поборников единомыслия и единоделания.

То, что его стихов не печатали, это, пожалуй, было, в своём роде, закономерное и логичное, но террор, устроенный коктейльскими властями и высокими литературными чиновниками по отношению к его любимому детищу — Дому творчества, который он создал из собственного жилища совершенно бескорыстно, уже совершенно доконал поэта. Добавили и местные жители, которых много лет безвозмездно лечили и которым всегда в меру сил помогали Волошины, — классовая ненависть к «буржую» и злорадство в ответ на его беды стали, вероятно, последней каплей. В декабре 1929 года у Волошина случился инсульт, после которого он так и не оправился, а два с половиной года спустя его не стало. На самой высокой горе коктейльской бухты — его могила.

«ЧТО ЭТО БЫЛО? — ЧЬЯ ПОБЕДА?»

Софья Парнок

11 августа 1885 года в Таганроге родилась София Яковлевна Парнок, женщина, чудом избежавшая забвения и обретшая своё место в истории едва ли не случайно.

София Парнок (Парнох) росла в семье отца-аптекаря и матери-врача, ориентировавших её скорее на позитивное знание, чем на искусство и поэзию, но, как часто бывает, заложенное в натуре возобладаало и, уехав из дома, София начала интенсивные поиски собственного пути — отправилась в Женеву, где некоторое время училась в консерватории, впрочем, спустя недолгое время, навсегда оставила музыку и вернулась в Россию. Учёба на юридическом факультете Высших женских

курсов тоже не принесла ни успеха, ни удовлетворения. Очевидно, это был период попыток встроиться в реальность максимально конформистским способом — распространённый вариант для многих неординарных натур, с некоторым испугом осознающих собственную необычность. Из того же ряда было замужество. Два года, прожитых в браке с В. М. Волькенштейном, убедили Парнок в том, что отношения с мужчинами для неё бесперспективны, и придали ей решимости отдалиться склонности, заложенной в ней природой.

Писать стихи София начала ещё в отрочестве, но эти опыты не выходили за рамки «гимназической поэзии» и не дают представления о её поэтической индивидуальности. К моменту первой публикации в 1906 году Парнок была уже автором не только немаленького массива стихов, но и прозы, детских сказок и весьма недурных переводов с французского — она отчётливо набирала мастерство. Публикации того времени (в «Журнале для всех», «Образовании», «Вестнике Европы», «Русском братстве») разнообразны и интересны, хотя и несколько излишне пестры по стилю и манере. Параллельно с литературой Парнок активно занимается критикой — с 1911 года она выступает под псевдонимом Андрей Полянин, а двумя годами позже становится постоянным сотрудником «Северных записок» и газеты «Русская молва».

Естественно, Парнок легко вошла в литературно-художественную тусовку обеих столиц, где её «нетрадиционная ориентация» не вызывала никакого протеста — культ необузданной, разнонаправленной страсти был в этом обществе и в это время мощной доминантой, вопреки бытовавшему в более традиционных кругах неприятию. Увлечения Парнок известны по именам, никому ничего не говорящим, и канувшим бы в Лету вместе с ней, если бы не случайно-неизбежная встреча в середине октября 1914 года на литературном вечере в московском салоне Аделаиды Герцык.

Судьба свела тогда Софию Парнок с двадцатидвухлетней Мариной Цветаевой, набирающим силу поэтом, прелестной молодой женщиной, матерью двухлетней дочки и счастливой женой обожающего мужа. Несмотря на внешне стабильные

Часть третья

жизненные обстоятельства, не укладывающаяся ни в какие разумные границы страстная жажда жизни и бешеное любопытство к природе страсти, представляющейся Марине стержнем мироздания (это заблуждение осталось с ней до конца её дней), толкнули юного поэта к Парнок — опытной в науке страстей, изведавшей её границы и бесстрашно преступавшей их. Итог встречи был предопределён и неотвратим. Цветаева, чуравшаяся стереотипов и влекомая всем неизведанным, почувствовала близкую душу в «трагической леди», та же очаровалась, быть может, не столько пленительным обликом пшенично-волосой Марины, сколько её мощным поэтическим даром, выплескивавшимся, как это обычно бывает у гениальных поэтов, не только в стихах, но и в каждом взгляде и жесте. Как бы то ни было, встреча произошла, и сближение состоялось.

Если бы София Яковлевна не была значительной личностью — а она ею была, — если бы она не написала ни одной достойной строки — а они у неё есть, — история литературы должна была бы запечатлеть имя Парнок золотыми буквами в самом почётном списке муз русской поэзии, потому что именно ей мы обязаны завораживающе-прекрасным цветаевским циклом «Подруга», носившим первоначально многозначительное название «Ошибка», и россыпью бесценных стихотворений, в этот цикл не вошедших. Быть может, именно запретность этой любви, её преступность наполнили посвящённые Парнок цветаевские строки столь острым, почти невыносимым чувством волшебства бытия — вопреки всему. В этих стихах, в возникновении которых невозможно переоценить роль Парнок — она здесь не только муза, но и едва ли не соавтор, — заплёбываясь, дышит и бормочет сама поэзия, это едва ли не самые изумительные строки русской литературы.

На фоне цветаевских шедевров ответные стихи Парнок, обращённые к Марине, конечно, не выглядят столь сильными, но её голос всё же слышен, и это чистый и индивидуальный голос. Стихотворную переключку двух поэтов необходимо читать именно как диалог, только тогда оттенки смысла и взаимное цитирование создают исчерпывающую картину страсти, обречённой исходно, ведущей в тупик и несущей в себе лишь траге-

дию, которая, как ни цинично это звучит, является оптимальной питательной средой поэзии.

Во всяком случае, именно так — как безысходность и путь в никуда — воспринимала случившееся Марина Цветаева. Окунувшись однажды, благодаря Парнок, в стихию однополюсной любви, она уяснила для себя, что это — не её мир и возврата в него быть не может, хотя отзвуки этого пряного соблазна сопровождали её всю жизнь, но уже лишь как почти неслышимая музыка на фоне.

После расставания с Цветаевой, которое было предопределено с не меньшей, чем их встреча, непреложностью, Парнок продолжала писать стихи, издавать книги — с годами её поэзия приобретает зрелость и мудрость, но никогда уже не поднимается к той щемящей высоте, которая породила строки, посвящённые Марине. Парнок прожила последние годы нелегко и умерла в забвении, в котором бы и осталась, если бы биографы Цветаевой не добыли из Леты судьбу и книги женщины, сыгравшей грандиозную роль в жизни великого поэта.

ПОСЛЕДНЕМУ РОМАНТИКУ

Александр Грин

23 августа 1880 года в городке Слободском родился Александр Степанович Гриневский — Александр Грин.

Отец его был поляком, сосланным за участие в польском восстании 1863 года, человеком озлобленным и внутренне несчастным. Мать — больная и измученная скудным существованием женщина. Последней черты нищеты семья не достигала, но убогость жизни угнетала не только взрослых, но и детей. Естественно, родители мечтали, чтобы жизнь и карьера сына компенсировали их собственные неудачи, — почти сразу стало понятно, что мечты напрасны. Хотя мальчик был явно незаурядным и, если взглянуть объективным взглядом, отчётливо одарённым. В провинциальной же Вятке (куда переехала семья) незаурядность воспринималась в лучшем случае как чудачество,

Часть третья

а вообще — как некая социальная недостаточность. Отца раздражало запойное чтение мальчишка, его мечты об иной жизни, и Александр награждался им злыми прозвищами: «золоторотец», «свинопас». Доля истины в мрачных пророчествах отца, надо сказать, была — с учением у Гриневского никак не ладились: из реального училища его выгнали за дерзкие вирши, высмеивающие учителя, он с горем пополам окончил городское училище и в шестнадцать лет покинул отчий дом, движимый не только мечтой о море, которую вынес из прочитанных книг, но и надеждой на то, что жизнь раскроет ему свои волшебные сюрпризы и чудеса. Собственно, всю свою недолгую жизнь Грин посвятил поискам этих чудес. За неимением (или почти) таковых, ему пришлось воплощать их на страницах своих книг.

Однако прежде ему предстояло пережить крушение мечты о море: из его морской карьеры не вышло ровного ничего, кроме роскошной татуировки на груди, изображающей шхуну с бушпритом и фок-мачтой, на которой развевались два паруса. Надо отдать Александру Степановичу должное: он честно и мужественно старался стать настоящим морским волком, не полагаясь лишь на страсть к путешествиям, но пытаясь закалить своё довольно хлипкое тело и идя на серьёзные лишения. Но дело было в том, что, как очевидно, реальное море и настоящая корабельная жизнь всё равно не имели ничего общего с поэзией волн, созданной его воображением.

Точно так же плохо соотносилось реальное русское революционное движение с плодом фантазий Грина, приведших его в подполье. Однако он увяз в эсеровской компании довольно серьёзно, за что поплатился арестами и ссылками. Впоследствии Грин писал о конспиративных играх соратников достаточно иронически — неизвестно, адекватно ли относился к ситуации, так сказать, в процессе. Впрочем, как для любого настоящего писателя, независимо от того, отдаёт ли он себе в этом отчёт, реальность была для него прежде всего материалом для текстов. Правда, в случае Грина эта связь была скорее обратной: складывается впечатление — сущее настолько не оправдывало надежд, что мир его произведений выстраивался почти с точностью до наоборот по отношению к жизни. Это,

разумеется, относится лишь к его «романтическим» вещам — которые в конечном счёте и определили лицо Грина-писателя.

Итак, промыкавшись в предреволюционной России, со многими невзгодами, но без особого проку, Грин понял лишь то, что его предназначение — перо. И в голодном Петрограде, в начале двадцатых, уже осознав, что революция, которая так грела душу в феврале семнадцатого, показала к осени того же года совсем уже неприглядную физиономию, Грин начинает писать прелестную феерию «Алые паруса». Примечательно, что первоначально паруса именовались «красными», однако писатель с самого начала работы уточнял: «Надо оговориться, что, любя красный цвет, я исключаю из моего цветного пристрастия его политическое, вернее — сектантское значение. Цвет вина, роз, зари, рубина, здоровых губ, крови и маленьких мандаринов, кожаца которых так обольстительно пахнет острым летучим маслом, цвет этот — в многочисленных оттенках своих — всегда весел и точен. К нему не пристанут лживые или неопределённые толкования...»

Ну и, конечно, при таком настрое у Грина не было ни малейшего шанса снискать любовь новой власти. Хотя, безусловно, антисоветчиком ни в каком смысле он никогда не был — он просто жил в иной реальности, поскольку советская не устраивала его ровно в той же мере, как и прежняя, а так как эмиграция в страну собственного воображения не требует ни виз, ни билетов, ни чемоданов, туда он и отправился. Свою Землю обетованную он обрёл в Крыму — край на краю, морская волна, любимая жена рядом — и, в конце концов, это было не так уж и плохо. Во всяком случае, даже бедность в эту пору не делала его несчастным и отчаявшимся — а впрочем, Александр Степанович, отличавшийся повышенной душевной чувствительностью, никогда не был малодушным человеком.

После периода замалчивания Грина (естественно, посмертно) стали много и широко печатать, делая акцент всё на тех же «Алых парусах» и других вещах сугубо романтического толка. Время создало безопасную идеологическую дистанцию, полная отстранённость героев от «революционных будней» по прошествии десятилетий перестала быть крамольной, а ирреальность

Часть третья

событий, в конце концов даже грела души цензоров, поскольку ничем уже не угрожала — просто в силу того, что «блистающий мир Грина» находился словно бы на другой планете по отношению к реальному СССР.

Для нескольких поколений советской молодёжи гриновский мир стал прекрасной территорией для эскапизма — средством побега. Кроме того, писатель, не ограничиваясь построением собственного мира, талантливо и ювелирно играл со словами, причудливо сцепляя их между собой и оборачивая порой совсем неожиданными гранями — для неискущённого читателя, отрезанного от результатов формальных поисков начала века, такое вольное обращение с материалом было притягательно. Сегодня гриновские словесные поиски кажутся если не беспомощными, то в значительной мере утратившими аромат, а абсолютная вера в доминанту добра и поэзии в человеческой душе выглядит несколько увядшей — во всяком случае, человечество, прошедшее с тех пор через горнило событий XX века, нуждается в более убедительных доказательствах приоритета Добра, нежели простая его привлекательность.

И хотя Грин нынче включён в школьную программу, закрадывается подозрение, что, когда со сцены уйдёт поколение сегодняшних пятидесяти-, шестидесятилетних, для которых «алые паруса» — навсегда символ и девиз, имя его покроется патиной времени и, как это ни печально, утратит актуальную значимость. Тем больше оснований вспомнить его добрым словом — последнего романтика, подарившего нам минуты искреннего и чистого, хотя и достаточно абстрактного восторга.

ХОТЬ ГОРШКОМ НАЗОВИ...

Александр Куприн

25 августа 1938 года в Ленинграде скончался Александр Иванович Куприн.

Смерть эта была вполне ожидаемой: Александр Иванович был болен тяжёлым раком языка, и его угасание длилось дол-

го — не только из-за онкологического заболевания, но и то ли из-за тяжёлой формы склероза, то ли (вероятнее) из-за болезни Альцгеймера — хотя, как ни назови утрату памяти и распад личности, менее трагичным это не становится.

Эта же болезнь вкупе с выраженным алкоголизмом привела к перелому судьбы Куприна на закате жизни. Нет ни малейших сомнений, что, будучи в здравом (и трезвом) уме и твёрдой памяти, он вряд ли решился бы на авантюру с репатриацией. Существует немало достоверных свидетельств того, что «люди из посольства» (а скорее, из другой организации) тщательно «пасли» больного Куприна в Париже, отслеживая изменения в его состоянии, и как только установили, что писатель уже совсем плох и практически утратил ориентацию в реальности, соблазняя его по-прежнему желанным «стаканчиком», убедили, что единственное его спасение — «на родине».

Когда-то, будучи ещё здоровым и адекватным, был Александр Иванович жёстким, резким и категоричным человеком, мало склонным к компромиссам и сделкам любого рода. Оставайся он таким же, вряд ли что-то получилось бы у «людей из посольства», как не вышел этот номер с Буниным. Но больного и плохо сознающего себя Куприна попросту транспортировали в Москву как ценный груз. Признаться, ценность груза выглядела довольно парадоксально, поскольку в течение семнадцати лет советская литературная критика столь усердно вытирала ноги об Александра Ивановича, что у читателя должно было создаться впечатление: никчемный этот Куприн, «мелкотравчатый писателишко», злопыхатель советской власти и враг трудового народа, страдающий «социальной слепотой», «эпигонством» и «тупой покорностью». К тому же автору вменялось в серьёзную вину, что в его произведениях отсутствует «женщина-общественница», а её место занимают «пленительные самки» — не поймёшь, то ли ругань, то ли комплимент. В общем, крылья Куприна на все корки, а потом, словно по команде, вдруг замолчали.

До самого приезда семьи Куприных царило напряжённое молчание — а вдруг сорвётся, вдруг передумает? И, словно по хлопку стартового пистолета, со дня прибытия на Белорусский

Часть третья

вокзал, 31 мая 1937 года, как из рога изобилия хлынули бесчисленные публикации. Оценка творчества Куприна была заменена на ровно противоположную, и вдруг оказалось, что его произведения — «любимое чтение советских людей», а все его творчество является «восторженным гимном борцам русской революции». Обнаруживались, правда, маленькие недоработки: вместо того, чтобы творить в русле социалистического реализма, Куприн следовал «традиционному реализму» — но это не страшно, это поправимо!

И это было ещё не самое циничное. С момента вступления Александра Ивановича на советскую землю в изобилии стали появляться тексты, подписанные Куприным, но настолько неуклюжие и почти безграмотные, что даже цитировать их представляется бестактным по отношению к памяти писателя. И единственное, что его, к счастью (если можно так назвать тяжелейшую болезнь), безоговорочно реабилитирует: в пору приезда Куприн не только не был в состоянии выстраивать на бумаге сложнейшие верноподданнические покаянные конструкции, воспевая вновь обретенную социалистическую родину, но и устно едва слагал слова во фразы, причём делал это почти уже наугад и часто невпопад.

Зато, словно компенсируя спотыкающуюся речь больного старика, были запущены в работу многочисленные научно-образные диссертации о творчестве Куприна, где совершенно беззастенчиво не только произвольно трактовались его тексты, но и попросту перевиралась биография. Получалось, к примеру, что Куприн ушёл с армией Юденича не потому — как это было на самом деле, — что категорически не принял не только самую революцию, но и идею социализма как таковую, а потому, что его сразила внезапная болезнь, лишившая возможности своевременно удрать к красным, «как подсказывало ему сердце». Творчество Куприна в эмиграции объявлялось как бы не существовавшим, а тот факт, что за эти семнадцать лет он издал шесть книг, написал пятьдесят рассказов, среди них просто отличные, и три огромные повести — по сути, три романа, — не говоря уже об обширной публицистике, — это все сводилось к фразе: «В эмиграции Куприн бросил писать». Грустно, что,

распространяя долгоиграющую ложь о Куприне, эту фразу, почти дословно, повторил в своих записках такой достойный человек, как К. Паустовский, — а быть может, и сам в неё поверил?

Не ограничиваясь чисто пропагандистскими дивидендами с приезда Александра Ивановича в СССР, его ещё заставили подписать (не написать — этого он попросту не смог бы) письмо Бунину с уговорами последовать благому примеру — вокруг Нобелевского лауреата давно выписывали кренделя, ведь его приезд был бы в плане той же пропаганды поистине неоценим. Бунин на письмо не ответил, поскольку он-то к тому моменту сохранял вполне ясный ум и недюжинный здравый смысл.

Естественно, расчёт в организации отъезда Куприных из Парижа был ещё и на моральное воздействие на умы эмиграции. По присущей советской власти самонадеянности и сопутствующей ей недалёковидности не было учтено, что степень деградации Александра Ивановича была всем его знакомым и незнакомым прекрасно известна, и иначе, как «увозом», репатриацию Куприна никто не называл.

Но, как бы то ни было, спектакль с возвращением к родным пенатам был разыгран с максимально возможной помпой, и смерть писателя спустя год с небольшим после приезда уже ничего в нём не изменила: «Куприн прочно вошёл в советскую литературу». То, что перед смертью Куприн, придя ненадолго в себя, как это бывает при подобных заболеваниях, попросил позвать священника и долго ему исповедовался, естественно, в официальную биографию не вошло — впрочем, почти несомненно, где-то, «где надо», в архивах лежит отчёт об этой последней исповеди. Жена писателя, Елизавета Морицевна, спустя пять лет, весной 1943 года, повесилась в Гатчине.

А наследию Куприна — прекрасного, хотя и не всегда ровного писателя, занимающего прочное, хотя, быть может, и не первое место в русской литературе, в сущности ведь безразлично — приписали ли его к «советским произведениям» или оставили бы в «контрреволюционных». Пока на свете читают по-русски, Куприна будут читать и помнить, и горечь воспоминаний о том, как цинично и беспардонно обошлись с ним на финише, не отравит восприятия его прозы.

СЕНТЯБРЬ

КУДА ВЕДЁТ ДОРОГА?

Александра Бруштейн

20 сентября 1968 года в Москве умерла писательница Александра Яковлевна Бруштейн.

Вышло так — возможно, в связи с некоторыми причинами, о которых речь ниже, — что имя Александры Бруштейн осталось хорошо известным в литературных кругах, а также в кругу «фанатов» её главной книги — «Дорога уходит в даль», но все не на слуху у широкой публики. Это очень жаль и обидно.

Александра Яковлевна родилась в 1884 году в Вильно. Население города представляло собой странную смесь русской, польской, литовской и еврейской публики, причём эти слои существовали сами по себе, почти изолированно, смешиваясь лишь «по краям».

Сашенька Яновская — так зовут юную героиню автобиографической трилогии Бруштейн, которую с полным правом можно считать альтер эго автора, — родилась в интеллигентной еврейской семье, впрочем, вполне светской и бесконечно далёкой от иудаизма. Религиозные традиции сохранялись лишь в семье бабушки-дедушки, да и то в виде лишь обрядовых шаблонов поведения, не наполненных метафизическим смыслом.

Отец Сашеньки, врач, доктор милостью Божией, посвятил жизнь выполнению данной им клятвы Гиппократу, которую,

в отличие от многих собратьев по цеху, он воспринял раз и навсегда как непосредственное руководство к действию. Он лечит людей, никак не увязывая размер оказанной помощи с гонораром — последний для него, похоже, вообще почти не существует. Человек он абсолютно бескорыстный, бесконечно благодарный и законченный трудоголик.

Кредо семьи — чёткое убеждение в приоритете гуманности, необходимости помощи ближнему, сострадания к неимущим и, в сущности, формулируется как «все люди — братья», хотя этот тезис не называется вслух и не зиждется ни на каких первоисточниках, не опирается ни на какой духовный стержень. Просто — безоговорочно порядочные люди. И, как ни грустно — этого недостаточно, и это чревато.

Естественно, Яновские живут не в безвоздушном пространстве, а на окраине Российской империи, которая отнюдь не являла собой Царствия Небесного на Земле и содержала немало несправедливости, горя, обид и страданий. Девочка, воспитанная в милости к падшим и доброте, не могла не видеть всего этого, такого печального, и реагировала с присущими ей пылом и непосредственностью. Вышло так, что существующий порядок вещей категорически неприемлем и подлежит не переменным и кардинальным изменениям. Вокруг Сашеньки Яновской — множество людей, очень разных, и самые симпатичные из них — так или иначе вовлечены в революционное движение. Обожаемый папа относится к революции с пассивной симпатией — может быть, его невысказанное поощрение более всего подталкивает девочку к мысли, что именно этому стоит посвятить жизнь. Начав с бесплатных занятий с типографскими рабочими, подрастающая Сашенька довольно быстро оказывается вовлечена в конкретную революционную работу — это происходит плавно, логично и неотвратимо.

Читатель, которому известно, во что вылилась поначалу безобидная, похвальная и вполне достойная идея — сделать всех счастливыми, с тоской следит за судьбой Сашеньки Яновской. Тоска эта никак не запрограммирована автором, который словно бы не обременён этим знанием и воспринимает собственное повествование совершенно «один к одному» — тем глубже

Часть третья

пласт трагедии, казалось бы, не предусмотренный Бруштейн — или преднамеренно не замеченный ею.

Благодаря этой непредусмотренности для тенденциозного читателя книга приобретает совсем иной смысл, нежели тот, который выкристаллизовывается в контексте исторического знания. Скажем, в Интернете существует сайт «фанатов» «Дороги...», которые воспринимают её как текст, призванный нести в мир утраченные нынче коммунистические идеалы. Воспринимают именно так, начисто игнорируя скрытый трагизм повествования и те реалии, которые, казалось бы, игнорированию уже вовсе не поддаются.

Книга написана прекрасно, живым, лёгким и ясным языком, читается взахлёб и полна юмора, который не является плодом некоего «остроумничания» или желания расцветить повествование, но естественно вырастает из авторского отношения к жизни: жизнерадостного, азартного и весёлого — ценность, которую невозможно приобрести старанием, которая даётся от Бога, и очень нечасто.

Кроме того, необыкновенно интересна сама фактура — скажем, быт женского закрытого учебного заведения, который нынешнему читателю совсем незнаком, — да ещё и преподнесённая с присущей Бруштейн добросовестностью и любовью к деталям, не говоря уже об изяществе слога и необыкновенной достоверности персонажей. Все, кто читал книгу, не могут удержаться от того, чтобы её не цитировать — в кругу читателей, не слишком, впрочем, широко, «Дорога...» оказалась разобранной на цитаты, не меньше «Двенадцати стульев» — текст просто напрашивается на это.

Если же вернуться к причинам, по которым «Дорога уходит в даль» не заняла подобающего места в русской литературе, придётся ещё раз констатировать, что, не будучи прочитанной вместе со вторым, третьим и остальными пластами смысла, книга оказалась в потоке советских детских книг, призванных воспитывать «будущих революционеров», чем, безусловно, если не оттолкнула, то и не привлекла более взыскательного читателя. Для лидера же сугубо социалистической литературы она оказалась как раз слишком многослойной и потому словно

бы несколько сомнительной, не безоговорочно «правильной». Это противоречие определило судьбу прекрасной книги.

Судьба же её автора сложилась внешне совершенно благополучно: пройдя путь «умеренной революционерки» — сама, слава Богу, бомбами не кидалась и на баррикадах не стреляла, — после революции она занялась культурно-просветительской работой, и на её счету создание ста семидесяти трёх «школ грамотности». Рано начала писать и печататься, и уже в начале 20-х зарекомендовала себя как хороший драматург. Написано ею более шестидесяти пьес, включая добротные и профессиональные инсценировки классики.

К концу жизни Бруштейн стала признанным мэтром, пользовавшимся уважением и любовью. Коллеги ценили её, молодые писатели к ней тянулись — в ней подкупало всё то же: жизнелюбие, незлая, но яркая ирония, точность оценок и доброта, которые сделали такой притягательной её главную книгу. Книга, впрочем, давно уже живёт сама по себе, и есть основания надеяться, что в сегодняшних реалиях, абстрагировавшись от шаблонов восприятия, читатель сможет увидеть её свежими глазами и полюбить заново.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЖИЗНИ

Нина Берберова

26 сентября 1993 года в Филадельфии умерла Нина Николаевна Берберова.

Родившись в самом начале века, в 1901 году, чем Нина Николаевна немало гордилась, войдя в Серебряный век в последнюю минуту, Берберова рано начала писать стихи и, естественно, тянулась к поэтам и поэтической среде. Прелестная девушка с невероятными глазами заинтересовывала и привлекала. Никто не оставался равнодушным — и это вполне можно было понять. Жертвой очарования Нины пал и Владислав Ходасевич — человек впечатлительный и страстный. Они вместе уехали из России, чтобы, как сказал Ходасевич, «быть вместе

Часть третья

и уцелеть». Уцелеть им удалось, быть вместе — не так уж долго, потому что в 1932 году Берберова ушла от Ходасевича. И это тоже вполне можно понять. Поэт — то есть существо, мучимое всеми страхами мира и страдавшее всеми его страданиями, — почти невыносим для «нормального» человека, которым была Нина Николаевна.

Да, Берберова была пишущим человеком, а на чей-то вкус — даже хорошо пишущим, да, она много публиковалась в эмиграции, занималась публицистикой, писала рассказы, повести и даже романы, а в конце жизни стала и вовсе популярна как писатель, даже, пожалуй, и слишком. Она и стихи писала... Но весь склад натуры Берберовой был таков, что она не принадлежала к поэтам, ну просто никоим образом.

Трезвая, разумная, конструктивная, любящая жизнь как таковую и смело в этом признававшаяся, счастливо избежавшая как опасных высот, так и коварных глубин, Нина Николаевна была, в сущности, лазутчиком в поэтическом лагере, она принадлежала к другой породе людей, и, вращаясь — по крайней мере, в европейский период своей эмиграции, то есть аж до пятидесятого года, — по сути дела, только в кругу литераторов, она так и не усвоила ни их образа мышления, ни способа их восприятия, ни стиля их поведения. Эту её чуждость, пожалуй, осознавали некоторые из её «тусовки», но как-то никто ни разу внятно не назвал. Впрочем, возможно, эта её инакость их и подкупала: ведь Ходасевич сам не раз говорил, что «все люди лучше, чем литераторы», и признавался в любви к «нормальным людям» — правда, создаётся впечатление, что при этом полагал жену, «любительницу жизни», всё-таки своего поля ягодой. Но она ею не была. Поглядеть только, как Берберова энергично выживала в трудной тогдашней эмиграции: писать для газеты — пожалуйста, осваивать какое-то подручное ремесло — с удовольствием! Выжить, и не только выжить а — жить и получать от жизни удовольствие, — для поэта, к сожалению, такое поведение трагически нетипично.

Никак нельзя сказать, однако, что, не будучи «человеком без кожи», Берберова не была сострадательна или добра. Была. Но в пределах разумного. Вообще в её длиннющей жизни нель-

зя отыскать ни одного безумия, ни одного иррационального поступка. И даже сам факт её ухода от Ходасевича — разумен безоговорочно: ещё немного, и он даже её, такую адекватную, свёл бы с ума или довёл до самоубийства. Нина Николаевна осталась с ним в прекрасных отношениях, выручала, как могла, опекала после его смерти его несчастную жену Ольгу Марголину, даже пыталась помочь ей уцелеть во время оккупации.

Подойдя к очередному жизненному рубежу, пятидесятилетняя Берберова спросила себя: а можно ли ещё начать все сначала? Решила, что — можно, и отправилась в Америку. Вторая эмиграция, как известно, всегда тяжелее первой, но она и через это сумела достойно пройти и даже нашла своё место в университетской среде. Снискав полное признание как славист, написав ещё немало как литератор, она взялась за главную книгу своей жизни — «Курсив мой». Написанная профессионально, эта книга, однако, не литературное произведение — это история чётко мыслящего и здраво чувствующего человека, разделившего с поэтами судьбу, но не жизнь, и это отчётливо видно.

В сущности, «предмет исследования» Берберовой — она сама, и это, с присущей ей точностью выражений, сформулировано в тексте. Она была сама для себя целью, а не средством, как это бывает с поэтами. «Мне всё шло впрок» — поразительное признание, требующее не только зрелости восприятия, но и немалой смелости — ведь традиционный образ «пиита», впрочем, как и подлинный образ настоящего поэта, предполагает ровно обратное. Вообще некоторый эпатаж в суждениях Берберовой чувствуется, но отчего же и не эпатировать — правдой? «Экзальтации и ложной меланхолии я боялась как огня», — а надо было бы договорить: «И истинной меланхолии — тоже». Да ведь и права она: жить, просто жить — гораздо лучше и здоровей, чем писать о жизни — ну, правда, тогда не надо числиться поэтом... Тут несомненное противоречие, которое, похоже, чувствовала сама Нина Николаевна — отсюда и эпатаж.

Кстати, публика, с восторгом встретившая Берберову в России после более чем полувекового отсутствия, тоже была изрядно эпатирована: никаких сантиментов, никаких стенаний по

Часть третья

ушедшим годам — трезвость, безжалостный ум, жёсткость суждений и активное любопытство к новым людям и новой жизни. Не без некоторого трепета сопровождавшие её лица подвезли Нину Николаевну к родному дому на улице Жуковского: как она сейчас, ведь затрепещет?.. И ничуть не бывало: «Ну и что мы тут застыли? Поехали дальше!» — вот тебе и всё потрясение от «встречи с прошлым». Чёрствый прагматизм? Нет, мужество здравомыслия.

Что останется от Берберовой в литературе? От стихов — одна лишь строчка: «Я не в изгнании, я в послании». От прозы — пожалуй, скорее, «Железная женщина», чем что-нибудь другое. Во всяком случае останется, несомненно, «Курсив...» — но ведь это вовсе и не литература, а сама Берберова — неотразимая, беспардонная, точная, отважная, безжалостная и искренняя.

ГЕРОЙ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Николай Островский

29 сентября 2004 года исполнилось сто лет со дня рождения писателя Николая Островского.

Излагать биографию Островского номер два (который долгое время был в СССР «Островским номер один») — дело чрезвычайно рискованное и неблагодарное, хотя не исключено, что она могла бы послужить основой для занятого детектива или журналистского расследования.

Несомненно, пожалуй, только одно: Николай Островский родился 29 сентября 1904 года в селе Вилия, Волынской губернии, ныне относящемся к Острожскому району Ровенской области, в семье рабочего. Далее официальная биография утверждает, что в 1919 году юный Островский вступил в комсомол и добровольцем отправился на фронт Гражданской войны, участвуя в боях Красной армии в составе кавалерийской бригады Котовского и 1-й Конной армии. Считается, что в 1920 году получил тяжелейшее ранение, которое и определило его даль-

нейшую судьбу. После демобилизации участвовал «в восстановлении народного хозяйства», что тоже не пошло на пользу его здоровью — это всё фрагменты бесчисленных версий биографии Островского, похожих, впрочем, как две капли воды.

Что бесспорно — то, что физическое состояние Островского между двадцатью и тридцатью годами неуклонно ухудшалось, к 1927 году его постигла полная неподвижность, а год спустя и полная слепота. На фоне такой беды молодой человек не махнул на себя рукой, а занялся литературным трудом — это тоже вполне объективно. Когда подвергается сомнению авторство его романов, подчас упускается из вида, что «редакторы», посланные ему на помощь ЦК ВЛКСМ и журналом «Молодая гвардия», Анна Караваева и Марк Колосов, хотя их участие в создании романа, скорее, стоило бы назвать литературной обработкой, тоже звёзд с неба не хватало и на ровном месте вряд ли смогли бы создать, пусть пафосный и несколько ходульный, но в целом более или менее полноценный текст. «Как закалялась сталь» — роман, невыносимо пропитанный идеологией, всё-таки представляет собой скорее достаточно профессиональное изложение фантазии небездарного и романтического человека, нежели законченно графоманское произведение — запоминающиеся образы, внятная, хотя и несколько сумбурная фабула, бесспорно говорят в пользу книги.

Говорить именно о «фантазии», а не об автобиографической подоплёке романа некоторые основания имеются, поскольку как будто бы существует реальная автобиография Николая Островского, обнаруженная директором Острожского краеведческого музея Анатолием Хведасем. Машинописный текст на украинском языке, под которым стоит собственноручная подпись писателя, не содержит даже самого отдалённого упоминания о сверкающих шашках и других воинских подвигах — в нём излагается история паренька из рабочей семьи, который сперва работал в станционном буфете станции Шепетовка, потом «різав дрова до паровика», был кубовщиком на станции и «в перемижку вчився в школі». Согласно документу, Островский только в 1921 году вступил в комсомольскую организацию, которая вскоре откомандировала его в Киев на учёбу. Там

Часть третья

бедолага захворал тифом, который вроде бы и послужил причиной всех его дальнейших несчастий, поскольку дал очень тяжёлые отсроченные осложнения, что, впрочем, не бесспорно с медицинской точки зрения.

В принципе отсутствие автобиографической основы романа можно было предположить и до обнаружения документа. Когда восхваления «комсомольца номер один» и его героического прошлого достигали совсем уж гомерических высот, автор (тому есть несколько примеров) скромно замечал, что просил бы не рассматривать книгу как автобиографию, протестуя против «отождествления его — автора романа „Как закалялась сталь“ — с одним из действующих лиц этого романа — Павлом Корчагиным». Однако протестовать-то он протестовал, а прямо и чётко ни разу не сказал: «Это вовсе не про меня!» — ограничиваясь уклончивыми оборотами вроде: «Роман — это в первую очередь художественное произведение...» Да и кто бы позволил ему отречься? К 1935 году, когда Островский диктовал процитированное выше письмо в «Литературную газету», роман стал совершенно культовым, а его автор — «символом мужества, принципиальности, преданности Коммунистической партии, образцом героизма» и прочая, и прочая. Куда уж тут уклоняться. Надо было с достоинством нести свой крест, он же — венец.

Между тем Островский, даже вынуженный из обрамления «подвигов» Гражданской войны, представлял собой весьма примечательную фигуру в чисто гуманитарном смысле. Если абстрагироваться от мотивов победы революции, которые в «Как закалялась сталь» и в незаконченной книге «Рождённые бурей» отчётливо носят навязчиво-параноидальный характер, перед нами предстанет человек, отчаянно боровшийся с неизлечимой болезнью, цепляющийся за возможность реализовать себя единственно доступным ему способом, и даже, быть может, человек не бездарный.

Впрочем, шаш, поднятый по поводу его столетнего юбилея в России, опирается, разумеется, именно на идеологическую составляющую и приобретает прямо-таки общенациональный размах. Не говоря о юбилейном вечере, имеющем ме-

Месяц за месяцем вокруг

сто быть 29 сентября в Москве, предстоят торжества в Сочи, Новороссийске, пресловутой Шепетовке и других городах. Департамент образования Москвы проводит месячник, посвящённый Островскому, подготовлен цикл лекций и экскурсий, состоялся круглый стол, пышно именующийся «Актуализация содержания воспитательного процесса в свете задач модернизации столичного образования» — читай: ни одного московского школьника, не напиханного творчеством Островского под самую завязку! В музее Островского развёрнута выставка под глобальным названием «Н. А. Островский — герой на все времена», из печати выходит несколько изданий, включая новый трёхтомник, — и вообще создаётся впечатление, что имя писателя становится стягом, под которым происходит перегруппировка сил идеологов коммунизма.

Мальчик из Вилии, одержимый революционными идеалами, был бы, наверное, удовлетворён.

ОКТАБРЬ

«ВСЁ ВПЕРЕДИ!»

Георгий Эфрон

8 октября 1941 года Георгий Эфрон, сын Марины Ивановны Цветаевой, за пять недель перед тем похоронивший мать, вернувшись в Москву из эвакуации, делает запись в своём дневнике: «Неделю тому назад я приехал из Чистополя после кошмарного путешествия, которое оставит след в моей жизни».

Георгий, по домашнему прозвищу Мур, оставшись один на свете, после самоубийства Цветаевой отправился из Елабуги в Чистополь: Марине Ивановне казалось, что шестнадцатилетнего сироту пожалеют и бросятся опекать братья-писатели, в первую очередь Асеев, которому она прочила мальчика в сыновья. Асееву, разумеется, такой «ребёнок» оказался совершенно без надобности, и он пристроил Мура в детский дом. Георгий рвался в Москву, поскольку и уезжать-то из неё не хотел, да и потом в столице были какие-то родственники и друзья, какая-то поддержка, которой ему втайне хотелось, хоть и держался он стоически, и при первой возможности мальчик сел в поезд. Однако в Москве его не прописывали, и создавалось ощущение, что надо или ехать обратно — куда и к кому? — или оставаться в Москве нелегально, что для обстоятельного и законопослушного подростка было бы уже полной катастрофой. Недельные хлопоты

никакого положительного результата не дали и не обещали, и Мур приходит в отчаяние.

Запись 8 октября в дневнике сделана почти в паническом настроении, что Муру было в общем-то совсем не свойственно, то и дело сбивается на «ужас, ужас». Конец отрывка звучит совсем трагически, но обнаруживает поразительный уровень душевной работы, впрочем, присущий Георгию почти с детства: «Всё — бред. Но выход будет найден. Бред, бред, бред, бред. Но ничего. Будет выход непременно найден, найден. Я продолжаю надеяться. Непременно будет выход... Непременно, непременно, выход найду».

Неплохо было бы вчитаться в эти строки тем историкам литературы, которые продолжают развивать легенду, гласящую, что сын Цветаевой был холодным циником, бездушным иждивенцем и едва ли не причиной гибели матери. Дневник Георгия Эфрона, изданный недавно в Москве, охватывающий период времени с 4 марта 1940-го по 25 августа 1943 года, производит сильнейшее впечатление. Он написан в необычайно искреннем ключе, что большая редкость для дневников вообще, которые, как правило, пишутся в расчёте на читателя, а иногда и прямо на издание. Мур, совершенно и бесконечно одинокий, писал, говоря сам с собой, поскольку иного понимающего собеседника у него не было: от матери, как большинство подростков, он стремился дистанцироваться, отца и сестру, с которой он был, быть может, более откровенен, увели и не вернули, хоть Мур твёрдо надеялся на их возвращение, а товарищей ему под стать в новой России не нашлось. Собственно, не было у него друзей и в Париже, где он рос, но там это списывалось на его «иностранность». Однако не менее чужим Мур оказался и в советской школе («В школе я другой, чуждый сам себе человек»), хотя поначалу его идейная «советскость» превосходила святость папы римского. Она, кстати, постепенно слетает с него по прошествии времени — Мур был слишком умён, чтобы не оценить адекватно того, что видел вокруг себя.

Версия о том, что Георгий не любил и не жалел Марину Ивановну, не подтверждается ровно никак: оказавшись с ней вдвоём в коммуналке, он остро переживает то, что соседи третиру-

Часть третья

ют мать, которая «этого не заслуживает», и мечет по их адресу громы и молнии. Да, он был эгоцентричен — ведь чей сын и чьё воспитание! — порой даже эгоистичен, как любой подросток, а главное, всячески пытался вывернуться из-под гнёта трагического мировосприятия Цветаевой, просто спасаясь в оптимизм, который культивировал в себе с поразительной энергией.

Записей, подобных приведённой в начале, в дневнике множество. Жизненные ситуации, в которых оказывается подросток, затем юноша, становятся всё черней, тучи над его головой всё сгущаются, а он продолжает заклинать то ли себя, то ли Бога, то ли судьбу: «Я молод, у меня всё впереди», «Я твёрдо надеюсь на лучшее будущее», «Всему своё время... Нужно уметь ЖДАТЬ — и не отчаиваться». Это он твердит в чистопольском детском доме, и в военной Москве, и в бесконечном пути во вторую в его жизни эвакуацию, куда он отправился уже не по настоянию матери, а по доброй воле, совсем один, и в Ташкенте, где голодает до такой степени, что львиную долю дневникового пространства, потеснив точные и глубокие рассуждения о литературе и музыке и удивительно прозорливые геополитические прогнозы, начинают занимать записи о еде и денежные расчёты. «От вчерашних 100 р. вчера истратил 10 р. на бублик, 25 р. пошли на уплату долга одной соседке, двадцать уплатил за хлеб, 30 уплатил молочнику за лепёшку...» И постоянный рефрен: «Всё впереди!»

Мур не ждал пассивно лучшего будущего, он пытался двигаться ему навстречу: трудно представить себе, что мальчик, кидаемый волнами реальности по немислимым траекториям, почти оставленный на произвол судьбы, если не считать помощи одного-двух близких людей — больной тётки и возлюбленного сестры, — сможет и захочет продолжать учиться, однако он учился и в Чистополе, и в Москве, и в Ташкенте, и закончил среднюю школу, и даже успел поступить в Литературный институт.

Дневник не только выдает в Георгии редкостного умницу и неожиданно тонкого психолога, он ещё обнаруживает в авторе бесспорный литературный дар — если снять шелуху некоторых влияний, неизбежную в этом возрасте, становится ясно,

что будущее писателя, которое он прочил себе, никуда от него не уйдёт. Не ушло бы. Но, пройдя через испытания, которые редко кому выпадают на долю в столь нежном возрасте, Мур не стал писателем, не стал литературоведом, не стал и политиком. Оказалось, что, упорно и мужественно преодолевая жизненные невзгоды, болезни, голод и неизбывное одиночество, он движется не к славе и комфорту, не к полному, яркому, насыщенному будущему, которого так ждал и в которое твёрдо верил, а всего лишь к братской могиле в Белоруссии, под деревней Друйка.

«ОДИНОКИЙ ПОЛЁТ»

Иван Бунин

22 октября 1870 года в Воронеже родился Иван Алексеевич Бунин.

Отец его происходил из старинного дворянского рода, но с ответственностью за семью и детей почти не справлялся и отличался изрядным легкомыслием в денежных делах. Эта отцовская черта сыграла роковую роль в судьбе младшего сына — ему даже не удалось закончить гимназию, просто нечем стало платить. Впрочем, провинциальная Елецкая гимназия и не слишком отвечала ожиданиям и потребностям Ивана — скука и рутина не стимулировали к получению знаний, а обычные преподаватели не умели зажечь в нём подлинный интерес. Гораздо большую роль в образовании мальчика сыграл его первый домашний воспитатель — сын предводителя дворянства, — который увлёк его Гомером, приохотил к стихам. После того как с гимназией было покончено, с Иваном стал заниматься старший брат Юлий, человек образованный и добросовестный. В итоге этих несколько хаотических, но обширных штудий Иван Бунин получил добротную гуманитарную подготовку, и, похоже, впоследствии ему не приходилось сетовать на недостаточность своих знаний.

Когда в 1889 году семья окончательно разорилась и родителям пришлось стать нахлебниками у родственников, юно-

Часть третья

ша оказался предоставлен самому себе и начал самостоятельно зарабатывать свой хлеб. Собственно, к этому времени было ясно, что его судьба прочно связана с литературой — ну, хотя бы потому, что ничего другого он делать попросту не умел. Бунин скитался по южным окраинам России, работал в провинциальных газетах, таких как «Орловский вестник», а его попытки поступить на стабильную службу — библиотекарем, статистиком — проваливались в самом начале. Впрочем, захудалый «Орловский вестник» сыграл в его жизни немалую роль: в редакции он познакомился с корректором Варварой Пашенко, ставшей его невенчанной женой, истинной любовью и прообразом Лики в «Жизни Арсеньева» — одного из самых «живых» и притягательных женских образов в русской литературе. Прямую автобиографичность «Жизни Арсеньева» Бунин всегда опровергал, однако почти полная идентичность Лики и её оригинала не подлежит сомнению. Лика — как бы квинтэссенция бунинских женских персонажей: истинная женщина, причудливо мыслящая и поступающая, руководимая не заурядной логикой, а лишь собственными потаенными импульсами, совершенно непредсказуемая и невероятно, почти гипнотически притягательная.

Между тем, медленно, но верно, вызревала литературная слава Бунина. Действуя вовсе не в русле Серебряного века, уже начавшего своё торжествующее шествие, находясь даже в оппозиции по отношению к нему, Бунин протоптал в литературе собственную тропинку, мало-помалу превратившуюся в торную дорогу, по которой, однако, практически никому не удалось за ним последовать. В сущности, эта дорога оказалась просторным одиноким путём, который он мужественно прошёл до конца — один. Говорить о последователях Бунина — почти столь же нереально, как если бы он обладал даром левитации, который, точно так же как бунинский литературный дар, можно оценить, описать, даже измерить, но, в силу чисто физиологических причин, невозможно воспроизвести.

Уже первые поэтические сборники, незрелые и даже отчасти подражательные, дали понять, что на русской литературной сцене появился персонаж с собственным лицом, которые,

даже на фоне тогдашнего богатейшего портретного ряда, отличается масштабом личности и совершенно особым восприятием: Бунин так говорил о мире, словно за его плечами стоял сам Творец этого мира, — столь незыблемым представлялось автору его право объективизировать своё видение. Когда же появились в печати прозаические опыты, стало ясно, что, не уступая по глубине философского восприятия колоссам русской литературы, новый классик обладает способностью воспроизводить реальность с ошеломляющей выпуклостью, создавая иллюзию абсолютной реальности всего описываемого — от качелей в усадьбе до родинки на теле героини. Это было бы гиперреализмом, если бы не было до краев наполнено чувством и мыслью.

Странный контраст между личностью писателя, — какой она предстаёт в воспоминаниях современников, хрониках событий и его собственных дневниках, — и его текстами оставляет читателю свободу выбора: что принимать за суть, а что за маску. Но тексты не лгут. Любое лукавство они разоблачают мгновенно утратой той магии, которой наполнена каждая бунинская строчка, — стало быть, верить приходится тексту. На примере Бунина можно не только разоблачить миф о том, что личность автора, какой её видят окружающие, непременно проецируется в его произведения, но и ещё более заскорузлый стереотип: оторвавшись от родной почвы, писатель (русский — во всяком случае!) утрачивает свой дар, скудеет талантом и может создать максимум перепевы тех песен, которые вольно пел на родной земле. Разумеется, чепуха, но чепуха, неизменно пользующаяся спросом. Бунинский талант в эмиграции окреп просто до неправдоподобия, и там, где прежде цвели дивные и душистые, но всего лишь отдельные цветы, вырос волшебный сад, кружа по которому, не только пьянеешь от аромата, но и попадаешь под гипноз грандиозного зрелища. «Жизнь Арсеньева» и «Тёмные аллеи» — быть может, лучшее из всего, что было написано по-русски, и, что поразительно, они совершенно не устаревают с течением времени, словно лишь приобретая с годами дополнительные краски и тона. Судьба Бунина в эмиграции была лишь в меру несчастной. От ностальгии он страдал — постоль-

Часть третья

ку, поскольку это было обусловлено ситуативно, однако прелестью живой жизни наслаждался в полной мере. В материальном плане, конечно, бедствовал; получив Нобелевскую премию, щедро раздавал свалившиеся с неба деньги, не менее щедро тратил их, и в результате остался в той же нищете, которая была спутником почти всех русских эмигрантов — не менее, но и не более.

Мысли о возвращении в Россию, тщательно подогреваемые с «той стороны», у него появились было после войны, вызвавшей у большей части эмигрантов прилив патриотизма, но трезвый ум и адекватность восприятия дали ему возможность, оценив позорную историю с Ахматовой и Зощенко, отказаться от иллюзий и не сделать шага, который мог стать роковым: «...сразу успокоился, вспомнив, что могло бы быть мне вместо сытости, богатства и почёта от Жданова и Фадеева...» — писал он М. Алданову.

Тем не менее на следующий же год после смерти Бунина, в 1954 году, в СССР начали широко издаваться его произведения. Трудно сказать, что послужило тому причиной: смерть Сталина, некоторый невнятный роман, который наметился всё же у Ивана Алексеевича с советскими чиновниками-дипломатами, или, может быть, прозрение в отношении того, что без Бунина русская литература не может считаться существующей. И хотя последнее — чистая правда, но в этот вариант верится меньше всего.

«ОСТАТОК БОЛЬШОГО ОГНЯ»

Надежда Мандельштам

30 октября 1899 года в Саратове родилась Надежда Яковлевна Мандельштам.

Длинная жизнь этой женщины чётко поделилась на четыре этапа неравной протяженности и значимости: благополучное детство, яркая и напряжённая юность, завершившаяся браком с Осипом Мандельштамом, мучительная и счастливая жизнь

с поэтом, а затем — долгие десятилетия «посмертного существования», подчинённые только памяти о поэте, сбережению и утверждению его стихов.

Начало жизни Надежды Хазиной было вполне безмятежным: отец её был видным адвокатом, семья не знала нужды, и воспитание детей было поставлено на хороший интеллигентский лад: гувернантки, прекрасная гимназия, заграничные путешествия. Однако Надежда, почти болезненно независимая, рвалась из дома и жаждала свободы в любых проявлениях. Она её довольно рано и получила: почти самостоятельная художница, с такими же вольнолюбивыми юными коллегами, она странствовала по кипящей революцией стране и наслаждалась приключениями. Одному из них — встрече со странноватым поэтом — было суждено определить всю её дальнейшую судьбу.

Нельзя забывать, что, когда Надежда Яковлевна познакомилась с Осипом Эмильевичем, он был уже на виду в русской поэзии, и значение его как поэта ни для кого не представляло сомнений — то есть союз с ним не сулил беды. Тем значительней, вероятно, заслуга его жены, принявшей всё дальнейшее крутое скольжение в несчастье как должное и разделившей с мужем весь ужас полубездомного, полуголодного существования, сперва на грани пропасти, а потом и за её краем.

Если говорить о личных качествах, мужества Надежде Яковлевне было не занимать, и если у неё и случались срывы в отчаяние, то они не только простительны и понятны, но поразительно ещё, отчего, при собачьей жизни четы Мандельштамов, они случались так редко. В один из таких тяжких моментов Осип Эмильевич «утешил» жену фразой, заслуженно вошедшей в бессмертие и вобравшей в себя весь горький цинизм изгоев и всю чистоту и душевную высоту человека, сумевшего отрешиться от себя: «Кто тебе сказал, что ты должна быть счастлива?» Самое поразительное, что этот вопрос без ответа был Надеждой Яковлевной услышан, и вся её дальнейшая жизнь стала достойным ответом на него.

После исчезновения Мандельштама с Земли, скитания его вдовы представляют собой отдельный остросюжетный роман: как одинокая, совершенно беззащитная букашка, «оста-

Часть третья

ток большого огня», по выражению Бродского, под прессом беспощадной тоталитарной реальности ухитрилась не только выжить, но и сохранить бесценные листки, исписанные бес- смертными стихами.

Потом, в 60-х, наступило некоторое облегчение — по край- ней мере, Надежда Яковлевна обрела пристанище, квартиру на Большой Черемушкинской в Москве, которую она бесконечно ценила и отказывалась покидать даже ненадолго: «Я не поеду гостить к вам на дачу, — отказывалась она наотрез, с присущей ей прямоотой формулировок, — у меня роман с моим унитазом!» Для того чтобы так ценить индивидуальные «удобства», надо было сперва прожить десятилетия без своего угла — людям, не прошедшим такой путь, это трудно понять.

В относительном покое, приобретя в придачу обширный, и вовсе не худший, круг общения — который тоже можно было оценить сполна лишь после многолетней изоляции и густейше- го одиночества, Надежда Яковлевна начала писать свои воспо- минания. И тут начинается поле, на котором крайне трудно вы- носить адекватные суждения. С одной стороны, свидетельство жены великого поэта, погубленного временем и страной, бес- ценно и необходимо. С другой — особенно в том, что касается «Второй книги» воспоминаний, — вступили в силу чисто чело- веческие, личностные черты автора. Надежду Яковлевну нельзя назвать «образцом человека и гражданина» — она грешит, мягко говоря, односторонностью суждений и однобокостью оценок, и, что самое неприятное, впадает в по-человечески понятное, но чрезвычайно несимпатичное и недостойное её достойной жизненной роли самолюбование и самовозвеличивание. Воз- можно, «Вторая книга» грешит развязностью и неумеренной фамильярностью именно потому, что к этому времени умерла Анна Андреевна Ахматова — свидетель и участник событий, — её смерть сделала возможной перестановку акцентов в изложе- нии с «Мандельштам, Ахматова — и я» на «Мы, с Мандельшта- мом и Ахматовой», а потом едва ли не «Я — с Мандельштамом и Ахматовой» — поправить стало уже некому.

После публикации обеих книг (разумеется, на Западе), осо- бенно второй, в Париже, в 1972 году, число обиженных и воз-

мущённых автором разрасталось, и Надежда Яковлевна оказалась как бы в эпицентре перманентного скандала, что, нельзя отрицать, скорее грело ей душу, в силу неистребимой публичности и авантюристичности натуры. Мемуары, появлявшиеся «контра», её более забавляли, нежели смущали, и спустя недолгое время Надежда Мандельштам утвердилась в статусе некоего оракула и одновременно некоторого «анфан террибль», чьей функцией являлось резание правды-матки в глаза и за глаза. К сожалению, резалась далеко не всегда такая уж чистая правда, во всяком случае, весьма своеобразно преломленная. Иногда кажется, что образ Надежды Яковлевны был бы более чистым, если бы она не написала или не опубликовала «Вторую книгу», но выбора у нас нет, а трансформировать реальность, по примеру её самой, дело неблагодарное. И в любом случае у нас остаётся возможность перефразировать вопрос Мандельштама: «Кто вам сказал, что жена, а потом вдова великого поэта, прошедшая с ним и по его следам, все круги ада, должна быть безупречной?» Никто нам этого не говорил.

«Я ГОВОРЮ ВСЁ, ВСЁ, ВСЁ...»

Мария Башкирцева

31 октября 1884 года, в Париже, не дожив нескольких недель до 24 лет, умерла от туберкулеза Мария Башкирцева.

Это имя на слуху даже у тех, кто толком не знает — кем была и чем знаменита Мария Башкирцева, то есть сбылась мечта девочки, в 12 лет писавшей в своём дневнике: «Слава... — вот мои грёзы, мои мечты».

Мария родилась в 1860 году в одной из богатейших семей Полтавщины, но на родине почти не бывала — из-за слабого здоровья её ребёнком отправили в Ниццу, потом в Париж, и вся её коротенькая жизнь оказалась связана с Европой. Впрочем, непосредственное окружение не играло большой роли в развитии девочки, погружённой в себя до такой степени, что это граничило с нарциссизмом, для которого, правда, были немалые

Часть третья

основания — в 12 лет, когда начались систематические записи в знаменитом «Дневнике Марии Башкирцевой», уже было ясно, что ребёнок — изрядный вундеркинд. Незаурядность была обусловлена не столько даже небывалой, хотя и довольно хаотичной, начитанностью, сколько высочайшим уровнем рефлексии и редкостным для такого возраста умением устанавливать и выявлять логические и психологические связи.

Первые записи вызывают смешанное чувство умиления, недоумения и некоторого раздражения: несомненно, что девочка вываливает на страницы едва переработанные обрывки прочитанных книг, хотя делает это с немалым изяществом и неожиданным умением. Влюбленность Марии в «герцога Г.», с которым она, как очевидно, никогда не была знакома, описана в лучших традициях романтизма и подкупает искренней страстью, плохо сочетающейся с возрастом автора, но от этого выглядящей ещё более убедительной: «О, Боже мой! При мысли, что он никогда не полюбит меня, я просто умираю от тоски! У меня больше нет никакой надежды... Это было чистое безумие — желать невозможного. Я хотела слишком прекрасно-го...» — почти дословная цитата из романа Жорж Санд.

Впрочем, идеальный возлюбленный — не центральная фигура дневника. В центре вселенной Башкирцевой — сама Мария: скрупулёзная оценка собственной внешности, подробнейшее описание нарядов, все нюансы отношения к ней окружающих, дотошный анализ каждого своего душевного движения — словом, объект изучения, как под микроскопом и в придачу в непрерывной динамике. С годами лейтмотив желания славы становится доминирующим, оттесняя на второй план романтические грёзы. Надо отдать справедливость Башкирцевой — она не сидела, сложа руки, призывая великое будущее, — трудоспособности и упорства в достижении цели девочке было не занимать. Пометавшись между возможной карьерой певицы и художницы, поняв, что слабые лёгкие не дадут ей развить вокальные способности (которые, очевидно, были), Мария начинает всерьёз заниматься живописью и очень быстро достигает немалых успехов. Приступив в 17 лет к занятиям в частной Академии живописи Рудольфа Юлиана, менее чем через год

она получает первую золотую медаль мастерской, а спустя недолгое время её работы уже выставляются в Салоне — что было немалой честью, — вызывают пристальное и одобрительное внимание и удостоиваются премий. Однако её амбиции этим не удовлетворены: «Я чувствую в себе такой подъём духа, такие порывы к великому, что ноги мои уже не касаются земли. Что меня постоянно преследует, так это боязнь, что я не смогу выполнить всего задуманного», — это уже не детский бред величия, а реальное ощущение своего потенциала и страх не успеть выполнить своё предназначение.

Страх, увы, был не беспочвенным. Чахотка — проклятие века — точила её жизнь, и совсем юная Мария слабела всё более. Настал день, когда она не сумела встать с постели, чтобы подойти к мольберту. Последние записи в дневнике — именно об этом — не о себе, уходящей во тьму, такой молодой и красивой, не о возлюбленном, реальном или вымышленном, а о работе: «Я совсем больна... О, Боже мой. Боже мой! А моя картина, моя картина! Моя картина!»

Живописные работы Башкирцевой, каковых насчитывалось более ста пятидесяти — немало для столь короткого срока работы, — по-настоящему интересны и индивидуальны и обнаруживают несомненное яркое и масштабное дарование, наряду со смелостью и творческим куражом, свойственным большим, значительным, быть может, великим художникам, стать которым Башкирцева вполне могла — просто не успела. Зато она успела другое — создать дневник, с не меньшей надёжностью обессмертивший её имя, нежели её полотна.

В предисловии к дневнику Мария с пугающей откровенностью и не менее жуткой прозорливостью пишет: «Моё желание... — остаться на земле во что бы то ни стало. Если я не умру молодой, я надеюсь остаться в памяти людей как великая художница, но если я умру молодой, я хотела бы издать свой дневник, который не может не быть интересным», — и вот тут как в воду глядела. «Дневник Марии Башкирцевой», изданный огромными тиражами, — захватывающее чтение. Прежде всего и в основном потому, что, по совершенно справедливому утверждению автора, представляет собой «точную, абсолют-

Часть третья

ную, строгую правду» о жизни души ребёнка, потом подростка, затем девушки. Дело даже не в том, что автор сам по себе — незауряден и одарён, прелесть текста — в его абсолютной, почти эксгибиционистской открытости и обнажённости всех душевных механизмов, что является как основным предметом искусства, так и его главным и опасным соблазном.

В принципе столь пристальный, фиксированный интерес к своему внутреннему устройству и побуждениям — примета более позднего времени: на пороге стоял декаданс, с его воспалённой концентрацией на личности, со свойственной текстам той поры до звёзд вырастающей фигурой автора. Мария Башкирцева, прожив отпущенный ей недолгий век в его преддверии, стала, собственно, его провозвестником и предтечей. И, что важнее всего, она хотела «остаться» — это ей удалось.

НОЯБРЬ

БЫТЬ ЖЕНОЙ

Софья Андреевна Толстая

4 ноября 1919 года в Ясной Поляне умерла Софья Андреевна Толстая.

Смерть её была предвиденной, и младшая дочь, Александра, бывшая при ней, заботилась только о том, чтобы в её душе воцарился мир — похоже, так и произошло.

Судьба Софьи Андреевны может служить примером того, как жизнь, внешне вовсе не богатая событиями, бывает исполнена драматизма, а иногда и истинного трагизма. Если посмотреть на внешнюю канву её — создаётся вполне благостная картина: молодая девушка из интеллигентной, хоть и совсем не богатой семьи выходит замуж за человека намного старше себя, с женихом её связывает неподдельное взаимное чувство, и будущее выглядит абсолютно безмятежным. Рождаются дети, постепенно создаётся прочный семейный уклад. На первом этапе брака — а этап этот отнюдь не мал, не менее пары десятилетий, — Лев Николаевич был убеждён, что основное в жизни — семейные ценности, и его целью было прочное «гнездо», со стабильно налаженным бытом, с не менее стабильным доходом, с хорошо поставленной системой воспитания детей. Правда, создаётся впечатление, что он не очень ясно представлял себе, как именно надлежит организовать желанную структуру, но тут на помощь пришла жена.

Часть третья

Софья Андреевна, человек по натуре крайне ответственный, последовательный и достаточно практичный, усвоив, что от неё требуется, принялась за дело с невероятным рвением. Её усилиями семье Толстых был придан характер исправно функционирующего механизма, и хотя порой случались сбои, в целом семейный корабль, направляемый её уверенной рукой, был устойчив и при этом достаточно мобилен. Безусловно, в основе деятельности матери с каждым годом разраставшегося семейства лежало не только лишь долженствование, но прежде всего искренняя и яркая любовь к мужу, восхищение им и доверие к нему. В общем, несмотря на некоторые шероховатости, картина была вполне гармоничной.

Не стоит забывать: роль жены Льва Толстого была весьма специфичной в силу того, что муж был не только любимым мужчиной и отцом детей, но и великим писателем — Софья Андреевна отлично это осознавала и в значительной мере исходя из этого она и выстраивала своё поведение. Записи в её дневнике тех лет полны подробностей, касающихся тех или иных сторон творчества Льва Николаевича, и они представляют собой бесценный материал для историков литературы и литературоведов, ничуть не менее ценный оттого, что информация об истории создания произведений Толстого перемежается бытовыми подробностями, касающимися в основном болезней и вскармливания детей, состояния здоровья самого Толстого, каковое для Софьи Андреевны было всю жизнь прямо-таки объектом фиксации, да и просто разнообразных, могущих показаться малозначительными, деталей семейной жизни — однако для того, чтобы понять, «из какого сора» произрастают бессмертные тексты, эти бесхитростные записи незаменимы.

Так оно и шло, и так и шло бы дальше, если бы Лев Николаевич был обычным, «нормальным» человеком. Но он им не был. Невероятной мощи внутренняя работа, происходившая в нём, привела его к переоценке всех ценностей и к построению совершенно нового жизненного концепта. Если бы он был всего лишь писателем, пусть и прекрасным, этого, скорее всего, не произошло бы, но Толстой был одной из тех немногих фигур, которые производят в истории человечества, в истории

мысли и духа качественный переворот, сопровождающийся, разумеется, и катаклизмом «местного значения», для него самого и его близких. В сущности, неважно, был ли Толстой безоговорочно прав в своих философских и этических воззрениях, — важен масштаб содеянного.

С переходом отца семейства на новый уровень восприятия жизни существование семейного корабля оказалось под угрозой — новые воззрения Льва Николаевича более не предполагали ни устроенного быта, ни уверенного достатка: для него это всё попросту перестало иметь значение, уступив приоритет вещам, которые плохо совмещались с интересами семьи. Представляется совершенно логичным, что в этой ситуации Софья Андреевна изо всех сил старалась сохранить прежний маршрут следования этого самого семейного корабля, сталкиваясь сперва с пассивным, а затем со всё более агрессивным сопротивлением мужа. Конфликт был неизбежен, и, несмотря на продолжавшую существовать взаимную искреннюю любовь, он наступил.

Хулителям Софьи Андреевны, старательно мастерящим из неё сварливую мегеру и чуть ли не злого гения великого писателя, хорошо бы принять во внимание, что за долгую супружескую жизнь с обожаемым Лёвочкой его жена перенесла пятнадцать беременностей, пять детских смертей и вырастила восьмерых детей, что само по себе не позволяет даже предполагать возможности полного здоровья и психической уравновешенности. В сущности, в том, что к моменту завершения детородного возраста Толстая оказалась совершенно измочаленной и физически, и психически, ничего удивительного нет. Удивительно скорее то, что этот бесспорный факт как-то ускользает от внимания исследователей, подменяясь утверждениями: «К пятидесяти годам характер Софьи Андреевны стал невыносим». Сам по себе, что ли, стал? Без видимых причин?

Поздние дневники Софьи Андреевны полны горечи, уныния и глубокого одиночества — при огромной и внешне благополучной семье и живом и, на самом деле, по-прежнему любимом муже. («Кого бы и как бы я ни любила, никого на свете я не могла бы даже сравнить с моим мужем». Но и: «Эх, как трудно, всё трудно!», и «Живу я нервно, трудно и мало содержательно».) Разуме-

Часть третья

ется, истерия, которой страдала Софья Андреевна, — диагноз серьёзный, но дело, конечно, не только в этом. Если бы она, как это выглядит у некоторых авторов, была только клушей и всего лишь старательной домохозяйкой по призванию, возможно, происходившие в доме изменения не производили бы на неё столь тяжёлого впечатления — в конце концов, несмотря на новые взгляды Льва Николаевича, он не предполагал волевым решением оставить семью без обеспечения, — но Софья Андреевна была человеком с недюжинными душевными и духовными запросами, и её страшно угнетало исчезновение внутреннего контакта с мужем. Собственно, это и было главным, что её угнетало. Отсюда ощущение оставленности, ревность к Черткову и прочим, попытки привлечь к себе внимание Льва Николаевича любыми средствами — каковые попытки выглядели, надо признать, малосимпатично.

На этом этапе, вероятно, благоприятный ход событий был бы возможен только в том случае, если бы рьяные доброхоты и «поклонники таланта» оставили немолодых супругов в покое и дали бы им осознать, что чувство, соединившее их почти полвека назад, живо и ценно. Такой возможности не оказалось: всё происходило на юру, сопровождалось подзуживаниями и подстрекательствами, и произошло то, что произошло: старик Толстой ушёл прочь из дому, а его преданная жена пережила трагедию, которой лютому врагу не пожелаешь.

Но, хотя Софье Андреевне, по её собственным словам, «...непосильно было с юных лет нести на слабых плечах высокое назначение — быть женой гения и великого человека», всё же она ею была и как таковая несомненно останется в истории русской литературы.

«ВЫ, СЛОВА ЗАЛЁТНЫЕ, КУДА?..»

Александр Вертинский

7 ноября (по новому стилю!) 1917 года в Москве ознаменовалось ярким и запоминающимся событием, возымевшим далеко идущие последствия.

Нет, речь не идёт об Октябрьском перевороте: уже в течение нескольких недель город был обклеен афишами, привлеками к себе пристальное внимание публики, — «Бенефис Александра Вертинского», и для квалифицированного зрителя это известие казалось гораздо более значимым, чем некие пертурбации, происходящие в стране под руководством мало кому известных крикливых политических деятелей.

Бенефис, как и было обещано, успешно состоялся в маленьком театрике, едва вмещавшем 300 человек, и прошёл с огромным успехом. Собственно, Вертинский к тому моменту не был новичком на сцене: уже пару лет он выступал с концертами, на которых, одетый в костюм печального Пьеро, в соответствующем гриме — с заломленными трагическими бровями и кровавым ртом — исполнял песенки собственного сочинения. Песенки — «ариетки» — были странными: причудливые и изысканные по манере исполнения, экзотические и нездешние по фактуре, они представляли собой крошечные, но вполне законченные спектаклики одного актёра, который выкладывался на сцене предельно эмоционально, заражая зрителей искренностью чувств.

Вертинский крутился в тогдашней киевской, а потом и в московской богемной тусовке с ранней юности и впитал эстетику Серебряного века, что называется, с младых ногтей, но не ограничился ещё одним воспроизведением культурного контекста, а внёс в него собственный компонент — что, собственно, и является функцией таланта. Талантлив Вертинский был несомненно и чрезвычайно ярко, что стало ещё заметней, когда он отказался от театрального обличья Пьеро и начал выступать в классическом фраке, позволив зрителям полностью сосредоточиться на личности артиста, — но это произошло уже позднее. А тогда, в 1917 году, после триумфального бенефиса, Вертинский отправился на гастроли по России по приглашению одного из крупнейших тогда антрепренеров — Леонидова. Екатеринбург, Одесса, Ростов, Екатеринослав, Крым, Кавказ — и повсюду битком набитые залы и шумный успех.

Как-то плавно и невзначай гастрольное турне перешло в эмиграцию: стандартный маршрут — юг России, Севасто-

Часть третья

поль, Константинополь. Свой отъезд из России Вертинский расценивал впоследствии как страшную, роковую ошибку — неизвестно, отдавал ли он себе отчёт в том, что, возможно, эта «ошибка» спасла ему жизнь: изысканные «арии» так плохо вязались с бурно расцветшим в короткие сроки социалистическим реализмом, что одного этого уже хватило бы для гарантированного творческого ostrакизма, ну а репрессии, логическим образом, не замедлили бы последовать, что продемонстрировали многие трагические судьбы его товарищей по цеху, оставшихся на родине.

Надо сказать, эмигрантская судьба Вертинского сложилась весьма удачно: русская диаспора в странах пребывания была многочисленной и полнокровной, имя артиста ещё по прежним временам было у многих на слуху, новые песенки не только не уступали прежним, но и превосходили их по законченности и поэтичности, а новая тема, возникшая в творчестве Вертинского почти сразу после отъезда из России, — тема ностальгии — оказалась не только необыкновенно востребована, но и напитана искренним живым чувством. Таким образом, Вертинский быстро завоевал славу первого барда первой волны русской эмиграции, каковое имя носил с честью и подтверждал его неустанно: работоспособность и творческая активность у артиста были — на диво.

Первоначально маршрут странствий Вертинского пролегал по Румынии, Бессарабии, Польше — в последней его ожидал поистине королевский приём. Может быть, там бы он и остался, но ожидаемый приезд румынского короля заставил его покинуть гостеприимных братьев-славян: в Бессарабии с Вертинским произошло то, что сам он трактовал как досадное недоразумение, — его причислили к советским агентам. Соответствовало ли это истине — не установит нынче, разумеется, ни одна живая душа.

Проследовав через нищую Германию в благополучный Париж, Вертинский не ошибся: тогдашняя европейская, да и мировая элита благоволила к русским артистам и не жалела ни аплодисментов, ни денег — правда, только для тех, кто уже завоевал себе место на подмостках. Вертинский входил в этот из-

бранный круг, и в 1934 году он отправился в турне по Америке, которое прошло блестяще. Там, в Нью-Йорке, впервые прозвучала песня «Чужие города», ставшая неофициальным гимном первой эмиграции, квинтэссенцией её умонастроений и истинной одой ностальгии.

Перебравшись к концу года в Китай, Вертинский через некоторое время предпринял попытки вернуться в Россию, и в 1937 году даже ожидалось разрешение, которое тогда не было получено — и слава Богу, поскольку в противном случае жизнь артиста по возвращении не стоила бы и полушки. Впрочем, в 1943 году хлопоты о репатриации всё же увенчались успехом, и Вертинский с женой и маленькой дочерью возвратился в СССР, который для него по-прежнему оставался Россией.

На родине его ситуация выглядела несколько двусмысленно: бурный, почти истерический успех у публики — и некоторая неявная нелюбовь властей, выглядевшая не как открытое игнорирование, а скорее как задвигание в дальний угол. Гастроли — да, но только по провинции, залы — пожалуйста, но только захолустные, концерты в столицах — не исключено, но лишь совсем изредка. При невысоких тогдашних ставках это означало беспрерывный «чёс» по медвежьим углам, ночёвки в грязных гостиницах и выступления на убогих площадках — где, однако, восторженные зрители горячим приёмом скрашивали артисту суровые советские будни.

Жалел ли он о возвращении домой? Некоторые оттенки в письмах к жене дают возможность предположить, во всяком случае, что от реальности, в которую пришлось окунуться, в восторге не был. О том же свидетельствует то странное обстоятельство, что, оказавшись наконец на столь нежно и пылко воспетой им на чужбине родине, Вертинский, похоже, написал лишь одну-единственную «свою» песню: «Доченьки» — бесспорно, милую и трогательную, но отнюдь не относящуюся к «шедеврам Вертинского». Впрочем, этих шедевров за жизнь создал он и без того немало, за что ему низкий поклон.

«Я РАБОТАЛ, Я ПИСАЛ СТИХИ»

Иосиф Бродский

29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» появился фельетон под названием «Окололитературный трутень».

Стиль и язык сочинения были вполне в духе тогдашнего идеологического дискурса, отличаясь разве что почти огнедышащей злобностью. На страницах «Вечернего Ленинграда» было устроено аутодафе молодому поэту Бродскому, имя которого до того момента было известно лишь компетентной литературной тусовке — автор пасквиля Я. Лернер, по сути, популяризировал имя Бродского, правда, поместив его в предельно негативный контекст. Выступление в «Вечернем Ленинграде» было для Лернера не первым боем за чистоту коммунистической идеологии: в 1956 году, служа завхозом Технологического института, он, буквально на ровном месте, создал «дело газеты „Культура“, выпускаемой весьма относительно подчинёнными ему студентами. Его тогдашняя статья в институтской многотиражке выдержана в том же стиле захлёбывающегося доноса, что и фельетон, посвящённый Бродскому, содержит примерно те же политические обвинения, но уступает публикации в «Вечернем Ленинграде» по энергии и накалу ненависти.

Бродский утверждал, что в фельетоне не содержится ни крупницы правды о нём, кроме имени и фамилии, — даже возраст, и тот перевертан. В качестве доказательства «пигмейства» и «невежества» поэта приводятся тексты, большая часть которых никакого отношения к Бродскому не имеет, а те, что принадлежат его перу, искажены до неузнаваемости и соответствующим образом откомментированы. Впрочем, это никакой роли не играло, поскольку задача была — запустить механизм травли поэта, самый факт существования которого торчал у идеологических властей города как кость в горле. Самое забавное, что ничего «антисоветского» Бродский сроду не писал по очень простой причине: его вообще не интересовала идеология — ни коммунистическая, ни наоборот. Он существовал в совершенно автономном мире, и именно это раздражало партийных бонз чуть ли не до крапивницы.

В финале фельетона содержится вполне деловое резюме, чуть погодя реализовавшееся просто буквально: «Очевидно, надо перестать нянчиться с околотитературным туеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде». Заодно погрозили пальчиком и другим — дабы неповадно было писать всякую дребедень и манкировать коммунистическим строительством: «Не только Бродский, но и все, кто его окружает, идут по такому же, как и он, опасному пути. И их нужно строго предупредить об этом».

За эдакой шумной публикацией, само собой, должны были незамедлительно последовать оргвыводы — собственно, сам фельетон был сигналом к началу кампании, стартовым выстрелом. Попытка Бродского опубликовать опровержение пасквиля, разумеется, была заведомо обречена, а немного спустя за поэтом началась слежка. Народная дружина, возглавляемая всё тем же Лернером, выполняла роль штурмовиков и играла без всяких правил, практически вне правового поля, поэтому слежка велась бесцеремонно и, естественно, без всяких санкций.

Санкции понадобились, впрочем, и были без промедления получены, для последующего ареста и суда, который выглядел, в стенографической записи, почти чудесным образом созданной, несмотря на строжайший запрет, журналисткой Фридой Вигдоровой, чистым гиньодем. «Почему вы не работали?» — вопрошала судья Савельева. «Я работал. Я писал стихи», — протодушно отвечал поэт. Разумеется, такого рода диалог глухих не мог увенчаться ничем, кроме как утверждением того несомненного факта, что город на Неве не нуждается в «трутнях» и «туеядцах», и Бродский был сослан в деревню Норинское Архангельской области.

ДЕКАБРЬ

«ГОЛОС ОДИНОКОЙ МУЗЫ»

Иннокентий Анненский

13 декабря 1909 года в Петербурге, на Царскосельском вокзале, умер от сердечного приступа Иннокентий Фёдорович Анненский.

Похороны были многолюдными: покойный был известен и чтим как деятель просвещения, директор императорской Николаевской гимназии, порядочный и достойный человек, его любила молодёжь, ценили многие, но в толпе провожавших всего несколько человек понимали: хоронят большого поэта.

Анненский прожил странную жизнь. Его внешняя ипостась была весьма успешной, карьера состоялась, хотя и с некоторыми сбоями, рисунок его жизни сложился вполне гармонично, однако то главное, ради чего его замыслило Провидение, оставалось скрыто от посторонних глаз и происходило почти втайне.

Иннокентий Фёдорович родился в Омске, в состоятельной семье видного чиновника. Вскоре после его рождения Анненские переехали в Петербург, и вся дальнейшая судьба поэта оказалась в значительной мере связана с ним: он учился в нескольких петербургских гимназиях, поступил на историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, курс которого окончил в 1879 году, с золотой медалью и со степенью кандидата — особое отличие. И дальше, если читать биографию Иннокентия

Анненского только по событийному ряду, она выглядит почти безупречно гладкой: сперва преподавал в гимназии Бычкова и Павловском институте, затем директорствовал в Коллегии Павла Галагана в Киеве и 8-й гимназии в Петербурге, а в 1896 году возглавил Императорскую Николаевскую гимназию в Царском Селе.

Назначение было почётным, поскольку заведение находилось под покровительством высочайших особ, и от директора требовалось не только педагогическое мастерство, но и владение придворным этикетом. Анненский, с его аристократизмом, импозантностью и врождённым умением создать вокруг себя атмосферу благородства, соответствовал посту в высшей степени. Кроме того, благодаря не только блестящему образованию, но и незаурядным способностям, Анненский был истинным энциклопедистом и педагогом не только по должности, но и по духу. Он преподавал латынь и греческий с таким увлечением, что дети, которых невозможно ввести в заблуждение касательно истинного лица педагога, заражались его энтузиазмом и изучали «скучную материю» с подлинным рвением. Для него «мёртвые языки» были вполне живыми, а далёкий античный мир находился где-то совсем рядом.

Анненского любили ученики, и это важно. Правда, среди коллег-недоброжелателей бытовало мнение, что его излишний демократизм вредит дисциплине, а гимназисты оттого облепляют восторженной толпой своего наставника, что «с ним можно не считаться», но эти голоса производят впечатлительные вдохновляемых завистью — особенно если сопоставить их с многочисленными восторженными воспоминаниями гимназистов. Возможно, дети, в отличие от педагогов, ощущали ещё и некую инакость Иннокентия Фёдоровича, порождённую тем самым вторым тайным его существованием, о котором даже не подозревали взрослые, имевшие с ним дело в его официальном качестве, — детская сущность поэта ни для кого ведь не секрет.

Кроме выполнения административных обязанностей и преподавания Анненский занимался научной работой, писал и печатал интереснейшие критические статьи о Гоголе, Достоевском, Тургеневе, Чехове, именуемые «критической прозой»,

Часть третья

поскольку их тексты представляют самостоятельную художественную ценность. Труд же по переводам Еврипида — все девятнадцать трагедий! — был поистине титаническим и, разумеется, совершенно невозможным без почти фанатической влюблённости в язык и автора. В общем — насыщенная жизнь, успешная самореализация, солидное положение. А тайная жизнь творилась, не обнаруживая себя практически ничем.

Иннокентий Фёдорович писал стихи с детства. Правда, ни он сам, ни окружающие не воспринимали этого занятия всерьёз, да и читали их только самые близкие. Старший брат, в семье которого в основном Анненский усвоил основы мировоззрения, учил его: во-первых, ни в коем случае не печатать стихов до тридцати лет, а во-вторых, дать каждому из произведений «отлежаться» не менее девяти лет. Похоже, поэт воспринял заветы своего наставника слишком даже всерьёз. Первый — и последний, при жизни — свой сборник, «Тихие песни», Анненский выпустил в свет не в тридцать, даже не в сорок, а уже под пятьдесят лет. Подписал псевдонимом Ник. Т-о — Никто — имя, которым назвал себя Одиссей циклопу Полифему. Серьёзного резонанса книга не вызвала: снисходительно-одобрительный отзыв Брюсова, весьма прохладная похвала Блока, который, впрочем, в частной переписке гораздо более пылко отозвался о «Тихих песнях», прибавив, что «в рецензии старался быть как можно суше» — что, конечно, ужасно обидно: часы жизни Анненского отсчитывали последние годы, и поощрение Блока могло бы стать для него драгоценным. Не стало.

Во время событий 1905 года, когда многие из учеников гимназии, захваченные опьяняющей атмосферой бунта, выступили «против властей», директор принялся защищать своих питомцев, яростно возражая против любых репрессий, — результатом стало перемещение его на должность инспектора Петербургского учебного округа — опала не опала, но явное неодобрение. Впрочем, в тот момент карьера не очень заботила Анненского — служба давно была ему не в радость, он говорил о ней как о «постылом и тягостном деле», и не уходил он из гимназии лишь потому, что «бежать стыдно» — да и семью кормить было надобно.

Четыре года спустя он всё же подал в отставку, но этому предшествовало странное полупризнание, которое немолодой уже поэт, с одной-единственной книгой стихов, получил наконец-то в литературной среде, приглашение к сотрудничеству от редакции журнала «Аполлон», обиженно-надменная реакция «литературной общественности» на статью Анненского «О современном лиризме», вышедшую в журнале, отказ в публикации стихов в следующем номере... А жизни оставалось уже нисколько.

Значение поэзии Анненского для русской литературы начало обнаруживаться почти сразу после того, как его не стало. То, что он, в сущности, в своей незаметности и незамеченности предвосхитил и футуризм, и символизм, и акмеизм, да практически все основные направления русской поэзии XX века, «был предвестьем, предзнаменованьем» — проговорили и Ахматова, и Гумилёв (кстати, ученик Анненского в самом буквальном смысле, по гимназии), и многие другие. Его стихи, потрясающие по глубине, изяществу, парадоксальные по соединению возвышенностей и бытовизмов, неожиданные как по мысли, так и по мелодии, по сути, не имеют себе равных, и это не секрет ни для литературоведов, ни для истинных ценителей поэзии. Однако странным образом его прижизненная неизвестность словно легла тенью на его бессмертие, которое он, право же, вполне заслужил, и его имя так и не приобрело по сей день подлинного звучания. «Работаю исключительно для будущего», — писал Анненский в конце позапрошлого века.

«...КАКОВО БЫТЬ ПОЭТОМ...»

Игорь Северянин

20 декабря 1941 года в Таллине умер поэт Игорь Северянин.

Одна из самых ярких фигур Серебряного века, Северянин был заведомо уязвим для современной ему критики, он словно бы специально подставлялся со своими эпатазирующими заявлениями, шокирующими манифестами — знаменитое и вошед-

Часть третья

шее в ироническую пословицу «Я гений — Игорь Северянин», но эпатаж и лихость с годами отшелушились, а стихи остались — и стихи эти были настоящими.

Трудно сказать, с чего начинается поэт. Наверное, как и в случае Северянина, поэтическая судьба бывает предначертана исходно, хотя семья его была вполне заурядной, всего лишь приличной и с достойными корнями. Мальчик, однако, начал писать стихи чуть ли не в восемь лет, и, несмотря на то что строфы были довольно беспомощными и подражательными, в них уже тогда звучала нота истинной поэзии. Тогда, как и всегда впоследствии, Северянин писал много и жадно, словно не мог прожить и дня без поэтического труда. Впрочем, время располагало к этому: всё жизненное пространство было пропитано магией стиха, атмосфера Серебряного века захватывала в свою орбиту, сам воздух словно был пропитан рифмами, метафорами, музыкой строф.

Как это иногда бывает, настоящая известность Северянина началась со скандала: в 1909 году некий, безвестный ныне журналист Иван Наживин, отправившись в паломничество в Ясную Поляну, к властителю умов, привёз ему один из тогда уже многочисленных сборников Северянина «Интуитивные краски» и прочёл несколько строк. «Вонзите штопор в упругость пробки, — И взоры женщин не будут робки!» Естественно, услышанное возмутило великого моралиста — тем более что избытком чувства юмора Толстой никогда не страдал, — а неудовольствие Толстого спровоцировало громкую кампанию в прессе — Северянина не травил в ту пору только вовсе уж ленивый.

Но поэту столь энергичная ругань пошла лишь на пользу, просто потому, что его имя зазвучало на всю Россию, к нему было привлечено внимание, в том числе и таких признанных мэтров, как Брюсов, который как раз быстро понял значение поэзии Северянина и признал это публично. Фёдор Сологуб, серьёзный авторитет и культовая фигура символизма, не только радушно принял «новую звезду», по его оценке, но и написал восторженное предисловие к сборнику «Громокипящий кубок», приняв даже активное участие в его составлении. Севе-

рянин, впрочем, не пожелал остаться в рамках уже сформировавшегося символизма, заявив новое направление — эгофутуризм. Это было дерзко, нагло и талантливо: несколько молодых поэтов — впрочем, кроме Георгия Иванова, отошедшего вскоре от эгофутуризма, ярких фигур там не оказалось, исключая, разумеется, самого основателя, — разъезжали по стране, устраивая презабавные перформансы, шокируя и чаруя публику, и даже скооперировались с кубофутуристами, Маяковским и Василием Каменским, организовав в 1914 году в Крыму олимпиаду футуризма.

Вообще же отношения Северянина с Маяковским были дружески-соревновательными. Владимир Владимирович, свято убеждённый в собственной гениальности и исключительности, конечно, не мог радоваться тому, что в 1918 году выборы «короля поэтов» на вечере поэзии в Политехническом музее закончились победой Северянина — естественно, это было Маяковскому обидно, что он не преминул обнаружить, заявив по окончании церемонии, что, дескать, короли нынче не в моде. Вновь обретённым титулом Северянин забавлялся от души, печатая крупным шрифтом на своих сборниках и программах выступлений: «Король поэтов». Почему бы, собственно, и нет? Лозунг сконструированного ради забавы эгофутуризма — «Душа — единственная истина» — это ведь на самом деле суть поэтического видения мира, а истину эту Северянин утвердил всей жизнью.

Особенно это стало заметно, когда игры кончились, время показало свой безжалостный оскал, двадцатый век-волкодав вступил в свои права, и Северянин оказался в Эстонии, то ли эмигрант, то ли «дачник», как он себя называл, без средств к существованию, без корней, без шансов вернуться обратно, со страшной быстротой и необратимостью забываемый русской читающей публикой, у которой в чести оказались совсем иные песни и иные певцы. Вполне логичным, но печальным образом с поэзии Северянина вдруг облетели, отшелушились наслоения кокетства, красоты, самолюбования, и на свет стали появляться прозрачные, точные и необыкновенно весомые строки. Так бывает, когда жизнь начинает испытывать поэта на проч-

Часть третья

ность, и не знаешь — радоваться ли тому, что художнику удалось добраться до истинного ядра своего творчества, или горевать о страдающем человеке, которым поэт, несмотря на свою высокую миссию, непреложно является. Так или иначе, в эмиграции, особенно на первых порах, Северянину пришлось нелегко: «Стала жизнь совсем на смерть похожа». Дошло до того, что в октябрьском номере эмигрантского «Эха» было опубликовано обращение с просьбой оказать ему помощь, пусть самую небольшую, поскольку: «В Эстонии жизнь гораздо дешевле, чем у нас, и каждая, даже маленькая помощь в нашей валюте — в Эстонии весьма ощутима», — в тексте указывалось, что у больного поэта нет денег даже на врача. Неизвестно, сработал ли этот призыв, однако в скором времени правительство Эстонии выделило Северянину субсидию, он занялся переводами эстонских поэтов, выпустил девять сборников оригинальных стихов — прекрасных! — и начал как-то справляться с жизнью.

Коллизии, произошедшие далее с маленькой прибалтийской республикой, с которой оказалась связана судьба русского поэта, почти ничего не изменили в его жизни: во всяком случае, когда Эстония вошла в состав СССР, Северянин не воспользовался возможностью сменить место проживания. С просьбой позволить ему эвакуироваться в русский тыл он обратился к Калинин, лишь когда в Таллин вошли немцы, но ответа не дождался. Смерть его выглядела на тот момент концом его поэтической биографии, но это впечатление оказалось ложным. За время вполне логичного глухого замалчивания в годы Сталина и «расцвета застоя», имя Северянина лишь набрало вес и значение и прочно и с полным основанием вошло в почётный список больших русских поэтов.

«ТАКАЯ ЖИВАЯ, ТАКАЯ КРАСИВАЯ»

Мать Мария

20 декабря 1891 года в Риге родилась Елизавета Юрьевна Пиленко, она же Кузьмина-Караваева, она же Скобцова. Но настоящим

её именем, под которым она осталась в этом и других мирах, стало имя мать Мария, хотя называться так Елизавета Юрьевна стала лишь с 1932 года.

Родившись на излёте девятнадцатого века, Лиза Пиленко испытала почти все перипетии, важные для России первой половины двадцатого, и ушла из жизни вместе с миллионами людей, сгоревших в топке одной из двух величайших катастроф этого самого, ныне уже прошлого, столетия.

Если бы даже Кузьмина-Караваева ничего не совершила в своей жизни, то и тогда имя её не было бы забыто — с Лизой Пиленко связано появление одного из самых дивных стихотворений Блока: «Когда вы стоите на моём пути, такая живая, такая красивая...» — гимназистка явилась к кумиру, очевидно, чтобы уяснить себе смысл жизни. Кумир ничем помочь не смог, поскольку сам, находясь в объятиях Серебряного века, мучился теми же вопросами, и девочке пришлось доходить до сути и смысла самостоятельно, что ей удалось в равной степени трагически и безошибочно.

Наигравшись власть в бисер декаданса, издав два сборника стихов, получивших неплохой резонанс, пройдя через положенную череду любовных историй, к моменту переворота 1917 года Елизавета Кузьмина-Караваева оказалась в партии эсеров, недолгое время занималась политикой и даже успела две недели провести в тюрьме. Но всё это было, как оказалось, лишь предисловием к её настоящей жизни.

Невозможно достоверно утверждать, что привело Елизавету Юрьевну (тогда уже Скобцову) к монашескому постригу, который она приняла в 1932 году: пережитая ею смерть маленькой дочери, созерцание зоны бедствия, которую являла собой жизнь огромной части русской эмиграции во Франции, или просто пришло время для осознания простой и такой труднодоступной истины — нужна только та жизнь, которая нужна другим, а путь к счастью лежит через отказ от собственного «я». Так или иначе, вся дальнейшая жизнь матери Марии стала радостным и уверенным служением. Поле деятельности было почти безграничным, во всяком случае, ни минуты времени, ни копейки денег «для себя» у монахини в миру отныне не на-

Часть третья

ходило. Благотворительное общежитие для одиноких русских женщин, открытое ею на парижской авеню де Сакс, как и потом дом русских эмигрантов на улице Лурмель, не только давали приют бесприютным, не только тепло и хлеб избытком и голодным, но и спасали от душевной беды, потому что с матерью Марией было несовместимо ни отчаяние, ни уныние.

Монахиня была, конечно, странноватая: на все руки мастерица, и плотник, и кашевар, и машинистка, и доярка, и иконописец, и уборщица — да ещё и стихи, которые писались, вопреки всему, несмотря на неловкость этого занятия для черницы. В бесчисленных путешествиях по Франции она не столько читала лекции и произносила проповеди, сколько хваталась за любую возможность быть полезной: не только утешить отчаявшегося, но и накормить, и полы помыть — и всё это весело, легко, словно невзначай. Никакого «подвига» — и подвиг ежедневный.

Самым естественным образом, с момента оккупации Парижа, служение матери Марии, или просто Матери, как всё чаще называли её парижские русские, умножилось — ведь число терпящих бедствие возросло: на улице Лурмель заседал отныне «Комитет помощи», и его существование спасало уже не только от голода и холода, но и напрямую от смерти. Гестапо какое-то время смотрело сквозь пальцы на помощь военнопленным, которую широко оказывал «Комитет», на передачу посылок заключённым, но когда стала известна ещё одна сторона деятельности матери Марии, её уже ничто не могло спасти — впрочем, она об этом знала. Судьба евреев при гитлеровской оккупации была однозначна и всем ясна — для матери Марии это означало не только острое сочувствие, но и необходимость вмешательства, что она и начала проделывать всё так же весело и деловито: фиктивные справки о православном вероисповедании, которые она выдавала чуть ли не пачками, спасли многие жизни, а кое-кого удалось и переправить в неоккупированную зону.

Когда за ней пришли, она, не выказав ни тени страха, ни малейшего смятения, всё так же бодро отправилась по дороге, с которой не вернулась. В лагере Равенсбрюк, где условия содержания заключённых походили на один из кругов ада, она,

уже немолодая и вовсе не здоровая, поддерживала остальных и своим несокрушимым мужеством вселяла надежду в падших духом. Воспоминания прошедших этот ад вместе с ней полны благоговения и благодарности, а впечатления свидетелей её последней встречи с сыном, тоже погибшим в концлагере, похожи на запечатлённое райское видение. Легенда гласит, что мать Мария отправилась в газовую камеру, подменив собой девушку из России. Этому нет достоверных свидетельств, и, по крайней мере, в списке отправленных в газовую камеру 31 марта 1945 года стоит имя Елизаветы Кузьминой-Караваевой, но она вполне могла это сделать. Как всегда — легко и спокойно.

«ЖИВАЯ СОВЕСТЬ»

Владимир Короленко

25 декабря 1921 года от воспаления лёгких в Полтаве на шестьдесят девятом году жизни умер Владимир Галактионович Короленко.

Кошунственно звучит, но смерть вовсе ещё не дряхлого писателя была на диво своевременной, потому что, совершенно очевидно, спасла его от худшей участи. Позиция, занятая знаменитым, выражаясь сегодняшним языком, правозащитником, публицистом и писателем по отношению к Октябрьскому перевороту, была абсолютно трезвой, непримиримой и грозила привести Короленко прямым ходом на Соловки.

В 1893 году Владимир Галактионович процитировал в дневнике слова Микеланджело: «Художник не может оставаться спокойным, пока позор и зло царят в стране его», — этот девиз он упорно воплощал в жизнь, жертвуя не только комфортом и удобством жизни, не только благополучием своим и семьи, но даже собственным прямым предназначением — литературой.

Подводя итоги, Короленко отдавал себе отчёт, что, не вкладывая он столько сил и времени в защиту жертв несправедливости и зла, смог бы сделать в литературе много более, но не сожалел ни минуты, потому что «во-первых, иначе не мог...»

Часть третья

(из письма к С. Д. Протопопову, конец июля 1921 года) — а вторых, и в-десятых, думается — то же самое. Извечный вопрос «литература — это *что* или *как*?» Короленко решил для себя раз и навсегда: он видел задачу изящной словесности в том и только в том, чтобы утверждать добро и сострадание, чтобы, читая, человек хоть на миг возлюбил ближнего своего и проникся ощущением, что люди — братья. Как теперь стало ясно, тезис отнюдь не бесспорен, но в ту эпоху, когда у человечества оставалось куда больше иллюзий, чем сегодня, позиция Короленко была очень убедительной, а быть может, и единственно возможной. И не зря гениальный и циничный Бунин назвал его «живой совестью русского народа».

Свои жизненные установки Владимир Галактионович впитал буквально с молоком матери: его родители славились безупречными моральными качествами, а отец, уездный судья, всегда выглядел белой вороной и слыл Дон Кихотом, поскольку не только не брал взятки, но и мысли не допускал о возможности «неправедного суда» — видимо, поэтому после своей ранней смерти, оставил семью в абсолютно бедственном положении. Владимир, окончивший гимназию с медалью, не смог получить юридического образования, о котором мечтал, да и вообще не получилось у него толком побыть в студентах — но тут уже сыграла роль и общественная деятельность, которую он начал очень рано. Первый арест последовал в 1876-м, когда Короленко было всего 23 года, а в ссылках протекли годы. Естественно, в Российской империи далеко не всё было безупречно, хватало несправедливости и жестокости, а люди такого склада не позволяют себе молчать, когда страдают невинные и творится произвол. Именно поэтому писатель, очень быстро занявший виднейшее место в литературе, с такой страстью защищал вотяков, облыжно обвинённых в принесении человеческих жертвоприношений, столько энергии затратил на дело Бейлиса, с такой пронзительной тоской и яростью писал о кишинёвском погроме. Короленко мечтал о царстве справедливости и равенства, надеялся, что на руинах монархии воздвигнется светлый дворец добра. Оттого Февральскую революцию он принял почти восторженно — она выглядела как заря новой жизни России.

Отслеживая дальнейшее развитие событий, надо отдать Владимиру Галактионовичу справедливость: истерическая большевистская демагогия, завожившая многих, быть может, не менее порядочных и достойных людей, не обманула его ни на секунду. Уже 2 ноября 1917 года он писал, обращаясь к авторам Октябрьского переворота: «Я заявляю, что не признаю вашей власти, и обращаюсь к вам с братским призывом: остановитесь! Не идите дальше по этому пути гибельного разъединения... по пути смерти». Разумеется, призыв услышан не был, и десять дней спустя Короленко формулирует: «Трагедия России идёт своей дорогой. Куда?» Таким образом, знаменитые шесть безответных писем Короленко к Луначарскому отнюдь не были результатом внезапного и трагического прозрения заслуженного писателя, изо всей мочи сочувствовавшего революции — как им пытались его изобразить большевики, — писателю не было надобности прозревать, поскольку он и не был слеп.

История с письмами, надо сказать, достаточно гадкая: вступить в переписку предложил Владимиру Галактионовичу сам нарком просвещения, причём идея исходила чуть ли не лично от вождя пролетариата. Короленко добросовестно и подробно изложил свои соображения по поводу нескончаемой Варфоломеевской ночи, устроенной в России, скрупулезно, буквально «на пальцах» разъяснил, что базовые моральные и этические нормы никому не дано безнаказанно попирать, привёл множество примеров разгула произвола и насилия, вложил немало души в свои тексты, хотя сквозь строки сквозит отчаяние вопиющего в пустыне... и не получил ни слова в ответ. Зато в своём революционном междусобойчике Луначарский обозвал старого писателя «болтуном», а Ленин заклеил его своим излюбленным «мещанином» — что особенно трогательно, обвинения адресовались человеку, жизнь положившему на благо не ближнего даже, а дальнего, делом доказавшего, что человек может необычайно многое, если руководствуется истиной и добром.

После смерти Короленко Луначарский начал суетиться: опубликовал несколько статей памяти писателя, причём то утверждал, что писем не получал (что было наглой ложью, по-

Часть третья

сколько Короленко сдавал их в руки его секретарю), то — что получал, но почему-то не мог ответить, и, наконец, удовольствовался фатальным «переписка не удалась» — очевидно, вмешались потусторонние силы.

Люди, подобные Владимиру Галактионовичу Короленко, одарённые столь высокой чистотой и мощью духа, рождаются редко. Да ещё реже этот душевный талант соединяется с талантом литературным.

Литературно-художественное издание

Стекол Ирина

УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ

Ответственный редактор О. Старикова

Компьютерная верстка: С. Валишин



ОБЪЕДИНЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

101000, Москва, Кривоколенный пер., д. 10, стр. 6а

Тел./факс: (495) 621-98-52; e-mail: info@ogi.ru

Информация о книгах издательства: <http://ogi-press.livejournal.com>

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВ ОГИ И Б.С.Г.-ПРЕСС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

В РОЗНИЦУ В МОСКВЕ

- кафе «Нейтральная территория», м. «Китай-город»,
Новая площадь, д. 14. Тел.: (495) 621-27-37.
- Книжный клуб Спорткомплекса «Олимпийский»,
м. «Проспект Мира». Тел.: (495) 688-57-36.
- Книжный магазин «Москва», м. «Пушкинская», «Тверская», ул. Тверская, д. 8.
Тел.: (495) 629-64-83, 797-87-17.
- ТД «Библио-Глобус», м. «Лубянка», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: (495) 781-27-37.
- Московский дом книги, м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8.
Тел.: (495) 789-35-91.
- Дом книги «Молодая Гвардия», м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28.
Тел.: (495) 238-50-01.
- Книжный магазин «Фаланстер», м. «Пушкинская», «Тверская»,
Малый Гнездниковский пер., д. 12/27. Тел.: (495) 629-88-21.

ОПТОМ

КД «Б.С.Г.-ПРЕСС», Москва, ул. 3-я Карачаровская, д. 18а.

Тел./факс: (495) 781-96-72.

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

www.esterum.com и www.ozon.ru

Подписано в печать 24.06.2010. Гарнитура OfficinaSerif.

Формат 60×90^{1/16}. Объем 31 печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 2000 экз. Заказ №

Ирина Стекол

Уйти нельзя остаться



Книга, которую вы держите в руках, принадлежит писательнице и журналистке. Нарративная проза здесь соседствует с газетной эссеистикой, с фельетоном в том изначальном смысле, какой ему сообщил «король фельетона» Влас Дорошевич и возродил наш современник Самуил Лурье. Автор книги Ирина Исааковна Стекол, москвичка по рождению, ныне живущая в Мюнхене, печаталась в газете «Дом кино», в «Огоньке», в «толстых» литературных журналах — «Новый Мир», «Нева», «Новый берег», работала для «Радио Свобода». Что касается этой книги, то большая часть составивших её текстов публиковалась в газете «Русская Германия», главным образом в литературных приложениях к газете. Творчество Ирины Стекол как раз и является образцом того, как писатель может, не роняя себя, работать в массовой печати, умеет использовать преимущества газетной трибуны и при этом остаётся свободным от её менее привлекательных сторон. Больше того: рассказы, которыми открывается этот сборник избранных произведений Ирины Стекол, задают тон всей книге. Мы имеем все основания говорить о книге художественной прозы — повествовательной и эссеистической.

Борис Хазанов

ISBN 978-5-94282-611-6



9 785942 826116